ISSN 0012-6756

Дружба народов

3/2021

В номере:

Прозрение? Нет — обретение свободы

Нелли АБДУЛЛИНА — автор романа «Сын обетования» — в своем колоритном тексте погружает нас в патриархальный мир начала XX века, когда в мусульманской среде Российской империи происходят важные и малоизвестные сегодняшнему читателю события: движение по реформированию ислама, борьба за равные права женщин, начало национального движения и расцвет культуры тюркских народов. Проходя через них, герои романа — башкирские и татарские крестьяне, городские интеллигенты, богословы-интеллектуалы — ищут новые ответы на извечные вопросы о Боге, любви, вере и смысле жизни.

«В этом мире нет убежища»

Повесть Петра РОТМАНА «Истинное сияние чистого разума» — о приобретении человеком просвещенным, интеллектуалом («меня по всему миру знают, в редсоветах крупных международных журналов, в членах жюри всяких») того, что называют духовным опытом, — через буддизм: «Без всякой религии, без переселения душ там, а просто медитациями, осознанностью в моменте». Для этого он устраивает ретрит — словно отправляется в разрекламированный тур — в один из монастырей Северного Таиланда. «…Но Будда уже не смотрел в его сторону. Он уже все сказал».

«Потом, после времени Ч…»

«Жить открыто ли, взаперти» — в этой строке Ильи ФАЛИКОВА — философия нынешних будней, и каждый вычитывает свой подтекст, переживает вынужденное затворничество по-своему.
Андрей ДМИТРИЕВ мечтает: «Шагали б мы по улице Стравинского», Евгения Джен БАРАНОВА удивлена неожиданным открытием: «У меня внутри деревня из несбывшихся сердец».
Обе дебютирующие в «ДН» поэтессы в целом видят свое место и роль в жизни в позитиве, но по-своему и по-разному. Юлиана УЛЬЯНОВА признается: «А я, как маятник, стою не на краю, но близко к краю». Ксения БОРИСОВА заклинает «прорастать, прорастать, прораста…»

Легко ли быть немолодым?

Елена ВЯХЯКУОПУС в эссе «Мрак твой будет как полдень» рассказывает о том, каково быть стариком в современном мире.

Борьба идеалиста с реальностью

В центре очерка Людмилы СИНИЦЫНОЙ «Победы и поражения Генриха Фогелера» — трагическая судьба известного немецкого художника, депортированного в Казахстан в первые дни Великой Отечественной.

Неожиданный всплеск

«Казалось бы, карантин, книжные обезлюдели, типографии работают с перебоями, продажи упали. Катит по улицам черная телега. Оффлайновая поэтическая активность упала до нуля — ни презентаций, ни литературных сходок. При этом — одна за другой появляются новые поэтические серии, не отстают и прежние. Парадоксом это кажется только на первый взгляд», — утверждает Евгений АБДУЛЛАЕВ, пролистывая с нами поэтические серии и сборники 2020 года.

Дружба народов

3'2021

Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал

Основан в марте 1939 года

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
http://дружбанародов.com

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей НАДЕЕВ

Ольга БРЕЙНИНГЕР

Ирина ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья ИГРУНОВА

Галина КЛИМОВА

Владимир МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Сухбат АФЛАТУНИ
Муса АХМАДОВ
Ольга БАЛЛА
Дмитрий БИРМАН
Денис ГУЦКО
Иван ДЗЮБА
Валентин КУРБАТОВ
Ольга ЛЕБЕДУШКИНА
Фарид НАГИМ
Илья ОДЕГОВ
Кнут СКУЕНИЕКС
Сергей ФИЛАТОВ
Ренат ХАРИС
Вячеслав ШАПОВАЛОВ
ЭЛЬЧИН

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.рф тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Сдано в набор 20.01.2021.
Подписано в печать 22.02.2021.
Формат бумаги 70 x 108 $^{1}/_{16}$
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 7597. Цена свободная.

16+

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Илья ФАЛИКОВ. Сто нет — один ответ. *Стихи* ***3***

Нелли АБДУЛЛИНА. Сын обетования. *Отрывок из романа* ***7***

Андрей ДМИТРИЕВ. Речь ныряет в омут лепета. *Стихи* ***88***

Пётр РОТМАН. Истинное сияние чистого ума. *Повесть* ***93***

Евгения Джен БАРАНОВА. Из несбывшихся сердец. *Стихи* ***126***

Георгий ПАНКРАТОВ. Пятеро. *Рассказы* ***129***

Юлиана УЛЬЯНОВА. Правда о ближнем. *Стихи* ***158***

Евгений КАМИНСКИЙ. Отпалка. *Повесть* ***161***

Арсений ГОНЧУКОВ. Принц. *Рассказ* ***178***

Анатолий ВАЛЕВСКИЙ. Эльза. *Рассказ* ***183***

Ксения БОРИСОВА. Круговода. *Стихи* ***188***

ДРУЖБА НА ВЫРОСТ

Константин ВОЛЧКОВ. «Февр...». *Рассказ* ***190***

ПУБЛИЦИСТИКА

Елена ВЯХЯКУОПУС. Мрак твой будет как полдень ***211***

Людмила СИНИЦЫНА. Победы и поражения Генриха Фогелера.
От поэтической утопии к зримому духу ***217***

КРИТИКА

Евгений АБДУЛЛАЕВ. «Приют пиров, ничем невозмутимых…»
О новых поэтических сериях и сборниках 2020 года ***234***

СВЯЗКА РЕЦЕНЗИЙ

Александр ЧАНЦЕВ. Манифестация сложности ***246***

ПОДРОБНОЕ ЧТЕНИЕ

Валерия ПУСТОВАЯ. Внятный, как мануал (*А.Поляринов. «Центр тяжести»; А.Поляринов. «Риф»*) ***255***

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. Фильмы для внутреннего зрения (*Ш.Абдуллаев. «Другой юг»*) ***263***

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Как-то иначе ***267***

© «Дружба народов», 2021

Илья Фаликов

Сто нет — один ответ

Эпопея

Я выхожу на ялтинскую белую дорогу.
Иван Шмелёв

— Солнце мёртвых, Иван. — Окаянные дни.
Мы Иваны с тобой, мы одни.

В Средиземное море с горючих террас
опускается солнечный Грас.

В виноградную балку уходит павлин,
солнцем мёртвых палим.

Это стоя, Иван, это тут
одичавшие кони падут.

Это дети лошажье копыто грызут,
богоносец раздет и разут.

Это воет белуха, ещё на плаву,
положивши на камень главу.

У миндальных садов, завалив диорит,
человеческий шифер шуршит.

Это русская сказка железной метлой
выметает, Иван, нас с тобой.

Это в скалах орудует Баба-Яга
помелом, костяная нога.

Полежим под горой, — диорит в головах,
оловянное солнце в глазах.

Фаликов Илья Зиновьевич — поэт, прозаик, эссеист. По образованию филолог. Автор десяти книг лирики, четырех романов в прозе, двух сборников эссеистики и четырех книг в серии «Жизнь замечательных людей». Лауреат нескольких литературных премий. Постоянный автор «Дружбы народов». Живет в Москве.

Стома

Жить открыто ли, взаперти,
сложно ли, по-простому, —
в человека легко зайти.
Например, через стому.
Толстым пальцем, сухим перстом,
не помывши руки,
налегке, со своим крестом,
через дырку в брюхе.

Погулять у тебя внутри
кто угодно может.
Стон умерь и слезу утри.
Век похвально прожит.
Отгорела твоя страда
на открытых ранах.
Ходят-бродят в тебе стада
в основном незваных.

Преисполнены болтовни
и чугуннолобы,
никуда не уйдут они
из чужой утробы.
По обычаю запершись
и питаясь содой,
панегириком разрешись
и высокой одой.

В глубь кишечника, в потроха,
в пищевой подстрочник —
пиндарического стиха
ключевой источник —
не боись, заходи, народ,
нараспах открыта
дырка в брюхе, лазурный грот,
золотые ворота.

* * *

На «нет», естественно, суда
нет, если нет как нет
тепла, когда горит звезда.
Сто нет — один ответ.
— Сто лет гореть, сто лет вещать.
Воспев житьё-бытьё,
светиться, чтобы освещать
отсутствие своё.

Арифметика

Проглядел, прохлопал, не заметил
минимум лет тридцать. Окоём
на заре невысчитанно светел.
Чайка не тоскует ни о ком.
Втрое старше Лермонтова с Рыжим,
засорил немереный эфир,
превосходством численным не движим,
склонности к цифири не явил.

Просвистел, профукал на просторе
минимум лет семьдесят. Верней,
жизнь ушла в классическое море,
где ещё полощется Эней.
Есть о ком рыдать Дидоне. В целом,
выщелкнув ненужные слова,
я ещё не жил на свете белом.
Если арифметика права.

* * *

От Лютеции до Курил,
не задерживаясь нигде,
ты её по земле водил,
ты водил её по воде.
То, что спутнице показал,
в память штопаную кладёшь —
ветер в поле, базар-вокзал,
воробьиной шпаны галдёж.

Благодарно изумлена,
дальний свет над глухой тропой
засвидетельствовала она
сверх показанного тобой.
Шумных трав и воловьих жил
незахлёбывающийся звук —
факт того, что ты пел и жил,
получаешь из первых рук.

* * *

Плакали серые чайки.
Был ненамного серей,
в море влетев по случайке,
юный один соловей.

Жили темно и беспечно,
тратили годы и пыл.
Времени не было вечно.
Голос у времени был.

* * *

Видишь ли, мне оставаться с собой
не составляет труда.
Если в системе наметится сбой,
не выходить никуда.
Это для вас карантин — кандалы,
каменно-душный мешок.
Место моё — полигон похвалы
месту, источнику строк.

Стол, по которому бесполезняк
веет, качая права,
в смешанный преображается знак
гибели и торжества.
Здесь постоянно прописан глагол.
Вещи стоят на местах.
— Ты далеко ли? — За хлебом пошёл.
Утренних выслушать птах.

Этот порядок вещей невредим,
стелется в скверах пустых
вредных привычек устойчивый дым,
переработанных в стих.
Это одна из желанных растрав
в сердце, летящем вовне,
если в России родиться, застряв
в Болдине, в карантине.

* * *

Полжизни был совой,
не слишком белой.
Оно под волчий вой —
перо — скрипело.
Ничто самим собой
быть не мешало.
Часов, само собой,
ушло немало.
Полжизни был совой.
Совы не стало.

Растаяла сова,
как сохнет речка.
Проста как дважды два
часов утечка.
И ровно в двадцать два
сгорает свечка,
а у нее внутри —
ночная птица.
И жаворонок в три
утра родится.

Нелли Абдуллина

Сын обетования

Отрывок из романа

Совершеннолетие
(ноябрь 1907 года)

Ибрагим мчался верхом на лучшем скакуне из отцовского табуна. То был плотный вороной конь, прозванный за масть и шаг — Кара-юрга, как иноходец из песни. Прежде отец позволял объезжать его только старшим братьям — Арслану и Нахретдину.

От радости Ибрагим разгорячился, припустил рысью. Конь несся над степью, почти не касаясь копытами земли: чуть крепче сжать ему бока — и полетит.

Но за миг до этого Ибрагим проснулся. В доме было еще темно. Нахретдин спал на краю нар, целиком перетянув одеяло на себя. В отгороженном углу, у молодоженов, смолкло насекомье верещание Шамсии — новорожденной дочери Арслана. Только на женской половине сонно, ворчливо переговаривались сестры, как птицы перед зарей, и слабый луч керосинки бился в красной занавеске.

Ибрагим повернулся на другой бок и почувствовал, что под животом, в шароварах у него мокро и вязко, будто разлился пузырек с костным клеем.

— Ух, шайтан, — он вскочил с нар, поплотнее завернулся в чекмень и выбежал из избы.

Так наступило его совершеннолетие — седьмого числа месяца Шавваль, 1325 года по хиджре[1].

Отец предостерегал его: «Детство — пора милости, данной взаймы. Станешь юношей — за каждый проступок ответишь перед Всевышним!» Но Ибрагим боялся не этого, ведь он давно творил намаз и соблюдал уразу наравне со взрослыми. Он больше робел перед обрядом балиг-туылу[2], когда о его постыдном излиянии узнают во всей округе.

Абдуллина Нелли Ильдаровна — преподаватель, переводчик. Родилась в Уфе. Окончила МГЛУ. Печаталась под псевдонимом в сборниках и альманахах издательства Эксмо.

[1] Хиджра — переселение пророка Мухаммада из Мекки в Медину, с которого начинается отсчет лет по исламскому календарю.

[2] Балиг-туылу — праздник совершеннолетия, отмечавшийся в широком кругу родственников и друзей семьи по достижении мальчиком половой зрелости.

Тьму уже заволокло предрассветной серостью. Посыпанные сумеречной известкой, проступили очертания сарая, конюшен. Горб Нарыстау стал заметен на фоне светлеющего неба. Жеребцы учуяли Ибрагима, нетерпеливо зафырчали, когда он проходил мимо.

Ибрагим закрыл дверь на крючок. Даже в остывшей, в бане сладко пахло смоляным жаром. Он кинул на лавку чистые шаровары, рывком отодрал прилипшую к бедру штанину и щедро налил воды в ритуальную чашу, чтобы совершить требуемый гусуль — полное омовение.

Докрасна растираясь мочалом, Ибрагим вспоминал свой сон. А вдруг он окажется вещим? Ведь братья получили по иноходцу на совершеннолетие. Ему, главному наследнику, должен достаться лучший конь. Время подходящее, осень. Кумысный сезон позади, снег уляжется нескоро. Выпас легкий, и самая воля — скакать от холма к холму. Он размечтался, как прижмется к шее Кара-юрги и длинная грива — цвета и запаха дегтя — будет хлестать его по лицу. Может, и правда, признаться, высидеть унизительный обряд, зато получить иноходца?

Пена уже свернулась на его коже липкой пленкой, он потянулся к чаше ополоснуться и не удержал. Та выскользнула из мыльных рук, с грохотом обрушилась на пол, окатив водой стены, со скамьи полетели ковши и кумганы[1]. Батрак Касым, дежуривший в эту ночь на конюшнях, прибежал на шум.

— Кто там балует? А ну! — испуганно пригрозил он.

— Я это, ступай! — приказал Ибрагим. Но Касым не уходил, прислушивался.

— Куда это ты намываешься ни свет ни заря? Никак гусуль творишь? — спросил он наконец.

— К утреннему намазу, — отрезал Ибрагим.

— Ну, помоги Аллах, — усмехнулся тот.

«Небось побежал отцу докладывать!» — подумал Ибрагим с облегчением и не ошибся.

Когда он вернулся в дом, Фаррах уже восседал во главе ковра, с обжигающей пиалой чая на ладони, и распоряжался о праздничной трапезе. В то же утро закололи барана и к нему в придачу пару гусей, чтобы бешбармак гуще наварился. Разбудили печь на дворе, что давно впала в зимнюю спячку, загудел жар в ее глубоких огненных колодцах. Забурлила вода в чугунных казанах. Матери и сестры намесили пять кадок теста. Нахретдина послали за родными и соседями по огню, а за Курбангали-имамом отец отправился сам.

Первыми явились незваные — окрестные бедняки (и здесь не обошлось без Касыма), выстроились вдоль забора, как солдаты на смотр, выставили перед собой плошки для жертвенного угощенья.

Ибрагим покорно пил свое унижение. Выдержал язвительный допрос муллы при отце и нескольких хальфа[2]:

— Не рукоблудствовал ли ты, о юноша? По всем правилам очистился от скверны?

Потом его вывели на крыльцо, и он произнес шахаду — свидетельство о вере — на виду почти у всей деревни. Кто не поместился во дворе, смотрел из-за забора. Глумливые взгляды облепили его, как мухи: «Ну что, малый, запачкал ночью штаны?» А он старательно проговаривал арабские слова и ни разу не запнулся. Голос его не

[1] Кумган — узкогорлый кувшин для омовения.

[2] Хальфа — младший преподаватель мусульманского учебного заведения, часто хальфами становились старшие студенты.

утратил твердости, даже когда оборванцы, снующие в толпе, стали выкрикивать оскорбительные ругательства.

Во время трапезы по обычаю Ибрагим должен был подавать гостям. И тут ему некуда было спрятаться от строгих глаз и наставлений. Он обходил и кротко выслушивал каждого, кланяясь, благодаря. От напряжения и стыда он потел. Хворая влага собиралась в теле. Но он терпел до самого вечера, чтобы получить награду свою.

Когда все разошлись, Фаррах подозвал его к себе, достал из сундука молитвенный коврик из зеленого бархата, расшитый золотыми нитями, с атласными кисточками по углам. По его кромке шел узор, составленный из двух родовых знаков — из тамги отца в форме двух ребер, и матери — в виде дербника — сокола, распахнувшего в полете крылья.

— В Уфе заказал, для тебя. Вот и настало время! — отец сиял, как начищенная бронза. — Каков птенец в гнезде — таков и в полете. Будешь меня слушать, в меня пойдешь.

— И все? — вырвалось у Ибрагима — сдавленно и тонко.

— Ты не доволен? — лицо отца переменилось.

Не в силах больше крепиться, Ибрагим зарыдал:

— Отец, я только тебя и слушаю! Тебе одному служу! Но как я пойду в тебя, если у меня нет своего иноходца! И Арслану, и Нахретдину подарил ты по скакуну на балиг-туылу! А я так и останусь на побегушках — малай-принеси-подай?

Фаррах засмеялся:

— Что ты такое говоришь! Ты последний мой сын и навсегда останешься со мною, и все мое — твое!

Но Ибрагим этим не успокоился. До самого сна он следил в щелочку загородки, как младшая мать мыла в тазу пиалы: если Всевышний даст ей сына, не быть ему главным наследником. Тело его совсем отяжелело и размякло от ревности, как невыжатое полотенце.

Среди ночи Ибрагим встал по нужде. На дворе морозило вовсю — так прихватывает перед первым снегопадом. Он хрупал калошами по заиндевелой траве, и этот хруст царапал гладкую предзимнюю тишину.

Спросонья он совсем забыл о пережитом дне, будто тот вернулся в утробу ночи и вот-вот родится опять. Спит в хлеву воскресший ягненок, которому снова суждено стать жертвой для праздничной трапезы. Еще не запала в душу Ибрагима обида на отца. Не произнес он клятву покорности и пребывает в тени от Всевышнего — не безвинное дитя, не правоверный мусульманин, а так — неклейменый иноходец на распутье.

Смурная сырость в теле, которую Ибрагим надеялся выспать, усилилась. Дрожь пробиралась по всему телу, холодно щекотала за шиворотом. Не было сил идти через огород до бани, у которой стоял крепко сколоченный нужник. Ибрагим притулился за сараем. Струя зашипела и, скворча, ушла в землю, запахло вареным рисом и уксусом. Всполошились куры, мелко заскрипели.

Ибрагим, упоенно выдохнув, запрокинул голову. И увидел небо.

Бескрайнее черное полотно стелилось над ним. Оно было издырявлено, будто исклевано птицами. Сквозь эти прорехи лился свет, переливчато-белый, строгий. Печной дымок устремлялся к нему, но не мог зачерпнуть ни капли бездонного блеска и таял, тщетно распластав ладони.

Ибрагим стоял, стараясь тише выпускать пар изо рта. Он догадался: это вовсе не свет — это Бог смотрит на мир, и невыносимо лучезарный лик Его просачивается сквозь ветхое сукно небес.

Под этим взглядом Ибрагим стал яснее чувствовать, — будто раньше он дремал наяву. Будто вся его жизнь состояла лишь из мутных отражений мира: сизых холмов на горизонте, едкого запаха конюшен, степного ветра. А теперь взглядом Всевышнего он оказался оторван от этого мира — сотворен. Отныне он — был.

И тут понял Ибрагим, что наг и уязвим, до самой низости своей. Что по закону ему нельзя мочиться стоя. Что он повернулся как раз в ту сторону, куда надлежит направлять поясной поклон во время намаза. Медный голос Нахретдина отчеканил в его голове: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение, запретил нам мочиться стоя, обращаться лицом в сторону киблы[1] во время испражнения, подмываться правой рукой».

Ибрагим поспешно затянул веревку шаровар и прошептал:

— Гуфранак! Прости, Аллах! — так велено говорить после справления нужды.

Но поздно. Он совершил первый проступок. Совершил случайно, ненароком. Значит, способность к греху жила и распорядилась им, как только он отделился от мира и сам стал отвечать за себя. И даже если он будет потом строго следить за каждым своим шагом, ничто не оградит его от новой невольной ошибки.

Он обречен. Его склонность к пороку неизбежна, как неизбежна смерть в наказание за грех. И никаким хадисом уже не исправить то, что случилось. Правоверная жизнь Ибрагима кончилась, едва начавшись.

— Все. Погубил я себя.

Ибрагим взмолился:

— О Аллах, убей меня сейчас! Для чего жить дальше?

Он невольно сжался, опустил голову, зажмурился, ожидая удара с неба. И ничего не произошло.

— Что Ты медлишь? — вскричал он. — Зачем откладывать казнь? Можно ли что прибавить к смерти?

Все так же тих, холоден и отстранен был свет Всевышнего. Бог продолжал смотреть на него с покоем и безразличием.

— Это я, Ибрагим, — напомнил он, жадно вглядываясь в небо. — Ты назвал меня, Ты создал меня. Почему же Ты молчишь?

Никаким знаком не ответил Всевышний на его вопрос. Ибрагим схватился за голову и заскреб пальцами по свежевыбритому затылку. Одно подозрение хуже другого одолевали его:

— Неужели Тебе все равно, что я нарушил святые аяты у Тебя на глазах? Зачем же Ты дал их мне?

Ибрагим не мог стоять на месте, казалось, стылая почва под ним была ненадежна, как зыбучие пески. Он прошелся быстрым шагом от сарая до конюшен и обратно.

— Если я сделаю что похуже, и тогда не накажешь меня?

Ибрагиму нужно было сейчас же, немедленно опровергнуть сомнения — как угодно, даже ценой жизни. Словно он ввязался в чужой древний спор, и от него одного зависело, устоит или не устоит этот мир.

---

[1] Кибла — направление в сторону священной Каабы в Мекке.

Пусть это было во сто крат хуже, чем кинуться с утеса в озеро с жерновом на шее — он не мог ждать. Поспешно, чтобы не передумать, Ибрагим подбежал к столбу, на котором висел конский череп, оберегавший загоны с лошадьми от злых духов. Опустился перед ним на колени и, не придумав ничего другого, зашептал слова ночной молитвы истукану — вместо Аллаха.

Совершил самый тяжкий грех — и надеялся, что уж теперь небеса прольются серным дождем, разъедая его кожу, что земля разверзнется, чтобы пожрать его кости. Но ничего этого не случилось, даже язык не отсох.

— Покарай же меня! Или брезгуешь рабом Своим, как свиньей?

Он сел на черствую землю и заплакал. Богу не нужны были ни его праведность, ни его грех, ни его душа. Может быть, перед Его вечным ликом он уже был мертв или вовсе не существовал!

Ибрагим вскочил, снова уперся взглядом в небо и крикнул:

— Вот я как есть, творение Твоё, и волен Ты делать со мной все: хочешь — благослови, хочешь — прокляни, но я прямо смотрю на Тебя.

Он весь трясся в ознобе.

— Для чего Ты, безгрешный, дал мне душу, способную грешить?

Губы немели:

— Для чего обрёк мою жизнь на смерть?

Осипший голос со скрежетом скользил вверх и вниз:

— Для чего создал меня, если я не нужен Тебе?

Язык заплетался, едва успевая за дерзкими словами:

— Почему ты не говоришь? Разве даже ответа от Тебя... — ему не хватило вдоха, чтобы закончить: «я не достоин?»

Уставились два человеческих глаза в многотысячные глаза Творца — упрямо, не смыкая век. Так началась их долгая борьба. Их страшный путь друг ко другу. Недаром Шавваль зовется месяцем кочевий, когда надлежит отправляться в дорогу.

Нечестивый брат
(ноябрь 1907)

Все началось с того, как Фаррах стал брать Нахретдина с собой в пятничную мечеть. Проповеди Курбангали-имама про конец света подпалили ум мальчика.

— Лица грешников будут черны как смоль. Подобно тому, как полночная тень покрывает землю, так лица их покроет тьма, — гремел имам. Нахретдин проводил пальцами по щекам, будто мог наощупь удостовериться, что его кожа все еще светла. Потом на конной ярмарке он купит себе крохотное зеркальце, положит в льняной мешочек под рубахой и будет смотреться в него в минуты страха.

— Для безбожников уготовано неугасимое пламя. Искры от него превосходят размером верблюдов. Оно огромно, как шатер великанов, но тесно, как птичья клетка. — К этой части проповеди голос имама, надломленный криком, окончательно превращался в хрип. А сердце Нахретдина сжималось, будто в огненной ловушке.

Курбангали-имам говорил, что единственный спасительный путь в рай лежал через мост Сират, тонкий как волос и острый как меч. Удержаться на нем можно только опираясь на пять неизменных столпов: шахаду — свидетельство верности Всевышнему и Его Пророку, намаз — пятикратную молитву, уразу — пост в священный месяц Рамадан, закят — налог в пользу бедных мусульман, — и хадж —

паломничество в Мекку. Исполнять эти пять требований необходимо в состоянии тахарата — чистоты тела, поступков и помыслов. Без нее любой намаз, пост и паломничество будут напрасны, все равно что не исполнены.

Нахретдин неистово соблюдал тахарат. Он мылся по десять раз на дню, непрестанно проговаривал про себя молитвы, чтобы ни одна греховная мысль не проскочила. И украдкой гляделся в зеркальце.

На беду, осквернение таилось даже в безобидных вещах. Сколько он ни берегся — совершал неожиданные промахи. Все осложнялось тем, что ни отец, ни хальфы, ни сам Курбангали-имам не могли дать ему полный список спасительных заповедей. Заезжие учителя и странствующие дервиши сообщали всё новые правила, противореча друг другу. Даже для такого простого дела, как отправление малой нужды, не было единого предписания. Одни говорили, что подмывание нечистых частей тела водой — истинджу — можно иногда заменять истиджмаром — подтираться песком или сеном, как делали во времена Пророка. Другие считали это допустимым в пустыне, но не в демских краях, где вода повсюду — бери ее сколько угодно. Потому Нахретдин решил сделаться законоведом — факихом, чтобы самому усвоить все заповеди и в точности знать, что можно, а чего нельзя.

Краткий покой он испытывал только во время молитвы: перед началом ракаата[1] его душу переполнял священный жар. Как растопленное золото, он вытекал изо рта и звоном застывал в воздухе. Тогда Нахретдин чувствовал почти счастье.

В одну из таких минут его услышал мулла Яны-Яппаровской мечети Сафуан Якшигулов, герой Порт-Артура, приехавший погостить в родное Ильсегулово. Принимая у себя бывшего соседа, Фаррах нарочно попросил Нахретдина прочесть дуа[2] перед трапезой. Ему захотелось похвастаться перед гостем: «Пусть знает, что и мы не так просты, с арбы не стряхнешь!»

Сафуана-хазрета растрогало пение Нахретдина. Он удивился, откуда у этого мальчика из захолустья такое чистое арабское произношение, такая сила смирения в голосе. Якшигулов уговорил Фарраха отдать сына ему в ученики: мол, в большом хозяйстве нужен хоть один хорошо образованный человек, а у Нахретдина большие задатки.

Так Нахретдин, ни о чем не подозревая, целиком переменил свою судьбу. С того дня ему больше не было суждено наследовать делу отца, но и слава почтенного законоведа, какую он рисовал в своих мечтах, его тоже не ждала.

Вся беда заключалась в том, что Сафуан-хазрет, мулла из уважаемого рода и участник русско-японской войны, оказался одним из джадидов, новых учителей, которые насаждали в своих мечетях дерзкие порядки и смущали народ. Попав к нему, Нахретдин угодил в водоворот, что закружился задолго до его рождения и грозил унести его совсем не туда, куда тому бы хотелось.

Вместе с будущим Нахретдина изменилось и его прошлое. Адам, Идрис и Нух уже не возглавляли его шежере. Отныне первым в его родословной было имя просветителя Курсави. К концу восемнадцатого столетия, когда родился богослов, исламский мир Средней Азии, Поволжья и Урала крепко увяз в схоластическом болоте, как Европа позднего Средневековья. Золотой век Арабского халифата с открытиями в математике, астрономии и медицине остался в далеком прошлом. Ученым и философам отводился только душный закуток тафсира — толкований Корана, и даже в нем не дозволялось

[1] Ракаат — порядок слов и действий, составляющих молитву.

[2] Дуа — обращение к Аллаху, молитва, которая совершается помимо намаза в любое время.

выходить за рамки средневековых учений. А суды шариата в мракобесии едва ли уступали инквизиции. И вдруг некий татарский богослов-выскочка, объявившийся в Бухаре, позволил себе открыто провозглашать право каждого самому познавать божественный закон и природу. Его учение наделало много шума в Туркестане. Подобно Галилею, Курсави под страхом казни отказался от своих убеждений. Его сочинения были преданы огню, а имя — анафеме: эмир Хайдар издал фетву[1], по которой высказывания Курсави объявлялись вероотступническими. Но трещина раскола уже побежала по ветхой стене мусульманской ортодоксии, и к началу двадцатого века выросла в исламскую реформацию.

Исмаил Гаспринский — второй человек, который переписал судьбу Нахретдина и еще тысяч юношей, рожденных на рубеже веков. Его имя значило для мусульман России то же, что имя Лютера для христиан Европы. Если немецкий реформатор рано избрал духовное поприще и шел по нему путем откровения, то Гаспринский, сын татарского дворянина, служившего военным переводчиком у князя Воронцова, грезил о карьере офицера, на худой конец — чиновника. Дорогу к цели он прокладывал через ведущие учебные заведения — второй Московский кадетский корпус, потом Парижскую Сорбонну. В Москве Исмаил-бей сблизился со славянофилом Михаилом Катковым. Общение с кружком панславистов своеобразно на него повлияло: от татарского национализма Гаспринский перешел к проекту тюркско-славянского союза в противовес Европе и Китаю. Вернувшись в родной Крым, он основал газету «Тарджиман», где развивал свои идеи и надеялся этим послужить своему народу.

Все же не столько эта газета принесла ему славу величайшего исламского реформатора от Поволжья до Туркестана и Персии. Как и Лютер, он сделал главный священный текст своей религии доступным для верующих. При этом он не мог просто перевести его на национальные языки, подобно европейским протестантам. Коран для мусульман — не просто богодухновенный текст, а прямое высказывание Всевышнего, только его оригинал годится для богослужений и молитвы. Гаспринский решил задачу, придумав новый метод обучения арабской грамоте — усул-и джадид. Отсюда пошло прозвище исламских реформаторов — джадиды.

Старый метод был неудобен и тяжел. Учеба по нему длилась долго и ничего не давала. В головах выпускников оставалась мешанина из отдельных догматов, предписаний и запретов, поэтому им казалось надежнее полагаться на местные придания и обычаи.

По новому методу ученики осваивали правила чтения за полтора месяца и сразу приступали к Корану и Сунне. Помимо арабского в новометодных медресе тщательно преподавались основы вероучения, фикх, философия, логика и история ислама. Джадиды сами составляли многие пособия — сжато, понятно, не отвлекаясь от задач предмета. Шакирды прогрессивных медресе разбирались в богословских вопросах куда лучше старых мулл.

Как лидеры Реформации мечтали о чистоте раннего христианства, так и джадиды хотели вернуться к вере времен Пророка. Но по сути ни одно из этих движений не было возвратом, а шагом вперед. Протестанты провозгласили гуманистические ценности и сформировали новое общество буржуа, и джадиды внесли в ислам либеральные принципы и создали новую среду — городских служащих. Не зря они ввели в своих

[1] Фетва — решение, предписание по религиозно-правовому вопросу, выносимое авторитетным мусульманским деятелем.

медресе и светские дисциплины — родной и русский языки, математику, историю, географию, химию, физику. Оттого мусульманские промышленники и купцы охотно жертвовали капиталы на новые медресе — им были нужны образованные работники.

Успех джадидов был быстрым и ошеломительным. Новометодные начальные школы — мектебы и старшие — медресе распространились по губерниям, где жили мусульмане, открылись даже отдельные школы для девочек. К началу века крестьяне магометанского вероисповедания по числу грамотных, в том числе женщин, превзошли православных.

Консервативные муллы и шариатские судьи утратили авторитет и потому объявили новое учение опасной ересью. Они убеждали имперские власти укротить молодых выскочек, обвиняя их в пантюркистских чаяниях и намекая на угрозу государственному строю. Так началась борьба кадимистов — сторонников старых порядков — с джадидами, не столь кровавая, как между католиками и гугенотами, но не менее драматичная.

До поры Нахретдину не было до нее никакого дела — он с жадностью усваивал все, чему его учил Сафуан-хазрет, ни слова не ставя под сомнение. Жизнь в медресе давалась Нахретдину легче, чем в отцовском доме. Тут он не должен был ежечасно остерегаться нечистоты, как на конюшнях. В медресе все было свято, за что ни возьмись: книги, образцы каллиграфии, белые перья и белые листы бумаги.

А вот к требованиям хазрета он долго не мог привыкнуть. Мударрис был непостижимым человеком. Обо всем рассуждал уклончиво, не делил людей на добродетельных и порочных. На схожие проступки отвечал по-разному, не применял телесных наказаний, ко всем шакирдам относился сердечно, что казалось проявлением слабости. Нахретдин не понимал его увлечения литературой, несерьезного для такого улема[1]. Но его знания фикха были так глубоки и кристальны, что Нахретдин прощал литературные странности.

Так прошло три года, а Нахретдин, как ни старался, не успел узнать всего о законе Всевышнего. Он окончил средний класс медресе с твердым намерением продолжить учебу в игдадии — переходном классе перед высшим курсом, не доставало только согласия отца. Вместо доводов Нахретдин вез домой похвальную грамоту и подарок за отличную учебу — в тоненькой зеленой книжке поэму прославленного Мажита Гафури «Сибирская железная дорога».

Но когда он вернулся, надежды на игдадию померкли. Нахретдин и раньше приезжал к своим на каникулы, но будто был не дома, а гостил — его баловали праздничными кушаньями, щадили сон, водили по соседям похвалиться и берегли от работы. На этот раз отец чуть не с порога выделил ему свой круг обязанностей — не меньше, чем у Арслана.

Лишь теперь Нахретдин заметил, как все изменилось за время его учебы в медресе. Родные совсем увязли в ненасытном хозяйстве и забыли повеления Всевышнего. Намаз творили впопыхах, не достигнув душой умиротворенного ният[2] — лишь бы поскорее заняться своими заботами. Порой пропускали черед, восполняя полуденный и послеобеденный намаз во время вечерней молитвы. Весь день проводили в работе, чтобы вечером насытиться от трудов, а большую часть запасти впрок и отойти в пустой сон.

---

[1] Улем — авторитетный знаток шариата, в противопоставление философам и мистико-поэтическим толкователям ислама.

[2] Ният — намерение, осознанность — одно из условий для правильного совершения намаза.

От тягловой жизни отец совсем загрубел и больше походил на простого мужика, какие привозили в медресе соленых гусей или муку в уплату за обучение своих сыновей, а вовсе не на потомка башкирских тарханов. С горечью Нахретдин смотрел и на старшую мать: Алмабика потускнела, осуетилась. Все чаще она обращалась к духам огня и воды, вместо того чтобы положиться на Аллаха. Хуже того — отец не воспрещал ей.

Даже Курбангали-имам потворствовал суевериям. Тем же балиг-туылу — надо же было ему опуститься до того, чтобы объединить шахаду с поганым обрядом. К тому же всем было известно, что сыну мусульманина не нужно произносить шахаду — он рожден правоверным. Видимо, ум муллы совсем заплыл жиром, и он сам позабыл священные аяты[1]. Нахретдина передергивало всякий раз, когда старик своим харкающим говором коверкал арабские слова или произносил долгие фразы, упуская сказуемое.

Больше всего Нахретдин негодовал на младшего брата. Ибрагим превратился в исчадие пороков, в которых прозябала деревня. Необузданный, избалованный, он вздумал стяжать славу батыра из бурзянских сказок, а не благочестивого мусульманина. И такому человеку суждено было стать хозяином отцовых табунов и угодий!

Но во всем, что вдруг открылось Нахретдину, не было ничего нового. Всегда от летних работ зависело, как перезимуют люди и скот. Оттого эту пору соблюдали наравне с рамаданом — в суровом посвящении. И старики молили Всевышнего отложить их смерть до конца сезона, чтобы не тревожить семью лишними хлопотами.

Курбангали-имам твердил единственное, что помнил из курса медресе, — строки про Ахир-заман, конец света, и заповеди о грехах, вбитые в его голову крепкими подзатыльниками. Но этих знаний было достаточно, чтобы получать обильный стол: на проповеди о каре Всевышнего быстрее отзывались сердца и раскрывались кошельки прихожан. К тому же в Ильсегулово рядом с иликей-минскими вотчинниками жили непокорные бурзяне-припущенники[2]. Те упрямо соблюдали свои древние обычаи. У Курбангали-имама не было ни власти, ни желания противиться им. Потому он, как и многие муллы в башкирских аулах, придал языческим обрядам исламский смысл — к обоюдному довольству: чем больше праздников, тем больше поводов для щедрых подаяний.

Деревенская жизнь шла своим чередом. Изменился он один и уже не мог жить по-прежнему.

Потихоньку подступала зима. Про золотую грамоту, висевшую на стене отцовской половины, все давно забыли. С лета Фаррах ни разу не обмолвился о медресе. Нахретдин из последних сил старался не нарушить учтивости и не спрашивал отца о переходном классе.

На другой день после балиг-туылу, когда Фаррах подозвал его к себе и велел чистить денники иноходцев, что всегда было работой Ибрагима, Нахретдин не выдержал:

— Для того ли я учился, чтобы драить стойла за младшего брата? Уж семестр начался, а я все вожусь в нечистоте, словно какой-нибудь батрак из иноверцев.

---

[1] Аят — стих Корана.

[2] Припущенники — представители группы населения Башкирии, состоявшие из безземельных башкир, татар, чувашей, мари и других народностей, которые переселялись на землю коренных владельцев.

Фаррах так посмотрел на Нахретдина, что его язык припекся к нёбу.

— Продолжай, — потребовал он.

— Отец, умоляю, не гневайтесь. Но ведь все это Ибрагиму достанется, хоть ему и дела нет. А я-то чем проживу, не кончив курса? Хватит ли моего выдела, чтобы прокормиться?

Отец медленно огладил бороду — у него это было первым признаком ярости.

— Про выдел ты верно подметил, — сказал он с мягкой злобой. — На него тебе нечего рассчитывать. Рассуди же сам, коли дорос судить.

— Я не... — запальчиво начал Нахретдин и отступил на шаг.

— В том году снова была межевая комиссия, — продолжил Фаррах, не пуская Нахретдина говорить. — Отрезали все дальнее кочевье. И прежде нельзя было удержать кумысное дело в одиночку, теперь тем более. Вам придется трудится втроем на общей земле. Иначе с каких выпасов станете кормить свои табуны порознь? Земли и теперь не хватает: часть сена на зиму покупать приходится. Где это видано — сено покупать?! А ежели ты еще три года проучишься, совсем отстанешь от хозяйства, тогда братья тебя и в батраки не возьмут!

Нахретдин чувствовал, что самое время просить прощения и приниматься за работу, но что-то несло его вперед — огненным колесом с горы:

— К Ибрагиму я в батраки не наймусь. Плата из его шальных рук даже для закята[1] не годится — не примет Всевышний такую грязную жертву, разве в землю ее закопать. У него одна скверна на уме. Ни Аллаху он не предан, ни собственному дому. Добром это не кончится.

Фаррах был так потрясен дерзостью сына, что забыл про гнев, и Нахретдин говорил, покуда ему хватало обиды. Изложив все доводы по догматике, какие знал, он стал рассказывать про Ахир-заман. Про глас трубы Суур, от которого падут горы, истребятся звери и мертвые птицы дождем осыпятся с небес, про непреодолимый мост Сират и весы Мизан, где будут взвешены все грехи и добродетели человека. Отец слушал-слушал, теребя бороду, и вдруг усмехнулся:

— Зачем тебе учиться дальше? Ты и так готовый Курбангали-имам!

Нахретдин воскликнул:

— Как можно над этим... — и захлебнулся. Качая головой, он пошел прочь с отцовской половины.

— Берегись, сын! — сказал ему вслед Фаррах. — Судьба смеется над тем, кто не умеет смеяться над собой.

Но Нахретдин не слышал его. Он хотел поскорее добраться до Ибрагима и призвать его, наконец, к ответу. С криком «А ну, вставай!» Нахретдин распахнул загородку и отпрянул. Ибрагим не спал, он стоял, вытянув вперед руки, шаря ими перед собой. Его глаза заволокло мерзкой серой пленкой. Он подался вперед на голос Нахретдина и позвал:

— Брат, помоги! Я не вижу! Ничего не вижу!

[1] Закят — один из столпов ислама, обязательный налог с доходов и имущества в пользу нуждающихся единоверцев.

Демон Юха
(декабрь 1902 года)

«Свет очей моих! С того дня, как мы расстались, я не вижу солнца. Чем дольше живу, тем меньше верю, что тьма когда-нибудь рассеется. Не было часа, чтобы я не горевала о тебе, родной мой! Говорят, коростель свою смерть сама кличет. Так и я на все беды сама напросилась. Вине моей нет прощения. Оправдания я не ищу, но хочу, чтобы ты знал, как все вышло.

Если б только найти, с чего начать. Одно тянется за другим, как бусины в четках, — до самого детства. О нем ли сперва рассказать тебе, мой милый?

Родилась я в семье бурзянского бортевика[1] Бахтигарея Давлеткулова. Верно, до сих пор в сакмарском лесу встречают охотники деревья с нашим родовым знаком — тамгой в виде летящего дербника.

Две матери было у меня: Ханифа и Зюбейда. Какая из них доводилась мне кровной — не знаю. С виду их не различить: на лицо похожие, ровесницы, платья одинаковые, из одного отреза сшитые. Сами они отделяли только сыновей, а дочери были им все равно что чужие — не для своего, для мужнего хозяйства растут.

Жили мы в достатке. Бортей у отца было много. До самого Троицка славился давлеткуловский мед, его ценили дороже пасечного. Отец мой, как и я, был младшим ребенком, потому взял за себя хозяйство деда, когда тот отошел от него по старости. И лошадьми владел, и другим скотом. Словом, не переводились в нашем доме молоко и мед.

Моя деревня звалась Исяново. Старый сэсэн[2] Юлдаш говорил: давным-давно основал ее батыр Исян из Янсары. Его аул сожгли дотла вместе со стариками, женами и малолетними детьми за то, что наш род восстал против злой императрицы Лисаветы. Место прежней деревни нам Юлдаш указывал и примету ее поведал: "Коли раздастся на пустыре тонкий детский плач — быть беде". Но лишь Юлдаш забредал туда по прихоти своей одинокой души, а мы на ту угрюмую сторону не захаживали.

Само Исяново росло на приютном пологом берегу Талкаса. Ох, видел бы ты, что за великан-озеро наш Талкас! Только с морем ему равняться. Одним взглядом не охватишь, а вода синяя, будто из неба вычерпана.

Легка и привольна была бы моя жизнь в том краю, родись я мальчиком. Достались бы мне и лошади, и борти, и свобода. Но кроме сундука для приданого, ничего в доме мне не принадлежало. Была я с младенчества просватана за рябого Сяитбая, сына богача Янмурзы из соседней деревни, ему отец поручился передать меня, как минует мне пятнадцать.

До поры я не думала про жениха. Я не была прилежна, как сестры, что улучали каждую минуту для шитья и наполняли понемногу свои свадебные сундуки. Зато не отставала от братьев по шалости: лазила до бортей, вела коня галопом — не хуже своего погодки Кагармана.

Отец не бранил меня. Смеясь, говорил, будто я похожа на богатыря-девицу Барсынхылу, что поборола сватавшихся к ней батыров. Но матери точили его:

---

[1] Бортевик — человек, занимающийся бортевым пчеловодством — старейшим промыслом меда, при котором пчелы живут в дуплах деревьев — бортях.

[2] Сэсэн — народный сказитель и поэт, весьма почитаемый в башкирской среде. Конфликт между башкирскими родами часто разрешался состязанием сэсэнов — победа поэта означала победу его рода.

— Смотри, дохвалишься, и вправду жениха отвадишь!

С пяти лет матери приучали меня к работам, а я сбегала к мальчишкам. Тогда придумали другое средство укротить мой нрав: приставили смотреть за бабушкой, олэсэй, — старшей женой деда. Она перешла ему по левирату[1] от покойного брата, единственная из четырех дедовых жен дожила до старости и оставалась при нем, как порча.

Однажды рассказал мне Кагарман, что олэсэй вовсе не человек, а демон Юха, который обернулся женщиной. Выпила она кровь из первого мужа, потом из второго и так добралась до младшего брата. Да дед наш оказался крепок, пришлось ей довольствоваться тремя его молодыми женами. Кагарман подсмотрел, как ночью олэсэй сбрасывает тонкую человечью кожу и ползет к стоячей заводи Талкаса — утолить жажду болотной водой.

Рядом с олэсэй мне жилось душно и мрачно, будто в погребе. То ли ее нары были в самом темном углу женской половины, то ли при ней меркли лучи солнца. Гулять она не любила, и обычно дальше бани не ступала. Дни напролет сидела на перине и требовала, чтобы я носила ей сладости и развлекала песнями. Необъятный живот уходил у нее за спину, маленькие ручки сложены на широком уступе груди, пухлое лицо запрокинуто. Вокруг нее вился гнилой дух — сколько ни мой ее, не выгонишь тухлый пот из бесчисленных складок. Говорила она двумя разными голосами: один — обыкновенный старушечий, визгливый, а второй — низкий, загробный, как глухое гудение выпи.

Как же я боялась ее! Ходила с оглядкой: вдруг она за моей спиной обернется демоном. Переодевала и мыла, зажмурившись, чтобы не увидеть блеск чешуи сквозь кожу или жабры под мышками. Каждую ее прихоть исполняла, не мешкая. Но угодить ей было нельзя, хоть пол косами мети.

— Постой, дрянная девчонка! — грозилась она, и ее грудь басовито ухала. — Недолго тебе баловать, в мужнем доме света белого не взвидишь.

Так страшны были ее рассказы о замужестве, что я не надеялась найти в нем избавление. Олэсэй была лишь демоном-привратником у той пещеры, где сгинет всякая невеста. Там я буду совсем одна — без братьев и отца, никто не защитит меня от лютой власти мужа. Единственный исход — могила.

Год за годом изводила меня олэсэй. Я худела и чахла, будто и вправду она меня обескровила.

Что бы сталось со мной, если бы не Фатанат-ханум? Это имя я храню в сердце рядом с твоим. Она сделала для меня больше отца и обеих матерей. Фатанат-ханум была женой указного муллы, назначенного к нам из Троицка вместо покойного Мухамедьяр-хазрета. Лет семь мне было, когда они приехали.

В то осеннее утро вся деревня от старейшин до мальчишек отправилась к мечети выведать, каков собой новый мулла, тощ или упитан, суров или податлив, ну и самим показаться. Женщинам не терпелось хоть издали примериться к абыстай[2]: утвердится ли она среди наших почтенных старух, заведет ли свои порядки на женских посиделках, куда направит девичье воспитание.

Кажется, в Исяново опустели все дворы, только я и олэсэй остались дома. Я ждала, что матери и сестры перескажут мне все. Но они вернулись недовольные, надутые, словом со мной не перекинулись.

---

[1] Левират — брачный обычай, по которому вдова была обязана вступить в брак с младшим братом умершего мужа.

[2] Абыстай — жена муллы.

После закатного намаза отец вдруг вызвался поить олэсэй чаем. Затевался важный разговор. Я спряталась за занавеску. Сперва отец говорил о скучном: что новый мулла не по годам мудр и хорошо обучен закону — недаром окончил медресе знаменитого Зайнуллы-ишана бин Расул. Сказал, что старейшины приняли муллу. А потом я ушам не поверила: абыстай открывает при мектебе класс для девочек, и отец желает послать меня учиться. Сердце мое затрепыхалось рыбой на мелководье — возможно ли это? Но тут загудел демон Юха — олэсэй напустилась на отца:

— К чему девчонке учиться? Лучшая грамота женщины — покорность мужу!

Хоть бы раз ответил ей отец, как матерям: «Угомонитесь! Как сказал, так и будет!» Но он промолчал.

Лучше б мне вовсе не знать про абыстай, чем понадеяться напрасно. Густая горечь, вроде ржаного мякиша, застряла у меня в глотке и росла, росла. Ночью совсем прижало: ни сглотнуть, ни вздохнуть глубоко. Задремала я только к рассветной молитве, когда олэсэй стала тыкать меня в бок своим железным пальцем:

— Вставай, Сурур, неси мне кумган умываться!

Как успела она проснуться раньше меня? Пока я согрела воды, олэсэй разъярилась и давай меня ругать. А комок так и сидит в моем горле, так и набухает.

— А ну скорей, чего возишься? Проклянет тебя муж за лень! — басила олэсэй и брызгала на меня ядовитой слюной, пока я ее подмывала.

И тут комок в горле лопнул:

— Ах так! — я швырнула кумган в сторону, взялась обеими руками за ушат с водой и окатила олэсэй с головы до ног — и ее жиром смазанную голову, и тело в парчовом халате, даже на подушки попало.

Бросила пустую кадку, сорвала с жерди камзол и платок, надела ката[1] и убежала из избы. Бегу за сараями, за огородами. Бегу и думаю: куда бегу? Что теперь? После такого мне не то что учебы — жизни не будет.

И все же я бежала прямиком к абыстай. Само это слово всегда звучало строго и по-стариковски: властный голос, гневные морщины над переносицей, два длинных седых волоса, торчащие из бородавки под носом, — такой была жена прежнего муллы. А какой окажется нынешняя? Смогу ли я найти в ней защиту?

Я спряталась за дровяником мечети, присела там, пока другие ученицы не покажутся. От холода и тревоги мне приспичило по малой нужде, но у мечети не сходишь — нельзя, и уйти нельзя. Наконец, Манзура, Галиябану, Рауза, Гулькей и еще четыре девочки с другого берега Талкаса пришли со своими братьями. Мальчишек позвали в мектеб, а девочек проводили в дом самого муллы. Когда двор опустел, я прокралась в сени и встала рядом с подругами, будто и меня брат привел. Стою, раскачиваюсь — так легче терпится.

И вдруг выходит к нам Она! Молодая женщина сказочной красоты — как дочь небесного Самрау, дева-птица Хумай, предвестница счастья. Я подумала, не во сне ли все это происходит. Платье у нее татарское — с оборками на рукавах и широкой юбкой, даже слегка зауженное на талии. Плечи покрыты турецкой шалью. На макушке крохотная узорная тюбетейка, как фарфоровая чашечка, под легким кружевным платком. Никак не верилось, что абыстай может быть такой.

Она сказала голосом неожиданно сильным и звучным, что величать ее Фатанат-ханум и она будет учить нас грамоте. Мы поклонились и вошли. Посреди комнаты стояли нары — незастеленные, на длинных ногах, а по обеим сторонам — лавки.

---

[1] Ката — традиционная башкирская кожаная обувь с суконным или войлочным голенищем.

— Садитесь, — она кивнула на лавки, мы сели у нар и руки на них сложили, как абыстай показала — непривычно, чудно.

По нужде мне хотелось все сильнее. Отпроситься и выйти из избы боюсь, вдруг отец явится к мулле искать меня — найдет и накажет, а тут, при абыстай, он не даст волю гневу.

Я и правда скоро увидела его в окне, он обогнул двор и скрылся за воротами мечети. Я спряталась под большие нары. Сижу, шаровары нагрелись, жар пошел по ногам до щиколоток, сбежал вниз и закапал по доскам. Не утерпела!

Как же мне захотелось умереть в ту самую минуту, не просто умереть — начисто исчезнуть! Сейчас Она все это увидит и мулла, и отец, и мои подруги. Что будет, даже представить нельзя.

Стала я кое-как утирать подолом пол, но налило много. Фатанат-ханум меж тем раздала девочкам книги, в последнюю очередь подошла ко мне. Все. Позор мне, и через меня моей семье и целому роду. Вся округа будет издеваться хуже, чем над прокаженными.

Фатанат-ханум присела рядом. Ни гнева, ни усмешки не было в ее глазах. Они наполнились жалостью. Она скинула свою шаль и укрыла меня.

— Ничего! Ничего! Пойдем, — прошептала и громко добавила. — Откройте книги, девочки, полистайте!

Отвела меня в смежную комнату. Тем временем голос отца стих, в избу к мулле он зайти не решился.

За шаршау на женской половине абыстай усадила меня на перину, достала чистое платье, такое же дивное, что было на ней, из синего атласа, и еще шаровары — невиданного богатства, из сплошного белого ситца.

— С каждым может случиться! Все хорошо, девочка моя. Как тебя зовут?

— Биби Назира Гюльджамиля Сахиб Сурур, — заикаясь выговорила я. — А кличут Сурур.

— Вот, Сурур, держи! — она протянула мне одежду и нежно коснулась моего плеча. — Ничего не бойся, слышишь?

Никто никогда так со мной не говорил. Будто в эту минуту я ступила из темного безвременья в божий свет и начала жить. Она повторила твердо, заглянув в мои глаза:

— Ничего не бойся, Сурур!

Вдохнула я глубже нового воздуха. Небесно-переливчатые складки подаренного платья пахли душицей».

Изгнание духов
(ноябрь 1907 года)

Ночь раскрошилась и осыпалась, будто ее вовсе не было. Сладко пыхтела в чугунке пшенная каша, щелкали лепешки в масле, самовар выпускал пряный пар. За загородкой, где спали Арслан с женой, слышался писк младенца и пришептывание старшей матери. Опять Муслима не сумела успокоить свою Шамсию. Младшая мать цокала:

— Долго ли будут на тебе пахать, Алмабика? Пора бы им съезжать и своими силами управляться.

Давно стояла новая изба на выделенном Арслану углу двора. Но Муслима зачала сразу после первой свадьбы на стороне невесты, в Ильсегулово Арслан привез ее уже

тяжелой. Старшая мать оставила ее под своим присмотром, чтобы духи пустого дома не навредили беременности и не вселились в новорожденного.

— Урус кукла матрюшка! Брали одну, а из нее вторая вылупилась, — не унималась младшая мать. — Какой прок от девочки! Вскормишь ее, а она чужому хозяйству достанется! В семье и так столько лишних ртов, а батыров — раз-два и обчелся! Никакой не будет Фарраху помощи!

Ибрагим понял, что проспал молитву и опоздал к работе. Он поспешил открыть глаза. Но это простое движение ему не далось. Так и сяк он старался, напрягал и морщил лоб, но глаза не открывались. Ибрагим потер лицо. Веки крепко прилипли друг к другу, будто спаянные сургучом.

— Ослеп! — прошептал он, вспомнив, наконец, что приключилось с ним вчера. — Что я, безумный, наделал! Что наговорил! Лучше бы срослись мои уста!

Он тут же ударил себя по губам, боясь, что Аллах исполнит и это. На миг он обрадовался: «Все-таки Он покарал меня!» Но потом на него снова нашел страх:

— А если в наказание Он навеки лишил меня глаз?

Ибрагим сел на нарах, в теле совсем не было твердости, словно из него вынули все кости. Оставаться на месте отчего-то было жутко. Он оперся на подушку и опустил босые ноги на жесткий ворс кошмы. Выйти к женщинам в исподнем нельзя. Руки тщетно метались в пустоте, пытаясь нащупать жердь, на которую он вчера бросил верхние шаровары и камзол.

Вдруг женщины у печи переполошились, тяжелые шаги приблизились к нарам Ибрагима.

— А ну, вставай! — крикнул Нахретдин. Ибрагим пошел на его голос, крича:

— Брат, помоги! Я не вижу! Ничего не вижу!

Нахретдин не ответил. Кто-то взял Ибрагима за руку. Повеяло мягким сыром и медом — он узнал запах, которым дышал с рождения, и понял, что рядом старшая мать.

— Аллах запечатал мои глаза! — воскликнул Ибрагим. — Я ослеп.

Алмабика провела пальцами по его векам и сказала:

— Эй, трехлетка-жеребенок ты мой, дунэн-баш! Не возводи на Аллаха напраслину. Вовсе ты не ослеп! То обыкновенная глазная болезнь.

Ибрагиму хотелось поверить ей, но ее утешение, ее объятия остались в недостижимом видимом мире, где еще пребывало тело Ибрагима, а его душа крепко увязала во мраке.

Вошел Фаррах. Нахретдин воскликнул:

— Что я говорил? До чего он докатился, если Всевышний покарал его в первый же день!

Фаррах молчал. Не видя его, Ибрагим догадывался, что отец поглаживает бороду, глаза его сурово глядят из-под тяжелых бровей, бритая голова раскалилась докрасна.

— Сынок, что ты наговариваешь на брата! — сокрушенно лепетала Алмабика, пряча Ибрагима за своей спиной. — За что Всевышнему его наказывать? Ведь от шахады дня не прошло, когда он успел столько нагрешить? Верно, сглаз это. Кто-то из соседей позавидовал.

— Готовьте трапезу, я пойду за муллой, — приказал наконец Фаррах. Ибрагим больше слепоты испугался, что придется рассказать Курбангали-имаму о своем грехе.

Как и вчера, его попарили, начисто омыли, наново обрили голову, обрядили в чистую рубаху, шерстяные шаровары и бархатный камзол. Отвели на отцовскую половину дома. Он поклонился в сторону голосов — вместе с муллой молиться об

исцелении пришли молодые задиристые хальфа из школы при мечети, что обучали Ибрагима затрещинами и издевками. Ему не хотелось показываться перед ними больным, но после бани он разварился, ослаб, и на стыд сил не осталось. Его уложили в центр круга, как жертвенную овцу на Курбан-байрам — оставалось только связать руки-ноги, повернуть на правый бок и рассечь артерию.

Курбангали-имам принялся читать молитвы. Он выбрал самые зловещие аяты — словно не молитву произносил, а приговор. Хальфы вторили имаму осуждающим хором. Начинали фразу шепотом, постепенно распевались в полный голос и завершали резким, как удар, окриком. С самого зачина Ибрагим старался подготовиться к этому окрику, но все равно каждый раз вздрагивал.

— Смотрите! Как он дергается! — кликнул старший хальфа. — Шайтаны в нем забеспокоились! Дрожат!

Хальфы стиснули запястья Ибрагима, прижали к нарам.

— Альхамдулиллах — вся хвала Всевышнему! — завопила тьма. Ибрагим почувствовал над собой приторное дыхание. Следом со всех сторон раздалось харканье, и в лицо Ибрагима полетели плевки.

Обряд совсем не походил на врачевание. Ибрагим решил, что Курбангали-имам проведал о его грехе и покрывает его позором. Сейчас его поднимут, поволокут за деревню, как свинью, бросят в овраг с нечистотами. И поделом! А ведь только вчера он принимал от них поздравления — впервые сидел с ними за трапезой в этой самой комнате. Что же он наделал! Будь у него глаза, он бы заплакал, но оставалось только сухо скулить.

Снова читали и плевали. Ибрагим уже не мог различить слов, мрак обернулся гудящим хором, из которого нельзя выбраться. Кто-то держал его за руки и за ноги и раскачивал над землей, зловонная слюна растекалась по лицу.

— Открой же глаза! — приказал хриплый рык над ним, и его бросили вниз. Он летел, ударяясь плечами, коленями, локтями о камни, пока не оказался на дне оврага. Чьи-то когти оцарапали ему спину, вонзились в веки — не иначе волки терзают его труп.

Он вскрикнул и очнулся весь в поту.

— Видать, большой грех на нем, — сказал Курбангали-имам откуда-то издалека. — Не ходил ли он в заброшенную избу Аткула делать дурное? Может, как раз там вселился в него джинн? Завтра на рассвете поведите его на вершину Нарыстау к могилам святых сахабов — сподвижников Пророка. А после омойте лицо водой из источника Изге Гали — прямо там, у подножия горы.

Отец поблагодарил муллу, велел Нахретдину увести больного и подавать еду. Ибрагим был не в силах встать. Фарраху пришлось его нести и укладывать в постель.

Наутро его, горячего и слабого, подняли и нарядили для паломничества на гору. Одежда горько пахла дымом — Алмабика прокалила ее над очагом, чтобы выкурить духов болезни. Положив подаренный намазлык Ибрагиму под мышку, отец передал его в руки Нахретдина.

Они вышли на двор. И тут темница Ибрагима преобразилась — чернота сменилась красным светом утробы. Ибрагим обрадовался — значит, тьма не всесильна. С воодушевлением он совершил восхождение и молился у могильных камней Зубаира ибн Заита и Абдуррахмана ибн Зубаира, которые первыми принесли ислам на Урал. Спустились к святому источнику.

Фаррах несколько раз зачерпывал воду, бьющую из-под камней, брызгал на веки, но глаза Ибрагима так и не прозрели.

Сафуан-хазрет
(январь 1908 года)

— Но я поймал его с поличным! Правда! — возражал Нахретдин, не замечая, что почти кричит.

— У каждого человека своя правда, а истина у одного Всевышнего. Оставь Ему суд. А мне позволь разобраться в своем медресе, — ответил Сафуан-хазрет и послал Биктимера за Юмагужой.

Нахретдин не покинул кабинета мудира[1], а вернулся на свое место и сделал вид, что работает. От нетерпения он процарапал лист сухим пером, опомнился и обмакнул его в чернила. Он все терял нужную строку и не мог дописать фразы, с тревогой оглядываясь на дверь. Будто с наказанием Юмагужи должны были разрешиться его собственные неприятности, которые тянулись с самого приезда в медресе.

Младшие шакирды встретили его криками: «Бардадым[2] прикатился! Долгай!» и с гиканьем кинулись врассыпную. Еще никто не смел открыто обзывать его. Нахретдин и правда был долговязым, как все в их роду, выше остальных учеников, отчего казался старше. Двадцатитрехлетний толстяк Кузякбай, сын помещика Биккулова, без толку сидевший в медресе больше десяти лет, и тот смотрелся рядом с ним пузатым ребенком.

Бардадымом его прозвали не только из-за роста. Год назад его впервые избрали старостой медресе — казыем. За дисциплину он взялся ревностно. Везде завел своих наушников и урядников. На какие ухищрения они только ни шли, желая угодить Нахретдину: подливали тухлые яйца в медовуху, припрятанную в подполе среди припасов, мочились на курево, раздобытое шакирдами у русских. Нахретдин попускал их проделки, лишь бы никто не был навеселе по четвергам и не дышал гадким дымом неверных.

Но в этом году все переменилось. На выборах казыя ни один шакирд не назвал его имя. Помалкивали даже его приспешники. Все, будто сговорившись, предлагали Кузякбая. И вот толстяка посадили на белую кошму и с трудом подняли четыре самых крепких шакирда, а другие принялись с усердием испытывать нового старосту щипками и затрещинами. Нахретдин не участвовал в церемонии, встал в стороне и не без удовольствия наблюдал, как Кузякбай раскис и взмолился о пощаде.

Дальше хуже. С Нахретдином перестали разговаривать, дразнили самыми грязными прозвищами. Могла быть только одна причина всем его злоключениям: в медресе наверняка прознали про внезапную слепоту Ибрагима в наказание за тяжелый грех, и тень братова позора легла на него. Хотя перед дорогой Нахретдин совершил многократный гусуль, чтобы очиститься от скверны Ибрагима, к которому ему пришлось прикасаться, и прочел дуа, но, видно, дурная весть разносится быстрее, чем долетает до Всевышнего человеческая молитва.

По ехидству судьбы та самая болезнь брата позволила ему вернуться в медресе. Фаррах, напуганный тем, что сделалось с Ибрагимом по слову Нахретдина, поверил в пророческий дар сына и поспешил отпустить его от греха подальше. Если бы Нахретдин знал, как его встретят в медресе, он бы не стал торопиться с отъездом, дождался бы, пока слухи улягутся.

---

[1] Мудир — директор медресе и его главный преподаватель, определяющий учебную программу.

[2] Бардадым — король трефовой масти, верзила, также жердяй.

Днем Нахретдин находил утешение в учебе, но вечера в общей комнате с предавшими его приятелями были невыносимы. Он не мог забыться ни за чтением, ни за повторением выученных аятов. Постылые голоса ежеминутно отвлекали его, в них все время приходилось вслушиваться: вдруг говорят о нем. Нахретдин ненавидел запахи, особенно горький пот Юмагужи — его бывшего поверенного, который до сих пор спал на соседних нарах.

В одну из бессонных ночей Нахретдин услышал, как тот встал, тихо откинул дверцу в подпол, где шакирды хранили еду, привезенную из дома, и спрыгнул вниз. Жевал он сухо, едва различимо, а глотал с зычным стуком — как бывает второпях и по жадности. «Ворует», — догадался Нахретдин. После того как Юмагужа отказался от его покровительства, подкармливать сына нищего кустаря стало некому. На одной похлебке, которую давали шакирдам в обед, далеко не уедешь. Съестное учащимся посылали с оказией из дома. Один Юмагужа не получал ничего. Прежде Нахретдин его подкармливал. Кузякбай же был хоть и богаче, да скупее. Теперь Юмагужа перебивался корками и запивал пустым кипятком.

Нахретдин не пошел с жалобой к казыю, как того требовал порядок. Он обратился сразу к Сафуану-хазрету. Увидев Нахретдина в кабинете мудира, взъерошенный Юмагужа замедлил ход и замялся на пороге. Таким же ощипанным воробьем он полтора года назад пришел в медресе — пешком из усерганского аула. Нахретдин первым напоил его чаем и оторвал кусок калача, припрятанного с воскресной ярмарки. Они проговорили весь вечер. Тогда Нахретдин, упиваясь порывом щедрости, принял ее за горячее, как чай, единодушие. Ничего общего не было между ним и Юмагужой, который по дворняжьей привычке служил тому, кто подаст первым.

Вспомнив те минуты, Нахретдин вдруг сжалился: у него никогда не было настоящего друга. Он стал соображать, не поздно ли сейчас поправить дело. Мысленно бросился к двери, закрыл спиной Юмагужу: «Простите, хазрет, я обознался! Мне показалось!» Но его тело продолжало оставаться на месте.

— Бардадым надел красные штаны! — злобно шепнул Юмагужа в его сторону, намекая на донос.

— Посмотрим, что ты после скажешь! — тут же огрызнулся Нахретдин и обрадовался, что усидел.

— Что же ты стал? Входи! — приказал Сафуан-хазрет. Нахретдину мудир велел удалиться.

Он вышел нехотя — боялся, что в его отсутствие Юмагужа как-нибудь выкрутится. Но решение Сафуана-хазрета превзошло даже эти страхи. Вместо того чтобы отчислить Юмагужу из медресе, мудир распорядился отдавать ему часть еды со своего стола.

Нахретдина будто прилюдно выпороли. Несколько дней он ходил отягощенный непомерной ношей гнева. Ему казалось, что на его плечи водрузили мировые весы справедливости, и он усилием воли должен удерживать их в равновесии. Ему стоило большого труда не высказать учителю своего возмущения при свидетелях. Нужно было ждать удобного случая для разговора с мудиром наедине.

Такой час наступил к концу недели после полуденной молитвы и трапезы, когда Нахретдин переписывал книги в кабинете Сафуана-хазрета. Мудир чаще всего поручал эту работу ему: со старыми томами он обращался бережно, внимательно вычитывал текст и почти не допускал ошибок. Потом учитель давал его рукопись как образец каллиграфии другим шакирдам.

Нахретдин любил сидеть в этом светлом кабинете с необычной тонкой мебелью.

Скрипело перо, учитель мягко перелистывал страницы, бисерно тикали часы на стене. Каждый шорох звучал здесь так вкрадчиво, что у Нахретдина по спине бегали мурашки. В такие минуты он имел право без церемоний обращаться к Сафуану-хазрету за пояснениями. И Нахретдин пользовался этим правом, чтобы задать свой, давно занимавший его вопрос о Сунне. Мудир вдохновенно и более подробно, чем на занятии, объяснял ему трудные места. Его арабская речь бежала чистой проточной водой, касалась сердца Нахретдина, как нежданная ласка.

В этот раз Сафуан-хазрет был занят чтением. За окном пошел крупный снег, в кабинете стало особенно уютно. Нахретдин почти забыл о Юмагуже. Но том Ибн Касира, который он нарочно взял вместо незавершенного учебника по арабской морфологии, тяжелым долгом лежал перед ним. Он глубоко вздохнул, открыл толкование тридцать восьмого аята Корана о воровстве и печально посмотрел в сторону мудира.

— О учитель! У меня вопрос. В Сахихе от Абу Хурайры сказано: «Да проклянёт Аллах вора, которому...» Что там дальше — не разберу?

Сафуан-хазрет удивленно глянул на него поверх газеты и прочел наизусть:

— «...отрубили руку за воровство яйца, или за воровство веревки», — он слегка поморщился, будто эти слова были слишком кислыми на вкус, сложил в четверть большие листы и отставил их. — Что же ты замолчал, Нахретдин?

Сафуан-хазрет потер лоб. Лицо его сделалось таким уставшим, что Нахретдин смутился и не знал, как продолжить.

— Ладно, не трудись объяснять. Знаю, к чему ты клонишь. Тебе кажется неправильным, что я не наказал Юмагужу?

— Как я осмелюсь называть ваши поступки неправильными, Сафуан-хазрет! — ответил Нахретдин с вызовом. — Я только подумал, вдруг Юмагужа сумел оправдаться. И хотел предостеречь Вас. Не верьте его словам, ведь я поймал его чуть не за руку!

— Разве? Ты же сам говорил, была ночь, ты ничего не видел, только слышал. И никого не разбудил, чтобы засвидетельствовать кражу.

— Я не хотел устраивать шумиху. Она бы вам навредила. И без того в округе недовольны вашими методами.

Сафуан-хазрет усмехнулся на это. Нахретдин воскликнул:

— Неужели вы думаете, что я вру?

— Вовсе нет. Но для наказания не хватает доказательств.

Нахретдин вздохнул с притворной досадой:

— Да, тут я оплошал, — его голос исполнился злости. — В следующий раз перебужу всех, чтобы не было недостатка в свидетелях.

Нахретдин сам испугался своих слов и добавил как можно мягче:

— Но зачем вы кормите его? Пока Юмагужа ест с вашего стола, он вряд ли станет красть. Так мы его не поймаем.

— Ты сам ответил на свой вопрос.

— Разве по шариату грех можно оставлять безнаказанным?

Выпалив последнюю фразу, Нахретдин осознал: этим разговором он нарушал один из хадисов[1] Тирмизи[2] о необходимости оказывать почтение старшим. Учитель посмотрел на него с любопытством, будто впервые видел.

---

[1] Хадис — предание о словах и действиях пророка Мухаммада, которое регламентирует жизнь и поведение мусульман. Совокупность хадисов называется Сунной — это вторая по значению книга для мусульман после Корана. Хадисы были записаны сподвижниками Мухаммада.

[2] Тирмизи — Джами ат-Тирмизи, один из шести авторитетных сборников хадисов, составленный исламским богословом Абу Исой ат-Тирмизи.

— Хочешь учить меня шариату? Изволь сначала усвоить его основы. Знаешь ли ты, что сказано у Малика ибн Анаса? «Украденная вещь должна стоить не менее четверти динара или трех дирхемов. Если вор украл менее ценную вещь, то ему не полагается отсекать руку». Можешь назвать точную цену еды, которую Юмагужа успел съесть?

Нахретдин уставился в пол. Сафуан-хазрет вдруг смягчился:

— Оставим толкования. Важна не буква закона, но его суть. Суть же в том, что Аллах милостив. Может ли лекарь вылечить больного, не установив диагноз? Ибо на каждую болезнь требуется свое средство. Так и тут. Грех Юмагужи не в дурной склонности его натуры, а в голоде. Устраню ли я причину его греха, отрубив ему руку? Напротив. Я лишу его способности заработать на пропитание и, оставшись без правой руки, он украдет левой. Если же я накормлю его и наставлю в учительском ремесле, то из него выйдет усердный хальфа, как и ты.

Нахретдин вспыхнул: «За что Сафуан-хазрет жалеет подлого преступника? Да еще и равняет с ним меня!» Уши его налились густым пульсирующим шумом. Он вскочил, ударившись о столешницу, звякнуло и покатилось перо, упала чернильница.

— Как Вы можете толковать фикх в какую угодно сторону! — выпалил Нахретдин. Его голос звенел, словно падая в глубокое ущелье. — Только неверные так вольно трактуют свой закон, отчего никто из них его не чтит! Пособник разврата! Ноги моей не будет в вашем медресе!

Переливчатое чернильное пятно быстро расползалось по старой бумаге. Сафуан-хазрет, очнувшись, поспешил к столу убрать книгу. Нахретдин с треском захлопнул за собой дверь и безудержно, как девчонка, разрыдался.

Фатанат-ханум
(1902—1909 гг.)

«Назад я возвращалась не напрямую через деревню, а вдоль Талкаса — чтобы отсрочить наказание. В сарае переоделась в свой кульмяк. Драгоценное платье абыстай свернула и сунула под камзол, чтобы потом спрятать в свадебном сундуке.

На удивление отец лишь побранил меня. В наказание мне велели помогать на скотном дворе. К олэсэй приставили среднюю Муюлбику, а мою постель и сундук перенесли к нарам старших. И вот уж негаданная радость, отец разрешил ходить в школу — мол, там, глядишь, хоть абыстай твой нрав обтешет. Будто она, моя избавительница Фатанат-ханум, всех заколдовала — и до моего темного угла дотянулись лучи ее волшебства.

Впрочем, с самой учебой сладилось не сразу. Я даже плакала тайком оттого, какая медленная голова мне досталась. Абыстай хитро сплетала слова, будто ткала ковер: то так подтянет тугие нити, то эдак, прокинет в зев челнок с красной катушкой, а потом с синей, зеленой, золотой. Попробуй пойми, что к чему: куда ведут все эти линии да узелки. Но время, как бердо[1], подбивало строку к строке и постепенно складывался рисунок океанов и пустынь, лесов и степей, вязью вились истории о пророке, сахабах и халифах.

Я слушала и любовалась абыстай: блестящими черными косами — она укладывала их по вискам, умным лицом, большими глазами в форме косточек от

[1] Бердо — гребень ткацкого станка.

урюка. Она двигалась величаво, точно журавль. Мне случалось видеть, как гуляют по берегу Талкаса эти священные птицы. Вот так же, высоко подняв голову, смотря чуть вверх и заложив руки, как крылья, за спину, вышагивала Фатанат-ханум по комнате. Ни одна из женщин, которых я знала, не держалась так гордо.

Как мы любили ее, как были ревнивы до каждой ее похвалы, жеста или взгляда! Наше восхищение переносилось на все, чего коснется ее рука, прежде всего — книги.

Благодаря абыстай у меня завелись свои собственные — печатные, почти новые: «Букварь» Уметбаева, «География» Карими, «Правила чтения Корана» Максуди. Я помню их свежий хруст и запах. Не то что чахлые лепесточки переписанных учебников Кагармана.

А еще там были картинки! Не узоры и не образцы заглавных букв, а настоящие рисунки людей и животных — никаких запретов шариата не знали смелые книги Фатанат-ханум. Я перечла каждую по нескольку раз. Читать начала уже через месяц. У прежнего муллы мой старший брат Урмантай и за три года не мог сложить буквы в слова. Отец был мною доволен.

Весной я научилась писать. Все истории из учебников я помнила наизусть, их мне было мало. Тогда я стала писать новые, на последних страницах прописи: свободной бумаги у меня не было. Я переиначивала сказки, что слышала от Юлдаша, и на место главной красавицы всегда ставила Фатанат-ханум. То была она девушкой-батыром, то дочерью владыки озер, но чаще — вещей птицей Хумай, женой великого Урал-батыра.

Временами, когда абыстай вслух читала нам стихи из толстой тетради, переплетенной вручную, я пыталась зарисовать на полях ее лицо.

Страницу я прикрывала ладонью. Но однажды Галиябану подглядела и, пока я у доски отвечала урок, взяла мою пропись, подняла над собой и как завопит визгливым голоском:

— Она вас нарисовала! Тут ваше имя!

Я подбежала к Галиябану, попыталась вырвать тетрадь из рук, но она так крепко стиснула пальцы — не разжать. Пропись вся смялась. Я закричала:

— Отдай! Не смей!

Девочки повскакали со своих мест. Манзура и Гулькей потащили меня за плечи, Рауза перехватила пропись и отдала ее абыстай.

— Садитесь немедленно! — скомандовала Фатанат-ханум, мы расселись, тяжело и часто дыша. Абыстай разгладила углы прописи и положила на мой стол.

— Не возвращайте ей! Прочтите! — запротестовала Галиябану. — Она про вас плохое пишет, она обзывает вас!

— Прочтите, всем прочтите! — забубнили остальные.

— Ай, девочки! Разве можно так? Если человек не хочет, чтоб читали, я читать не буду и вам не позволю. Перейдем к математике, — спокойно ответила Фатанат-ханум и вызвала Галиябану решать задачу.

Все занятие я просидела, как на каленом железе. Что если абыстай скажет: «Мектеб для учебы, а не баловства. Не желаешь учиться, иди прочь!» Или еще хуже: поверит девочкам и затаит обиду, уж лучше самой показать все рисунки и записи.

После занятий, когда Фатанат-ханум распустила класс, я подошла к ней. Она была так близко, что до меня донесся тонкий запах цветочного масла с ее волос.

— Что тебе, Сурур?

— Вот, — я протянула потрепанную, будто осквернённую, пропись. — Я хочу, чтоб вы прочли.

Фатанат-ханум покачала головой, усадила меня рядом и раскрыла линованные страницы. Пока она читала, мне было боязно смотреть на ее лицо. Мой взгляд сбегал вниз, к оторочке ее рукава. И все время проникновенной, щекочущей тишины, я боролась с желанием поцеловать украдкой кружево, сквозь которое бледнело ее голубоватое запястье.

— Ну, Сурур! Не впрок идет твое учение! — заключила она.

«Сейчас прогонит!» Мои глаза заволокло, и звуки приглушились, будто уши тоже наполнились слезами.

— Смотри-ка ошибок тут сколько! Букву «кы» в обратную сторону пишешь, огласовки не там ставишь, а окончания куда пропадают?

«Неужто все дело в ошибках? — приободрилась я. — Так то не беда!»

— Это поправимо, — вторила абыстай моим мыслям: я не сомневалась, что она с легкостью читала их, как алифба[1]. — Главное, что ты, Сурур, сочинять мастерица! Но стоит ли свою фантазию тратить на меня? Ты лучше напиши о себе. Как ты живешь, о чем думаешь, мечтаешь.

— Но что во мне...

— Весь мир. Это только кажется, что он мал, как твой дом, и всякий уголок в нем ты знаешь. А потом увидишь: этот источник неисчерпаем. Каждый день творится новое и ты другая. Так и нить протянешь через время: от себя прежней к себе на годы вперед. Как говорил Аль-Ахталь: «И по стихам своим, как по мосту, в бессмертие взойду».

Ее слова поразили меня. Будто время остановилось, а потом побежало по-новому. Раньше крутились себе жернова — солнце да луна — и перемалывали дни и ночи в нескончаемую пищу души, манну небесную. Фатанат-ханум взяла и нанизала все дни — ушедшие и предстоящие — на ниточку, и появилось у жизни неведомое начало, неведомый конец и неведомый слушатель.

Фатанат-ханум встала из-за стола, потянулась к деревянному ящику, закрепленному на стене, достала оттуда тетрадку и подала мне. Я открыла: все страницы в ней были чистые, незаполненные.

— Это тебе. Будешь пересказывать, что случилось с тобой за день. Потому такую тетрадь называют дневником.

С тех пор я стала смотреть на все иначе: чтобы каждый день случалось новое, надо внимательнее глядеть вокруг себя. Как много диковинного пряталось в давно надоевших мне вещах. Как туман над Талкасом висит сугробом. Как сияет улыбка Фатанат-ханум, когда буквы гайн и дхад выходят у нас в нужную сторону. Как во время зимней стирки руки матерей плещутся надутыми красными рыбами в черной дыре проруби. Как Юлдаш завалил медведя-шатуна и во всей деревне не достало гирь, чтобы взвесить тушу целиком.

Ходила по земле с полным сердцем, как ходят влюбленные. И почти уверилась, что родилась счастливой. Семь лет длилось это приключение, будто я не в Исяново жила, а путешествовала, как ибн Фадлан».

---

[1] Алиф ба — первые буквы арабского алфавита, составленные вместе эквивалентны слову «азбука».

Апостол Павел и доктор Ананьев
(ноябрь — декабрь 1907 г.)

За пределами тьмы устраивался новый порядок. Бодрее звучали голоса. Постель Ибрагима перенесли к печи, ближе к женской половине. Самой младшей сестре Аклиме поручили поить его водой и бульоном, остальные вернулись к своим заботам. Ибрагим испугался, как просто все свыклись с его болезнью. Сновали туда-сюда, чуть не переступая через него по дороге. Будто у печи лежало лишь его старое одеяло, а он давно сгинул.

Он подслушал, как шептались старшие сестры, раскатывая тесто. Обыденно, между разговорами о свадьбе, бешбармаке и приметах, они вынесли смертный приговор ему и новорожденной дочери Арслана. Вторя их словам, со страшным хрипом плакала Шамсия — тонкий голосок едва выходил из ее груди, прорываясь сквозь склизкие перепонки. Ее, как и Ибрагима, уже вывели из круга живых.

Только две женщины упрямо верили в исцеление — Алмабика и Муслима. Стерли в молитве свои четки, перепробовали все снадобья. Фаррах запретил тревожить его глупыми надеждами. Раз не смилостивился Аллах — ничто больше не поможет. Видно, и правда, грех на Ибрагиме большой, значит, сам виноват, а от Шамсии и так никакого проку, уйдет сейчас — меньше убытка. Но Арслан был молод, и годы еще не иссушили его сердце. Не вынеся, как терзается жена, он предложил ей:

— Давай-ка, раз тебе так неймется, свезу Шамсию в земскую больницу в Раёвку к дохтуру Ананьеву. Вдруг поможет?

— Хорошо ты придумал! Свози, сынок, — подхватила старшая мать. — Ибрагима только возьмите с собой, умоляю!

В Раевку собирались тайком, пока отец чаевничал у сватьев.

Когда доехали, Ибрагим еле вылез из телеги и, едва держась на ногах, поплелся за Арсланом. В приемном покое переговаривались крестьяне-переселенцы. Ибрагим научился русскому, когда развозил кумыс по дачникам и санаторникам. Но крестьяне лопотали так быстро, что ничего нельзя было разобрать. Где-то в глубине комнаты причитали. Со всех сторон несло чужими запахами: чесноком, луком и какой-то сладковатой гнилью.

В кабинете запахи стали совсем неузнаваемыми — острыми, перехватывающими дыхание и гнетущими.

— Ну-с, кто у нас дальше? — спросил шершавый смеющийся голос. Ибрагим боялся таких голосов: они звучат весело и непринужденно, но все чувствуют. С таким собеседником не слукавишь.

Первой показали Шамсию.

— Как крепко нынче уснула! — шепнула Муслима. — Замерзла. А я ведь ее у груди держала!

— Выведи жену, братец! — сказал голос, смех в нем потух. — Не надо ей здесь.

— Что он говорит? Объясни, Арслан! — попросила Муслима кротко.

— Говорит, чтобы ты вышла. Лечить будет.

Зашуршали шаги, стукнула дверь.

— Что же ты раньше-то не привез? Эх! Теперь кончено! Вези хоронить, — накинулся голос на Арслана. Никто не смел отчитывать старшего брата так громко, и все же голос оставался беззлобным, гнев Фарраха был куда тише и злее.

— На все воля Аллаха, — ответил брат смиренно, мальчишеским басом. Кто-то недовольно выдохнул. Плеск воды, напряженное дыхание, легкий звон — все это суетливо возилось справа от Ибрагима. Он уже не мог стоять сам, выставил руки в стороны, ища опору.

— Так. А тут у нас что же? — голос приблизился к Ибрагиму, и чьи-то руки сзади подхватили его, повели, уложили. Холодные пальцы коснулись век — сильнее запахло непривычной горечью.

— И тут дифтерит! Да еще глазной! — сокрушался голос. — Значит, вот какое дело. Счет на часы. Оставляю его у нас. А ты поезжай, братец. Завтра одежды чтоб привезли ему на смену, еды мясной, жирной. Слышишь? Понимаешь меня? Оннадым?

— Понимаю, да!

— Ну, тогда ступай.

Зашелестело бумазейное одеяло — это Арслан завернул Шамсию и послушно вышел, ни слова не сказав Ибрагиму.

— Борную сюда. Готовьте сыворотку колоть! — сказал голос кому-то, чье присутствие Ибрагим чувствовал по правую сторону. Захрустел рвущийся пергамент, звякнуло железо, резко выдохнул откупоренный стеклянный пузырек.

Ибрагим сжался.

— Лежи-ка, братец, спокойно, не дергайся!

Ибрагим придвинулся ближе к его голосу — на этот раз надо было сознаваться в своей вине, чтобы не вышло ошибки с лекарством, как у прочих целителей. Почему-то этому голосу он готов был довериться:

— Грех минэ! Оттого не вижу!

— Грех, говоришь? И какой же?

— С Богом спорил, — прошептал Ибрагим.

— Поди ж ты! — усмехнулся голос и прочел: — «И повели его за руки, и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил». Не знаешь, небось, про что говорю? Это из Писания, Китап, слыхал?

— Аль-Китап? Слыхал.

— Был один такой апостол, Павел, тоже поначалу с Богом спорил. А потом уж Бог с ним заговорил.

— Говорил? Аллах говорил с человеком?

— Представь себе! А после того разговора Павел ослеп. Не пугайся, не насовсем. На три дня только. Хотя и потом он видел плохо, даже писал по слабости зрения крупными буквами. Так что никому разговор с Богом даром не обходится. Зато и отмечены они особо.

Ибрагим изо всех сил напрягся, пытаясь собрать смысл из услышанного. Значит, не один он совершил такой грех. И Бог не отверг от Себя того человека, а даже ответил ему. Дальше он не понял. Слово «отмечен» он слышал раньше, из наградной грамоты ильсегуловских ветеранов Русско-японской войны, что зачитали на сходе: «Отмечен знаком отличия Военного ордена». Неужто и он, Ибрагим, будет награжден за пережитое?

Но ведь слова доктора относились к преданию христиан, людей Книги. А они, как известно, переиначили истинное откровение. Поэтому их рассуждениям о Создателе нельзя доверять.

— Что ж, — шутливо продолжил голос, — вот и я возлагаю на тебя руки, чтобы ты исцелился, дай-то Бог! Потерпи уж, братец!

Он прищемил веко Ибрагима чем-то острым, потянул его — и будто вспорол.

Ибрагим вскрикнул. Кровь брызнула из век, очищенных от пленки. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его.

Сначала он увидел только свет — колючий, зеленоватый. Потом, царапая глаза, из него выделилась темная твердь пола, а над ней влажный блеск стен. Голос облекся острой вытянутой фигурой, Ибрагим не мог еще различить черты лица, только седую бороду и ледяные отсветы круглых очков. Зрение причиняло Ибрагиму жгучую боль, которая гнала по телу жар. Горячий воздух подхватил его и понес вверх.

«Гусмания»
(март 1908 г.)

Нахретдин потуже стянул чекмень кушаком, открыл плотную дверь, обитую одеялом. Из сеней потянуло промозглой тоской. Утра ранней весны были еще по-февральски холодны. Над землей дрожал морозный студень. От него остро щипало в носу, каменело лицо, а жар выпитого чая сразу выветривался из груди. Не хотелось выходить из прогретой квартиры.

— Закрывай скорей, тепло выдует! — погнала его Файруза-апа, и он поспешил вон. С непривычки едва не слетел с узкой площадки в тусклый колодец лестничного пролета. Он спустился наощупь по кривым ступеням и вышел на улицу.

С тех пор как Нахретдин навсегда покинул медресе Сафуана-хазрета, он мечтал найти другого наставника. Но сначала пришлось вернуться домой: зима — неподходящее время для поисков. Он изнывал от грязной неосмысленной работы. Ему приходилось изо дня в день убирать денники племенных коней, задавать им соли, поить и чистить ездовых, осматривать копыта. Одно его утешало: по весне, как только отступят метели, он отправится в Уфу, где заседает Оренбургское магометанское духовное собрание и верховный муфтий, где стоит Первая соборная мечеть, а рядом с ней лучшее губернское медресе «Гусмания». Там живет не один достойный факих, недаром старики говорили: побывать в Уфе, все равно что пройти полдороги до Мекки.

Фаррах же надеялся, что сын навсегда оставит духовное поприще и примет на себя наследство Ибрагима, больше для хозяйства негодного. По счастью брат пошел на поправку, и отец смягчился. Было решено, что после апрельской конной ярмарки Нахретдин погостит в Уфе у двоюродного брата по матери Тунгатара и разведает про «Гусманию». Но с началом весны Нахретдин решил в одиночку отправиться на разведку, пока отец и матери были заняты свадьбой сестры Хадищи.

Он бесстрашно преодолел опасный путь через мерзлые леса, по бездорожью, под урчание волчьей стаи, взявшей его след от самого Давлеканово. А столичных улиц испугался.

Хотя то была самая тихая пора в жизни города. Уфа пребывала в глухой дремоте, оставив мятежные прихоти 1905 года. Словно и вовсе не было двух горячих лет, похожих на землетрясение, когда три губернатора — Богданович, Соколовский, Цехановецкий — сменили друг друга, не в силах удержаться, а улицы были наводнены кричащими толпами. О том времени Нахретдин знал немного. Весной 1905 года впервые отменили уфимскую конную ярмарку, въезд в Уфу был закрыт, и губернская столица целый год жила в оцеплении, как чумной город.

Но Нахретдин испугался вовсе не мятежного духа губернской столицы. Стоило ему выбраться из Нижегородки — магометанской части Уфы, худо-бедно похожей на деревню, он оробел от парадного вида центральных улиц. Гордые высокие окна с

презрением отражали его сутулую фигуру в мешковатом чекмене. Казалось, его неуклюжая тень оставляет грязный след на беленых колоннах и желтых стенах. Он засомневался, что этот надменный город примет его.

Светлело. Нахретдин повернул налево к набережной, как ему указывал Тунгатар, и дальше по Воскресенской улице между сизыми тенями парка и белокаменной ограды архиерейской усадьбы. Над деревьями поднялась длинная колокольня Кафедрального собора, чуть не выше самого минарета первой соборной мечети, и широкий золотой купол, точь-в-точь как у мечети Омара на дагерротипе в кабинете Сафуана-хазрета. Нахретдин усмехнулся нелепому подражанию.

— Храмы строят по образцу наших, а начиняют своими погаными идолами! — он брезгливо сплюнул. Вдруг, будто в ответ на оскорбление, забили колокола. Грозный звон разбивался о ледяной воздух, и его осколки разлетались над крышами, распугивая стаи ворон. Нахретдин побежал вниз, к основанию Случевской горы, на гребне которой стояла мечеть, укрыться в спасительных стенах. Но чугунный клич разносился по всей округе до самого двора мечети, ему вторили другие церкви с Усольских вершин.

Наконец против него выступил плавный напев муэдзина. Он был слишком слаб и одинок, чтобы заглушить разнузданное многоголосье. Это покоробило Нахретдина: даже в Уфе их теснили иноверцы — главная мечеть делила улицу с главным собором. И мир не раскололся по ней, а наоборот, держался крепко, как спаянный швом.

Нахретдин поплелся к дверям мечети в пестрой очереди парчовых тулупов, соболиных шуб и бархатных елянов[1]. Два шакирда в дорогих форменных пальто с каракулевой оторочкой переговаривались вполголоса. Подхватив заветное слово «Гусмания», Нахретдин прислушался. Их странный разговор еще больше смутил его:

— Но ведь сам Камали обучался у нас.

— Так то было при покойном Хайрулле-ахуне!

— И что же?

— Разве ты не видишь? Все прибрали к рукам кадимисты! Лучших мударрисов Камали сманивает к себе, а они только рады.

— Тише ты, ведь услышат!

Они обернулись, брезгливо оглядели Нахретдина и продолжили шепотом. Нахретдин опустил голову и заметил, как запачкались его сбитые сапоги и чекмень, пока он пробирался по топкой слякоти. Он стыдливо скатал обувь и верхнюю одежду в тугой валик, робко ступил в мечеть, наскоро совершил омовение, но нужного для намаза очищения не ощутил.

Он примостился в уголке у выхода. Ему казалось, что его ступни все еще грязны. Оглядываясь по сторонам (не осталось ли следов на роскошном ковре), замешкался. Порядок молитвы он знал наизусть, ему не нужно было следить за движениями имама. Между тем имам уже произносил такбир[2], а он все еще не был готов. Не достигнув нията, Нахретдин быстро поднес ладони к голове. Все же на первом ракаате он отстал, оттого излишне суетился и мельчил. Такого с ним никогда не бывало. Он всегда чувствовал, как намерение вспыхивает в солнечном сплетении, разогревает легкие, нужные слова пульсируют во рту, и тело податливо гнется в поясных и земных поклонах. Размеренно, торжественно. Молитва отливала и ковала его в раскаленном жаре, как ятаган.

---

[1] Елян — башкирская верхняя длиннополая одежда с длинными рукавами, которую носили и мужчины, и женщины.

[2] Такбир — возглас «Аллаху Акбар», произносящийся в начале намаза.

Во время чтения первой суры он, наконец, сосредоточился. Знакомая приятная боль затеплилась под сердцем. Он дал ей разгореться, подначивая раздражением на неправедный город. Молитва придала решимости: не зря он оказался здесь, ему выпало бороться с засилием неверных, пока столичные мусульмане пекутся о богатстве.

Он твердо и уверенно вошел в здание «Гусмании», стоявшее напротив мечети. Но к мудиру его не пустили. Комендант смерил взглядом его грязный мятый чекмень и строго отчитал:

— Не ко времени ты явился. Вступительные экзамены начнутся осенью. Запись летом, тогда же следует платить взнос в десять рублей. А начальство нечего беспокоить!

— Это взнос за год?

— За год? Да ты что! Это начальный. За обучение, ежели поступишь, от сорока до ста рублей в год, как Совет распорядится. Тогда же выпишешь заказ на форменное пальто, бешмет, рубаху и брюки. Учебники купишь, тетради, перья, что полагается. Ну и решишь, у нас столоваться или как.

Сердце Нахретдина упало. Целых сто рублей! Да еще одежда, учебники. Про то, что он будет есть все полгода между каникулами, он даже не думал.

— Впрочем, — смягчился комендант, — если ты не без способностей, но из бедной семьи, то пиши прошение на имя мудира. Сдашь экзамены, возьмут учиться бесплатно.

— Этого еще не хватало! — воскликнул Нахретдин и топнул шатким каблуком. — Я из семьи тархана Янбактыева, потомка Илькей-хана, мой дед подавал деньги на ковер в вашу мечеть!

— Ну, как знаешь! — ухмыльнулся комендант.

— Вот потому тут все так! — бранился Нахретдин, идя по улице и не замечая, что говорит громко и прохожие оглядываются на него. — Колокольни выше минарета! Азана не слыхать! Не нужен им истинный поборник закона!

Однако по тому самому закону он не имел права учиться бесплатно: Фарраху не составило бы труда вносить хоть по двести рублей за год, но отец ни за что не станет столько платить. Вот и выходило, что по закону Нахретдин не считался бедным, а по правде он таким был. Закон, который он нетерпимо отстаивал, обернулся против него.

На душе сделалось до смерти тоскливо: будто ему поручили хранить что-то ценное, а он это потерял.

На кочевье
(июнь 1909 г.)

«Лето 1909 года прошло, как жаркий день перед грозой. Солнце дышало горячо, будто у с*а*мой земли, все застыло в ленивом зное, а вдалеке стучал гром. Но казалось, до нас он не доберется, тучи растают на горизонте.

Потом я сосчитала все недобрые приметы наступающей бури, которые тогда упустила.

Мы откочевали всей родней, с братьями отца, женами и детьми, на свои вотчинные поля у леса, ближе к нашим бортям. Там который год стояли летние срубы — бурама, по одному на семью. Войлок от старой дедовой юрты весь истрепался, и мы ее не ставили.

Мне давно хотелось на волю, на простор — не сиделось на месте, как перелетной птице, хоть и жалко было расставаться с абыстай.

Как доехали до кочевья, перенесли из телеги кумганы, посуду и кумысные кадки. Я натаскала глины, чтобы замазать прохудившийся за зиму очаг, пока сестры собирали для крыши свежую драницу вместо сгнившей. Дети в бурама не жили, нам ставили берестяные шалаши и отдельный — из добротных кусков коры — для Юлдаша.

Если случались другие гости, им отводили место в бурама. Но Юлдаш не желал стеснять хозяев. Случалось, он ночевал на сеновале или под открытым небом, когда ходил в другие деревни играть на свадьбах и прочих праздниках. Был он вроде отшельника, вольного и дикого. Он скудно вел свое безлошадное хозяйство, кормился охотой, для чего разводил соколов.

С виду неказистый, левое плечо выше правого, лицо загорелое дочерна, щеки в глубоких оспинах, как исклеванные птицами сливы. Но стоило ему заиграть на курае[1], и будто сам Создатель преображал его — каждая черта, что портила его лицо и фигуру, становилась знаком особой красоты: он походил на древнюю скалу. Юлдаш излучал благодать, полученную от Бога, как ночью полная луна проливает свет, отраженный от солнца. В ту пору, когда на деревенских сходах, йыйынах, спор между аулами решался на состязании кураистов, Юлдаш всегда выигрывал и оборачивал любое дело в пользу исяновцев, за что его уважали больше старосты.

Каждый день родные надеялись: вдруг он появится. Принять его считалось большой честью. Отец приберегал для него кувшин зрелого кумыса, а матери — самые сладкие и жирные пышки. С Юлдашем любая трапеза была веселее и обильнее, а ночи у костра — загадочнее и выше. Порой до самой зари он распевал древние кубаиры[2] об Урал-батыре, Заятуляке и Хыухылу.

А уж я ждала Юлдаша пуще всех. И на то у меня была своя причина. Юлдаш всюду брал с собой своего приемного сына Алдара, шестнадцати лет. Алдар остался сиротой при живой матери. Она была женой старика Ярмухамета, что жил через двор от нас, родила подряд троих детей, сына и дочерей, и овдовела. Родни у мужа не осталось, и братья выдали мать Алдара замуж во второй раз, чтобы на их шее не висела, да и калым заново получить — все равно что одну лошадь дважды продать. Новый муж не захотел взять к себе детей, братьям они тоже были не нужны. Так и остались малыши одни в хилой избе Ярмухамета. Старший Алдар смотрел за сестрами, как мог. Вся деревня их кормила по очереди и помогала дровами. Только девочки вскоре умерли от болезни или от тоски по матери, один Алдар остался. Тогда Юлдаш взял его на воспитание, обучил всему, что умел. Вдвоем сподручнее: у Алдара голос сильнее и звонче, он поет, а Юлдаш ему на курае подыгрывает. А когда вдвоем играли, казалось, что райские птицы кружат над землей.

Сейчас и вспомнить-то стыдно, от чего томилось тогда мое сердце — от того, как он играл, вытянув длинную шею и расправив плечи, оправлял бородку, которую длинный курай делил надвое, щегольски откидывал за плечо хвост лисьей шапки, в ней он был похож на Салавата Юлаева.

Ночи я проводила в мечтах. А дни — за работой. Лето не мешкало, подгоняло. Сперва надо было проверить борти: не разорил ли их медведь, не побило ли морозом пчел. Отец с Урмантаем ходили по восточной стороне, а Кагарман и я — по западной.

---

[1] Курай — башкирский духовой музыкальный инструмент, изготовленный из стеблей уральского реброплодника.

[2] Кубаир — жанр башкирской поэзии — поэтический сказ, исполняемый напевно или речитативом.

Кагарман охотно брал меня с собой: я умела определять наши борти издали, не сверяясь с вырезанной на стволе тамгой. Каждое дерево узнавала по фигуре и по голосу. Какое коренастое, какое высокое и стройное, какое пышное, раскидистое. Одни ласково шепчут, другие ворчат, третьи по-стариковски постанывают. Как только я находила нашу борть, Кагарман набрасывал кирем[1] на поясницу и обхватывал им дерево. Перекидывая ремень, он быстро взбирался до самой дупленицы. Я смотрела снизу, а он становился на лянге[2] и дразнил меня, что видит всю землю до самого Троицка.

В один из обходов мы увидели тучи новых роев. Они налетели невесть откуда. Одни рвались атаковать занятые борти, но не как при нападе, когда воровки пытаются тихо проскочить сбоку и сначала возятся подле дупленицы, вынюхивают, а набрасывались сразу, всеми войсками. Другие пчелы суматошно, безумно носились в небе. Те были опаснее всего: могли кинуться без разбору, жалить до смерти — не то что человека, коня свалить. Мы еле от них убежали, отмахиваясь дымарем.

То была примета первая.

Мужчины встревожились: такое случалось при больших пожарах — если огонь перекинется в наши земли, быть беде на века. Мы приглядывались к лесу, днем высматривали дым, ночью — огненное зарево, принюхивались, боясь уловить в хвойном воздухе запах гари. Но обошлось.

В июле, когда наступило время подрезать мед, хлопот прибавилось. Даже женщинам приходилось по очереди отлучаться от стряпни и заготовок и лазить на борти. И всех младших брали на подмогу — цеплять на веревку пустые батманы и принимать их полными сот. А ведь надо еще кобыл и коров выдоить, собрать травы и ягоды, взболтать кумыс и заквасить корот[3], чтобы до осени он успел хорошо прокоптиться над огнем. К концу дня все падали от усталости и спали без памяти до рассвета.

Одна я не могла уснуть. Дикими пчелами вились вокруг меня мысли об Алдаре, садились на грудь собирать горький нектар печали. Отчего он все не идет? Разве остался на кочевье у Ишбердиевых? Уж не поет ли песни для проклятой Галиябану? Мое сердце запечаталось воском, как соты. Вязкий мед ревности творился в нем, оттого оно билось медленно. Порой надолго замирало. Тогда я выбиралась из шалаша, бежала по мокрой траве все быстрее и быстрее, чтобы сердце застучало чаще, чтобы я могла его снова почувствовать. Засыпала на воздухе перед самой зарей.

Так ранним утром и нашел меня Алдар спящей на лугу. Не разбудил сразу, а стал наигрывать песню о семи девушках. Вспомнил мою самую любимую! Вмиг мое сердце очистилось от смолистой ревности, вспорхнуло невесомой птицей, затрепетало.

Из-за Алдара не распознала я ни вторую, ни третью приметы. Все видела, все слышала и ничего не замечала. Нипочем мне было, что Юлдаш хмур и подавлен. Вместо песен и сказок три ночи подряд он толковал с отцом о случившихся бедах.

Не от пожара бежали пчелы из своих дупленицы. На юго-западе вовсю рубили леса помещика Абызгильдина. Эти леса ему отмежевали из земель общины, с чем деревенский сход долго не соглашался. Но по весне распустили сход, а новые границы закрепили подписями нескольких старост посговорчивее. Сколько ни настаивали вотчинники на своем праве, запечатанном старыми грамотами, лесная стража

---

[1] Кирем — приспособление для лазанья по деревьям.

[2] Лянге — подставка для ног, закрепляемая на стволе веревкой.

[3] Корот — кисломолочный продукт в виде шара, высушенный над очагом.

Абызгильдина не пускала бывших хозяев к их бортям. Тогда они напали на стражу, повязали и стали ломать деревья вместе с бортями. Потом жандармы прискакали, всех порубщиков избили. Двадцать искалеченных бортевиков арестовали и увезли на суд в Оренбург.

Мало того. Юлдаш говорил, что земское начальство велит пустить летние выпасы под распашку, и всех обяжут растить хлеб.

В другое время я бы забеспокоилась за наши борти и кочевье. А тогда — ни лесов, ни полей, ничего мне было не нужно, кроме Алдара. Я не таясь смотрела в его глаза. Вечерами мы долго глядели друг на друга, разделенные костром — кто кого пересилит. Не одержав верх в этой битве, Алдар решил захватить меня хитростью.

Он придумал напугать меня.

— Знаешь легенду о семи девушках? — начал Алдар. — Как хан вражеского племени похитил семь прекрасных сестер и увез в свой стан. Чтобы девицы не убежали, им рассекли стопы острым мечом и насыпали в раны конский волос. И все равно они решились на побег. Только из-за боли в ногах они ушли недалеко. Злой хан со своим войском настиг их у озера, некуда бедным деваться. Тогда взялись они за руки, вошли в воду и утопились.

— Слыхали мы эту легенду, — отозвалась я, дав ему пересказать ее полностью. — То озеро недалеко от нас, сразу за Ирендыком, и зовут его Култубан, озеро стопы.

— А вот и не то это озеро. Я разведал, — возразил он тихо, вкрадчиво, так что все поняли: сейчас будет история. — В прошлую зиму снега долго не было, а морозы стояли лютые. Быстро сковало Талкас. И лед на нем был прозрачный, но крепкий. Глубоко видно, будто через стекло, а идешь по нему, и он тебя держит. Решил я рыбу поудить. Шел-шел по льду, высматривал карпов и вдруг...

Он замолчал и посмотрел на меня: боюсь ли? Я улыбнулась: рассказывай, мол, дальше. Младшие сразу завозились, затребовали:

— А что потом?

— Я был уже далеко от берега — шагов на триста — и вижу: белеет что-то подо льдом, вроде подводных скал. Пригляделся — не скалы это!

— Чему там еще быть? Ну? — просили братья.

И снова я улыбнулась в ответ на пытливый взгляд Алдара. Он смотрел упрямо, голос стал ниже.

— Там были лица! Семь красивых девичьих лиц, запрокинутых к небу. Все белые, как соль. Только ресницы, брови да косы черные.

— А глаза?

— Глаза закрыты.

Дрожь охватила меня, но я виду не подавала.

— Мягко колыхались их фигуры от течения, будто они мирно дышали во сне. Косы вились вокруг их шей, как угри. Не только их тела сохранила волшебная вода Талкаса, не истлели еляны, не потускнели ткани и вышивка. Они держались за руки, как хоровод водили, приподнявшись со дна. Так я и замер, любуясь ими. И тут...

Никто уже не просил досказать. Было жутко узнать, чем кончилось. Я смотрела по-прежнему спокойно и гордо, будто говоря Алдару: «Не победишь меня!» Он продолжил медленно:

— В этот самый миг одна из девушек, на которую упала моя тень, открыла глаза.

Ночью мне было не до сна от страха. С тех пор я боялась озера. Все мне мерещился девичий голос, поющий со дна глухо, по-рыбьи — только сердцу было слышно: «Скоро будешь с нами, близок твой срок!»

Срок мой и правда подходил. Остался год, и матери уже толковали про свадьбу и калым: им хотелось пораньше меня продать. На ту пору мой жених Сяитбай уже имел двух жен и еще пуще разжирел. С ним я стану, как семь девушек, что привиделись Алдару: вот оно, небо и свобода — прямо над головой, но сильна вода и не выбраться наружу.

Фатанат-ханум была моей последней надеждой. В ее руках людской порядок был не прочной горной грядой, где утверждено от начала до скончания века, а мягкой податливой глиной, из которой человек сам лепит себе все, что хочет.

Я рассказала ей, что с колыбели продана вздорному Сяитбаю в младшие жены, и не хочу идти за него.

— Я знаю, что делать! — зашептала абыстай, сияя. — Гляди, что «Вакыт» пишет: в Уфе на будущий год откроют женские педагогические курсы «Дарлмугаллимат». Мы с Идрис-хазретом поможем тебе поступить. Станешь учительницей, будешь сама себе хозяйкой!

Вот надежда! Вот избавление! Ай да птица Хумай, спасительница!»

Странное сборище
(март 1908 г.)

Кое-как Нахретдин добрался до дома родни, насквозь выветренный влажными сумерками. Файруза-апа велела ему сесть на кухне, неохотно налила тарелку шурпы, шмякнула в нее жилистую, плохо ощипанную куриную голень и продолжила раскатывать пресное тесто. Не зря старшая мать жаловалась на нее: «Неприветливая, прижимистая, как судорога! Погубила Бахтияра!»

Дядя Нахретдина, Бахтияр-абзы, из бурзянских припущенников, не смог прокормить семью в деревне, подался в Уфу рабочим на чугунно-меднолитейный завод Гутмана. Сперва жизнь его миловала. Он выбился в мастера, выучил сыновей в русской школе. Старший Хаммат пошел по инженерному делу, обзавелся семьей и своим углом. К разочарованию Бахтияр-абзы, младший Тунгатар увлекся пустыми словесными науками. После училища он поступил наборщиком в газету «Эль-галями-ислами», затем корректором в уфимский отдел издательства «Хусаинов, Каримов и Кє», а потом возомнил себя критиком, стал кропать статьи в татарские журналы.

По злой усмешке судьбы Бахтияр-абзы погиб, пытаясь потушить огонь в своем цеху, где производили лучшие в империи пожарные машины и огнеупорные трубы. После его смерти семье зажилось худо, в страховом пособии и пенсии вдове было отказано. Из дома в Северной слободе они съехали в барак Нижегородки, ели скудно. Шурпа, которой угощался Нахретдин, подавалась у них по большим праздникам, в остальные дни жили на похлебке из курдючного сала, сгущенной горстью муки.

— Вот ты значит где! А я думал, еще не вернулся! — воскликнул Тунгатар за его спиной. Нахретдину стало чуть уютнее: наконец-то можно пересказать неприятности этого дня, отвести душу. Брат был разгорячен, челка прилипла к потному лбу, он говорил быстро и громко, отирая усы тыльной стороной ладони:

— Вот дают Нуриагзам с Мансуром! Опять сцепились! Да при таких гостях! Ну пойдем к нам, чего ты тут? Я знаешь кого сегодня зазвал? О, братишка! Специально для тебя старался! Но сейчас не скажу — сам увидишь!

Нахретдин неохотно встал, брат крепко взял его за плечи и повел в большую комнату. Оттуда в коридор выплескивались реплики оживленного разговора, кашель, смешки. Видно, народу набралось много. Нахретдин смущенно опустил голову. Они вошли. Воздух был плотным от табачного дыма и приторных благовоний, у Нахретдина запершило в горле. Тунгатар усадил его на свободный табурет, а сам встал позади, не снимая ладоней с его плеч.

Нахретдин исподлобья осмотрел большой овальный стол. Угощение явно не дотягивало до важных гостей: пара пиал с орехами, урюком и инжиром, баночка меда, одно большое блюдо с кусками куриного мяса того же скверного вида, что были в супе у Нахретдина. Ни шурпы, ни баранины, ни беляшей. У нерадивой Файрузы-апы не нашлось даже чак-чака для почетных гостей. Спор распалялся справа от Нахретдина, его так и обдавало жаром от противников:

— А я рад, что мода на красных сходит на нет. И спасибо Ключарёву[1]! — голос этого был высок, строен и певуч, как у муэдзина. Он говорил мудрено: иностранные слова оборачивал башкирскими окончаниями и выговором. Оттого речь звучала знакомо, но совершенно непонятно.

— Ну, Мансур, ты заговариваешься! — другой голос, бархатный, насмешливый.

— Да, спасибо! А то ведь по улицам нельзя было пройти — на каждом углу могли обчистить.

— Сейчас любой уличный разбой принято сваливать на революционеров. Так властям удобнее.

— А по-твоему, Нуриагзам, экса — не разбой? Или тебе будет легче, если тебя ограбят и изобьют не просто так, а ради революции?

Нахретдин, наконец, осмелился посмотреть в их сторону. К его удивлению спорили двое совсем молодых мужчин, почти юноши: один скуластый в пенсне — Нуриагзам. Другой с широким крутым лбом — Мансур. Между ними сидел человек постарше, низкий, щуплый, сутулый. И обращались спорщики не друг к другу, а к нему, как к судье. Тот на их реплики слегка качал крупной головой на тонкой шее. Его глаза смотрели печально, а губы улыбались, топорща густую щетку усов.

В противостояние вступали другие. Хотя Нахретдин не всегда понимал смысл фраз, он улавливал в них что-то тревожное, неподобающее. Уважаемые гости осуждали губернские власти, но не за униженное положение мусульман на собственной земле, не за бесчисленные храмы иноверцев, а за какие-то права и свободы, вздорный женский вопрос. За этим Нахретдину мнилось покушение не только на имперский закон, но и на сам шариат.

Он испуганно оглядывал собравшихся. Никто не высказывал ни страха, ни возмущения святотатством. Нахретдин решил, что неверно истолковал их слова, немного успокоился и принялся украдкой рассматривать лица.

Тогда он заметил еще одну неприятную особенность: гости не носили бород. Их подбородки были неподобающе нагими, как у юнцов, хоть у мужчин это порицается. И головы не были обриты налысо по хадису Тахави: из-под каляпушей[1] торчали волосы, подстриженные на разную длину, как у неверных, а ведь это и вовсе харам — запрещено шариатом.

Нахретдин повернулся налево, где все это время было тихо, и остолбенел. С той стороны стола среди мужчин сидели девушки! За несемейной трапезой, при почетных

---

[1] Ключарёв Александр Степанович — уфимский губернатор (1905—1911).

[2] Каляпуш — высокая тюбетейка.

гостях, да к тому же, судя по головным уборам, незамужние! От негодования и стыда у него перехватило дыхание. Рука невольно потянулась к мешочку под рубахой, где было спрятано зеркальце — его оберег, талисман его чистоты.

Одна из девушек, обращенная к нему полубоком, держалась и вовсе возмутительно: она сидела не как положено — на самом краешке, сгорбленно, подобрав колени и опустив голову, а глубоко и свободно, откинувшись на спинку кресла. Руки вольно лежали на подлокотниках. Платье было из неприлично светлой ткани. Русые с медным отливом локоны выбивались из нетуго закрученного узла, на макушке была только маленькая тюбетейка — она даже не покрыла голову платком! И смотрела на всех без стеснения быстрыми ореховыми глазами, не стыдилась смеяться и не прикрывала ладонью рот, когда улыбалась.

Нахретдин вскочил, но брат, все еще державший его за плечи, силой усадил на место.

— Эй! — шепнул Тунгатар ему на ухо. — Что рвешься, как необъезженный жеребец? Впервые девушку увидел, что ли?

— Как она смеет, среди мужчин! — воскликнул Нахретдин.

— Молчи, малай неотесанный! — зашикал брат. — Ты хоть знаешь, кто она? Это же сама Сахибджамал Гиззатуллина-Волжская, актриса труппы Кариева! Неужто ты в театре ни разу не был? Ну вот свожу тебя — посмотрю, что тогда скажешь!

Тунгатар тут же обратился к девушке:

— А что вы нынче ставите?

— Из Островского. «В чужом пиру похмелье», — горделиво ответила та.

Нахретдин хмыкнул. Слова «актриса», «театр» и «Островский» не внушили ему никакого доверия. Его жгла обида на брата за то, что тот заманил его в круг нечестивцев в довершение такого тяжелого дня. Меж тем справа не утихал спор.

— На всех столыпинский галстук не накинут! — кричал мальчишка на углу стола, его лицо и уши по-детски розовели.

— Либералы провалились! — со значением сказал красивый мужчина в светлом костюме. Речные глаза, немного навыкате, смотрели не по возрасту строго.

— Это Галимджан Ибрагимов, — шепнул Тунгатар самодовольно. — Читал его «Изгнание Заки-шакирда из медресе»? В Эль-Ислахе печатали.

Нахретдин сердито покачал головой.

— На пути просвещения буржуазия нам не помеха, а помощники, — возражали ему. — На чьи деньги строится «Галия»? Джантюриных, Назирова, Шамгулова! А вы обзываете их угнетателями.

— Насмотрелся я на вашу буржуазию, — вдруг заговорил человек, к которому они обращались, как к старшему. Все мгновенно притихли. — И на своей шкуре испытал широту их души. Их благотворительность на чужом горбу пашет.

— Угадай, кто это, — восторженно зашептал Тунгатар. — Мажит Гафури. Тот самый.

Нахретдин с сомнением посмотрел на маленького человека с оттопыренными ушами и несуразно крупными чертами лица. «Как? Тот самый, великий? Быть не может! Они меня разыгрывают! Они издеваются!» — Нахретдин чуть не ударил кулаком по столу.

— А как же! Мы читали вашего «Богача». Очень верные строки! — согласно закивали все спорщики.

— Они не праведное подаяние платят, а откупаются от совести, — едко продолжил Мажит Гафури, не обращая внимания на похвалу. — Не ради народа

стараются, а для своей славы. Их подаяние — это рия[1]. А народ они со свету сживают на Орских приисках.

— Вы наш Горький! Борец за правду! — сказала Сахибджамал, немного краснея. — Посмотрите! Даже лицом похож!

«Прервала старшего. Заговорила без дозволения хозяина дома или махрама[2]!» — снова разозлился Нахретдин. Но на ее дерзость все только воодушевленно закивали:

— Верно говорите, Сахибжамал-туташ! — кивнул Ибрагимов. — Как мы не замечали прежде!

— Ура нашему Горькому! — захлопала она в ладоши. Кто-то робко поддержал, но аплодисменты быстро захлебнулись.

— О, боюсь, это слишком высокая похвала для меня. Я до нее не дорос, — грустно улыбнулся Гафури. Несколько человек прыснули.

— Ох и острый на язык наш Мажит-ага! Себя не пощадит. — Тунгатар принялся объяснять шутку Гафури: — Горький-то, говорят, ростом — каланча! А наш золотник мал, хоть и дорог.

— Я не то, я в литературном смысле, — залепетала девушка и окончательно смутилась, подобралась, стала скованнее. Нахретдину понравилось, что его любимому поэту удалось поставить эту выскочку на место.

Переведя дух, гости вернулись к своему странному разговору. Нахретдин совсем потерял нить, будто противники перебрасывались зашифрованными посланиями. Его распирало от непонимания и любопытства. Он так и эдак объяснял себе новые слова, а смысла не складывалось. Диковинных «эсеров из Танчилар» и «большевиков из Уралчилар» он посчитал за татарские или ногайские кланы и размышлял, за что русские власти казнили их сыновей — как следовало из слов Ибрагимова.

Зато Нахретдин опознал название «Иттифак-аль-муслимин». Он помнил, как приезжие муллы уговорили его отца поставить свою тамгу за этот союз на выборах в «думу». А зачем была нужна эта «первая политическая организация мусульман империи» и что за «дума» такая учреждается в российской столице — Нахретдину было неведомо. И он очень удивился словам гостей, что «Иттифак» оказался сильным соперником союзам неверных. Сам царь испугался и распустил свою непонятную «думу», отобрав только что дарованные права, «и последнее было хуже первого».

На этом месте опять схлестнулись. Нахретдину казалось, что почетные гости вот-вот кинутся друг на друга с кулаками. Но к его разочарованию драки не случилось. Спор покатился по заезженной колее — в унылый тупик.

После третьеиюньского переворота этот разговор повторялся один в один, как репертуарная пьеса — в гостиной у Тунгатара, в кабинете редакции и в зале Восточного клуба. Те, кто шли дальше слов, давно были арестованы, а остатки разоренной оппозиции ни о чем не могли договориться. И не потому, что были слишком разными: сторонники постепенных реформ — мусульманские кадеты и шакирдское общество ислахистов, поборники радикальных мер — тюркские социалисты и панисламисты. Дело было в другом: они не верили в свой реванш.

---

[1] Рия — показуха, свершение благого дела ради славы, а не ради Аллаха.

[2] Махрам — в исламском праве близкий родственник мужского пола, за которого женщине нельзя выходить замуж по причине родства, но с которым ей дозволено оставаться наедине или выходить из дома.

Последняя соломинка, за которую они тщились ухватиться — идея тюркской автономии. Ее проект подготовили башкирский депутат, известный в Петербурге адвокат Галиаскар Сыртланов и казахский благотворитель Салимгирей Джантюрин. Главой будущей автономии большинство джадидов видело молодого Сыртланова, потомка знаменитого дворянского рода, блестящего адвоката. Он имел вес не только среди мусульман, но и в кругу петербургского дворянства, особенно после того как выступил защитником вице-адмирала Рождественского, адмирала Небогатого и генерала Стесселя на трибунале над участниками Русско-японской войны. Его ходатайство помогло обвиняемым избежать смертной казни. На этот авторитет и делали ставку сторонники автономии.

— Размечтался! Кто даст вам автономию?

— Сыртланову дадут!

— Держи карман шире!

Голоса у всех надломились.

— Самим надо брать! Вон русские эсеры...

— Русские эсеры только кровь пускать умеют! Добились этим чего-нибудь? Терпите теперь этого тирана Ключарёва.

— Ничего, в России пуль на всех хватит. И до Ключарёва доберемся, — произнес человек с настороженным лицом, который до этого сидел незаметно, будто его и не было. Его серые глаза хищно сверкали. Все снова замолчали, но на этот раз тишина была не внимательной и воодушевленной, с которой они слушали Гафури, а присмиревшей, растерянной.

«Это они и есть те самые бунтовщики! — догадался Нахретдин и чуть не поперхнулся. — Они устроили мятеж в Уфе. Вот где, значит, затаились! Чинно сидят за чаем. И брат принимает их у себя. Потому он их и защищал! Он один из них!»

Нахретдин лихорадочно соображал, что ему делать. Если уйти прямо сейчас, то они заподозрят, что он побежал за городовым, и убьют его. А если останется, попадет в их сети. Так или иначе сгинет.

От предчувствия беды и жалости к себе набежали слезы, не хватало еще заплакать перед ними. Надо тотчас же седлать коня и ехать домой из этого страшного города! Он рывком скинул руки брата с плеч:

— Устал я, Тунгатар-ага, спать пойду.

— Как спать! Ты что! Скоро Гафури будет читать новые стихи.

— Сказал же, я устал.

Он поднялся, с грохотом отодвигая стул, и, ни слова не говоря, направился к двери. Тунгатар виновато улыбнулся гостям, сел на его место. В прихожей Нахретдин прислушался. Беседа понемногу возобновилась, на его уход никто не обратил внимания. Он сел на сундук в прихожей недалеко от дверей в гостиную.

— Нет, нельзя отрекаться от надежды. Если праведные халифы смогли устроить свое государство по законам ислама, неужели мы не сможем? Как говорит Камали...

Нахретдин не верил своим ушам. Бунтовщики заговорили о законе — да так верно и складно, как хотел бы сказать он сам, но не находил слов. До глубокой ночи, пока гости не разошлись, Нахретдин так и просидел на сундуке, подслушивая. И ему казалось, что в этот вечер, за дверями гостиной, решается судьба Уфы, всего исламского мира и его собственная.

Возвращение души
(декабрь — апрель 1908 г.)

Когда Ибрагима везли из больницы домой, снег лежал в окрестных долинах. Его еще сдувало ветром с вершин холмов. Но скоро и там с головой потонут в сугробах сухие стебли лабазника, а если зима выйдет обильной, то скроются и зонтики пижмы. Тяжкое время наступает для лошадей, им придется много трудиться, чтобы добыть корм: вытоптать сугроб, вырыть остатки снега мордой, добраться до колкой, ледяной травы.

Отец правил молча. Валил крупный снег, залепляя глаза Ибрагима, как повязкой. И его снова охватила ненасытная тоска. Он вспомнил, как впервые увидел себя со стороны в отражении больничного окна и не узнал этого чужого юношу с землистым лицом. И крупный лоб, и скулы, плотно подпиравшие беспокойные глаза, и круглый выступ подбородка — все было незнакомо. Правда, в них угадывались черты Алмабики, но ведь Ибрагим всегда думал, что больше похож на отца. Черным стрижом распахнулись брови над переносицей. Жестко торчали во все стороны отросшие волосы. Под скулами темнели квадратные впадины — тревожные тени болезни. Неужели тот человек в отражении — это он? Нет, тот совсем другой. Кто он, где я, кто я?

Напрасно Ибрагим надеялся, что вернется в нутро мира, сольется с ним, как только прозреет. Теперь он ясно видел отъединение ото всего, даже от собственного тела.

Почему вместе с выздоровлением его жизнь не пошла по-прежнему? Куда подевался старый надежный мир? Отчего зрение ему вернул этот доктор из иноверцев, а не чистая молитва, не заступничество верных сахабов самого Пророка (мир ему и благословение)? За кем тогда истина — за муллой или за русским доктором? А что если доктор был даже не человеком Книги, а из неверующих? Тогда Ибрагим выздоровел случайно, а не по воле Аллаха. Тогда Аллаха вовсе... Но тут становилось до того жутко, что он не позволял себе думать дальше.

Эти вопросы терзали его всю зиму — на конюшнях, за трапезой, в молитве. А особенно по вечерам, когда свет лампы бил в голый угол, еще недавно скрытый занавеской, — после похорон дочери Арслан с Муслимой съехали в свою избу. Единственным напоминанием о Шамсии был крюк для люльки, торчащий из потолка. От него падала на беленые доски длинная тень, будто смерть манила сверху черным костлявым пальцем.

Ибрагим хотел было спросить у Нахретдина: вдруг он найдет ответы в Коране? Но брат совсем помешался после мартовской поездки в Уфу — к нему было не подступиться. Привез с собой кипу книг и газет, читал их все время, свободное от работы, ничего не замечая и не слыша. Возбужденно думал о чем-то, трещал костяшками в забытьи, точно хворост в печи, время от времени вскрикивал: «Вот оно как!» или «Надо же!»

Меж тем зимний морок таял. Солнце прибывало. Небо налилось светом. Грачи рассыпались по нему семенами черного тмина, будто кто-то большой и невидимый перебрасывал их с одной ладони на другую. Наступило время грачиного пира — праздника поминовения умерших.

Фаррах учил сыновей, что после смерти есть два пути: джаннат — рай для праведников, и джаннахам — ад для грешников и неверных. Но Алмабика тихо добавляла, что по весне души покидают ад и рай и возвращаются домой с первыми

стаями грачей. Кружат над Нарыстау, откуда когда-то черпали святую воду, летят по окраине деревни, садятся на высокие ветки и высматривают родных. Под их священный грай предают земле семена пшеницы, ожидая по осени благодатной жатвы и многократного воскресения.

Ибрагим следил за птицами, которые с шумом устраивались на летний постой, и больше не верил, что чинные праведники оставят джаннат ради этого гомона. А если джаханнам так грозен, как рассказывал Курбангали-имам, то вряд ли он отпустит своих пленников.

В драчливой суете грачей было что-то ребячливое. Наблюдая за ними, Ибрагим понял: это души детей, которые еще не успели ни согрешить, ни стать настоящими мусульманами, после смерти очутились на воле между раем и адом. Будто, не поняв перемены, не замечая своего траурно-черного облачения, они вернулись домой, беззаботные и крикливые.

Там, среди грачей, наверняка были и трое спутников беспечного детства Ибрагима: проныра Султанмурат с хитрым прищуром, придумщик и сказочник Яныбай, незлобивый толстяк Ахметзян. Свидетели его чистоты, участники его безобидных проказ, узнают ли они Ибрагима в этом испорченном теле грешника? Неужели когда-то он был, как они, — легкий, озорной, будто весь собранный из кислых пузырьков кумыса?

Ибрагим помнил яснее, чем вчерашний день, как их ватага собиралась в последний вечер посевной. Как носились по улицам Ильсегулово, скликая женщин и детей на праздник. Как вовсю дурачились, объедались сладким и, щедрые от дармового изобилия, рассыпали грачам кашу. Не задумывались, для чего так принято. Не ощущали горький привкус поминального угощения.

Но один за другим его приятели оказались по другую сторону этой трапезы. Ахметзян упал с лошади и свернул шею, Яныбай скончался от холеры, Султанмурата забил насмерть собственный отец. Пусть Всевышний был четырежды прав, наказав Ибрагима за дерзость, но за что Он отнял жизнь у них, безвинных?

Весь вечер Ибрагим прислушивался к голосам детей, что ходили по деревне, зазывая на пир. Ему самому по возрасту не полагалось участвовать в процессии. А его друзья так и не доросли до совершеннолетия. И никто в толпе этих новых детей не подозревал, что те трое были, жили и бегали по тем же улицам, произносили те же слова.

Ибрагим со снисходительным видом старшего вынес мальчишкам крупу для грачиной каши, стараясь не выдавать печали: своим друзьям он собрал это угощение, тем, что погибли, не успев понять, что смертны.

На утро матери и сестры встали до рассвета, взяли горшки с маслом и кувшины с молоком и отправились на гору. Ибрагиму было велено принести самовар и берестяной короб, полный пышек и творожных шанежек. Он изо всех сил торопился исполнить все до начала чаепития, иначе по традиции придется напяливать женское платье и изображать девицу. Его приятель Зариф с удовольствием проделывал это, даже тальянку брал с собой и наигрывал танцы. На все готов был пройдоха, чтобы получить угощение. Но Ибрагим таких шуток не терпел.

На вершине уже горели костры и женщины варили в котлах кашу. Ибрагим поскорее оставил короб и самовар на расстеленной скатерти, побежал в сторону низкорослого лесочка за поляной, чтобы его не заметили. И увидел Гюльназ.

Она осторожно брала в руки неоперившиеся ветки деревьев, похожие на голые крылья птенцов, и нанизывала на них цветные лоскуты. Свой платок она откинула

назад, чтоб не мешал, и серьги из серебряных монет и кораллов весело раскачивались из стороны в сторону, издавая родниковый звон. В отсутствие людей с ее лица спала мрачная тень покорности, положенной по шариату. Оно светилось нежностью и покоем.

Гюльназ потянулась к дальней ветке и случайно поймала его взгляд. В этот миг Ибрагим отнял ее у земного круговорота, как некогда отпал от него сам. Она еще не знала, что отделена от мира одним его взглядом. Их стало двое. Они смотрели друг на друга, будто впервые встретились. Единственные на всей земле.

— Гюльназым! — позвал он и замолчал: он не придумал, что говорить дальше, да и не стоило бы. И без того он мог обречь ее на позор: они стояли так близко друг к другу, наедине.

Она спохватилась, завернула лицо в платок и отступила.

— Прости! Я не хотел тебя пугать, — сказал Ибрагим робко.

— Уходи, не то крикну.

Он знал, что это пустые угрозы. Если все сбегутся, ей же будет хуже. Но дразнить ее, как прежде он дразнил всех девчонок в округе, не стал. Отвернулся и прошел чуть дальше, к белому камню, что костью торчит из рваной раны земли. Он спрятался за ним и стал наблюдать.

Явился Зариф в криво повязанном платке и драной юбке. В этот праздник ряженому позволялось нарушать женскую границу, безнаказанно приближаться к любой из девушек, словно с юбкой к нему переходила часть их сущности. Зариф шел, вихляя бедрами и выпячивая грудь. В его быстрых руках послушно растягивались и сжимались красные меха тальянки. Заслышав его игру, Гюльназ побежала к подругам. Девушки пустились водить хоровод. В ту минуту Ибрагим возненавидел Зарифа. Гюльназ плясала под его тальянку, смеялась над его выходками.

— Только подойди к ней! Убью! — простонал Ибрагим и разбил локоть об острый каменный выступ.

Пророчество о сыне
(апрель 1908 г.)

Едва окрепнет жеребенок, отлучают его от кобылы и привязывают на весь день к колу на задворках. Если он не выдержит дождей и зноя на пресной вытоптанной траве, то длинную зиму с тягостными тебенёвками[1] не переживет и подавно. Только поздним вечером мать пускают к нему на ночное кормление. А с утра он снова стоит один-одинешенек под беспощадным небом, надеясь только на выносливость своего сердца.

Так Ибрагим томился жаждой по Гюльназ и старался увидеть ее хоть мельком. Поджидал подле колодца, высматривал на мостках у Демы. А она, как нарочно, в его сторону даже не глядела, высоко поднимала голову, горделиво усмехалась — этой скудной пищи ему не хватало, он совсем обессилел.

Оттого ему не хотелось уезжать на конный базар в Уфу. Как прожить несколько дней вдали от нее, если он едва терпел сутки?

---

[1] Тебенёвка — зимняя пастьба, самостоятельная добыча лошадьми корма из-под снега.

Дорога до Уфы будто пролегла через степную засуху.

— Гюльназ, Гюльназ, — шептал Ибрагим, чтобы смочить губы ее благословенным именем.

Ночью, когда они спешились и помолились, и он мечтал поскорее увидеть Гюльназ хотя бы во сне, принесла нелегкая странного человека. Ибрагим сперва принял его за конокрада. И не он один: Нахретдин угрюмо смотрел на непрошенного гостя. Да и отец, вынужденный разделить ужин с подозрительным путником, особой приязни ему не выказывал.

В самом лице Еремея было что-то отталкивающее — то ли болезненная худоба, то ли по-детски плаксивое выражение. Но взглядом он даже походил на Ананьева: смотрел скорбно и надменно, как посвященный в тайну. И надо было этому человеку рассказать ту же историю, что и доктор. Откуда он узнал ее? В его пересказе она стала еще непонятнее. Будто дневной свет пробился сквозь щель в душу Ибрагима. Света этого было достаточно, чтобы пробудились все прежние тени, на время уснувшие, и слишком мало, чтобы они окончательно рассеялись. Немой от недостатка слов, Ибрагим тщетно пытался спросить. Но о чем? Что мучило его? Он был не в силах это передать ни по-башкирски, ни тем более по-русски.

Ибрагим еще больше смутился, когда брат резко возразил незнакомцу. Ибрагим верил: по крайней мере, между учеными людьми должно быть согласие в таких вопросах, потому что они ближе стоят к одной истине. А если истина не одна, тогда ее и нет вовсе. Нет ни разгадки, ни выхода из темницы, в которою Ибрагим был кем-то помещен и осужден на смерть.

Когда Нахретдин наконец уснул, Ибрагим подошел к Еремею. Тот молился, время от времени задремывая. Ибрагим тихонько тронул его за плечо:

— Я с Богом спорил. Он меня слепым делал.

— Это как же? — Еремей оглядел его с любопытством. Ибрагим сбивчиво, путая русские слова, рассказал о страшной звездной ночи. Еремей слушал пытливо, то и дело переспрашивал его о том, что прежде казалось Ибрагиму неважным. С каждым его словом лицо бродяги проникалось страхом узнавания — так на очной ставке преступник смотрит на свидетеля, который может его выдать.

— Не так ли наш патриарх Авраам узрел звездное небо в ночь, когда Создатель заключил Свой завет с ним? — прошептал Еремей и перекрестился. — Не так ли несчастный Иов добивался ответа от Бога? Не так ли Иаков боролся с Господом?

— Авраам? Надо говорить Ибрагим! — поправил его Ибрагим, услышав исковерканное имя пророка, в честь которого был назван. От Нахретдина он слышал, что люди Книги тоже веруют в мусульманских пророков, но по своему умыслу переиначивают их имена и жизнеописания.

— Ибрагим, — повторил Еремей задумчиво и вдруг схватил его лицо в свои шершавые, пахнущие псиной ладони, внимательно оглядел. — Откуда ты такой взялся?

— Из Ильсегула пришел, — ответил Ибрагим растерянно. Еремей отпустил его. Ибрагиму показалось, что слезливый взгляд бродяги оставил на его коже влажный след, и вытер щеки.

— Ибрагим, значит, — голос Еремея снова пошел нараспев. — Велико было искушение Авраамово. Достанет ли тебе сил одолеть его?

Ибрагим покачал головой — он не понял ни слова. Еремей проговорил медленно и гневно:

— Чтобы справиться с испытанием, ты должен верить!

— Верить? Как верить?

Бродяга пропел заученным причитанием:

— Веруй, что через Сына получишь ты спасение от греха. Вот суть нового завета с Богом. В Нем переступишь смерть и будешь иметь жизнь вечную. Ибо жертвой Своей искупил Сын...

— Что за шум? — пробурчал Фаррах.

Еремей съежился, опустил голову и снова начал молиться. Ибрагим дернул его за рукав:

— Какой ибожертвой? — переспросил он шепотом.

Еремей не откликнулся.

— А ну, тихо! — приказал Фаррах. — Кто говорит?

— Это я. Нахретдина разбудить хочу. Его очередь лошадей смотреть! — соврал Ибрагим с досады. Он растолкал брата и устроился в телеге.

Долго ворочался, стараясь не смотреть вверх. Но глаза невольно тянулись к небу. Так оборачиваются на долгий прямой взгляд в спину. Впервые с той злополучной ночи он осмелился посмотреть на звезды. Вышний свет был все так же далек, но будто смягчился.

— Значит, Ты простишь меня, если у меня родится сын? Тогда примешь обратно? — спросил Ибрагим.

А про себя обреченно думал: «Неужто так просто? Эх, да ведь Еремей не знает, что за грех я совершил. Чтобы такой исправить, у меня должно быть столько сыновей, сколько звезд на небе!»

Небо сочувственно молчало. Ибрагим вменил это Богу в обетование.

Они отправились в путь до зари. Фаррах правил, Еремей сидел на телеге с самого краю, его собака, тявкая, едва поспевала за ними. Братья погнали лошадей. Нахретдин взялся отчитывать Ибрагима за вчерашний разговор. Конь брата шел тряской рысью, оттого голос его дрожал и подскакивал:

— Вот ты вчера развесил уши, обольстился хитрыми словами неверного. Праведному мусульманину нечему учиться у христиан. Наоборот, это ты должен учить их, ведь Коран есть истинное откровение Всевышнего, а Писание всего лишь пересказано людьми. И люди его извратили. Тебе повезло родиться в истинной вере, а ты спешишь променять золото на медь? Запомни: тот, кто предает свою веру, не только себя предает, но и отца, и свой род, и землю. Он недостоин жизни!

Ибрагим догадывался: брат распинается не ради него. Слова Нахретдина обращены к гостю. Так он продолжает ночной спор с ним, пытается отвоевать земли, которые вчера уступил. Да и не от себя Нахретдин говорит, а повторяет чужие речи, которым выучился в Уфе. Ибрагим только усмехался. Кто разберет, какова вера его предков, если до сих пор его родня ходит пред Богом двумя путями: исполняет законы шариата и верит в бурзянские обряды. И не задумывается, какой куда выведет.

А Ибрагим уже уразумел, что Всевышний готовит для каждого свой неведомый путь. Самому человеку не дано его выбирать или от него уклониться. Старые слова из старых книг больше не впечатляли Ибрагима: они ничего не весили против его собственного знания о Боге.

И тут Ибрагим вспомнил о Гюльназ и все понял. Вот что связывает их. Она часть его предназначения. Ей суждено выносить его сына — его бессмертие. Все сложилось в единый путь назад в джаннат, откуда Ибрагим сам себя изгнал. Каждый шаг не был случаен. И на ярмарку он поехал не зря. Он сам должен повести торг, чтобы Фаррах узнал, какой из него выйдет хозяин: и на калым заработает, и семью будет содержать в достатке. Тогда отец отправит к Гюльназ сватов.

Конокрад
(апрель 1908 г.)

Весенний базар у берегов Белой уже не был большим событием, на которое в прошлом веке съезжались со всех концов империи. Слева его теснила лесопилка, справа — новая деревня. От просторных заливных лугов осталось небольшое поле, которого едва хватало на всех. Не то что прежде, когда кочевники разных племен пригоняли сюда целые табуны. Основная ярмарка уже давно переместилась на Верхнеторговую площадь. Только раз в год с открытием судоходного сезона, когда баржи с товаром останавливались у Оренбургской переправы, разворачивался базар, прозванный теперь «нижним».

Ибрагим любил его запах, замешанный на прели древесной стружки, холодном речном воздухе, сладком духе калачей и жженого сахара от лоточников. Он дивился разным лицам и нарядам людей. Ревниво осматривал лошадей всех пород и мастей, стоявших у коновязи, приценивался. Как бы ни были изящны мышастые скакуны, их тонкие ноги, шеи с высоким выходом, бархатные, лоснящиеся спины, но по его рассуждению они годились только на всякие фигуры и трюки. Лошади Фарраха, хоть и коренастые, широколобые, с плотной короткой шеей, грубой шерстью, зато крепко сбиты, не уступают в резвости, а на длинных перегонах — куда выносливее. К тому же отец учил его судить о лошади и по тому, как сможешь с нее прокормиться, вдоволь ли возьмешь молока и мяса.

Нахретдину торг был скучен, он все поглядывал на высокий каменный выступ уфимского берега и зевал. А в Ибрагиме взыграло особое вдохновение. Фаррах не встревал, дал сыну испытать себя. Ибрагим сам себе радовался: откуда взялась та удаль, с какой он расхваливал коней покупателям? То он принажмет на спину — лошадь не прогибается, не дергается от боли, стоит прямо; то пустит рысью — та не хромает, дышит ровно и несет седока охотно. Сами собой приходили на язык нужные слова:

— Смотри, постав какой! Смотри, копыта сухие, гладкие, опоя нет — бед не узнаешь! Объезженный конь, сильный! Самому жалко отдавать!

В чем не доставало у Ибрагима опыта, брал чутьем. Так продал молодую пару верховых и одного упряжного коня. Оставались два иноходца, за которых Фаррах надеялся выручить на учебу Нахретдина. Эти добротные скакуны, годные для кавалерийской службы, стоили больше ста рублей за каждого. Отец нацеливался на покупателя военного чина — тот согласится на достойную цену; прочих зевак отгонял подальше. Ибрагима он отстранил, сам взялся торговать дорогих коней, оставив себе в помощники Нахретдина, а его отправил за горячим чаем и сдобой.

Ибрагим без интереса поплелся вдоль лавок, забыв, за чем посылали. Его старания на торге пропали напрасно, отец не доверяет ему, держит за ребенка. В самом важном деле Фаррах положился на Нахретдина, которому нет никакого дела до иноходцев.

Дымка обиды разъела глаза. Ибрагим едва не споткнулся о выставленные у торговых рядов птичьи клетки. Куры распахнули крылья, запрыгали из угла в угол, гуси зашлись испуганным хохотом. Тяжко завозились индюшки — им в тесноте не хватало места, чтобы вдохнуть полной грудью и громко крикнуть. Эти странные крупные птицы напомнили Ибрагиму замужних башкирок в праздничном наряде. Маленькие головы и шеи без оперения были покрыты красными бугорками, словно одеты в коралловые шапочки кашмау. От клюва тянулся алый фартучек в седых наростах —

точь-в-точь хакал[1], расшитый монетами. Тела распухали от серо-изумрудных перьев — такими же пышными смотрелись под елянами фигуры зрелых женщин. И сидели скученно, своим отдельным кружком, как жены на сабантуе, опустив морщинистые усталые лица. Их рабские глаза были полны печали.

Такой стала его смешливая сестра Хадища после того, как ее выдали замуж: сгорбленной ходила по воду, не поднимая головы, будто платок на ней был из гранита. За пару месяцев потемнела, состарилась. И Муслима пришла к ним в дом совсем другой — разговорчивой, веселой. А теперь едва ли услышишь ее голос из Арслановой избы, даже в день поминания усопших она плакала по Шамсии беззвучно, без стонов и всхлипов.

Неужели гордая Гюльназ переродится в эту плененную птицу, сокрушенную под чужой властью, отупевшую от работы и унижения? Мечтая исполнить через нее свой завет с Создателем, Ибрагим ни разу не подумал о том, желает ли она того же. От такого сватовства ее семья ни за что не откажется, сломят волю Гюльназ и продадут ему. Топчи ее, разрывай девичьи бока в страстной жажде бессмертия.

Он передумал покупать ей богатый, обязывающий подарок, который расположит к нему ее родню. Решил привезти безделицу ей одной, и пусть никто об этом не узнает. Прохаживаясь у турецкой лавки с изюмом и специями, он увидел плоды, размером с яблоко, яркие, как июльское солнце ближе к закату. Они пахли остро и кисло, как молодой кумыс. Ибрагим не поскупился, купил целых три — будет лакомство для Гюльназ, и спрятал за пазуху. Только по пути назад он вспомнил про сдобу.

К его возвращению Фаррах продал одного из иноходцев.

— Ничего, и второй уйдет, — кивал он, довольный сделкой. — Не сегодня, так завтра. Дорогого покупателя нужно выждать. Уважайте свой товар, дети, не скупитесь на терпение!

Ибрагим вздохнул: придется оставаться на второй базарный день.

— Отец, отпустите в город до вечера! — попросил Нахретдин. — На сегодня торгу конец, а мне надо сбегать за книгами.

Фаррах согласился. Ибрагим топнул ногой в пыль: «Вот, значит, как! Это Нахретдин затянул дело, чтобы в Уфу сходить!» Если бы отец доверил торг ему, а не брату, они бы уже сейчас ехали домой с хорошей выручкой.

Солнце тяжелело, клонилось к земле, воздух остывал. Обманчивая весна, что весь день прикидывалась летом, к вечеру задышала по-зимнему. Торговля шла на убыль. Приезжие покупатели и торговцы устраивались у своих телег. Прочий народ торопился на плашкоутный мост, пока не разобрали настилы и не отвели в сторону плоскодонки, чтобы пропустить суда. А Нахретдина все не было.

После ночи перегона и целого дня на ногах Фарраха разморило, он прикорнул, оставив Ибрагима смотреть за лошадьми до прихода брата. Подле них стояла кибитка калмыцких конезаводчиков, те готовили на костре пахучее варево. Ибрагим с завистью смотрел в их сторону, голодная дрожь пробегала от живота по всему телу. Один из сидевших у огня, в диковинной шляпе, обернулся на его взгляд и кивнул. Ибрагим спрятал глаза, но тот уже шел к нему.

— Голодный, а? — он протянул ему кусок хлеба. Руки незнакомца были смуглы, крупные ногти казались почти белыми. Темное лицо маслянисто блестело, лоснилась двурогая борода. Его большие глаза были до того черны, будто их не было вовсе — только две дыры над скулами. На калмыка он совсем не походил. И одет был дорого,

[1] Хакал — традиционное украшение башкирок в виде нагрудника, расшитого кораллами и монетами.

по-городскому: под бархатной курткой блестела едко желтая рубаха, широкие брюки заправлены в крепкие сапоги. Серебряная цепочка часов торчала из кармана.

— Спасибо! — кусок чужого хлеба кисло и шершаво сполз по горлу Ибрагима.

— Что, никак не избавишься от своего недоростка? — он с усмешкой сплюнул в траву. — Не покупают коня?

Ибрагим растерялся, из головы сразу выскочили все слова, которыми он сегодня так щедро осыпал покупателей.

— Ты что? Это юрга! Юрга! — он забыл, как сказать по-русски «иноходец».

— Как ни называй, я-то вижу: бестолковый конь.

Обветренные щеки Ибрагима запылали от оскорбления, он рывком освободил узел с коновязи, собрал веревку в кулаке, оседлал скакуна и провел его шагом перед богачом:

— Смотришь, как идет? Как ноги ставит?

— Так он у тебя еще и на правую припадает. Хромой!

— Как хромой? — Ибрагим готов был сорвать с головы бурек[1] и запустить им в богача.

— Ты дурачком не прикидывайся. Калекой уродился твой конь или заездил кто? А может, тут незаметно подпортили завистники? Вон из тех калмыков? Они известные злодеи.

— Где? — Ибрагим засомневался: неужели повредили коня?

— А я тебе говорю. Слезай, сам погляди, если не веришь!

Ибрагим спешился, немного отпустил веревку, намотал ее конец на правое запястье, слегка хлестнул скакуна и причмокнул. Конь послушно пошел вперед, посматривая на Ибрагима: поспевает ли за ним, будто боялся потерять из виду. От сердца отлегло — конь переставлял попеременно обе правые ноги, а затем обе левые, не заваливаясь на сторону.

— Ровно идет! — Ибрагим понял, что богач над ним подшутил.

— А ты сюда присмотрись! — тот обогнал коня и стал указывать на переднюю ногу. Ибрагим пошел смотреть.

В этот миг богач прыгнул — почти взлетел на коня, изо всех сил дал ему в бока железными каблуками сапог. Конь взвился, заржал, пытаясь скинуть жестокого наездника. Но богач держался крепко, будто врос в его спину. Ибрагим дернул за веревку, чтобы подтащить коня к себе, завалился назад, уперев ноги в землю, и закричал:

— Крадут! Коня крадут!

Богач дернул уздцы, присвистнул, еще раз ударил коня. Скакун помчался галопом. Веревка сжала руку Ибрагима. Петля, которую он намотал, затянулась. Он упал. Веревка рванула его за собой. Рука его распрямилась, плечо сахарно хрустнуло. Распустить петли он не мог. Сообразил только ухватиться за веревку другой рукой, чтобы ослабить давление на кисть. Калмыки повскакали с настилов, к ним побежали люди с других стоянок.

Конь несся быстро, выгибая шею, неистово качая головой — веревка, на которой болтался Ибрагим, натирала коню шею. Вор тщился развязать узел, вгрызся в него зубами. Ибрагима швыряло из стороны в сторону перевитая ладонь налилась синевой. По каменистой дороге Ибрагима разбило бы сразу, повезло, что вор погнал коня по траве. Но и в поле попадались твердые бугры от прошлогодних борозд, колотило по плечам, груди, ногам. Наконец, узел поддался, вор сбросил веревку с шеи коня. Все замерло. Земля остановилась.

---

[1] Бурек — традиционный головной убор башкир в виде шапки с меховым околышем.

Другой человек
(апрель 1908 г.)

— Тебя не узнать! — всю дорогу хвалился Тунгатар, оглядывая Нахретдина. — Другой человек!

— Еще бы, Тунгатар-ага! Спасибо! — Нахретдин кивал, хотя ему было тесно в другом человеке. Он едва успевал за братом. Брюки были узки, не пускали на привычно широкий шаг. Ткань крепко обхватывала плечо, когда он пытался поднять руку, чтобы придержать тюбетейку, срываемую ветром. В тугом жилете было тяжело дышать. Сюртук сковал спину: повернуться он мог только всем корпусом, неловко переступая ногами, или одной шеей, но ее тут же подрезал высокий жесткий ворот.

Наконец они подошли к парадному фасаду дворянского собрания. Нахретдин неловко поднялся на ступень, запнулся, раскинул руки, ловя равновесие, швы сюртука угрожающе скрипнули.

— Надо было камзол... — забубнил он и смолк, едва подняв голову. Изнутри здание казалось больше и выше. Оно росло и множилось колоннами, лестницами и галереями. Нахретдин никогда не видел, чтобы лампы горели так по-солнечному ярко. С потолков свисали многоплодные гроздья света на золотых ветках. Приглушенные голоса поднимались до высоких сводов, складываясь там в ровный гул.

— Смотри, вот и наши богатеи. Гласный Уфимского земства Джантюрин, братья Каримовы, те, у которых типография. Семейство Хакимовых, Шамгулов с дочерьми, — говорил Тунгатар сквозь усмешку. Но ехидство, с которым он произносил эти имена в собственной гостиной среди друзей, тут давалось ему плохо. Его желтоватые глаза сияли, как сливочное масло, тающее на горячей медовой лепешке.

Нахретдин и сам поддался очарованию нарядного, залитого изобильным светом круговорота. Образ «бессовестных баев», которых Рашид Гали вдохновенно обличал за столом у Тунгатара, никак не соотносился с этими почтенными лицами. В его воображении они были похожи на Кузякбая Биккулова — пухлые, недалекие, с перепачканными бараньим жиром бородами. А к этим благородным, статным фигурам он не испытывал обещанной «классовой ненависти».

— О, тебе повезло! — воскликнул Тунгатар. — Сыртланов приехал из Петербурга. Видишь того высокого человека во фраке?

— Где?

— Вон, справа от Джантюрина. Никак снова гостит у тестя. Я тебе не говорил — он женился на дочери генерала Махмуда Шейх-Али? Того старика в пенсне. Гляди, как Амина-ханум заважничала. Еще бы, теперь она столичная дама, не чета нашим уфимским барышням. — Тунгатар кивнул в сторону худощавого мужчины с фигурно остриженной бородкой и усами, держащего под руку хорошенькую девушку. Волосы ее были пышно убраны, а платье, несмотря на простоту и строгость, выглядело не по-здешнему роскошно.

Сыртланов говорил, улыбался, но его глаза, исполненные то ли надменности, то ли печали, оставались безучастны к собеседникам. Нахретдин бы многое отдал, лишь бы узнать тайну этого задумчивого лица. Вот перед ним блестящий знаток не только фикха, но и русского закона, человек права — его идеал. С его происхождением, образованием и богатством он мог бы быть выдающимся мусульманским судьей, но по непостижимой причине выбрал карьеру адвоката, да еще у неверных, поставил

жалость к ничтожным грешникам выше божественной справедливости. Столько знаний и таланта потрачено не просто впустую — во вред.

Нахретдин пенял ему не за один только трибунал по Порт-Артуру, когда стараниями Сыртланова ненавистные русские военачальники избежали заслуженной смерти. Никакой грешник, будь то неверный или фасик[1], не достоин ходатайства ни на человеческом, ни на небесном суде. И все же Сыртланов, занятый таким презренным делом, достиг не меньшей славы и уважения среди старейшин уфимской губернии — эта загадка не давала Нахретдину покоя. А в сравнении с судьбой Сыртланова его собственные мечты представали и вовсе убогими, как старый камзол рядом с братовым сюртуком. Хорошо, что Тунагатар убедил его переменить костюм. Но можно ли скрыть за городской одеждой свою ничтожность?

Нахретдин попятился и едва не столкнулся с высоким подтянутым шакирдом, стоявшим в золоченой арке, которая вела в другой зал. Он уже лепетал извинения, когда понял, что этот шакирд и есть он сам.

Он расправил плечи. Смелее вошел в круг приятелей Тунгатара, снисходительно принимая их удивленные приветствия: «Ба! Неужели это тот самый Нахретдин? Каков!» Он поджимал губы, чтобы улыбка вышла поскромнее, сводил брови, примеряясь к серьезному лицу Сыртланова.

После звонка поднялись в зал, уставленный рядами стульев. Из-за тусклого света и тяжелых гардин, скрывавших окна, его глухое пространство походило на древнюю пещеру. Гирлянды гипсовых цветов на стенах и потолке не парили невесомым кружевом, как в вестибюле, а громоздились соляными наростами. Публика рассаживалась лицом к большому проему, занавешенному плотным темно-красным бархатом и подсвеченному снизу. Казалось, все смотрят в разинутую пасть огненного змея.

В зале стремительно смеркалось. Только перегородка горела по-прежнему ярко. Соседи Нахретдина коротко и негромко переговаривались, оправляли одежду, откашливались. Когда совсем стемнело, наступила тишина.

Нахретдину стало так странно в нарочитом, почти ритуальном молчании, что хотелось закричать. До зуда в горле. Он посмотрел по сторонам. Все вокруг были спокойны, даже торжественны, никто не тревожился.

Заиграла мандолина — куплет из татарского романса. Перегородка разделилась надвое. Части ее медленно поплыли в разные стороны. За ней открылась обыкновенная комната с комодом, письменным столом. Слева окно, не излучавшее никакого света, хотя в нем просматривался дневной пейзаж. В стене — проем в черноту. Нахретдину вдруг подумалось: «А если забраться в ту комнату? Что будет?»

Фальшивая долина в окне заколыхалась, когда по комнате зашагал худощавый старик, — так дрожит полоска леса в испарине тающего снега. Музыка смолкла.

Старик размахивал руками и восклицал:

— Невежество! Невежество!

Громко стуча каблуками, в комнату вошла женщина в барском платье и вышитом платке поверх тюбетейки. Лица обоих были белые, иссеченные серыми морщинами, омертвелые, как из глины. Они долго спорили, но не друг с другом, а будто бы с залом — они все время поворачивались к публике и смотрели на всех сразу и как бы сквозь них.

---

[1] Фасик — мусульманин, пренебрегающий выполнением основных положений ислама.

Женщина скрылась, появилась девушка. Она назвала старика отцом, заговорила с ним, плавно расхаживая по комнате, отчего юбка, пылающая пронзительным синим, сухо шуршала. Нахретдин вертел головой вслед ее движениям, забыв про острый край воротника.

Девушка была бледна, глаза и брови густо подведены, как у фарфоровой статуэтки в лавке Шамгулова. Трепетала красная бабочка рта. Она смела высказывать отцу невообразимые дерзости:

— Если б я полюбила кого, я б тебе сказала... А то нет еще... Этот молодой человек уж очень необразован. И ты, отец, мог подумать?

На что старик не ударил ее и даже не закричал, а ответил робко, чудно:

— Ну-ну-ну, виноват! В последний раз, больше не буду!

Все это безумие Нахретдин мог истолковать только как обряд перевоплощения, вроде тех, что устраивались на бурзянской половине деревни в праздник урожая. Лица ненастоящие, одежда слишком пестра, разговоры нелепы, жесты преувеличенны. Старик и девушка казались уже не вполне людьми — духами, способными растаять, как дымка над горизонтом. Конечно, Нахретдин и не смог бы пробраться в ту комнату, ведь ее вовсе не было.

Живым оставался только этот освещенный квадрат комнаты. Люди в зале замерли, лица обессмыслились. Их уже не существовало — только неподвижные тела на стульях, чучела. Нахретдин и сам перестал чувствовать себя. Единственной его заботой стала тревога за ту девушку. Он и думать забыл, что несуразная ситуация, в которую она попала, невозможна ни по каким положениям шариата или простым традициям выкупа невесты. Неведомым образом он оказался внутри той комнаты и теперь жил по ее нелепым законам.

Половины перегородки снова сошлись. Бурлящий грохот прокатился по залу. Нахретдину послышалось, будто талая вода выбивает мелкие камни, слетая со скал. Он вернулся в себя, захлопал вслед за остальными. В зале зажегся свет, перегородку открыли, за ней стояли все те же старик, девушка, юноша, женщина; они улыбались, и за нарисованными масками проглядывали совершенно другие черты. Подносили корзины цветов и ставили прямо к их ногам. Комнаты больше не было, она превратилась в продолжение зала, увешанное разрисованными тряпками.

— Что, пойдем поблагодарим! — Тунгатар хлопнул Нахретдина по плечу.

— Кого?

— Сахибджамал-туташ, конечно!

— Ах, да! — только теперь Нахретдин узнал в девушке со сцены ту самую актрису, которая так возмутила его в гостях у Тунгатара.

— Э, брат! — засмеялся тот. — Говорил же: тебе понравится в театре!

Он потащил Нахретдина за руку через какие-то лестницы, арки, коридоры с множеством дверей. У одной из них уже толпились люди. Тунгатар остановился, взбил складки шейного платка, подкрутил усы, достал из кармана бумажный кулек, в котором оказался крохотный букет ландышей.

— Я не пойду, — неожиданно для самого себя сказал Нахретдин.

— Ну, сам знаешь! — махнул Тунгатар дрожащей рукой и вошел в желтый луч, проступивший в проеме.

Несколько мгновений, пока дверь была открыта, из комнаты лился запах розового масла и ее мягкий голос, который еще недавно звучал со сцены так четко и волнующе, будто она была совсем близко к Нахретдину, как в тот вечер. Теперь и представить нельзя — сама Сахибджамал сидела с ним рядом, а он ничего не понял.

Ради милости мельком увидеть ее люди выстаивают очереди в священном терпении, и ему нет среди них места, он все упустил.

— Дурак, дурак! — ругал себя Нахретдин. Он бы с наслаждением отхлестал себя по лицу.

Когда вышли из театра, мир стал другим. Все в нем оказалось полно жизни, она ветром носилась над землей, поднималась к облакам.

— Смотри-ка! — Тунгатар щелкнул крышкой карманных часов. В модном наряде он больше напоминал приказчика. — А мост-то убрали.

— Разве?

— Девятый час. Да чего ты испугался? Заночуешь у нас, а утром перейдешь реку.

— А если по железной дороге?

— Зачем? Оттуда часа три ходу, Бельский берег по другой стороне — заросший, болотистый. Вернешься только ночью.

— Ну и пусть.

— Что за глупости! Оставайся, расскажешь, как тебе спектакль.

— Про это я говорить не сумею. Понравился, чего ж еще. Спасибо, Тунгатар-ага, но я переоденусь и пойду.

— Э, барана разве переупрямишь. Шайтан с тобой, иди! Я хоть до моста тебя провожу.

Нахретдин хотел бы идти один, молчать и думать о ней. Наползала тьма. Брат торопил, почти бежал, Нахретдин не старался успеть за ним, он все оглядывался назад.

Проскочив будку обходчика, они распрощались. Нахретдин зашагал по доскам, выстланным у самых рельсов. Свет, который река вобрала в себя за день, испарялся белесой дымкой. Мост летел высоко над водой. Его фермы вздымались железными боками огромного змея. Нахретдин шел в его чреве, как батыр из сказок старшей матери. Справа над ним нависала угрюмая гряда с магометанским кладбищем. В черной водонапорной башне на ее вершине он видел страшный силуэт Хозяина горы. Но Нахретдин все равно смотрел туда, на зловещий профиль склонов. За ними скрывался Ушаковский парк, уфимские улицы, театр. Где-то там по-прежнему звучал ее голос, кому-то посчастливилось сидеть рядом с ней за столом — на пиру у бога Тенгри за семью небесными сферами. Нахретдин спешил к ярмарке, к своему иноходцу, — теперь его конь был крылатым Акбузатом, что поможет ему преодолеть все семь небес. А кем суждено стать ему самому, Нахретдин уже не знал и боялся загадывать.

Золотые яблоки
(апрель — май 1908 г.)

Ибрагим утонул в боли. Болью стало все вокруг: профиль Уфы под воспаленным небом, лезвия осоки у висков, выпученные лица людей, склонившихся над ним, и особенно острый крик Фарраха. Отец подбежал и, пересиливая одышку, позвал его. Потом припал к его груди, услышал, что сердце сына все еще бьется, выдохнул «Хвала Аллаху!» и принялся осторожно осматривать его голову, руки и ноги. Убедившись, что Ибрагим худо-бедно цел, он вдруг озлился, махнул рукой и пошел обратно к телеге.

Боль добралась до самой души, когда Ибрагим понял, что отец не простит его хотя бы из жалости. Фаррах окончательно разочаровался в нем. Вор увел не только

коня, но и надежду. Лучше бы заездил его до смерти, чем оставлять тут в безысходности.

Ибрагиму помогли подняться, он на кого-то оперся, кто-то поддержал его за пояс, доковыляли до кибиток. Усадили у костра, вправили плечо.

— Вывихом отделался — крепкий!

Сняли чекмень.

— Погоди! Вон у него вся рубаха в крови! Ребро-то, видать, сломалось и насквозь прошло.

Железный запах крови смешался с каким-то остро-сладким ароматом, весь живот его был в бугристых кусках рыжеватой кожи. Все отпрянули и ахнули:

— Брюхо вспорол!

Но это была всего лишь кожура от плодов, которые Ибрагим купил для Гюльназ. Он рассмотрел их как следует. К корке крепилось измятое золотое мясо. Он лизнул его: свежий, медовый с кислинкой сок защипал язык. Гюльназ бы угощение понравилось, а теперь для нее не осталось даже прощального подарка.

С Ибрагима стянули рубаху, чтобы промыть ссадины, и оттуда выкатился последний плод — он чудом завалился за спину и там уцелел. Как утешение. Ибрагим подумал, что не все еще, может быть, потеряно. Загадал: «Если Гюльназ примет яблоко — будет моей женой».

Боль стала глуше, однообразнее. Ибрагим приноровился к ней, усвоил, какое положение тела меньше ее беспокоит, и замер в нем. Фаррах от гнева взбодрился, развел костер, сварил в кипятке остатки казылыка и заговорил с Ибрагимом.

— Дурень! Разбойнику отдал такого коня! Ну молись, чтобы сезон выдался хороший! Каждую копейку отработаешь!

Его слова успокоили Ибрагима: значит, дело еще можно поправить.

Плашкоутный мост разобрали, и поплыли в сумерках, как тени разномастных рыб, мелкие окуньки-катера, пузатые карпы-пароходы и длинные щуки-баржи, попыхивая угольным паром. Нахретдина все не было.

— Уж не в Казань ли он отправился за своими книгами! — ворчал отец. Ибрагим радовался, что часть его гнева перекинулась на брата.

Нахретдин вернулся поздней ночью — мокрый, озябший, сам не свой. Побои Фарраха перенес безропотно, даже с охотой: улыбался и услужливо подставлял спину под глухие удары. Отец, принявший эту покорность за насмешку, пуще распалялся, сорвал на нем весь гнев, предназначавшийся Ибрагиму. Наконец, его рука устала и выронила плеть. После поужинали и отправились в путь — торг был окончен.

Без отдыха с дороги, не щадя свою боль, Ибрагим занялся работой. И всюду таскал за пазухой золотое яблоко — вдруг Гюльназ выйдет из дому.

Настала пора цветения. Дёма, извиваясь между лугами и косогором, намывала на равнине пойму, которая к середине лета пересыхала и заболачивалась. Но в мае вольготно было реке на этом лежбище.

Вода отражала безудержную небесную синь. Тут и там гнездились на ней крохотные цветы калужницы. Казалось, желтые пучки росли прямо из неба. Или небо затопило лютиковое поле. Здесь вода отдыхала немного, а потом устремлялась дальше, все быстрее и быстрее, с журчанием пробегая по камням. И вместе с ней перетекало небо из широкой ленивой заводи в худой торопливый поток.

За ним следом Ибрагим гнал свой табун, поближе к мосткам, куда Гюльназ приходила за водой.

Берег, на котором стояло Ильсегулово, круто забирал вверх, скрывая за земляным валом ближайшие дома. Густые плети ив занавесили тропинку к реке. Здесь их свидание будет скрыто от любопытных глаз. Гюльназ все не показывалась, но надежда на встречу обновлялась в Ибрагиме каждый день. Как небо наполняло сосуды земли живительной весной, так восторженное предчувствие Гюльназ разливалось по телу Ибрагима, исцеляя раны. И однажды оно сбылось.

Он увидел ее еще издали, когда она спускалась к реке, и тут же направил коня вброд — ей навстречу.

Он заметил с трепетом, что она к нему переменилась — смотрела заботливо и не спешила прогонять. Ее лицо стало пронзительнее, глаза смотрели темнее, словно измученные головной болью. Неужели тревожилась о нем?

— Я слыхала, что тебя чуть не извел конокрад. Еле жив остался, — сказала она смущенно.

— Пустяки! Все уже прошло. Лучше посмотри-ка, гостинец тебе привез! Не откажешь принять — я тебя сосватаю!

Она покачала головой, забряцали ее длинные серьги.

— Угощаешь или сватаешь? Что если подарок твой горек на вкус?

— А ты попробуй!

Он кинул ей яблоко, Гюльназ протянула руки. Вдруг сверху засвистели мальчишки. Как им удавалось подкараулить людей в самую уязвимую минуту? Точно клещи, что за много шагов угадывают человека, к которому хотят прицепиться. Полетел золотой шар, а Гюльназ уже в страхе опустила руки, спряталась в платок. Подарок нырнул в воду, выпрыгнул много дальше от мостков и поплыл, крутясь, вниз по реке.

— Ай! — сокрушенно воскликнула Гюльназ.

Ибрагим припустил коня к склону, угрожающе вертя над головой плетью, но мальчишек и след простыл. Он обернулся:

— Раз хотела поймать — считай, приняла. К зиме жди сватов! — пообещал он Гюльназ и отвел табун подальше, чтобы не оставить никаких следов их встречи, если мальчишки все же донесут.

С того дня Ибрагим работал за троих — к его обычным обязанностям и долгу перед отцом добавился калым за невесту. На его счастье дни выдались благодатные, с сытными дождями и обильным солнцем. Ковыль уродился сочный, и кобыльего молока прибыло вдоволь.

Кумысники появились в округе уже в середине весны. Но настоящий сезон всегда начинался с приездом в Александровскую кумысную санаторию доктора из Петербурга. Оттого Ибрагим каждый день молил Всевышнего, чтобы доктор в этом году заехал пораньше.

Кумысников приезжало так много, что большинство, не найдя места в переполненной санатории, селились по всем окрестным деревням в надежде попасть на прием к Рубелю. Кумыс они покупали бойко и пили не строгими дозами, скупо отмеренными доктором, а впрок по несколько бутылок за день.

Весь сезон Ибрагим крутился, как вездесущий шайтан, — успевал окуривать кумысные кадки душицей, запечатывать и развозить бутылки. Он держался одной мечтой о Гюльназ. Старшая мать взялась ему помогать: колдовала и нашептывала над кобылицами, чтобы прибывало молоко, без устали взбивала кумыс одеревеневшими руками. За лето Ибрагим расплатился с отцом. Подходило время засылать сватов — по согласию Гюльназ, полученному в обмен на золотое яблоко.

Возвращение демона
(зима — осень 1910 г.)

«Меж тем дело шло к развязке. Ее четвертой приметой был стук топоров. Зимой и до нас добрались порубки: пошел слух, что отнимают наши вотчинные земли. Многие отправились ломать свои деревья, чтобы не достались новым хозяевам. Выстукивали со звоном тягостный марш казни. Говорливые липы, певучие сосны со стоном валились на землю. Сколько пчелиных семей пропало. Погиб мир древесных духов. Нарушился вечный порядок.

Но я не сокрушалась о нем: этот же порядок велел мне терпеть унижения, забыть мечты и стать женой гадкого, жестокого человека. Сердце с радостью откликалось на звонкие удары. Пусть падет старый мир, пусть обрушится.

Пятой приметой стал огонь.

Как-то ночью подожгли сарай лесника, препятствовавшего порубке. Следом за сараем занялись и его баня, хлев, изба. Я проснулась от голосов сестер и братьев, побежала с ними на улицу. Пламя на окраине деревни было видно издалека. Оно извивалось бешеной лисицей, угодившей в ловушку: валило крыши и стены, с жадным хрустом грызло бревна. Я не могла насмотреться на пляшущее зарево. Ни суета, ни беготня с ведрами, ни завязавшаяся в толпе склока не отвлекали меня. Я все смотрела и шептала: пуще гори, чтобы вся деревня обернулась пеплом, вместе с лесом, с Талкасом, только бы я была свободна.

Когда хозяйство лесника выгорело дотла, драка сама собой рассыпалась, все разошлись. Никто не пожелал приютить уцелевших погорельцев, кроме Идриса-хазрета. На следующий день явились жандармы, ходили из дома в дом с расспросами, забрали с собой дюжину человек с самых бедных дворов, не разбирая, виновны они или нет.

На время все затаились. Но распря, которая вспыхнула на пожаре, не погасла. Копились обиды и подозрения: кто поджег, кто донес. Припущенники и бедняки злились на вотчинников. Соседи сторонились соседей. Женщин и детей не пускали со двора, да и мужчины выходили на улицу только в короткие светлые часы.

Не верилось, что люди, которые нынче с такой ненавистью боялись друг друга, еще перед кочевкой сидели рядом на летнем празднике, а по осени всей деревней справляли свадьбу у Кутлукильдеевых и продолжали ходить в одну мечеть на пятничную молитву. Только двоих принимали по-прежнему радушно — Юлдаша и Идриса-хазрета. Оба они, как могли, старались потушить вражду.

Улицы опустели и стихли, зато в доме было шумно и тесно: матери, сестры, братья, новорожденные телята и ягнята толклись у очага. К тому же олэсэй не могла упустить такую удачу — столько народу собралось, и никто от ее ругани не сбежит. Придумывала капризы один вздорнее другого. Куда там — писать и учиться. Дневник я забросила, книг не открывала.

Зато к отцу зачастил Юлдаш с пасынком — уговаривал забыть ссору. В те часы я сидела, спрятавшись за занавеской, и смотрела в щелочку на Алдара. Вот он улыбнулся, принял пиалу с чаем, сделал глоток, слегка подпрыгнул его кадык. А дом и после его ухода будет пахнуть знойным сеном, озёрным ветром, будто он все еще рядом.

Смута улеглась, когда иссякла пища, — всё замело снегом. Земля расплачивалась за благодатное лето. Сугробы выросли такие высокие, что лошади вязли и не могли

добраться до мерзлой травы. Бедняки начали разбирать соломенные крыши на прокорм отощавшему скоту. Тогда Идрис-хазрет уговорил богатые семьи поделиться с ними припасенным впрок сеном. Вотчинники шли на это неохотно, но и по спокойствию все давно истосковались. Мир закрепили на деревенском сходе за общей трапезой. А после нам позволили пойти в мектебе.

Как я бежала к абыстай! Будто не из дома, а домой. Не от родных, а к родным. Видать, и она по нам скучала. День возвращения был ясный, классная комната вся светилась. Я разомлела от теплой радости. Скоро весна, затем лето. Я выстояла, я уеду!

Фатанат-ханум уже давно все придумала. К концу лета Идрис-хазрет уговорит отца отпустить меня с ними в Троицк, погостить у родни. На самом же деле, они довезут меня до Уфы и пристроят там в женское мектебе. Абыстай уже списалась с Марьям-ханум Султановой, невесткой самого муфтия, которая открыла в своем уфимском доме школу-приют для девочек. Сперва я отказывалась — слишком опасен был этот план для муллы и абыстай. Отец непременно обставит это дело как похищение и отдаст их под суд. Не то что прихода можно за такое лишиться, но и в тюрьму угодить. Но Фатанат-ханум настояла на своем:

— Об этом не тревожься. Мы знаем, как все уладить.

По весне, как стаял снег, впервые за долгое время наелись табуны и стада. Подкрепились и люди. Вместе с силами к ним вернулся дух злобы. Раздышались зимние распри, встали на ноги и пошли по деревне. Слухи о новых границах подтвердились. Староста уже получил письмо о приезде межевой комиссии. Собрали сход. Большим числом семей решили не допускать землемеров к работе, чинить препятствия на их пути. Но несколько зажиточных хозяев отказались — и с ними мой отец.

В деревне болтали, что этим отказом мы надеялись сохранить за собой кусок вотчинной земли пожирнее. Но напрасно злословили. То ли трусил отец перед властями, то ли понимал свое бессилие и не хотел гневить их понапрасну, но выгоды своей он не искал. Это я знала точно: как только пришло письмо о комиссии, он взял братьев и отправился в леса забирать пчелиные семьи из уцелевших бортей. Отец сколотил во дворе колоды, и пчелы поселились у нас на дальнем огороде. Мы перестали быть бортевиками.

С приходом землемеров беспорядки усилились. Отец сокрушался:

— Только дурак чинит раздоры летом! А кто работать будет?

Опять прискакали жандармы. И тут за бунтовщиков вступился Идрис-хазрет, просил отправить на пересмотр списки ревизии, составил прошение председателю Думы, где указал все старинные грамоты на дачи — скрепленные еще царицей Екатериной. Но ходатайство его не помогло.

Мы потеряли свои деревья и поля кочёвок. Впервые провели лето, не покидая деревни, пасли в окрестных полях. Шалаши из драницы ставили на ближнем покосе. Сжались наши пределы: как хочешь, так и крутись. Но я не жалела о прошлом раздолье. Впереди у меня была свобода, дороже которой не может быть ничего на свете.

Одно печалило — разлука с Алдаром. Как назло, его я за все лето видела только издали. Не было больше ни ночей у костра, ни песен, ни сбора меда в лесу. Все, что могла увезти с собой, — его стихи, переписанные в дневник.

Наконец наступила пора ветров и дождей — предвестник осени. С ней я надеялась навсегда умчаться из ненавистного дома. Уж и платья мои были уложены в узел, засушены сухари в дорогу, припасены вяленый гусь и пастила на гостинцы. Но накануне назначенного отъезда я заболела.

Это потом я узнала, что две недели пролежала в лихорадке. Для меня эти дни слились в одну длинную ночь: все ждала, когда рассветет и надо будет отправляться в дорогу, все порывалась идти к абыстай, а утро не наступало.

Едва я очнулась на сырой заре, еще не понимая, сколько времени прошло, взяла свой узел, накинула елян и, пошатываясь, вышла во двор. Глядь, а там деревья уже полиняли, по-осеннему безутешно моросило. За забором стояла Гулькей и высматривала меня:

— Слава Всевышнему, а я уж думала, не сможешь проститься! Я каждый день к тебе бегала. Долго ты болела. Твои уж решили, что доходишь.

— Вот как! — я сперва удивилась, потом испугалась: — Ты сказала: проститься? С кем?

— Абыстай уезжает. Сегодня.

Уезжает? Без меня? Это невозможно!

— Увозят Идрис-хазрета, — ответила она шепотом. — То ли в ссылку, то ли под арест. Жандармы за ними приехали.

— Как? За что?

— Донесли, мол, что он людей на беспорядки подговорил.

— Но ведь он же наоборот, мира хотел. Пусть им расскажут! Это все знают!

— Тихо ты. Старейшины против него выступили, — Гулькей вздохнула. — Как же отец сокрушается: он давно советовал им бежать, да они все мешкали. Чего дожидались?

Меня они ждали, не могли бросить. Но этого я не сказала.

Опираясь на плечо Гулькей, я заковыляла к Фатанат-ханум. Пойду за ней хоть в Сибирь, хоть на край света — вот что я решила. Но нас догнала Ханифа:

— Куда ты!

Схватила меня за руку:

— Ведь и поправиться не успела. По такому холоду еще пуще простынешь.

— Мне на минутку только, пустите, матушка, умоляю.

Она потащила меня обратно в дом:

— Нечего!

Я была еще слишком слаба, чтобы ей противиться. Подумала: лучше поскорее лечь, притвориться спящей и ускользнуть, когда она уйдет. Но не тут-то было. Она уложила меня на нары рядом с олэсэй.

— Снова бежать задумала? — спросила старуха таким сладким и певучим голосом, которого у нее никогда не было. Она подвинулась ближе — в ее животе забулькало и заухало, положила руку мне на лоб — ладонь ее была холодна, как жаба. Под ней тело мое застыло, словно замороженное. Пахнуло болотной водой.

— Думаешь, я не знаю, куда собралась?

Значит, она увидела, как я встала, и отправила Ханифу вернуть меня.

— К абыстай! Совсем задурила тебе голову эта змея.

Я хотела ей возразить, подняться, но она заговорила еще настойчивее и принялась гладить меня по волосам.

— Злодейка Фатанат, — пела она. — Прикидывалась благодетельницей, а сама искала погубить тебя, глупую.

Я не могла сказать ни слова в защиту абыстай, и не доставало мне сил встать. Шепот олэсэй опутывал меня, как омут. Мертвыми и скользкими были ее хитрые ласки, совсем не как теплое прикосновение Фатанат-ханум. Старуха увещевала меня долго, пока я не упала на дно черного сна».

Экзамен
(октябрь 1908 г.)

Медресе «Галия», куда теперь стремился Нахретдин, было символом и венцом джадидского движения. Мечту о независимом российском исламском университете вынашивали многие мусульманские интеллектуалы и богословы. А воплотить их удалось сыну келяшевского крестьянина Парвазетдину Камали. Чтобы прокормить детей, его отец Ямалетдин летом нанимался бурлаком на Волгу, но этого заработка большой семье не хватало, братья и сестры Парвазетдина умирали от голода один за другим. На какие деньги отцу удалось обучить Парвазетдина в мектебе, а потом послать его в «Гусманию» — ведомо одному Богу.

Мудир «Гусмании» Хайрулла бин Усман выделил способного юношу: по окончании курса оставил Парвазетдина преподавать богословие. В 1898-м Уфимское мусульманское благотворительное общество оплатило его учебу в Стамбульском университете. Там тоже оценили блестящие способности студента и перевели его в Каирский университет Аль-Азхар к знаменитому арабскому просветителю Мухаммаду Абду, ученику Джамаля Афгани. Идеи Абду о реформах шариата и мусульманского образования так захватили Камали, что он решил посвятить свою жизнь обновлению ислама и сменил имя на Зыяитдин — «свет религии». Абду хотел отправить талантливого ученика в Сорбонну, но Зия отказался и накануне революции 1905 года вернулся в Уфу. Он не мог заниматься чистой наукой и философией на чужбине, когда родина нуждалась в нем.

Камали недолго преподавал в «Гусмании». К его возвращению это медресе уже отступило от идей джадидизма, и ему было тесно в жесткой узде старого метода. Он уговорил муфтия Султанова создать университет нового типа, который смог бы однажды потягаться с Аль-Азхаром. Вечером 1906 года в гостях у Салимгирея Джантюрина, где собралась элита уфимского купечества, было решено открыть медресе «Галия» и построить для него отдельное здание.

Купцы со всех концов губернии жертвовали на «Галию». Наряду с мужчинами — Назировым, Джантюриным, деньги вносили и женщины — Суфия Джантюрина, Магипарваз Шайхи-Галеева. Каримов, Хакимовы, Шамгулов, Султанова помогли кирпичом, сукном, мебелью, матрасами и одеялами.

Первое время шакирды «Галии» занимались во второй соборной мечети в Нижегородской слободе Уфы. 7 мая 1908 года был заложен первый камень собственного здания медресе, уже в октябре оно было выстроено. Но сырость в классах и спальнях стояла такая, что переезд отложили. Салимгирей Джантюрин сам приходил растапливать печи для просушки.

Поэтому вступительные экзамены 1908 года состоялись в старой мечети.

Нахретдин все представлял себе иначе. Вот он входит в новую судьбу с парадного крыльца краснокирпичного здания медресе. Холодный светлый зал с высокими окнами звенит от сосредоточенной тишины. Он кланяется перед досточтимой

комиссией из ученых мужей, имам-хатыбов во главе с муфтием. От волнения печет в горле. Его голос вспыхивает и рассыпается эхом по белому потолку.

Но он оказался в деревянной, неказистой мечети, какие бывают в деревенских приходах. В ней пахло старой избой: подкисшими бревнами, копотью, сеном — всем, с чем Нахретдин радостно распрощался, уезжая в Уфу. Он охотнее терпел бы мерзлый воздух новых стен, отдающий известкой и влажным песком.

Сидели плотно. На глаз получалось больше двухсот человек. Кроме башкир и татар были еще казахи, калмыки, киргизы. От каждого юноши исходил особый душок — айрановой икоты, верблюжьей шкуры, неведомой похлебки. Приторную смесь запахов изредка разбавлял легкий ветер из форточек. Солнце смотрело в самые окна. В пыльных лучах медленно качалась муха, разбуженная неурочным теплом посреди осени. Вместо вдохновенного страха Нахретдина охватила сонливость.

— Зыяитдин эфенди! — зашелестел зал, когда вошла комиссия. Угрожающий шепот пустили шакирды с первых рядов. Поступающие растерянно переглядывались и подхватывали с тревогой грозное имя мудира «Галии».

— Где? Который из них? — спросил Нахретдин у Мансура Халикова, пришедшего с Тунгатаром его подбодрить.

— Да вот же, второй справа. С виду строгий, а сочувствующий. Главное, ты не бойся мыслить, рассуждать, он это ценит. Но не слишком о себе воображай, он не терпит, если кто возносится.

Нахретдина слепил яркий свет, он не разглядел, на кого из пяти вошедших указывал Мансур.

По приглашению муфтия встали для молитвы. Нахретдин поднял ладони повыше, словно стремясь зачерпнуть сверху больше прохладного воздуха. Закрыл глаза. Напряг плечи, чтобы не впасть в дремоту.

Распев муфтия был мягким, с тягучими «-улль» и «-эмм». Нахретдин не выносил грубого произношения Курбангали-имама, в котором только и слышалось харканье «кхарам! кхарам!» Он соскучился по плавному звучанию классической арабии. Но оно напомнило Нахретдину молитву Сайфуллы-хазрета, сливавшуюся в благостный «халяль».

Зачесалась ладонь. Нахретдин приоткрыл глаз: муха ползала по его левой руке от пальца к запястью. Он осторожно подул на нее, она сонно перелетела на правую ладонь и продолжила плутать между линиями, начертанными на ней. В душе Нахретдина закопошилась досада, как это навязчивое перебирание легких лапок.

Молитва закончилась, а он так и не успел в нее погрузиться. Спешно провел ладонями по лицу вслед за другими. Муха вяло поднялась на его плечо. Прозвучали приветственные речи. Объявили очередь. Покончив на этом с официальной частью, комиссия спустилась в нижний каменный этаж, утопленный в землю по самые окна — там размещались классы. Вызвали трех первых кандидатов.

Нахретдин оказался в списке тех, кому предстояло сдавать сегодня.

— Янбактыев Нахретдин Фаррах-улы, — выкрикнул шакирд.

Нахретдин последовал за ним в экзаменационный класс. Он поклонился комиссии. Теперь можно было рассмотреть их строгие облачения, тюбетейки и чалмы. Смуглые лица были точеной бухарской и самаркандской породы. Только один — самый молодой, татарин в феске и сером кителе, с худым скуластым лицом, распахнутым ищущим взглядом, длинными кудрявыми усами — выделялся из мрачного ряда улемов, как светлый конь среди вороных. Наверняка он и был тем купцом Назировым, давшим половину суммы на строительство медресе.

Шакирд указал Нахретдину на выложенные на столе билеты. Он взял листок — совсем не тот, зачем-то крайний, хотя засматривался на середину стола. По фикху ему достался ибадат[1] — основы, известные даже ученикам мектебе, здесь нечем блеснуть. Из вероубеждения — ангелы по Гакаиду, на это в голове вертелось только: «Не говори, что ангелы далеко: макрибун летают в небесах, карубин окружают Трон Аллаха! Но сидит Ракиб на твоем правом плече, и Атид[2] — на левом, записывают каждый твой поступок!»

По истории ислама ему выделили узкий отрезок от правления ар-Рашида до падения Аббасидского халифата — тут никак не развернешь красноречивое рассуждение. В разделе арабской литературы стояло одно слово «садж»[3], совершенно ему неизвестное. Сам шайтан подбросил ему этот билет, воспользовавшись тем, что он нерадиво помолился и не защитил себя.

— Вот и все, — прошептал Нахретдин равнодушно, сел за парту и отложил листок.

Тем временем кудрявый юноша с большими, глазами навыкате сидел перед комиссией и непринужденно рассуждал о каких-то аллегориях в притчах Руми. Это напоминало скорее беседу за чаепитием у Тунгатара, чем экзамен. Юноша читал строки на фарси высоким поставленным голосом, для толкования переходил на арабский. Мударрисам этого было мало, они задавали вопросы один хитрее другого. Тот отвечал быстро и охотно, и даже улыбка удовольствия наплывала на его толстые губы.

Нахретдин снова схватился за листок, перечел задание по русскому, фразу за фразой, и ничего не понял. Голос юноши отвлекал его, дрожали буквы, наплывали друг на друга. Но мударрисы, наконец, насытились ответом и отпустили его.

Пришел черед Нахретдина. Он пару раз глубоко вздохнул, чтобы раскачать легкие для напевного густого тембра. А дальше слова занялись быстро, как сухие сучья, приятно разогревая горло. Он прочитал наизусть несколько хадисов о тахарате, перечислил все виды омовения и перешел к намазу. Но татарин остановил его:

— Очевидно, ибадат вы освоили хорошо. Поговорим же о правлении Аль-Мамуна. Какое из его достижений кажется вам самым важным?

К этому Нахретдин был не готов. Грудь уже распирал горячий воздух, заготовленный для предписаний Аш-Шабайни. Нахретдин подавился невысказанными строками, голос потух.

— После смерти ар-Рашида за власть в империи борются два его сына, — начал он обиженно. — Аль-Мамун победил Аль-Амина, стал новым халифом в Багдаде. Он остановил гражданскую войну.

Про Аль-Мамуна он больше ничего не помнил. Но комиссия молчала, и он продолжил. Вся история ислама после Пророка Мухаммада смущала Нахретдина. Ему не нравились бесконечные распри между племенами и халифами, которые только отвлекали от борьбы с неверными. Ему казалось, что спорами между факихами и делением уммы[4] верующих на течения и богословские школы — мазхабы — они отдалялись от чистоты первозданного закона, замутняли истину. Он старался

---

[1] Ибадат — ритуальная практика ислама, включающая обряды очищения, молитву, налог в пользу бедных, пост, паломничество в Мекку и усердие в вере.

[2] Макрибун, карубин, Ракиб, Атид — имена ангелов, упомянутых в Коране.

[3] Садж — жанр классической арабской и персидской литературы.

[4] Умма — религиозная община в исламе, обозначающая как совокупность всех мусульман, так и отдельную группу верующих в определенной местности.

выразить эту мысль, но у него не получалось высказаться с тем изяществом, с каким предыдущий юноша рассуждал о суфийском поэте.

— Так, — подхватил татарин и подался вперед. — Значит, по-вашему, главное — попытка Аль-Мамуна объединить суннитов и шиитов?

Нахретдин впервые слышал об этом и неуверенно кивнул. Он удивлялся, откуда у купца такие познания и почему именно он задает ему вопросы. Нахретдин все ждал, когда заговорят бородатые улемы.

— Хорошо. Хотя мне, признаться, дороже его любовь к наукам и философии, — сказал татарин. Его открытость и словоохотливость раздражали Нахретдина: чего этот купец так разговорился, а улемы позволяют ему. — Назовите школу калама[1], которая достигла при нем расцвета?

Нахретдин засомневался:

— Мутазилиты[2]?

— Замечательно! — обрадовался татарин и заерзал на стуле. — Знаете, какие древнегреческие философы на них повлияли?

Нахретдин обрадовался: вот тут купец промахнулся.

— Ни один из кяфиров никогда не влиял на мысли и сердца правоверных! Как можно только подумать такое! — выкрикнул он и метнул яростный взгляд в татарина.

Тот грустно покачал головой:

— Зачем поторопился? Не беда, коли не знаешь — беда, коли по незнанию судишь. Аль-Мамун способствовал тому, чтобы на арабский перевели Аристотеля и...

Если бы Нахретдин сразу понял, кто перед ним, он бы последовал совету Мансура и сдержался. Молодость и внешняя простота татарина сбили Нахретдина с толку. Вот и вышло, что он дерзил самому Зыяитдину Камали. Но мудир оскорбился не за себя. Он досадовал, когда студенты следовали за чужими заблуждениями, упорствуя в своей слепоте, не желая искать ответы. Тем более философия ислама, ее истоки давно были для Камали предметом особого интереса. Много лет он трудился над двухтомной монографией, посвященной этой теме. Вопросы, которые волновали его, были впервые заданы в эпоху высокого халифата — ту, что попалась в билете Нахретдину.

Камали принялся с особым воодушевлением возражать юноше: расцвет исламской философии начался именно с багдадского халифа Аль-Мамуна. По его поручению знаток языков Хунайн ибн Исхак, бывший притом христианином, основал школу переводчиков, которые собирали разные копии древнегреческих и древнеримских книг, сравнивали тексты, чтобы добиться точности в передаче смысла. Их стараниями в девятом и десятом веках был создан обширный фонд античной литературы. В то время, как в угаре религиозного аскетизма европейцы уничтожали свое «языческое» наследие, мусульмане собирали и хранили его. Может быть, благодаря им Ренессанс достиг таких высот — ведь многие труды Аристотеля, Платона, Птолемея были вновь открыты и возвращены в Европу из арабских переводов. Великого Возрождения не было бы без эпохи высокого халифата. В этом удивительном переплетении и взаимовлиянии цивилизаций Камали видел надежду для современного ислама: теперь достижения западной науки помогут мусульманской культуре выбраться из болота предрассудков и невежества.

---

[1] Калам — одно из направлений арабо-мусульманской философии.

[2] Мутазилиты — первая школа калама.

Камали говорил, а Нахретдин едва слушал. Он все еще не знал, кто перед ним, и мучительно размышлял, что делать с заданием по русскому и загадочным «саджем». Наконец один из улемов перешел к этим коварным темам. Нахретдин пролепетал пару общих фраз. На это «купец» ответил:

— Достаточно! — и шакирд указал Нахретдину на дверь.

Мансур и Тунгатар поймали его у порога.

— Ну как?

— Никак.

— Неужели засыпался? Кадыри свирепствовал?

— Это нечестно. Не знаю я никакого саджа, в ваших книгах об этом не было ни слова. И русский текст был слишком сложным. Если бы этот купец не запутал меня своими глупыми идеями...

— Какой еще купец? — недоумевал Мансур. — Не было в комиссии никаких купцов, только преподаватели.

— А как же этот, молодой, в феске?

— Ты что! Это и был Зия Камали! Я же тебе на него указывал!

Черные точки пронеслись перед глазами Нахретдина, целый рой зажужжал в ушах. Воздух в коридоре стал плотным. Голова закружилась, он чуть не упал в черные клубы налетевших мошек. Он нагрубил самому Камали! Все кончено!

Тунгатар удержал его за руку. Едва отдышавшись, Нахретдин оттолкнул брата и побежал. На улицу. Вверх по горе. Мимо корявых изб. Что-то толкало его вперед к новому краснокирпичному зданию «Галии». Возле его крыльца он очнулся и остановился.

Отсюда была видна вся Нижегородка, рассеченная стрелами железной дороги, река и другой берег Белой с посеревшими полями, желтыми пластами леса до пронзительно синего неба цвета платья Сахибджамал. Весь этот простор колыхался и плыл в его мокрых глазах. Солнце дрожало над кладбищенской горой, за которой скрывался заветный мост.

На углу улицы показался Тунгатар и прокричал ему, запыхавшись:

— Эй, что с тобой?

Нахретдин спустился с крыльца и, не отвечая брату, снова побежал. Наугад, напрямик, напролом. Только его сердце ведало, куда несутся обезумевшие ноги. Голова кружилась и тонула в бреду. Но сердце хорошо знало дорогу. Далеко осталась Нижегородка с ее приземистыми домами, темными надгробиями, рабскими обручами полумесяцев. Широко и свободно дыша, Нахретдин мчался по Малой Казанской, через Гостиный двор, на Центральную — к дворянскому собранию. Там, где под белым шелковым зонтиком не Сахибджамал ли идет ему навстречу?

Сватовство
(декабрь 1908 г.)

Зима — это долгое жертвоприношение. Земле, как закланному животному, перерезают четыре канала жизни: трахею, пищевод, артерию и вену — Бисмиллях! Засыпает земля смертным сном, уложенная на левый бок головой в сторону Киблы, пока кровь вытекает из шеи — до последней капли, чтобы плоть очистилась. Скверна ли кровь, как говорит отец, или в ней пребывает душа — неприкосновенная, святая доля, предназначенная Создателю, как говорит старшая мать?

На первый снегопад совершается птичья жертва. Забивают гусей. Ледяные небесные перья смешиваются на ветру с теплым гусиным пухом. И кружит метель над стылой тушей земли. Эта жертва легкая: короток птичий век. Без ожесточения приносит ее Ибрагим.

Но после придет пора жертв многотрудных и печальных. В этом году отец поручил ему впервые забить лошадь и выбрал для того благодушного Куныра, которого Ибрагим знал с детства. Ибрагим не обрадовался такой чести.

Он не боялся, что конь взбрыкнет и ушибет его. Их силы на этом коварном обряде не равны: отец и приглашенный мал-салыусы[1] будут стоять рядом, готовые в любой момент схватить животное и повалить на землю. Сможет ли Ибрагим предательски успокоить коня дружеской лаской, обнять его за шею, вдохнуть запах и с именем Аллаха вспороть ее острым лезвием? Как водится, в последние дни Куныра освободят от работ, будут лелеять, кормить досыта. Но милосердна или беспощадна эта прощальная награда? Почует ли опасность бедный конь или, как несмышленое дитя, обрадуется внезапной щедрости?

Не так ли поступает жизнь с Ибрагимом — задабривает везением перед тем, как вознести над ним нож? Теперь он служит гостям вместо Нахретдина, молится по правую руку от Фарраха и ездит с ним в пятничную мечеть. Старшая мать уже созвала женщин на трудовую трапезу — ощипывать гусей. Не ради пользы или забавы она придумала этот сбор, а чтобы проверить избранницу Ибрагима в работе и веселии, — тогда можно и сватов засылать. Все идет так, как он мечтал.

Но чем ближе была цель, тем призрачнее. Тревога размывала ее черты. Ибрагим стал мнителен и сдержан. С каменным лицом ходил по улицам и сторонился Гюльназ, чтобы ничем не выдать свое счастье перед злыми духами.

Весь день трапезы он нарочно проработал на конюшнях. А так хотелось увидеть, как Гюльназ спешит к ним на утреннее чаепитие, заходит в дом — и губы ее покраснели от ветра. Как сидит среди подруг, перебирая розовыми пальцами снежные перья, как идет к Дёме, неся на плечах подвешенные на коромыслах птичьи тушки, чтобы омыть их в проруби. Как возвращается вечером в праздничном наряде на гусиную трапезу. Но боялся даже распознать ее голос в далеком девичьем хоре, который то выпевал скорбные озоны[2], то со смехом выводил кыска-кюйлар[3].

Алмабика тоже вовсю старалась угодить алчным духам: как следует разгоняла печь, чтобы сильнее чадили казаны с гусиной шурпой и сковороды, где пеклись блины на гусином жиру. Пусть насыщаются тучным паром и не поворачивают своих черных глаз на невесту.

Ибрагим вернулся домой после праздника, когда все разошлись, встал за дверью перед отцовской половиной подслушать вечерний совет отца с матерями.

— Хорошую девушку нашел сын, правду ты сказала, Алмабика, — начал отец. — Как только высмотрел, глазастый!

Сердце Ибрагима размягчилось, как воск, согретый языком свечи. Фаррах продолжил:

— Большим подспорьем могла бы она стать в хозяйстве, да разбалует ее Ибрагим, пощадит. Ни к чему выбирать ему жену по любви.

---

[1] Мал-салыусы — человек, знающий, как правильно приносить животное в жертву по шариату.

[2] Озон-кюй — башкирский песенный жанр, грустная протяжная песня.

[3] Кыска-кюй — башкирский песенный жанр, веселая быстрая песня.

— Любовь развеется быстро, — вступилась старшая мать. — Положитесь на меня, любезный муж. Я воспитаю из нее старательную работницу.

На этом разговор кончился.

Ибрагим не знал, что решил отец, до того дня, как Фаррах облачился в пятничный камзол, повязал казакей расшитым поясом, запряг Карагёза и с дядьями Ибрагима поскакал на другой конец деревни, где жила Гюльназ.

Отец вернулся поздно. Его щеки разрумянились, он двигался вальяжно, будто после бани или во хмелю, хотя он никогда не пил арака. Несмотря на расслабленный вид, глядел мрачно и в злой рассеянности оглаживал свою бороду. С самого прихода не молвил ни слова.

Ибрагим вызвался разуть его и подать чаю, но Фаррах оттолкнул его.

— Иди спать!

Не дав Ибрагиму возразить, старшая мать вывела его за перегородку:

— Разве не видишь: отец не в духе. Ступай себе, я сама все выспрошу.

Ибрагим измаялся в своем углу, ожидая прихода матери. Неужели родители Гюльназ из бедняцкой гордости отказали их семейству? Но если б они отказали, отец давно бы приехал — чего сидеть попусту?

Услышав шаги Алмабики, Ибрагим вскочил с нар и подсел к ней:

— Отчего так мрачен отец? Отказали?

Она собирала в таз пустые пиалы, не глядя на него. Лицо ее тоже стало сурово, губы схвачены упрямым молчанием.

— Отдадут?

Алмабика отнесла таз на лавку у печи, вернулась за казаном.

— Матушка! — Ибрагим взялся за казан с другой стороны.

— Любовь расточительна, сынок, — вздохнула она. — Выбьет из тебя все силы. А их нужно беречь для работы. Работа длиннее жизни и по наследству переходит. Если ты надорвешься раньше времени, не успев детей поднять, передать им свое дело, то пресечется потомство твое и напрасно уйдет твоя жизнь.

— К чему вы ведете?

— К тому чтобы ты забыл о Гюльназ. За другого она сосватана. И к лучшему это.

— Как же? Когда успели? Я ничего об этом не слыхал! Неужели ее родители совершили бишек туйы — обручили ее во младенчестве?

— Какая разница, если так решено.

— Ничего не решено. Я перекуплю ее, заплачу калым вдвое больше!

— С каких денег? — она уперла свои красные кулаки в бока и топнула. — Не хозяин ты еще в этом доме, чтобы распоряжаться.

— За кого сосватали? — прикрикнул Ибрагим.

— Не горячись, — старшая мать виновато опустила голову. — Найдем тебе другую. Разве мало хороших девушек?

— За кого?

— Отец берет ее за себя.

— Как? Быть не может.

— А вот так, сынок. Уже и калым уплачен. Сто пятьдесят рублей серебром.

Ибрагим рванулся вон из избы как был — в тонком камзоле поверх рубахи, только сапоги обул, побежал через весь двор к конюшне. Оседлал сонного Куныра:

— Но-о! Что же ты еле идешь, глупый!

Доскакал до двора Гюльназ, привязал коня подальше от дома и прокрался к

окнам. Он чувствовал, что она не спит. И точно: в тусклом мерцании крайнего окна была едва видна худая, вытянутая тень Гюльназ.

— Гюльназым! — позвал он вполголоса.

Она взяла свечу и посветила перед собой. Всегда тонко обрисованные черты ее лица разбухли, как чернила от капель воды. Пухло нависли над глазами веки в кровоподтеках, одна щека залилась краской — ровно по отпечатку ладони. Сощурилась, разглядела его, поспешно задула свечу и пропала.

Он отошел подальше к сараям — если она выйдет к нему, то на это место, которое не видно из окон. Он угадал: она пришла, плотно завернувшись в платок.

— Зачем ты здесь? Мне только хуже будет!

— Не будет. Бежим. Там, у оврага стоит мой конь, мигом домчит нас хоть до Уфы, хоть до Оренбурга.

— Ты с ума сошел! А если поймают? Позор на веки вечные! Измажут лица сажей и погонят по улицам, как разбойников. Я умру, я не вынесу, — она заплакала.

— Не поймают, не бойся! Убежим далеко! — впервые он дерзнул дотронуться до нее. Осмелел еще больше и прижал к себе. Она положила голову на его плечо, но опомнилась и отступила:

— А куда мы убежим от гнева Всевышнего? И что будет с моей семьей? Калым уплачен, я принадлежу твоему отцу. Забудь обо мне!

Праздничный сход
(июль 1912 г.)

«Не было больше надо мной защитных чар Фатанат-ханум. Снова я перешла в полную власть олэсэй. Все мне опостылело. Ничего не ждала, не надеялась. Оказалось, жизнь течет из родников сердца: желания, ненависти, надежды и любви. Иссякли они, и мир стал болотом — ничего не происходит. Не чередуются дни, не кончаются ночи.

Велено вставать и работать, я вставала и работала. Забывали про меня, и я про себя забывала. Как пришло лето? Откуда взялось? Неведомо.

Не добившись от меня ни жалобы, ни слезинки, олэсэй взялась за отца:

— Гляди, как возгордилась твоя Сурур. Управы на нее нет. Пора избавиться от девчонки, пока не натворила беды! Еще умыкнет какой-нибудь безлошадный пройдоха. А ты останешься с носом.

Отца не пришлось долго уговаривать. На июньский йыйын — первый деревенский сход после раздора, он пригласил Сяитбая, чтобы напомнить о старом сватовстве и назначенном калыме. К тому празднику меня готовили, как иноходца на продажу. Вымыли в бане так, что кожа хрустела. Обрядили в новое красное платье и черный елян с атласными лентами по краям, потуже стянули пояс. Камнем на шею водрузили коралловый нагрудник, навешали на уши длинные серьги, на алую лобную повязку нацепили подвески — точно в сбрую запрягли. Я стояла спокойно, пока жадные руки матерей сновали по моему телу, хватали, поворачивали.

Отец расстелил наш ковер неподалеку от жениха. Сяитбай смотрел сладострастным взглядом в ту сторону, где готовились общие кушанья. Губы его лоснились. Тугой живот грузно лежал на перекрещенных ногах.

Полчища одурманенных ос дрались над кипящим бульоном. Зуберьят, которую поставили следить за казанами, гнала их плетеной шумовкой.

— Ты посмотри, какая нерасторопная! Едва шевелится! Достанься она мне, изведала бы плетей! — жаловался Сяитбай громко, глядя, как она вылавливает из казана куски мяса и раскладывает их: те что потолще на блюде для победителей состязаний, остальные — для гостей. Потом Зуберьят рассыпала над бульоном рваные пряди лапши. Сяитбай со злым нетерпением причмокнул, отвернулся и увидел меня. Он окинул меня тем же прожорливым взглядом, каким вожделел блюда с мясом, и погладил свой живот.

Я вскочила, направилась к нему, с горьким отвращением предвкушая, как глубоко вонзится мой кулак в этот живот. Но вовремя опомнилась и остановилась. Неужели я еще могу ненавидеть?

Мимо пробегала Рауза, поймала меня за руку и повела к подругам:

— Что стоишь тут одна? Идем к нам!

Оживление, смех сквозняком проходились по их кружку. Они неистово изображали смущение, прятали в ладонях улыбку, отворачивались, поводили плечами. Я никогда не любила этого жеманства, а теперь недоумевала, откуда они брали на него силы, если каждую ждала судьба, подобная моей.

Вскоре я поняла, ради кого они так стараются: в отдалении расхаживал Алдар, заложив за пояс курай, и бросал в их сторону взгляды, как нищим подачку. Больше всех тушевалась Гулькей: крутила головой так, что фальшивые монетки ее украшений дешево бренчали. Алдар заметил ее, достал курай и стал выводить «Зульхизу» — песню о девушке, которую насильно отдали третьей женой за богатого мужа. Нарочно выбрал ее, чтобы побольнее меня поддеть. Играл обо мне, а смотрел на Гулькей. Глупая Гулькей зарделась, захихикала.

Закончив играть, Алдар кинул свою шапку девушкам:

— Кто поймает, тому поцелуй.

Пришитые к шапке лисьи хвосты золотом взыграли на солнце. Подруги с визгом расступились. Только я осталась на месте, подхватила шапку и с упреком глянула на возлюбленного: легко ли тебе было предать меня?

Алдар подмигнул мне, присвистнул. Тут объявили первое состязание — бой на полотенцах, и он вызвался участвовать, а ко мне так и не подошел.

Бороться с ним выпало Кагарману. Я ахнула: брат такой здоровяк, коренаст и крепок — переломит высокого Алдара, как тростинку! Оба скинули рубахи, закрепили кушак на запястье, встали на вытоптанную площадку под крики и свист. Девушки громко вздохнули. Борцы сошлись, обхватили друг друга полотенцами. Кагарман переступал, как медведь на задних лапах. Навалился на противника, рванул кушак на себя, Алдар выгнул стан, кости его затрещали. И все же ему удалось отбросить Кагармана подальше. Снова сцепились. Жилы Кагармана натянулись толстыми кнутами. Алдар же был похож на мышастого коня, загнанного хищником в ущелье, он изгибал шею, быстро перебирал ногами. На огромных руках брата густо блестела шерсть. Он сжал Алдара в своих звериных объятиях. Но тот увернулся. Кагарман запнулся о его выставленную вперед ногу, повалился на спину. И Алдар выиграл бой. Гулькей забылась от облегчения и восторга, кинулась к нему — первой подать рубаху.

Вот, значит, как у них теперь. Что ж, тут еще все могло сложиться удачно — род Гулькей нищий, из припущенников, ее отца арестовали вскоре после Идриса-хазрета. Ее семье как раз нужен хозяин, пусть и сирота, зато калыма не попросит.

Я швырнула шапку Алдара в траву. Теперь мне оставалось одно — отправиться за семью девушками, в Талкас.

Я отходила медленно, осторожно, чтобы никто не увидел. А как скрылась за холмом, вовсю припустила к озеру. По дороге срывала с себя украшения — кольца, серьги, накосники, селтэр, чтобы в последние минуты подышать полной грудью. Зашла в воду. Вода ласково обняла мои ноги. Хорошо мне будет спать в ней.

Тут я почувствовала ладонь на плече — не успела утопиться, поймали! Я вскрикнула.

— Неужели бесстрашная Сурур испугалась? — голос Алдара дышал мне в самое ухо. Я прижалась щекой к его ладони — впервые своей кожей к его. Было больно и хорошо:

— Разве не оставил меня возлюбленный ради Гулькей?

Мы стояли по колено в воде, и синие волны раскачивали подол моего алого платья.

— Что мне Гулькей по сравнению с невестой Сяитбая? — засмеялся Алдар и развернул меня к себе — требовательно, резко. Губы его устремились к моему лицу, я едва успела опустить голову и ощутила на щеке терпкий запах его слюны. Он крепко обнял меня. Тошнота и боль собрались у меня во рту в горячий сгусток, покатились по груди и заколотились под животом. От сильного спазма онемели ноги, я чуть не упала в воду.

— Отпусти! Не надо!

Он самодовольно улыбнулся:

— Нечего строить из себя гордячку! Сама же назначала мне свидание на Талкасе прошлым летом, разве не помнишь? Вот я пришел!

— Не об этом я просила, не этого хочу!

— К чему притворяться! Разве я сам не вижу, чего ты хочешь?

Лицо его сделалось властным, взгляд пожирнел, почти как у Сяитбая. Он теснее сжимал меня, страшнее и яростнее становились его ласки. Я едва отстранилась, сбросила его руки со своей груди:

— Довольно! Увидят! Тебя не тронут, а меня забьют камнями!

— Хорошо, — он зычно сглотнул. — Дождемся ночи! Сегодня же увезу тебя!

— Что ты! Не получится. Меня вовсю стерегут.

— Не бойся. Я потолкую с Кагарманом, он поможет. А ты собери узел и прислушивайся, как закличет коростель, выходи. Я встану прямо за конюшней, есть там у вас закуток, который ниоткуда не видно.

— Не трудись, Алдар. Я не выйду.

— Глупая! Неужели хочешь пойти за этого пузатого урода? Другая умоляла бы!

— Пусть Гулькей умоляет!

Алдар рассмеялся:

— Вот оно что! Ты ревнуешь! Так гляди, не выйдешь — пойду к Гулькей.

Я еще постояла у озера, когда он ушел. Но топиться раздумала. Я поднялась на холм, собирая по дороге свои украшения и вешая их на себя.

Трапеза заканчивалась. Я села на самый край ковра к младшим сестрам. Олэсэй презрительно перебирала на блюде оставшиеся куски мяса. Отец запивал икоту кумысом.

Объявили игру в кыз кыуы: если всадник догонит наездницу — получит поцелуй, не догонит — дадут нагайкой по спине. Джигиты и девушки оседлали коней. И Алдар уже был среди них, как ни в чем не бывало. Прошагал мимо, не взглянув на меня, одолжил у Кагармана коня. Мне как невесте нельзя было участвовать в игре.

Девицы стали ссориться между собой за то, кому идти в паре с Алдаром. Рауза

отогнала Гулькей. Алдар хлестнул коня, направил его вслед за Раузой. Конь Алдара быстро поравнялся с каурой кобылой Раузы. Алдар не стал дожидаться, когда спешатся. Прямо на скаку приблизился к Раузе, притянул ее к себе за талию и поцеловал. Уж не почудилось ли мне то, что было между нами давеча у озера?

Я сказалась больной и ушла.

Бежать с Алдаром я не думала. После праздника мне было яснее ясного: с ним я намаюсь не меньше, чем с Сяитбаем. Да и всерьез ли он говорил о побеге? И все же казалось, будто это мой последний вечер дома. Быть может, завтра Сяитбай увезет меня в свою деревню — не зря же остался ночевать в Исяново.

Я стала разглядывать посуду на печи, сложенные на сундуке юрганы, часть двора, которую было видно в окно, лоскуты заката на бревнах. Будто стараясь хорошенько запомнить. Неторопливо помолилась. Пролистала свои тетрадки со стихами и зачем-то заложила их за пояс под нижнюю сорочку.

Темнело медленно. Вдалеке слышалась песня двух кураев — Алдара и Юлдаша, значит, праздник еще не кончился. Сон не шел. Ждала чего-то. В тревожной праздности перебрала сундук. И нашла платье Фатанат-ханум, то самое, что она дала мне в первую нашу встречу. Примерила его — теперь оно мне было впору. На душе сделалось уютно, будто сама абыстай обнимала меня. Достала спрятанные в полотенце книги: Мугаллим Сани, сборник стихов Тукая, география Карими, «Символы веры» Уметбаева, Коран. Каждая строчка в них говорила голосом Фатанат-ханум.

С шумными беседами и перепевами люди расходились по домам. Вскоре и мои вернулись. Когда все улеглись, я приоткрыла окно. Серо, тихо. С Талкаса неслось печальное уханье — жабья брачная песнь. Тоскливо было не спать посреди ночи под этот заунывный гул. Что будет со мной завтра? Неужели коснутся моего плеча толстые мохнатые пальцы Сяитбая, будут лежать мои волосы на его вздутом животе, будет лезть мне в рот тухлый запах его губ?

Я встала с нар. Снова открыла сундук. Покидала на одеяло сменное платье, платок, елян, зимние ката, камзол. Связала узлом. Села на сундук, прислушалась.

Затрещала коростель. Он! Сердце захолонуло. Вдруг я придумала, что нужно делать: уговорю Алдара ехать в Троицк, там наверняка найдутся те, кто помнит Идриса-хазрета, и укажут, где их искать.

Я скорее развязала узел. Вывалила обратно в сундук свою одежду. Вместо них сложила книги. Снова надела синее платье Фатанат-ханум, как оберег.

Я уже подходила к назначенному месту, как услышала звериный рев. Первый выкрик — сильный и долгий, второй глуше, утробнее, третий перешел в хрипы и стон. В нем, в последнем стоне я узнала голос Алдара. А потом все стихло.

Я метнулась к конюшне. Там, в укромном углу между стеной и забором, в черной луже лежал Алдар, перерубленный надвое медвежьим капканом. Этот капкан Кагарман всегда брал с собой на кочевье.

Мельком я увидала обескровленное лицо, раскрытый, закоченелый рот и тонкую, серебрившуюся в лунном луче нитку слюны меж распахнутых губ. Я зажала себе рот кулаком, чтобы братья и отец не услыхали моего крика».

Молодая жена
(1908 — 1910 гг.)

По дороге Ибрагим плакал и нещадно стегал коня. Тот проскакал до окраины деревни галопом, до Нарыстау рысью, после перешел на шаг. Выдохся, отвык от быстрой езды, разнежился в сытости. Ибрагим ударил его каблуками по бокам. Конь заскулил по-собачьи и остановился:

— Глупый ты, глупый! — Ибрагим не мог остановить слез. — Совсем обленился, бегать отвык. В покое твоя смерть. Неужто и ты не хочешь спастись?

Конь переминался с ноги на ногу, и наст под его копытами звонко трескался. По степи загудел ветер и прошил Ибрагима насквозь. Куда он теперь поедет без одежды, без денег, ночью? В медресе, как Нахретдина, его не возьмут, на фабрику — подавно. Ничего, кроме конной работы, он не знает. Надо собираться как следует: найти место конюха в Миякитамак или в санатории у Рубеля. Сейчас ехать рано.

— Ну как знаешь! — упрекнул он коня. — Пеняй на себя!

И повернул к деревне. Куныр побежал охотно, радостно вскидывая головой.

Через неделю Ибрагим заколол его своими руками, хотя ему было бы легче воткнуть жертвенный нож в шею Фарраха. Мясо коня целиком ушло на свадебное угощение. Ибрагим не взял в рот ни куска. Только кинжал припрятал за пазуху.

В то утро, когда Гюльназ должны были ввести в дом жениха, Ибрагим решился ехать. Старшая мать так испугалась его налитых кровью глаз, что сама уговорила бежать поскорее и сунула ему за пазуху свой кошель с деньгами.

Заслышав колокольчики свадебного поезда, Ибрагим замер на пороге. Разве можно уйти, не взглянув на нее в последний раз?

Обряженная в красный кашмау, селтэр и черный елян, точь-в-точь как рабская птица на уфимской ярмарке, она ступила с телеги на белую подушку. Пока Гюльназ обсыпали пшеницей, лицо ее, бледное, без кровинки, будто совсем без плоти — истлевшее до черепа, было неподвижно, она даже не жмурилась от летевших в глаза зерен.

Старшая мать подала ей с ложечки мед, смешанный с маслом. Но Гюльназ не открыла рот, плотно сжала губы, и Алмабика вымазала их толстым липким слоем. Пока она желала ей: «Пусть характер твой будет мягкий, как масло, а язык сладкий, как мед!», Гюльназ вытерла рот рукавом праздничного еляна.

Все это видел Ибрагим через пульсирующую алую пелену. Глаза его иссушились, затекла правая кисть, сжимающая кинжал. Он продолжал смотреть, не мог оторваться. Гюльназ зашла в сени. Матери притянули ее голову к порогу, с трудом сгибая тугую, упрямую спину, — добровольно кланяться новому дому та не пожелала.

Подвели к печи. Теперь ей следовало угостить духов очага. Когда она кормила огонь куском сливочного масла, пламя взвилось и вцепилось в рукав ее еляна. Она этого словно не замечала. Алмабика подскочила к ней, стремительно сжала ее запястье, убрала руку от печи и захлопала по язычкам пламени на ткани. Гюльназ была все так же спокойна и тиха.

Ибрагим остался до самого конца трапезы, высидел на мужской половине все перемены блюд, пока плясали, пока пели. Рука его срослась с кинжалом, а глаза уже

ничего не видели, кроме белого блика ее лица, хотя Гюльназ давно была на женской половине.

Поздним вечером он вышел на двор отдышаться, там его поймала старшая мать, вышедшая топить молодым баню.

— Ведь давно я тебя благословила на дорогу. Что ты медлишь? — Алмабика бросила поленья в сторону и кинулась к нему. Он молчал, отворачивался от ее раскрытых для объятия рук.

— Для чего мучаешь себя? Уезжай скорее, сынок! — она схватила его за чекмень и встряхнула что было силы. — По глазам вижу, недоброе ты задумал. Так недалеко до душегубства. Не отца хочу спасти! Тебя! Ведь на каторгу пойдешь! Опомнись!

Он вырвался, пнул ногой кучу дров и скрылся во тьме.

— Ой, беда! Беда! — запричитала Алмабика ему вслед.

Ибрагим обошел двор огородами и засел за баней. Стихли песни, и Зариф с заикающейся во хмелю тальянкой убрался восвояси. Но еще долго было тихо — неужели молодые улеглись спать, забыв про баню?

Наконец захрустел снег, нетерпеливо, тяжело — под ногами отца, и едва слышно запищали легкие шаги Гюльназ. Фаррах своего права не забудет!

Баня разинула красную пасть, дыхнув в черный мороз густым паром, и захлопнула, проглотив их обоих. Ходуном ходили низкорослые стены от злобной возни внутри.

— Что лицо воротишь? — рычал Фаррах. — Что кутаешься? Брось платок! Куда пошла? А ну ко мне!

— Пощадите, пожалуйста! — просила она.

Глухой мясистый удар последовал за этим, Гюльназ вскрикнула.

— А ну, веди себя смирно! Учи тебя!

Она припала к стене и заскребла по ней пальцами. Ибрагим сидел за той самой стеной с другой стороны, обледеневший, сросшийся с сугробом — не стало у него ни рук, ни ног, ни сердца. Тяжелые шаги Фарраха настигли Гюльназ.

— Пусти! Разожми руки! — хрустнула ткань.

— Прошу, не надо! — она метнулась в сторону, стукнувшись о косяк.

— Стой, дурная ты кровь! Не хочешь по-хорошему? Не знаешь, что говорил Пророк, мир ему и благословение: «Возьми в руку пучок, ударь им жену!» — что-то стукнулось о стену и, шаркнув по ней, повалилось на пол. — «Аллах разрешает вам закрывать их в отдельных комнатах и бить их!»

С новыми ударами Гюльназ уже не вскрикивала, а стонала, ровно, протяжно.

— Ладно, довольно на сегодня науки. Настал черед ласки!

Тут Ибрагим потерял сознание.

Он очнулся, когда кинжал стальным клыком прикусил ему бедро. Вокруг все стихло, волоком тянулся до дома тяжелый след Фаррахова тулупа. Баня, быстро остывая, пускала в небо ослабевшие белесые выдохи. Ибрагим вытащил нож. Выставил перед собой, поднялся и пошел вслед за ним, будто это кинжал тянул его за собой в избу, на отцовскую половину.

На приисках Дэрдменда
(июль 1912 г.)

— Слышите? Опять! — лицо Бикбулата посерело, губы вытянулись. Он замер, как оглушенная рыба.

Ибрагим прижался ухом к мокрой глине. Под землей что-то тонко посвистывало: тсс-тсс-тсс. Звук был похож на плеск воды, каким он слышится, если нырнуть поглубже в реку. Неприятно, холодно скреб по сердцу.

— Вот оно! — снова воскликнул Бикбулат испуганно. — Камешки перекатываются: ползет! Кажется, прямо в нашу выработку.

— Совсем не туда, ваша правее. А в той стороне Хасан-абы копает, — спорил Тазитдин.

— Как бы не так! — закричал на него Бикбулат. — Сколько я бегал в темноте от забоя к колодцу! Я с закрытыми глазами направление укажу.

— Тише ты! Ничего не слыхать! — Ишмат соединил ладони вокруг уха и лег. — Ох, правда, хрустит что-то. Вы слышали? А вдруг это аждаха[1], а не золотой змей?

— Да, — улыбнулся Тазитдин. — Спустится завтра Бикбулат в забой, а там она. Обернулась прекрасной девицей и сидит-дожидается. Усыпит его да и проглотит.

— Зато сперва он с ней позабавится как следует, — усмехнулся Ишмат. — А что, хорошая смерть! Куда лучше, чем под завалом или калекой с голодухи.

— Ну вас! Не верите и не надо. Зря только вам рассказал! — бурчал Бикбулат. — Между прочим, тот русский, что мне примету выдал, вышел по ней на самородок в сто золотников.

— Ой, не могу! — засмеялся Тазитдин. — Найди он столько золота, разве остался бы на приисках?

Бикбулат промолчал. Они еще долго лежали, прислушивались к шорохам и прикидывали, в каком направлении лучше копать: где на этот раз золотой змей отложил самородок.

— Ладно, пошли, что ли? Спины отморозим! — Тазитдин присел, потянулся.

— Что, боишься, жена хватится? Иди-иди, пусть она тебе золотники намывает, а ты за ее подол держись! — поддразнил Бикбулат. Тазитдин лег обратно, оправдываясь:

— Я-то что! Мне для себя ничего не надо. Сыновей бы только вытащить отсюда. Особенно Лотфуллу. Жалко, если тут пропадет.

К баракам они пробирались в сумерки. Контора, дробильные башни, избы кренились к краям рудника, будто охваченные невидимым водоворотом. Пока рабочие спали и постанывал в забытьи тщедушный скот, этот водоворот потихоньку засасывал все в черную воронку шахты.

Странные то были земли — Рамеевские прииски. Нежилые. За два долгих года Ибрагим так и не смог к ним привыкнуть. Много мест он повидал. Где только ни селятся люди: их домишки и огороды росли на горных склонах, в узких ущельях, у шумных речных порогов.

Но сколько ни обустраивали прииски, округа становилась все бесприютнее. Ни деревца, ни кустика не росло среди изрытой глины. Возле шахтных колодцев валялись грязные, будто нанесенные селевым потоком, бревна, тачки, корыта. Ветер

---

[1] Аждаха — в башкирской мифологии злой демон в форме змея или дракона, иногда принимает облик красивой девушки.

взбалтывал вихри, похожие на завитки дыма, над кучами дробленых пород. Черный шлих въелся в стены и окна изб, казалось, они покрыты сажей. Словно разом два бедствия прошлись по этим местам — потоп и пожар.

В холостяцком бараке было уже темно, лишь несколько ламп коптились по углам: два сезонника из троицких шакирдов читали свои книги, Уразмет штопал трухлявый халат подле своей керосинки, и хворый Сафар спал при свете, боясь умереть в темноте.

Бикбулат вскипятил чайник, хотелось отогреться от страха. Да разве пустой чай поможет в таком деле? Плошку горячей лапши бы сейчас, чтобы подольше сохранить тепло. Тазитдину, небось, жена наварила мучной похлебки с картошкой, и он сидит сейчас, лопает. Разве были времена, когда Ибрагим получал от отца большой кусок мяса? И от бульона в его пиале шел пар до самого потолка? И чай ему наливали наполовину со сливками, так что на поверхности золотился жир? Или все это привиделось ему на рваном клочке сна?

— Чего приуныли? Неужто не хотите завтра с красавицей встретиться? — хорохорился Ишмат, помешивая едва желтый кипяток.

— Напрасно ты шутишь, — стращал его Бикбулат. — Ты тут меньше моего пробыл и не знаешь: будешь поминать аждаху, она к тебе и явится.

Ишмат и без того понимал, что завтра в каждой штольне им будет мерещиться демон в женском обличье.

— Суеверия это! — натужно рассмеялся он. — И твоим звукам должно быть простое объяснение, надо у знающих людей спросить.

— Я тебе спрошу! Хочешь, чтобы им золотая жила досталась? Не веришь — не надо, мы уж как-нибудь без тебя справимся.

— Копать-то я не отказываюсь, — уступил Ишмат. — Все равно ведь копать, так какая разница, где. Главное, чтобы штейгер не прознал. А ты с нами, Ибрагим?

— Если Хасан отпустит.

— Вот те на! Он еще отпрашиваться будет. Да что ты все за ним ходишь? Ведь давно мог бы и сам!

Ибрагим рылся в своем мешке, будто не слыша упрека Бикбулата. Хлеба осталось совсем немного, вряд ли он растянет его до воскресенья. Все же он с показной беспечностью отщипнул зачерствевшей корки, смочил в чае:

— Штейгер приставил, вот и хожу.

Он никому не хотел признаваться, что при опытном рудокопе его житье на приисках сделалось не таким сиротливым, как поначалу. Хасан был капризен, и Ибрагим исполнял для него немало поручений, которые не относились к работе, зато по воскресеньям он обедал у старика в семейном бараке почти по-родственному. Хоть масло, в котором дочь Хасана жарила пышки, было прогорклым, мука наполовину перемешана с пылью и отрубным сором, то была горячая, женскими руками приготовленная пища. Не сухая серая краюха, от которой желудок Ибрагима сжимался в кулак.

Конечно, хитрый мастер потчевал его не по доброте сердца. Из всех детей, кое-как пристроенных, осталась при Хасане одна дочь — белесая, болезная Юндуз. Ибрагима он прочил ей в мужья и даже проговаривался о своем намерении, захмелев от воскресной стопки арака, прямо при ней.

Впрочем, она этого не стеснялась — от слов отца глиняные плошки не звенели в ее руках и не проливался катык из пиалы. Обыденно подносила она питье Ибрагиму, словно была его женой уже много лет.

Ибрагим не чувствовал к Юндуз ничего, кроме брезгливой жалости. Но по воскресеньям, упиваясь сытым умиротворением в животе, он мечтал остаться в семейном бараке. Хорошо было бы каждый день есть домашнее, избавиться наконец от недостойных женских обязанностей — стирки и штопки. Тем более, что свадьба на приисках была делом простым: ни калыма, ни пышного празднества не требовалось. Местный мулла читал никах[1], делал запись в книге мечети, и довольно.

Окончив скудное чаепитие, приятели разошлись по нарам. Ибрагим редко засыпал сразу, хотя уставал до беспамятства.

Днем легко быть существом без прошлого — безымянной душой на первозданной глубине земли. Одна забота: иди, пригнув голову, с ведром породы, к стволу шахты, высыпай ее в бадью и порожним спеши обратно. Он не видел золота, которое выжимали из камня в дробильнях и на вашгердах. Не мог понять, сколько успел за день. Руда была неисчерпаема. В этой бессмысленной работе Ибрагим забывал себя. Исчезал целиком в промежутке тьмы от фонаря в их забое до снопа света из шахтного колодца. И то было лучше любого утешения.

Зато ночью на Ибрагима набрасывались мысли о доме. Напоминало о нем не подобное и знакомое, а наоборот, чужое и непривычное. Во-первых, прокуренный голодный воздух, отдававший тухлой рыбой. Ибрагим дышал им с отвращением, по чуть-чуть пропуская в нос. Дома-то самый запах — кипяченого молока, лапши и мяса — питает покоем на предстоящий день. Там он не знал о том, каково это каждый день добывать работу, выкраивать пищу, отстаивать место ночлега.

Во вторую очередь, звуки: шуршание мышей между бревен, непрерывный кашель, который подхватывали со всех сторон, как унылую похоронную песню. Хуже всего были стоны покалечившихся за смену. Ибрагим мог оказаться на их месте хоть завтра. Рано или поздно это случалось с каждым. Ему больше было не суждено умереть в мирном сне на собственной постели, как умерли его прадед и дед. Он кончит свой век в муках, на чужих глазах или под завалом.

Для чего он добровольно взвалил на себя судьбу безродного нищего? Ведь есть у его отца и дом, и табуны, и пастбища. Пусть не все теперь достанется ему, но и одного выдела хватит на жизнь. Богачом бы считался среди этих бедняг. Зачем он мыкается с ними?

Причина была страшнее боли в надорванной спине, барачных запахов и звуков, гибели под землей.

Сперва Ибрагим все откладывал отъезд из Ильсегулово и выслеживал Гюльназ, чтобы силой увезти ее с собой. Он подслушивал за баней, сжимая зубами ворот чекменя, как Гюльназ мычала в платок под ударами Фарраха. Стоял за стеной до последнего — пока отец не вываливался из бани и не пошел хмельной походкой в дом. Будто его немая ярость могла облегчить ее страдания. Всюду таскал с собой кинжал, даже спал с ним. И ни на что не решался.

Наконец, в одну из ночей, когда избитая Гюльназ тихонько стонала в бане, омывая свои раны, а Фаррах благостно храпел на перине в избе, Ибрагим вошел на отцовскую половину. Занес нож над спящим грузным телом, в котором не осталось ни одной знакомой черты. Такое счастье от близкой расправы нахлынуло тогда на него! Миг, когда он еще не знает, что испугается себя, бросит кинжал и покинет дом, в памяти длился много дольше, чем в жизни. Жуткий, полный наслаждения миг.

---

[1] Никах — обряд бракосочетания по шариату.

Кем он был тогда — дышащий злобой, как похотью? Не отступник, даже не зверь. И ведь он перестал быть собой не в тот миг до убийства, а раньше — в звездную ночь своего совершеннолетия.

Нескоро Ибрагим погрузился в темное беспамятство. Его мысли долго бродили по исхоженным тропам памяти, пока кто-то не стал ровно насвистывать ему на ухо: тебя нет, греха нет, Бога нет, ничего нет, тсс-тсс-тсс. И он будто нырнул в шахту.

Его разбудил разговор приятелей.

— Да, заживем! — говорил Ишмат совсем не тем насмешливым тоном, что вчера.

— Дом себе поставлю белый, под зеленой крышей, как у Рамеевых! — поддакивал Бикбулат, дуя на кружку.

— Видел бы ты, какой у них в Оренбурге дворец! Этот по сравнению с ним — сарай.

— Мне дворца не надо. Мне и такого, как тут, хватит.

Они отламывали от своих караваев щедрые куски, словно уже нашли самородки. Но бодрились только до тех пор, пока не пришли к шахте. Там уже хрустели по их души пеньковые веревки и стонали бадьи, уносившие во тьму. Солнечный свет над рудником становился серым, ветер терял тут луговые запахи, насыщался гарью и песком. И все же этот неприятный воздух и тусклый свет были куда лучше затхлого подземелья.

Ибрагим забрался в бадью вместе с Тазитдином и смотрел, как уплывает вверх круглый островок неба, уменьшаясь до блюда, пиалы, серебряной монеты. Деревянное дно стукнулось о землю. Они вылезли.

— Давай с нами, не робей! Баем вернешься в свою деревню! А я Лотфуллу в медресе отправлю.

— Чего он там забыл?

— Как чего? Выучится, станет муллой. За весь наш род отъестся и отоспится, — Тазитдин улыбнулся и зашагал, насвистывая, в сторону своего забоя.

Они только об этом и грезили — вернуться богатыми в родные края. Возвращались разве что сезонники, а уж богатыми — никто. Прииски были коварны. Порой, подлецам они швыряли золотые зерна прямо под ноги, а отчаянные работяги могли за всю жизнь не найти в рудном ломе ничего, кроме обманных прожилок пирита. Шальные самородки, попадались чаще черным старателям, но все равно оседали тут же: счастливцев дурили на взвешивании и расчете доли, спаивали, грабили. И они начинали поиски заново. Имеющие были, как неимущие; радующиеся, как скорбящие; живые, как погребенные.

Ибрагим шел в кромешной тьме и больше не боялся ее. Так ли страшно небытие, если в нем канет алчущее тело, недужная душа? Нет горя, нет любви, нет тепла, нет света — тсс-тсс-тсс.

Полусонный, он доковылял до выработки. Длинная тень, следовавшая за ним, спряталась между выступами в стене.

Горел фонарь, Хасан выбивал руду. Его тело будто состояло из одних жил, они все время ходили ходуном, похожие на рычаги паровой дробильни. За работой он казался не старше сорока. Когда они выходили из шахты, он оседал, как остановленный механизм, складывался, сморщивался.

Ибрагим громко поприветствовал его, тот лишь кивнул в сторону осколков породы, усыпавших проход: он наработал много, догнать получится нескоро. Ибрагим взялся за лопату и забылся, черпая понемногу из неиссякаемой кучи и относя к бадье.

— Отдыхай! — наконец скомандовал Хасан. С утра до вечера он не выходил к колодцу, не видел живого света, но рассчитывал время работы и перерыва будто по

солнцу. Этот навык сохранил ему здоровье: ни разу за всю жизнь на приисках он не слег, надорвавшись.

Они сели на груду камней. Хасан закрыл глаза, молчал, его мышцы все еще пульсировали по машинной инерции.

Ибрагим особо ценил то, что Хасан не курил и не ел чеснока, как его первый мастер. В забое и без этого было нечем дышать. Поначалу Ибрагим долго не мог привыкнуть, что в сыром и холодном коридоре может быть так душно. Глубокий вдох можно было сделать недалеко от колодца, у которого расходились сквозняки от квершлагов.

Хасан вынул из своего туеска картофельные шанежки, протянул одну Ибрагиму:

— Кушай. Юндуз испекла.

Ибрагим отложил свою черствую лепешку и с удовольствием принялся за угощение, откусывая с краешка по чуть-чуть.

— Хасан-абы, а не приходилось вам слышать у шахты такой звук, вроде шороха и свиста?

Рудокоп повел носом, насторожился:

— Где? Рядом с нашим забоем?

— Нет, это я к примеру. Говорят, золотой полоз так себе дорогу прокладывает.

— Полоз! — фыркнул Хасан. — Придумают тоже! Акият — сказки для новичков! Плохой это звук. Так порода осыпается — жди обвала. Знаю, с недавних пор он завелся и в наших стенах. Даже балки постанывают. Говорил я штейгеру: совсем шахта прохудилась. Не удержится.

— И что он? Послушал?

— Какое там! Давай меня бранить на чем свет, мол, всякий болван будет его учить. А сам-то сюда больше не спускается.

— Как же нам теперь быть?

— Ну, меня, старика, в другое место не возьмут, а ты можешь взять расчет, коль боишься, — Хасан скосил глаза от обиды.

Ибрагим представил, что придется снова идти от деревни к деревне без куска хлеба и крыши над головой, выпрашивать работу, как милостыню, и сник. Хасан истолковал его молчание по-своему, размашисто похлопал по плечу:

— Догадываюсь, что тебя тут держит. Дело молодое! Эх! Ладно, не горюй, не придется тебе покамест уезжать. Похлопочу, чтобы тебя перевели на вашгерды, а я тут как-нибудь. Завалит — меня, старика, не жалко, я свое пожил. Вот только ты не робей, не медли, Юндуз не откажет.

Ибрагим кивнул, натянул улыбку.

— А какие есть знаки, что на золото выводят?

Хасан покачал головой:

— Опять ты за свое. Нечего об этом думать. Может, в стародавние времена и находили россыпи. Сейчас золото глубже ушло, из руды его голыми руками не возьмешь. Оттого оно все баям достается. Вон у них машин, струментов сколько!

— Так ведь находят же самородки!

— То лукавая удача. Понадеешься на нее, себя потеряешь. Ты о золоте не думай. Это лютая болезнь. Отработал смену, получил плату, этим и живи. До смерти золото привораживает, как аждаха. Изъест тебя всего. То силы одной породы, змеиной. Слыхал небось про аждаху?

— Еще бы.

— А я видал, — вдруг признался он. — У нашего леса за рудником. Сначала принял

ее за солнце между соснами, уж больно ярко горела кожа. Она у нее вся блестящими чешуйками покрыта, как у медянки.

— Красивая?

— Хороша. Да срам говорить про такое, — Хасан по-детски захихикал, прикрыв рот ладонью. — Была она безо всякого платья, даже платком не покрывалась.

— Неужто голая?

Хасан кивнул.

— И не стеснялась?

— Ни капли.

— Вы испугались?

— Сперва трухнул, а потом залюбовался.

— А она?

— Увидала и зовет. Голос такой ласковый, манкий, ноги сами к ней несут. Но я скрепился, повернул к бараку.

— И все? Выходит, не так уж и страшно с ней встретиться?

Хасан приосанился:

— Как сказать. Наш старатель Гумер, тот, что нашел самородок с бараний череп — все о нем тут помнят, — тот, видно, не сдержался, пошел на зов. Спустя дня три, как мне явилась аждаха, его нашли мертвым на том самом месте. Так-то! — рудокоп прищелкнул языком и взялся за рукоятку кайла. — Ну, хватит болтать, работай!

Стук, скрежет, грохот снова заполнили всю галерею, тотчас стало тесно от шума. Ибрагим уже не мог отвлечься на работу. Ему мнилось, что стены вот-вот сомкнутся со всех сторон. Свои шаги он принимал за камнепад. То и дело оглядывался. Да какой в этом толк, если кругом тьма?

Когда забили конец смены, Ибрагим был рад выбраться на поверхность как никогда прежде. Но в барак не спешил. Встал у большой развилки, поджидая Бикбулата, Ишмата и Тазитдина. Как убедить их не копать в сторону свиста? Чего доброго, подумают, что Хасан подговорил обмануть их, чтобы забрать себе все золото.

Со смены рабочие шли бодрее, у всех второе дыхание открылось. Штейгер со скукой кричал им:

— Только о том и думаете, чтобы набить брюхо и завалиться спать! Вот если бы вы так же на работу торопились!

Каждый, миновав начальника, тихо посылал его к шайтану.

Разного народу прибило к приискам — татар, мишар, тептярей, башкир, чувашей. Но они четко делились лишь на два племени: подземных людей, что работали в шахте, и речных, стоявших у вашгердов. Подземные люди были сутулы, со скрюченными шеями и горбами, — так их тела приноравливались к низким коридорам. Их веки были темны от рудной пыли, а вокруг глаз — черная каемка. Выходя на землю, они щурились на непривычное солнце, отчего их лица выглядели еще угрюмее.

Среди речных людей было много женщин и детей — этот труд считался легким. Серый уральский загар не сходил с их кожи. Ржавый песочный налет въелся в скрюченные пальцы и шишковатые кисти.

После конца смены оба этих племени шли вперемешку.

Приятели Ибрагима все не показывались. Зато его заметила Юндуз и сама подошла к нему. Местные девушки держались бойко и не боялись срама — они

привыкли работать рядом с чужими мужчинами и не церемониться: чтобы не намочить свои юбки, они бесстыдно подвязывали их чуть не до колен.

Свои порядки царили на руднике. Женщины были смелее, нравы — проще, молитвы — торопливее и реже. Те, кто привозил сюда своих богов, так и оставлял их в дорожных котомках. Там, где добывают золото, вера была единой — в древнюю преисподнюю силу. Ей одной исступленно служили: рыли, дробили, возили, мыли-перемывали — то были и намаз, и ураза.

— Не меня ли поджидаешь, Ибрагим? — улыбнулась Юндуз. Живи она в других краях, среди горных трав или у леса, была бы девушкой миловидной, даже красивой. Но кровь ее, как у всех женщин, работающих по щиколотку в реке, наполовину разбавилась мутной водой. Она росла, точно приисковая заря над заболоченной заводью, тусклая и безнадежная.

В толпе запели «Ирендыкского беркута»[1]. Этой песней их с Юндуз дразнил весь прииск:

Вечером свидимся, приласкаю», — сказал я.
На ее правой руке серебряный перстень,
Двойной браслет, талия тонкая.
А она ответила: «Старики увидят, нельзя, душа моя[2].

— Как живешь? — спросил Ибрагим громко, чтобы заглушить издевательское пение.

— Как все, милостью Всевышнего. Только ноги болят, распухли. Опять я их застудила.

Ибрагим смутился: зачем она говорит с ним о таком? Было в ее сетовании что-то старушечье. Он вспомнил икры мойщиц золота, торчащие из воды, — широкие, все в червях вздутых вен, и поморщился. Вот какая жена ему достанется!

— Коли ноги болят, надо встать босиком в муравейник. Так моя старшая мать делала.

— Что ж, попробую, — деловито согласилась она. — А ты к нам вечерять не зайдешь?

— Так ведь еще не воскресенье.

— Ну и что. Заходи!

Ибрагим понимал: если согласится, свяжет себя еще крепче, Хасан от него не отступится.

— Ладно, зайду. Только вот своим скажу, чтоб не дожидались.

Холостяцкий барак уже пыхтел паром и дымом — тут было горячее, чем на солнце. Кипятили чайники, разворачивали газетные свертки с селедкой, закуривали самокрутку. Ни Бикбулата, ни Ишмата не было — значит, решили искать заповедную жилу до темна, оттого за завтраком ели много. Но Ибрагим был научен опытом — впрок не наешься. Надеялся, что они, оголодав и не найдя ничего, угомонятся. Тогда ему не нужно будет их переубеждать.

Времени у него хватало. Он вышел к умывальникам и ополоснул лицо, шею. Вода нагрелась, будто он зачерпывал неостывший чай. За глухой стеной барака над запекшейся мусорной кучей зудели мухи. Он смахнул с рубахи капли и пыль. От ступней к плечам поднялась дрожь, перетряхнула.

---

[1] «Ирендыкский беркут» — башкирская народная песня.

[2] Перевод с башкирского — автора.

— Все от голода, — объяснил он себе.

Жара не спадала даже вечером. Ибрагиму мечталось, что рудник до краев полон водой, как озеро, и он скоро в ней искупается. Он еле волочил ноги, тело вязло в усталости.

Вдруг земля будто взбучилась, взвыла, заурчала, как пустой живот. Из шахты послышался скрип, и грохнула бадья.

— Таки лопнула веревка, — сказал он равнодушно.

Не успел дойти до крыльца семейных, как сквозь знойную дремоту заголосил колокол. Внезапно из закатного марева возникли люди, муравьиными струйками потекли к колодцу шахты, крича, бестолково размахивая руками:

— Обвал! Обвал!

На перепутье
(июль 1912 г.)

Заброшенный рудник превратился в позабытую могилу. Штейгер погнал рабочих дальше. Для них это кочевье было безрадостным бегством — от старой беды к новой. А земля, через которую они прокладывали шахты, оставалась разоренной, разворованной. Змеиная сила свистела и манила, и люди шли за ней, перемалывая все живое в золотоносный песок. Ибо аждахе было угодно, чтобы над землей все было так же мертво, как под землей.

С тем же дурманящим свистом она набрасывалась на людей, опустошала их души. Человек еще бодрится, еще рвется вперед, а нутро его изрыто, вся руда жизни выработана. Приложи ухо к груди — услышишь гул пустой штольни вместо биения сердца. Вот-вот обрушатся тонкие перекрытия, и его не станет.

В тот вечер, когда случилось несчастье, Ибрагим так и не дошел до Юндуз. Заварилась кутерьма до самой ночи. Под завалами погибли дежурные сменщики, не досчитались и троих его приятелей. Хасан догадался, что давешний разговор о приметах Ибрагим завел неспроста, строго на него поглядывал, но молчал. Вдова Тазитдина, Умминиса, сама всех выдала:

— Говорила я ему, не суйся, куда не следует. Зачем он связался с этими мальчишками! — выла она, раскачиваясь и колотя себя кулаком по виску. Платок съехал с ее головы, высвободились две тугие косы и черными змеями обвились вокруг ее шеи.

Штейгер охотно свалил вину на погибших, причитавшуюся им плату списал как штраф, потому Умменисе не дали расчет за мужа. Одним ее заработком нельзя было прокормить детей, и она решила вернуться в родную деревню, за пятьдесят верст по горам. Привязала к груди младшего, посадила среднего на худой тюк, уложенный в маленькую деревянную телегу, сама впряглась в оглобли, а старший Лотфулла пошел следом, закинув за спину узел с провизией.

Ватага приисковой ребятни увязалась провожать их, а женщины заспорили, много ли дней у них уйдет на дорогу, и что если не примут обратно в семью. Но тревоги за собственную участь вскоре перебили все разговоры о покойных рудокопах и Умменисе. Кто уходил на новые прииски, кто остался домывать песок. Хасана, как и других стариков, перевели на вашгерды, а молодых, вместе с Ибрагимом, назначили в разведку — копать шурфы под новые разработки.

За несколько дней до отправки по баракам прокатился крик:

— Эй, гляньте! Лотфулла вернулся! Один, без братьев и матери!

Лотфулла стоял у семейного барака, оборванный, грязный, с морщинистой гримасой ужаса на лице. Его умыли, накормили, стали допытываться, что стряслось. Мальчишка только неразборчиво мычал и всхлипывал. На другой день его снова выспрашивали, он отвечал путанно и странно. Будто у вершин Ирендыка они набрели на огромный утес. Видом он был, как бай в высокой меховой шапке. Вдруг утес ожил и повернулся к ним лицом. Это был древний тай-эйяхе — дух горы. Стоило младшему брату посмотреть ему в глаза, как он тут же обратился в камень. Уменниса велела детям бежать и не оглядываться. Но средний брат Лотфуллы не послушал ее. Мать вернулась к нему, и оба застыли соляными столпами. Лотфулла один бежал три дня и три ночи, пока не добрался до приисков.

— Сочиняешь, малай! — возражали ему. — Отсюда до вершины Ирендыка от силы полтора дня пути. А вы ушли почти две недели назад. Хватит врать! Где ты был? Что на самом деле случилось?

Но Лотфулла бился будто в судорогах, закатывал глаза, так что одни белки сверкали, и кричал:

— Все так и было. На нас напал дух горы.

Его успокаивали, отпаивали молоком и снова выведывали:

— Скажи правду! Никто тебя не накажет. Где твоя мать и братья? Может, им еще можно помочь!

— Дух горы! Дух горы! — вопил Лотфулла до изнеможения.

И по-доброму, и по-злому его переспрашивали: гладили по голове, угощали медом, шлепали и щипали, а он все твердил свое. Потом махнули рукой. Пару дней он проболтался на приисках, прибиваясь то к одной знакомой семье, то к другой, и отовсюду его шпыняли — кому охота повесить на себя еще один голодный рот, когда собственные дети недоедают. А Лотфулла к тому же вернулся таким странным, так постарело его лицо: вдруг в горах в него вселился шайтан, и кто знает, что он сделал со своими родными?

Утром, когда Ибрагим отправлялся со своим отрядом на Кусеевские холмы, он заметил Лотфуллу, спящего под крыльцом семейного барака. Ему стало горько за прежде веселого мальчишку, любимца и гордость Тазитдина, который валялся теперь за порогом своего бывшего дома, как шелудивый щенок.

— Эй, заяц! — позвал его Ибрагим. Лотфулла тут же проснулся, потер кулаками глаза. — Пойдешь со мной руду искать?

Мальчишка стремглав кинулся к нему:

— Пойду, пойду, Ага! Буду вам белье стирать, еду готовить! Все для вас сделаю! — залепетал он. Так и несся за ним вприпрыжку, боясь отстать хоть на шаг, как дворняжка, которую поманили потрохами.

Ибрагим был рад уйти подальше от бараков и шахт, ночевать на богатом полевом воздухе. За разведку платили щедрее, еду покупали всей бригадой вскладчину. Субботнюю работу они заканчивали к обеду — все равно никаких проверяющих уже не будет. Запасались в Кусеево вдоволь хлебом, картошкой. Ибрагим не ходил больше на выходной к Юндуз, хоть и мог успеть туда и назад за день.

— И нечего с ней знаться! Всех подряд на прииске привечает эта прилипала! — радовался Лотфулла.

— А ну, прикуси язык! — выговаривал ему Ибрагим.

В одну из таких суббот, когда солнце еще не начало клониться к вечеру, Ибрагим пошел за водой на Ялангаскуль. Лотфулла с первых дней позабыл свое горячее

обещание во всем ему помогать: как дело доходило до какого-нибудь поручения сверх работы, так он тут же прятался. Потому Ибрагиму приходилось самому таскать воду.

Над обожженными холмами сиреневой тучей колыхалась гряда Ирендыка. Ибрагим мечтал взобраться на нее и заглянуть за край. Конечно, даже с такой высоты не увидать Ильсегулово. Но хотя бы посмотреть в ту сторону, где дом. Каждый выходной он шел к нему. Сколько пригорков ни преодолевал, а хребет не становился ближе, маячил впереди, недоступный, как солнце, и он поворачивал обратно.

Ибрагим с тоской оглядел гору:

— Все-таки встану завтра пораньше и заберусь на самый верх.

С этой мыслью он зашагал обратно к палаткам.

Кашеваром в их отряде был Уразмет. Он стряпал скудно, бережливо, но с особой бедняцкой смекалкой. На этот раз он колдовал над картофельной похлебкой: добавил лебеды и дикого лука, сгустил яйцом — вышло не хуже, чем у Юндуз. «Коли так жить, то можно бы и не жениться!» — подумалось Ибрагиму.

— Что, о невесте грустишь? — усмехнулся Буранчи и протянул ему кружку с арака. — На-ка, утоли тоску!

Ибрагим покачал головой. Он не выносил жгучий приторный вкус водки, пару раз пробовал преодолеть себя и глотнуть, но сплевывал.

— Бери! Мы твоему тестю не скажем! — ухмыльнулся Буранчи. — Пей же! Сегодня есть за что! Я до Мингажевской бригады ходил. Штейгер сказал: с понедельника оттуда поведем новую шахту.

— Да ну! Нашли? — оживились остальные. Ибрагим потихоньку поставил кружку возле своей пиалы.

— Говорят, богатая должна быть выработка. Кончились наши тревоги. Без места не останемся.

Ибрагиму стало до слез жаль себя. Пусть лето, такое прочное своим жаром, испарилось бы с первым холодным дождем, шурфы бы тотчас затопило, отсырели бы палатки. Но возвращаться в барак после июльской вольницы он ни за что не хотел.

— Когда снимаемся? — спросил он.

— Смотри, как торопится! Потерпи! Скоро опять будешь со своей Юндуз! Завтра к вечеру пойдем.

Словно осужденный на казнь, Ибрагим решил наперед распределить свой последний день чуть не по минутам. Встанет до рассвета, соберет свои пожитки — и на Ирендык. Постоит на вершине, поглядит в сторону дома. К ночи успеет к Мингажевским. Поглощенный расчетами, Ибрагим поднял кружку водки вместо пиалы с чаем, и махнул залпом, оторопев от неожиданной горечи. Загорелось во рту, в горле, в сердце. Он закряхтел, стараясь то ли выкрикнуть, то ли вдохнуть.

— Силен! — похвалил Уразмет.

— Случайно вышло, — сказал Буранчи.

Ибрагим дышал, по-рыбьи разевая рот.

— Как бы не так. Давай, Ибрагим, покажи ему! — Уразмет плеснул ему еще.

Горечь раскрылась в груди приятным теплом. Отлетели беспокойные мысли, голова стала легкой, пустой.

— Не пей, Ага! Не надо! — взмолился невесть откуда взявшийся Лотфулла и грозно напустился на приятелей: — А ну не наливайте ему!

Но те со смехом отпихнули мальчишку. Ибрагим опрокинул вторую кружку.

Теперь он понял: весь секрет был в том, чтобы пить залпом, не цедя сквозь зубы, не купая язык в гадком вкусе.

Боясь, что покой растворится так же быстро, как тепло, Ибрагим выпил снова.

— Ах так! — разозлился Лотфулла. — Ну и пей себе! Вот увидишь, как плохо будет завтра. Уж я-то помню, как по утрам страдал отец.

Угрюмый, он отправился в палатку.

— А что ты на руднике скромничал? Не пил с нами? — язвил Буранчи. — Тестя боялся?

Им вскоре надоело его дразнить, они стали рассуждать, насколько задержатся на новой шахте. Ибрагим удивлялся, как они успевали болтать так проворно. Его язык обмяк во рту оглушенной рыбой.

Голоса неслись откуда-то сверху, будто Ибрагим сидел на дне шурфа, а они говорили у самого края. Их тон стал развязнее. Даже бараны, что паслись на Кусеевских лугах, блеяли пьяно. Казалось, все захмелело вместе с Ибрагимом, понеслось, завертелось, быстрее и быстрее. Ибрагим попытался остановить это тошное вращение — закрыл глаза, но не помогло.

Он встал. Крутящийся диск мира ударил его в грудь, он пошатнулся, его занесло влево.

— Эй, куда? — засмеялся Буранчи.

— Оставь ты человека, не видишь — нужда ему! — хихикнул Уразмет.

Ибрагим прошел поле, стал подниматься по холму, поросшему березами. Черные чечевички зияли на серой коре и складывались в тысячи шахтерских лиц, измазанных сажей. Частокол скорбных лиц. Ибрагим долго плутал в роще, как в лабиринте.

Наконец, он выбрался из рощи на залысину холма. Запнулся о камень, растянулся на траве. Но и тут не было никакой опоры. Земля раскачивалась, уплывала из-под него. Он старался уцепиться руками, взглядом хоть за что-нибудь. Небо тоже ходило ходуном. С одного его края колыхалась заря. С другого — в черном омуте бултыхались звезды.

— Опять они! — закричал Ибрагим. — И сюда пробрались Твои соглядатаи?

Ибрагима так расшатало, что со дна души поднялся тяжелый осадок: невысказанные страхи, обида, ненависть. Они потекли к горлу и выплеснулись из него:

— На кой я Тебе нужен? У Тебя разве нет других дел? — Ибрагим захлебывался. — Молчишь и смотришь, как любая мерзость сходит людям с рук.

Он приподнялся:

— Гюльназ погубили, а Ты и глазом не моргнул!

Ибрагиму надоело ворочать непослушным языком, и слова стали выходить из него одним сплошным криком, смысл которого был понятен только Богу.

Потом крик сменился приступом смеха.

— Теперь я знаю, почему! — сипло смеялся Ибрагим. — Ты ничего не можешь, только глядеть со своей верхотуры.

Ибрагим похлопал ладонью по земле:

— Тут, куда Ты брезгуешь спускаться, давно поселились и заправляют другие силы. Скоро они все выползут из своих нор и даже небо у Тебя отберут. Ты и тогда промолчишь?

Он смеялся долго, заводясь все больше. Так и уснул, похохатывая, как дети всхлипывают после бурных рыданий. В эту ночь Ибрагима не мучили никакие воспоминания.

Его разбудили лучи солнца, горячо растиравшие лицо. Он открыл глаза, встал. Свет тяжелым ударом сшиб его с ног. Хотелось укрыться в холоде, во тьме, хоть бы на дне свежевырытого шурфа, и лежать там не шевелясь. Он пополз в сторону озера.

Каждое движение вызывало тошноту. Спазмы камнями перекатывались из живота в горло. Снова и снова, до натужной икоты. Казалось, его рвало собственной перегнившей плотью, застоявшейся тоской. До тех пор, пока он не впал в дремотное бессилье. Так повторялось много раз, до полудня.

Когда немного полегчало, он сел, огляделся. На горизонте, в распаренном воздухе трепетал Ирендык — неизменно далекий.

— Так и не дошел. Последний день потерял. Пустой, никчемный дурень!

Он стал колотить себя по лицу, по груди. Сухо скуля, повалился на землю. Пенные клочья лабазника сомкнулись над ним.

Ибрагим долго смотрел сквозь траву в раскаленное белое небо. Знойный стрекот цикад свербел в ушах. Сквозь одуревающий звон он услышал родные звуки, давно забытые: низкое гуканье, скрипучие взвизги, хруп. Еще не подняв головы, одним только слухом он увидел табун. Запах конского пота, отдающего сосновым дегтем, напомнил о первых скачках на йыйыне.

Ему было лет шесть — самый возраст для состязаний, ведь чем меньше всадник, тем легче коню. Ибрагим резво погнал Куныра, и тот, почуяв азартное упрямство малолетнего наездника, вдруг признал его власть над собой, помчался галопом.

А сразу же за этим Ибрагиму представился тот же конь десять лет спустя. Как тот доверчиво положил морду ему на плечо, дыхнув в щеку. Он не забыл ни хруст ножа, которым он проткнул шею коня, ни жар крови, что полилась по запястью.

Ибрагим ощутил во рту скверный, тухлый вкус предательства. Чтобы поскорей стряхнуть с себя прошлое, встал, сплюнул.

Со степной стороны и правда шел большой табун. Вздутые сургучные капли лошадиных спин блестели среди линялой овсяницы. Они склоняли головы, и черные гривы проливались на траву. Лошади жевали в полусне, изредка взмахивая хвостами.

Но с самого краю выпаса Ибрагим заметил странное волнение. Кобылы озирались, нервно прядая ушами — рядом сцепились кони, саврасый и гнедой. Встав на дыбы, они припечатывали друг друга копытами. Сперва Ибрагиму показалось, что два жеребца бьются за косяк, но потом увидел, что саврасый был оседлан.

— Что за дела? — воскликнул Ибрагим. — Где же пастух?

Саврасый, слегка прихрамывая на переднюю левую, отступил, зашел к кобылам с другой стороны, не по-вожацки, робко, заискивающе. Гнедой снова настиг его, но саврасый успел кинуться первым, прихватил гнедого за ухо и с силой рванул челюстью, послышался визг.

Свист хлыста пронесся над головой Ибрагима:

— Шайтан, что ты делаешь? — кричал на него подоспевший пастух. — А ну отгони своего коня!

— Моего? — удивился Ибрагим, но послушно побежал к коню, поймал, взял под уздцы и зашептал: — Иди-ка сюда, усал[1]!

Конь неуверенно последовал за ним, отворачивая от него морду то ли в испуге, то ли в презрении.

— Чего отпускаешь коня, где табун пасется? — возмущался ему вдогонку пастух. — Ты мне еще за порчу вожака ответишь! Гляди, твой ему ухо откусил!

---

[1] Усал — злодей.

— Как он откусит в удилах?!

— Очень даже! — препирался пастух. — Ты бы хоть стреножил его до того как завалился спать!

Ибрагим махнул рукой, вскочил в седло, пришпорил коня, тот неохотно сделал несколько шагов.

— Быстрее, шайтан тебя возьми! — говорил ему Ибрагим на ухо.

— Так ты и ездить толком не умеешь! — смеялся пастух.

Саврасый не шел быстрее рыси, будто издевался. Меж тем Ибрагим обнаружил, что ему достался породистый иноходец, в скаковой форме. Совсем как конь, которого увел у него на торге вор.

— Будто и впрямь тот самый! — прошептал Ибрагим. — А все-таки что случилось с твоим хозяином?

Когда табун скрылся за косогором, саврасый взбрыкнул, сбросил Ибрагима со спины, повернул к полям, где они вели разведку, проковылял еще немного и встал, поглядывая поверх Ибрагима.

— Прав ты, братец! — Ибрагим потер зашибленный бок. — Нечего на чужое зариться! Если твой хозяин объявится, вот будет дело! В Сибирь сошлет.

Он поднялся, посмотрел в сторону Ирендыка. Бледный осадок неба лег на хребет.

— Ну, ступай к своему хозяину! — прикрикнул Ибрагим и махнул рукой. — А мне, видно, судьба идти к Юндуз!

Он отвернулся от гор. Решительно направился к стоянке, насвистывая «Ирендыкского беркута»:

> Страстно поцелую ее в левую щёчку и скажу:
> «Старики на нас не смотрят, душа моя!»[1]

Конь нагнал его и преградил путь.

— Ты чего? Иди-ка от греха, ищи хозяина.

Ибрагим обошел его и продолжил путь. Конь поплелся рядом, похрапывая. Стоило Ибрагиму пойти быстрее, ускорился и саврасый, снова выступил вперед и потоптался перед ним, понурив голову.

— Да что с тобой! И не даешься, и не отпускаешь!

Скакун уперся носом в грудь Ибрагима и слегка подтолкнул.

— О помощи просишь? Приболел, что ли? Ну пойдем, посмотрим.

Ибрагим снова взял его под уздцы и хотел повести к озеру. Но конь за ним не последовал, потащил совсем в другую сторону.

— Что за дух в тебя вселился? Куда ты меня ведешь?

Конь тянул его долго, до того поля, откуда бригада Ибрагима начала разведку. Кучи глины вокруг незасыпанных шурфов успели порасти травным пушком. Брошенные колодцы кое-где заполнились водой из подземных ключей — в этих местах они залегали высоко, оттого разведку здесь остановили.

Конь вышагивал медленно и осторожно, и зайдя чуть не на середину поля, остановился у одной из ям и ворчливо пофыркал. Рядом с ней валялось одеяло, а вокруг лежали книги, колышась перелетом страниц или задрав корешки. Ибрагим видел такие же у Нахретдина, но боялся даже притронуться к ним своими нечистыми

---

[1] Перевод с башкирского — автора.

руками. Эти книги были причастны великим тайнам, знать которые Ибрагиму было не дозволено. Он осторожно обошел их.

— Это еще чье? Зачем ты меня сюда приволок? Гиблое место, — начал было Ибрагим. Но вдруг из-под земли послышался женский голос:

— Оскор! Ты вернулся! Никак привел кого-то?

— Аждаха! — прошептал Ибрагим и попятился.

Свободна
(июль 1912 г.)

«Не бойся тьмы — зажги огонь, и она скроется. Не бойся духов — прочти молитву, и они падут. Не бойся дикого зверя — и его побеждает огонь. Бойся человека, родной мой. В голове его — несокрушимая тьма, его сердце одержимо всеми злыми духами, коварством своим он превосходит зверя. Он назовется твоим другом — и заманит в капкан. Он назовется твоим братом — и погонится за тобой с ружьем.

Так охотился за мной Кагарман, с которым мы были вместе с рождения. Едва я вскочила на коня, — прицеливался и стрелял. Одна пуля свистнула у моей правой ноги, другая чиркнула по левому уху. Спасло только то, что мне достался его самый быстрый скакун Оскор. Конь побежал, не разбирая дороги. А пули плевались нам вслед.

Долго мы мчались, а все мерещилось, что за спиной по-прежнему наш двор, где лежит переломанное тело Алдара, и пламя свечи в руке отца высекает из тьмы свирепое лицо брата. Все прибивалось ко мне эхо выстрелов и криков:

— Убью! Бесстыжая!

Я жалась к шее Оскора, боясь глядеть назад. Острой иглой мы вошли в черную чешую ночи и пронзили ее, как кожу дракона. Блеклый предутренний свет полился из ее брюха. Рана росла и ширилась, вызволяя долину из темного плена. Древний демон был повержен — и вместе с ним мой страх и мое рабство.

Чем дальше, тем больше мне открывалось: речка в трещине холмов, деревце на краю ущелья, покатые степи, сизые низины — вплоть до высокого хребта на краю земли. Я оказалась посреди целого мира. Одна, сама по себе. И мир этот был полностью моим. Никто не мог остановить меня, я правила, куда хотела.

Ветер обдувал нас со всех сторон, а спина коня подо мной была горяча, как лавка в растопленной бане. От этого жара и прыти сделалось необыкновенно страшно и хорошо. Я больше не пригибалась, не пряталась, села прямо, даже чуть запрокинув голову, расправила плечи. Волна тепла поднялась к солнечному сплетению, в ней было что-то животное, дикое, новое. Как утоленная жажда, невесомый миг на вершине прыжка, первый побег от олэсэй, но ярче. Я не успела опомниться, устыдиться. Это чувство превратилось в крик:

— Свободна!

И мир исполнился моим голосом. Едва я ощутила свое тело так остро и полно, я вмиг будто напрочь лишилась его. Плоть растворилась. Я стала одним дыханием — паром, который скоро рассеется.

Вдруг то ли Оскор испугался резкого громкого звука, то ли я пережала коленями его бока, конь врылся в землю, немного завалившись вперед. Я перелетела через его голову, покатилась. Земля внезапно оборвалась. Я упала в какой-то широкий колодец, захлебнулась водой, завозила руками и ногами по дну, встала. На мое счастье воды было немного — едва выше колен, но колодец оказался глубокий, до краев не

дотянуться. Я слышала, как наверху Оскор недовольно фырчал, и позвала его. Но конь еще немного постоял, отдышался и медленно пошел прочь.

Жизнь разом перевернулась. Минуту назад я правила, куда глаза глядят, не желая знать ничего, кроме воли, а теперь сижу в ловушке, из которой не выбраться.

Тут уж настигли меня прежние ужасы. Вдалеке почудился клик коростели, которым звал меня Алдар, его рев, тишина, наступившая после, голоса отца и брата. Напрасно я поверила, что свободна. Одна в чужих краях ни за что бы не продержалась: свои догонят или чужие поймают — одна погибель.

Но даже такая участь была бы легче, чем долгая смерть в этой яме. Только я об этом подумала, как почувствовала усталость и боль в перебитом теле, стоять в воде, в мокрой одежде было холодно, засвербела царапина на ухе, в животе все сжалось, не от голода даже — от страха голода.

Я стала карабкаться наверх по стенкам колодца. Но земля была сырой и склизкой. Я соскальзывала в воду. Попыталась еще раз и съехала вниз. Нет, так мне не вылезти. Тогда я придумала вырыть в стене углубления, чтобы было куда поставить ногу. Это оказалось непросто: почва была крепкая, спаянная с глиной. Потом я нащупала на дне пару камней и стала сперва долбить ими отверстие, потом ладонями разгребать отколотые куски.

Мне казалось, я работала быстро. Но уже поднялось солнце, жаркие лучи дотянулись до меня. А ступеней было готово только пять. Я опробовала их и снова сорвалась, пальцам не за что было зацепиться. В отчаянии я отбросила камни и села в воду.

Тогда я принялась молиться. Не Аллаху, Всевышний был на стороне отца и брата. Я знала одно имя милосердия — Фатанат-ханум. Ее и просила о помощи.

Не помню, сколько я так просидела. Уже шепот мой стал дремотным, беспорядочным. Вдруг слышу вдалеке лошадиный храп и юношеский голос:

— И зачем ты меня сюда приволок? Гиблое место.

К этому времени мне было все равно, на беду ли пришел этот человек, и что он со мной сделает, я закричала, лишь бы не остаться в колодце:

— Оскор! Ты вернулся! Никак привел кого?

— Аждаха! — в страхе воскликнул кто-то наверху.

Вот дела! Незнакомец сам меня испугался! Как бы не убежал.

— Постой! — закричала я. — Нет тут никакой аждахи. Только я. Я упала в этот проклятый колодец. Помоги мне выбраться.

— Как тебя угораздило? — спросил кто-то. — Значит, конь твой?

— Мой.

Он осторожно подошел к краю и заглянул вниз. Яркое солнце било прямо в глаза, и я не увидела его лица, только плечистый силуэт. Зато он рассматривал меня долго и молча.

— Тут веревка нужна, — сказал он наконец.

— А ты сними с Оскора сбрую, — нашлась я. Мне не хотелось отпускать его за веревкой: что, если не вернется?

— Думаешь, выдержит? — пробурчал он, отходя от ямы, конь угрожающе рыкнул, лязгнула уздечка. — Хватайся за поводья, а я потяну.

Он лег на землю и сбросил мне край сбруи. Со дна я едва могла коснуться ремня кончиками пальцев, тогда я взобралась на свои ступеньки, поймала поводья и что было силы вцепилась в них.

— Тащи! — крикнула я незнакомцу. Кряхтя, он потащил меня вверх, я отталкивалась ступнями от стен. Еще немного — ремни натянулись, заскрипели, вот-вот лопнут. Но уже показался холм, и я легла грудью на траву, отпустила сбрую, подтягивая себя руками, проползла немного вперед, еще боясь подняться, не доверяя земле.

Он сидел поодаль, вытирал пот со лба коротким рукавом рубахи, высоко поднимая руку и упираясь лбом в плечо. Мне навсегда запомнился этот простодушный жест и озадаченная улыбка. Я редко встречала такие лица, как у него. Хоть оно было изможденным, серым, но заключало в себе своевольную силу. Обычно бедняки смиренно опускают глаза, слишком поспешно и угодливо. А он смотрел, куда хотел. И не как баи, их надменность слепа, не видит дальше носа. А его глаза были проницательны. По всему угадывалось: непростая жизнь выточила такой взгляд.

— Как тебя зовут? — спросил он через некоторое время. Садиться ближе он опасался.

— Сурур.

— Меня — Ибрагимом. Гляжу, ты не из приисковых, — сказал он с некоторым восхищением.

— Я издалека, — ответила я уклончиво. — И грозит мне теперь большая беда. Так что, ежели боишься, лучше сей же час отдай коня и иди своей дорогой.

— Что же с тобой приключилось?

— Долго рассказывать, да и ни к чему. Гонятся за мной родные братья, что злее самих духов злобы. Кто со мной пойдет, со мною разделит их гнев. Кто предаст меня, тот ответит перед святой птицей Хумай.

Он взглянул на меня с благоговейным ужасом. Я едва сдержалась, чтоб не улыбнуться, — не думала, что он так впечатлится.

— Воистину, ты послана мне Всевышним, — заговорил он, отходя на шаг назад. — Я помогу тебе. Скажи только, что сделать, и я сделаю.

— Мне нужно в Троицк, к Зайнулле-ишану Расулеву.

— Как же! Слыхал о нем! — закивал он, — К кому же еще отправит Всевышний своего ангела — в наших убогих краях. Кроме него святых тут больше нету.

Ибрагим тут же вызвался сопровождать меня в Троицк, но сперва ему надо было уладить кое-какое дело. Он привел меня к озеру, что было поменьше и светлее Талкаса, с белесой водой в желтом песчаном блюдце.

— Тут место нехожее, бояться нечего. Если все же пройдет кто и спросит, чего-откуда, скажешь, мол, ты шахтерская, Ибрагима сестра, назовешься Аклимой. А я скоро.

Со страхом мы расстались. Я не хотела отпускать его, хоть не подавала виду. И он боялся оставить меня — я это почувствовала».

Андрей Дмитриев

Речь ныряет в омут лепета

* * *

Закончится карантин,
закончит контакт коротить —
тень мантией с кариатид
сползёт на закате у моря,
но прежде — чеснок и имбирь,
в одежде — чернобыльский стиль,
надежда — на светлую быль
без лютого глада и мора...

Потом, после времени Ч
извлечь из фейсбучных речей,
что быстры, как печь СВЧ,
сумеем ли мы так же просто
рождественский с виду пирог
с начинкой малиновых склок,
ведь в реку войдём, а у ног
взметнёт пузырьки иной воздух.

Вернёмся, хоть мы и дом*а*
свои не покинули. Тьма
в тугие вберёт закрома
отмытые холодом звёзды.
Согреем в ладони ладонь,
и месяца серп молодой
сожнёт, рожь смешав с лебедой,
поля наших новых курьёзов.

Дмитриев Андрей Николаевич — поэт, журналист. Родился в 1976 году в г. Бор Нижегородской области. Окончил юридический факультет Нижегородского коммерческого института. Обозреватель областной газеты «Земля нижегородская». Автор четырех сборников стихов, среди них — «Глубина тиснения» (2018). Живет в Нижнем Новгороде.

* * *

А ты и прежде был в затворе —
сидел в компании сверчков,
не только трещин на фарфоре
ведущих в тишине учёт,
но и распавшихся на пазлы
аллюзий и ассоциаций с тем,
что клерки не заносят в паспорт
по канцелярской глухоте.
Для рыбок с влажными глазами,
для кошек с космосом в шерсти,
для книг, что как огни вокзала,
ты был вербально допустим.

Без рыка-крика в час полночный
твой обходился лексикон,
хоть был порою рваным почерк,
но то — скрипело колесо
по внутренним дорогам сердца.
Теперь, когда кругом замок
повешен, так ли ново в бегстве
во глубь себя искать зерно...
Притушен свет, приглушен отзвук,
ложится пыль на суть вещей,
лишь где-то под корою мозга
древесный сок — струит сквозь щель.

* * *

На колёсах деревянных
деревянный коник
въехал в комнату, где Ваня
умер под иконой,
а до этого родился
в деревянном срубе,
в деревянной люльке вырос,
выпал, словно рубль —
не железный — деревянный,
закатился в щёлку.
Въехал коник: где же Ваня
наш розовощёкий?

Деревянной половицы
скрип не извлечённый —
без звучания пылится,
спит под тенью чёрной.
За древесною золою
с маленьким совочком
ночь пришла бы, только, к слову,
договор просрочен.
Деревянный конь вкатился
в прежние пределы:
всё за досками из тиса
одеревенело...

* * *

Голова твоя — берлога,
в ней сопит больной медведь,
он решил, что сон — подмога
в гиблом деле, где лишь смерть —
общее мерило судеб.
Спит — и будто бы вокруг
время превратилось в студень,
содрогаясь, но испуг
не кормя на блюдном бреге
с окровавленных ножей,
что так жадно даже в неге
вглубь прорезались уже.

Сон — не в руку и не в ногу,
ни в лопатку, ни в крыло.
Льдом окутало берлогу,
ах, куда ж вас занесло.
Спит медведь — и снится лето:
мёд — без жал, малина — без
егерей, что бьют дуплетом
из кустов у входа в лес.
Голова твоя — вмещает
бурой шерсти целый ком,
то есть полнится вещами,
соревнуясь с чердаком.

Вот проснётся косолапый —
иго хвойное пойдёт
под конвоем по этапу
на безъягодный компот.
По-над ухом взвоют пули,
волчий вспенится оскал.
Глядь, а ты уже в июле,
правда, в отпуск опоздал —
только топи да овраги,
мошкара и прочий гнус.
Зверь отыщет лист бумаги
и попробует на вкус.

* * *

Шагали б мы по улице Стравинского,
когда б она была на самом деле
в том стряпчем месте, где артель неистово
болгаркой с перфоратором владела.
Тонула в накатившей какофонии
любая тонко выданная нота,
ведь звуки эти не в оркестр оформлены,
как, впрочем, и не в строевое что-то...

Уехать бы в абстрактную Венецию —
качаться на волне простых рефлексий,
как делают стихи после Освенцима,
измученные поисками версий.
Вот за окном горит весна священная,
да что поделать с пустотою зала...
Артель сверлит до мозга в помещении,
где кто-то спрячет нос под одеялом.

Когда была б здесь улица Стравинского,
всё стало б хоть немножечко понятней.
Чу! Суд идёт, и время пахнет исками,
хоть в деле столько много белых пятен.
Ветвь лавра увядает в клюве голубя,
сидящего на пепельном карнизе,
но дети, короля увидев голого,
его и пририсуют к Моне Лизе.

* * *

Вот бидончик чёрной краски,
вот растрёпанная кисть —
всё заляпать маркой ваксой,
всё замазать сверху вниз,
хаотично, методично
или как пойдёт рука.
Хватит этих жалких птичек,
что, страшась грузовика,
разлетаются вдоль трассы,
хватит этих пантомим
в грудах тары из пластмассы
посреди раскисших зим...

Густо-густо. Климт был Густав,
но сусальным нет тонам —
чёрным-чёрным, чтоб уж пусто,
словно ночь без звёздных тайн.
Раз уж ничего не нужно,
раз уж музыка слаба,
заковать мазутной стужей
цвет, как вздорного раба.
Запереть в тисках квадрата —
без Малевича, а так,
будто кроешь битой картой
вновь проигранный пятак...

* * *

Как Гвидон в бульон из лебедя,
как козлёнок в молоко,
речь ныряет в омут лепета
до абсурда глубоко.
В четырёх стенах, что в коробе,
остывает пресный корж,
пока ходит тень по городу,
наточив укромный нож.

Воет долго, но безадресно
ветер в жестяной трубе
водостока, что свисается
с крыши, прислонясь к стене.
В этом есть немая исповедь,
скрытый вывих языка,
с чем продолжат перелистывать
воздух лапки паука.

Над пустующими парками
кроны прошлого плывут.
Здесь не то ещё варакали
листья, падая в траву.
Почернело там, где прочерком
прободная язва жгла
графы без имён и отчеств, но,
значит, в них и зрела мгла.

Перемешивают ложечкой
гущу сказанного вслух,
а вдоль блюдца бродят лошади —
прошлогодний рвут лопух.
Электронный адрес вынянчил
одинокий голос твой,
вот и будем, зенки выпучив,
ждать рассвета под водой...

Пётр Ротман

Истинное сияние чистого ума

Повесть

Много лет назад в Таиланде близлежащие к монастырю деревни устроили праздник. Звук из колонок был такой силы, что казалось, он сейчас разрушит весь покой нашего монастыря. Поэтому мы пожаловались нашему учителю, Аджану Чаа, что шум мешает нам медитировать. Великий учитель ответил: «Это не шум мешает вам, а вы мешаете шуму!

Аджан Брам. «Осознанность, блаженство и далее».

— А у тебя что, уже новый? Десятка?

— А, да, так получилось, там восьмерка... слушай, да у тебя тоже «Самсунг» твой, «Таб» или «Гэлэкси» там, тоже не слабый, я не очень в андроидах этих, ну, хорошие телефоны я знаю, но я же, как в 2007-м купил свой первый «Мак», так и стал мак-наци. Правда, что б там не говорили, а «Эппл», ну лучше у них всё, я с этим гребаным «Майкрософтом» натерпелся, а тут тебе никаких «программа допустила ошибку и будет закрыта», троянов всех этих, надежней всё, да и дизайн само собой. Девушка, меню, пожалуйста.

— Да, знаю я вас, маководов, яблодрочеров, всё у вас, понятно, лучшее, а реально, цены, ну просто пипец, ни в какие ворота, и косяки, плюс сама архитектура в айфоне этом, ни доступа к файловой системе, всё что вам «Эппл» подкинет, вы и хаваете.

— Да не, «Сири» — говно, гораздо хуже, чем «Гугл». Господи, вот о какой херне мы только не говорим! Вот раньше в универе, помнишь, на крыше на Владимирской бухали, какие были разговоры — и о Кьеркегоре, у тебя книга была дореволюционная, мы его еще Киркегаардом называли, и что такое «событие», «память», и не типа там «сколько у него гигов на борту?», а пытались разобраться, почему она так устроена, для чего по сто раз прокручиваются одни и те же мысли, к примеру... Chocolate brownie (с американским акцентом), пожалуйста, и американо. И стаканчик воды. А ты что будешь?

— Извините, шоколадного брауни сегодня нет.

Ротман Пётр Александрович — кандидат социологических наук, работает социологом в Высшей школе экономики. Родился в 1971 году в Ленинграде. Печатался в журналах «Новый Берег», «Звезда». В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— Ладненько, тогда клубничный чизкейк.

— К сожалению, его тоже нет.

— Ага. Окей, ничего страшного, сейчас я посмотрю. А шарлотка есть у вас?

— Есть.

— Замечательно. Значит, шарлотку и американо. Да, и стаканчик воды.

— А мне яблочный штрудель и капучино.

— Хорошо, спасибо за заказ.

— Сейчас, чё-то отвлекся. Чё я говорил? Да, вот, говорю, пытались разобраться, экзистенциальные всякие вопросы разбирали...

— Ну и что, разобрались? Тоже херней страдали, только другого рода.

— Да нет, не херней, интереснее жить было, свежее, всё анализировали, пытались понять, как дети. Сам процесс был интересен, а не результат — какая разница, что ничего не поняли, ни жизни, ни этого самого пресловутого «смысла жизни». Нет, и сейчас, слава Богу, не только о девайсах говорим, конечно, и про альбомы джазовые; ты вот театралом заделался, посоветовал мне «Губернатора» — мощная вещь, сцена с трупами там просто блеск, и голос закадровый, такой вроде как бы безразличный по контрасту с жестью, что там происходит.

— Ты, кстати, единственный из моих друзей оценил. Ну, конечно, купят на галерку билеты, оттуда не видно ни хера, а потом, типа, ну норм, Андрей, но я не понимаю, с чего ты там тащишься.

— Нет, я на первый ряд купил, все, как ты советовал. Ну вот, я все о своем. В общем, знаешь, жизнь как-то не радует. «Нет в жизни счастья». Вроде ведь сбылось все, о чем мечталось, так сказать, на студенческой скамье. Конференции во всех частях света, гранты, публикации. Помнишь, я в общаге, пьяный, еще любил Северянина читать, для прикола как бы, хотя никакой это не прикол был на самом деле, а мой гимн, только признаваться не хотелось, стеснялся — «ветропросвист экспрессов, крылолёт буеров» и заканчивал всегда «из Москвы в Нагасаки, из Нью-Йорка на Марс!», и залпом водяру ту паленую! Аxx, вспомнил, даже сейчас пробирает. Да вот хоть последний год взять, Йокогама (не Нагасаки, но ничем не хуже, я еще как доклад свой отчитал в первый день, повезло, что на первый день поставили, так отчитал и забил на всю эту конференцию и рванул в Киото, там такие храмы, преступление не посмотреть, а конференции эти, что я там не видал?), так вот, Йокогама, Сан-Диего, Бангкок, Амстердам, Цюрих, Мельбурн, Дели, да еще и Новый год в Камбодже, майские во Фландрии, отпуск — взяли машину и по маленьким городкам Тосканы. Да, конечно, забыл, и Нью-Йорк мой любимый, там мы по проекту встречались, в сентябре три недели жил на Korea way, маленькая такая улочка рядом с Таймс-Сквер. И при этом синекура в одном из лучших российских университетов — «интересная работа, дружный коллектив, гибкий график, достойная оплата труда». А если серьезно, то действительно, ведь не только в буржуазной успешности дело, правда, люблю я свою работу, и удалось кой-чё сделать за эти годы, люди в моей области по всему миру меня знают, уважают. Я там в редсоветах нескольких крупных международных журналов, в членах жюри всяких. На днях Ленку встретил с нашего курса, помнишь, такая худенькая была, а джинсы широкие были «Пирамида», смешно смотрелась, их тогда откуда-то завезли на всю страну, в кооперативах продавались. Дорогие были, кстати. Звонкий еще мутил с ней. Бегает сейчас по парам в двух каких-то непонятных конторах по печати дипломов, да еще и репетиторствует. И деньги смешные. Заскочили кофе выпить, поболтали, она и говорит: «Мне бы вот хоть год пожить твоей жизнью, все бы отдала!» А я даже, чтобы как-то она не чувствовала себя совсем уж полным

лузером и чтоб не выглядело это совсем уж бесстыдным хвастовством, половину рассказал только. Но врать, что и у меня вот так же, как у нее, тоже не хотелось. А все равно, когда это рассказываешь, *это не может не выглядеть* хвастовством, понтами. С таким контентом все равно получится выпендреж, либо наглый и беззастенчивый, либо какая-то показная онегинщина. Я вот перечисляю сейчас тебе все это, излагаю, так сказать, свою жизнь и сам себе не верю, «нет, ну это же сказка просто, а не жизнь, как это может не радовать, что за пижонство, позерство?» А вот может. В полном соответствии с законами биологии. Толерантность. Привыкаешь. И все становится само собой разумеющимся. Как те в том исследовании, что выиграли в лотерею десятки миллионов, и всплеска радости и счастья примерно на год хватило. Доза должна расти. Я помню, мою первую статью взяли в сборник хороший, в Лондоне выходила книга, я три дня толком ни спать не мог, ни дома усидеть. Все бродил и бродил по Петербургу кругами — Фонтанка, Грибоедова, Мойка, Фонтанка, Грибоедова, Мойка — тройка, семерка, туз — прямо помешательство, был такой кайф, просто не успокоиться. А сейчас статья выходит в десять раз более престижном журнале и, нет, конечно, есть и радость, и удовлетворение, но все равно, типа, ну да, норм. Теперь понимаю, что даже если б самим Вебером или Дюркгеймом стал, то все равно и к этому бы привык. Что, они жили, постоянно купаясь в славе и наслаждаясь жизнью? Или Эйнштейн там? Шарлотка, кстати, черствовата. Ладно, ничего, какая есть. Ешь что дают, как мне мама в детстве говорила.

— Зажрался ты, брат. Можно ведь и так сказать, без всякой биологии.

— Да, зажрался! Сам понимаю. Но понимание ничего не дает, вот в чем дело! Я только относительно недавно это понял. Хотя и не так уж недавно... к сожалению, достаточно давно, на самом деле. Я раньше думал, что можно что-то понять и это что-то изменит. Вот, раз ты понял, ты же не дурак, чтобы наступать на те же грабли, тем более по сто раз. Это все от греков, Платон, Аристотель, западная наша традиция — рацио. Вот и сейчас, да, допустим, можно сказать — зажрался, можно пытаться объяснить это эволюционными механизмами, но толку-то. Легче от этого не будет, можно сколько угодно повторять про себя, что есть дети Африки, есть просто куча народу, кому тяжело, есть куча народа, которые завидуют твоей жизни, — никакого эффекта, я пробовал. И со всем остальным тоже так. Я вот знаю, что меня постоянно все бесит, отравляет жизнь, особенно в ресторанах, кафе, гостиницах. То гарнир холодный, то номер на первом этаже рядом с лифтом, то счет долго не несут, то не так, это не так. И еще вот особенно напрягает, что и отели, и рестораны, и кафе эти — они типа хорошие, я за это вообще-то нехилые бабки плачу. Вроде я ведь не требую, чтобы все было идеально, мне кажется, мне просто надо, чтоб было нормально. Мне не нужен номер с видом на море, но хотя бы чтобы я не слышал, как там соседи трахаются, как будто это у меня в комнате. В Лондоне, когда я в Лондонскую школу экономики ездил на конфу, меня поселили, нет, ну реально вроде отель три звезды, платил не помню, но, по-моему, фунтов сто двадцать в сутки, но там из картона, такое чувство, стены были сделаны. Я — на рисепшн, прошу сменить номер. Мне дали на первом этаже. Оказалось, рядом кухня, они начинают жарить этот чертов бекон часов в шесть утра, я весь нахер пропах этим беконом, неудобно даже на конфе было, будто я только что от своего стенда с хот-догами отошел — типа решил подработать гастарбайтером,— фром хангри Раша — это еще в девяностые было, спать тоже невозможно, в комнате дым стоит. Инглиш брекфаст, блин. Я опять на рисепшн, прошу куда угодно, только не рядом с кухней. Ну, вернули назад. Но мне уж похер было на звуки. Вот. Так и жил в этом траходроме. И таких примеров... И я вроде понял, что

мир не будет соответствовать моим даже самым, кажется, скромным и легитимным запросам, даже за большие, по среднеклассовым меркам, деньги. Да, на самом деле, и за громадные деньги. Билли Роуз, такой миллионер был, я у Сола Беллоу про него читал, его вечно все бесило, а он во всяких «Рицах» останавливался. Или недавно фильм смотрел про этого, который гигантскую пирамиду финансовую построил, как его? — Мэддоу, нет Мэддоу — это ведущая с MSNBC, а вспомнил — Мэдофф! Закрыли его лет на сто, как у них принято в Америке. Де Ниро его играет. Там в фильме не про это, но сочно персонаж прорисован. Омары не так ему подали. И все такое. Я думаю, прямо как про меня. Короче, я вот это все понял лет, ну не знаю, ну не меньше десяти как. И что, помогает? Да практически нет. Иду в ресторан, говорю себе, вот не буду злиться, вот пусть еду хоть какую принесут. И я не скажу: каждый раз, но часто, слишком часто все равно какая-нибудь хрень случается. И я либо скандал устраиваю, либо начинаю ныть, жаловаться, порчу собеседнику аппетит. И сам, естественно, несчастней всех от этого. То есть я все понимаю и продолжаю наступать и сто, и тысячу раз на те же грабли.

— Что, шарлотка черствовата? — немного насмешливо спросил собеседник.

— Да ничего, норм. Держусь, как видишь.

— Но раз понимание ничего не дает, то и понимание, что понимание ничего не дает, тоже ничего не дает, разве не так?

— Ага, и понимание, что понимание, что понимание. Давай, остри! Я вот раньше любил такой суходрочкой заниматься в стиле Бертрана Рассела. Нахер всяких Витгенштейнов с их языковыми играми. И Кьеркегора туда же. Да и всю западную философию! Я вот в последнее время, знаешь, буддизмом увлекся. Без всякой религии, без переселения душ там, а просто медитациями, осознанностью в моменте. Сейчас куча исследований про это, что все это реально работает, без всякой мистики. Кстати, там тоже говорится, что понимание мало что дает, нужны практики, чем больше, тем лучше, конечно, но не обязательно становиться буддистским монахом, чтобы получить эффект.

— То есть практика — критерий истины, — сострил собеседник.

Игорь поморщился, но проглотил пилюлю и продолжал.

— А эффект, ну, все банально довольно и, может, затасканно звучит — в принятии этого мира с его несовершенством, в меньшей злости, раздражительности, ну, и в большей осознанности — своих поступков и, да, очень важно как раз — в свежести восприятия, в получении радости от привычных вещей, я про это как раз говорил. То есть в победе над толерантностью. Ну не полной, конечно. Но я читал пару книжек, и не шарлатанских, одну принстонский профессор психологии написал — «Why Buddhism is True» называется, в общем, как я понял, тем, кто уделяет этому достаточное время, то есть, конечно, это работы определенной требует, все равно, понятно, это удается. И главное, ну для меня, по крайней мере, верить ни во что не надо, просто медитируй и все. И будет результат. Я медитировал по двадцать минут по утрам какое-то время, там просто нужно концентрировать внимание на дыхании, даже что-то такое почувствовал, но потом забил как-то. А сейчас, чувствую, все — не могу, ну очень тяжело что-то стало, и тут как раз пост чей-то попался в фейсбуке, что без курса интенсивной медитации все это — хрень, пустая трата времени. В общем, хочу на ретрит поехать сейчас в монастырь в Северный Таиланд, там очень давняя и богатая традиция у них, в лесных монастырях. Плюс бесплатно, то есть только донаты. Ну, это тоже значит для меня много, что — не развод, раз бабки не надо платить. В общем, — рассмеялся он, чтобы то, что он говорит, не выглядело слишком

пафосным, — хочу набраться spirituality, наше русское слово «духовность» так сильно скомпрометировано и совком, и этими всякими православнутыми. Может, и правда, стану более счастливым. А может, какие-нибудь откровения будут во время ретрита, я тоже о таком читал. Life-changing experience. Посмотрим. Девушка, счет, пожалуйста.

— Не знаю, Игорь, послушал я тебя, а все равно, хоть ты вроде и «складно звонишь» (на этом месте оба приятеля дружно рассмеялись, вспомнив «Горбатого» из «Места встречи»), ты постоянно, сколько я тебя знаю, да больше двадцати лет уже, что-нибудь придумываешь, то Кьеркегор у тебя был, потом Кастанеда, теперь вот буддизм, а все равно смешно становится, когда ты про все это говоришь (по мне без разницы, что духовность, что spirituality), постоянно при этом бегая с новыми айфонами, «Лонжинами» своими швейцарскими, весь в «Хьюго Боссе». Не обижайся, но, как говорится, «не верю».

Игорь хотел сказать, что, мол, «а что еще остается?», но понял, как выйдет это пошло и затасканно, и в ответ просто вздохнул и произнес: «Ну и не верь».

— Пожалуйста, счет. Только извините, у нас сегодня связь с банком не работает, мы карты сегодня не принимаем.

— Как не принимаете? А как я платить буду? У меня кэша вообще с собой нет! Мне что, банкомат идти искать? И вы сейчас только об этом сказали! Вначале нельзя было предупредить, мы б ушли? Сначала у них брауни нет, а я за этим чертовым брауни только сюда и хожу. Чизкейка тоже. Шарлотка вчерашняя. Но я все терпел, крепился. И вот после этого всего я еще и расплатиться не могу?! Нет, это уже ни в какие ворота не лезет! Господи, и нахера только мы сюда пришли!

* * *

К выбору ретрита Игорь привычно подошел как к выбору нового девайса. Только там было соотношение цена/качество, а здесь — потенциальная сила эффекта ретрита за единицу времени, хотя вроде бы сама идея ретрита и заключалась в том, чтобы бороться с этой потребительской требовательностью. Пока он читал рецензии на монастыри на «Трип адвайзере», его периодически накрывали знакомые волны возмущения — тому не нравится, что в монастыре Икс днем часто работает отбойный молоток: «Все прямо должны замереть, раз ты сюда приехал», — кипел Игорь. «Им еще предстоит долгий путь до гендерного равенства», — негодовала какая-то шведка по поводу того, что на второй этаж библиотеки в монастыре Игрек запрещено подниматься женщинам. «Господи, — продолжал кипеть Игорь, — вот уж буквально в чужой монастырь со своим уставом, у них же традиция больше двух тысяч лет, все вам надо, чтобы было по вашим лекалам, ну не нравится, образуйте свою "Буддистскую Традицию Гендерного Равенства", кто вам мешает? Соберите своих трех человек и медитируйте на здоровье, нет, вам нужно взять древнюю богатую традицию с кучей храмов, монастырей, монахов и последователей и переделать ее на свой лад». Англичанин, сухим вытянутым лицом похожий на Бертрана Рассела, полагал, что монастырь Зет не подходит для медитации потому, что там сильно стрекочут цикады. Тут Игорю стало даже смешно. «Нет, ну ладно еще отбойный молоток, а цикады, это ж вообще, ну а как сам Будда медитировал, что, в его времена не было цикад?»

Раздражение, которое чувствовал Игорь, было смешано с досадой и даже неловкостью, будто он рассматривал хорошо нарисованные злые карикатуры на самого себя — например, его, несколько гулей нос здесь был превращен в совсем громадную и безобразную картофелину. Да и были ли это карикатуры?

Впрочем, большинство отзывов звучало одобрительно, многие даже восторженно.

«Колоссальный духовный опыт», «это навсегда изменило мою жизнь», «за две недели здесь я понял больше, чем за всю свою жизнь», «life changing experience». Правда, все в один голос писали, насколько трудно выдержать двухнедельный курс медитации «Випассана» — «прозрение» в переводе с древнего языка пали, родственного санскриту, на котором впервые было записано Учение Будды — Дхамма. Говорить ни с кем нельзя, только несколько минут в день с учителем и монашками, помогающими с обустройством. Подъем по гонгу в 4 утра. Завтрак в 6.30. Обед, он же и ужин, в 10.30. После этого нельзя есть до следующего дня. Правда, можно выпить йогурт в пять вечера. Судя по отзывам, народ валил оттуда пачками, рецензенты по этому поводу сокрушались — вот, мол, не дали себе шанса глубже осознать, понять себя. Игорь читал правила и распорядок дня, и ему было одновременно и страшновато, и в то же время захватывал азарт — выдержу-не выдержу. Было еще и чувство предвкушения: вот, все — по-взрослому, две недели поживу как настоящий буддийский монах, бок о бок с ними. Это тебе не двадцатиминутная медитация из пособий на подушке в спальне. Наконец трудный выбор между двумя финалистами был сделан — Игоря прельстило наличие древней ступы у победителя конкурса.

Игорь немного почитал про историю монастыря в Википедии. Заложен он был в тринадцатом веке королем Северного царства, чтобы отмолить совершенное им братоубийство. По-видимому, законы основания храмов и монастырей универсальны, подумалось Игорю.

* * *

Монастырь располагался между двумя горами, поросшими густым диким волосом джунглей. Из-за многократных нашествий бирманских орд, тоже буддистов, причем той же традиции, что, однако, не остановило их порыва к разрушению своих же, вроде, святынь; из старой архитектуры в монастыре осталась только ступа. Она высилась розоватым, изъеденным конусом из каменных сужающихся колец, насаженных на невидимый стержень. В каждом из колец по кругу были сделаны маленькие портальчики, внутри которых виднелись статуэтки будд разной степени сохранности. У кого-то был отбит нос, кто-то — без головы, от некоторых осталось только каменное основание из сплетенных ног, некоторые ниши зияли пустой чернотой. Будды, Будды, Будды, никаких других святых или богов тут не было, хотя в буддизме их наберется целый пантеон. Все остальное — новодел, хотя и непонятно, когда построенный. Впрочем, новодел этот был прекрасен — вздымались деревянные черные двухступенчатые гребни крыш на манер китайских пагод, только здесь храмы были низкими и длинными, и не такими многослойными. Спереди крыши были оторочены золочеными досками с золотыми завитками, слепившими глаз. Сами храмы были из темного, просмоленного дерева, покрытого лаком. Каждый вход охранялся длинными изогнутыми нагами — змеями со страшными драконьими и совершенно *незмеиными* мордами, но с коварными, готовыми ужалить языками. Рядом с храмами стояли исполинские сказочные деревья — баньяны с широченными ветвистыми корнями. Из дальнего храма слышалось низкое пение монахов. Где-то рядом длинными очередями тарахтел обещанный отбойный молоток. Время от времени деловито сновали одетые в охровые одеяния монахи с головами разной степени выбритости. Были и паломники, желающие на время приобщиться к монашескому образу жизни. Своими белыми одеждами они напоминали мулл.

Игорь, тоже уже облаченный в белое, сидел на темно-синем матике в офисе для приема иностранных паломников вместе с двумя десятками таких же туристов из

западных стран — они уже гордо могли именовать себя йогинами — и слушал молоденькую и хорошенькую послушницу Йинг, которая проводила «ориентацию», то есть рассказывала о монастырских правилах. Устав Игорь знал из отзывов на сайте монастыря: не убивать живых существ, не говорить между собой, не заниматься сексом, не заходить на сторону монастыря, предназначенную для противоположного пола, и тому подобное. Раздали таймеры, чтобы по ним отсчитывать время для медитации. По-английски Йинг говорила бойко, но с сильным акцентом, ей не давались некоторые звуки и их комбинаци, так вместо «аск» (ask), она говорила «ак», но Игорь понимал ее довольно хорошо. Йинг показала, как нужно сидеть — были две позы: одна — что-то вроде «смирно» (ноги крест накрест или на коленях для торжественных частей церемоний и медитаций), и поза «вольно» — обе ноги подвернуты в сторону и нагрузка приходится только на одно бедро, а остальные части ног отдыхают. Исподтишка оглядывая соседей — пялиться тут было не принято, — Игорь с изумлением встретился глазами с Ленкой, однокурсницей, с которой пил кофе с месяц до этого. Только Ленка здесь была снова молодая, примерно как курсе на третьем, да еще и покрасивше — видно было, что при реинкарнации буддийские боги провели пластическую хирургию экстракласса: нос сделали потоньше и поизящней и немного поднадули тонковатые Ленкины губы, но главное, глаза — зеркало души — они оставили нетронутыми; Ленкины темно-карие глаза, со зрачками настолько черными и пронзительными, что невольно буравили тебя карандашным грифелем, что бы Ленка ни говорила, остались совершенно теми же. Господи, подумал Игорь, как же Ленка вселилась в эту девицу, еще не умерев? Он не сразу поверил, когда на вопрос монашки, откуда кто, выяснилось, что девица из Аргентины. Трудно было не считать ее Ленкой. Надо ж куда ее занесло, невольно вертелась мысль каждый раз, когда он по-хулигански, исподлобья, бросал в ее сторону быстрый взгляд. «Ну вот, ты ж хотела пожить моей жизнью, вот и поживи. В монастыре».

Пошли по монастырю. Игорь старался смотреть в пол, но невольно косил глазами при виде хорошеньких тайских паломниц. При встрече с монахами полагалось кланяться — Игорь старался, но выходило не очень; желая сделать поклон поглубже, он невольно приседал головой, вжимая ее в плечи, поэтому не получалось даже обычного приветливого кивка.

— Тут мужская зона, тут женская, — слышался таратористый тайглиш Йинг, она оказалась очень шустрая — впереди мельтешили ноги, словно два смугленьких молоточка, так что Игорь едва поспевал, — здесь кухня, — виднелся ряд металлических раковин и огромных тазов для мытья посуды.

Игорь увидел довольно крупную надпись на английском на облепленном бумажками стенде рядом с кухней: This world offers no shelter. There is no one in charge[1]. Вот лавчонка, в которой можно купить всякие мелочи — йогурты, воду и даже, вот приятный сюрприз, — кофе (Игорь никак не ожидал такой вольности от монахов). А вот и та самая злосчастная библиотека — необыкновенное по изяществу и красоте белое здание с трехступенчатой крышей с розовой изнанкой, с балкончиком, мраморными ступеньками и, конечно же, нагами, покрытыми разноцветной блестящей чешуей из стеклянных камешков. Действительно, верхний этаж только для мужчин. Игорь посмотрел на европейцев, ища какие-нибудь знаки осуждения, но ничего не обнаружил.

[1] В этом мире нет убежища. В нем нет командира.

После ориентации была встреча с учителем — аджаном. Он был молодой, лет двадцати семи, и обладал удивительной способностью при желании обращаться в камень. Несмотря на детские юго-восточные черты, было в его лице что-то монгольское, непреклонное. Концентрировать внимание нужно было на животе, следя, как он поднимается и опускается вместе с дыханием. Когда Игорь узнал об этом, в нем всколыхнулось привычное потребительское негодование — почему на сайте ретрита не предупредили?! — ведь в тех пособиях по медитации, что он читал, везде писали, что концентрировать внимание нужно на носу, и у него уже даже кое-что начало получаться. Внутри жгла мысль, что он (опять, в который раз) сделал неверный выбор — надо было узнать, какие техники где используются, прежде чем определяться с ретритом. Господи, сколько же каждый раз возникает параметров, разве за всеми углядишь? Но Игорь кое-как успокоил себя тем, что расспросит об этом аджана; к тому же, подумал Игорь, успею я еще добраться до ретритов с обычной техникой, а тут своя школа, уникальный экспириенс. Как-то же они здесь просветляются и с животом. Про буддизм и про смысл происходящего аджан не рассказал, как и предупреждали в рецензиях, но Игоря это нимало не беспокоило — всю матчасть он уже и сам до этого хорошо освоил.

Группа нестройными кучками пошла в небольшой павильон, где должна была состояться Церемония Открытия, то есть принятие девяти монашеских заповедей на время пребывания в монастыре. У монахов было всего пять заповедей, главное отличие состояло в двух — не есть твердую пищу после полудня и не заниматься сексом (даже с самим собой, как понял Игорь, хотя прямо об этом не говорилось). Мирянам же возбранялось лишь практиковать «неправильное сексуальное поведение», что бы под этим ни понимали те, кто писал кодекс.

На возвышении сидел главный аджан, настоятель монастыря, в очках с толстой оправой, с очень широкими бровями. Вид у аджана был насупленный, даже слегка обиженный; он сидел, ни на кого не глядя, погрузившись во что-то свое. Голова его была покрыта мелким и поредевшим седоватым ежиком. Справа от него располагался буддистский алтарь метра в полтора с большой сверкающей золотом статуей Будды и многочисленными позолоченными статуэтками будд в разных позах — на каждый день недели — по всему алтарю, с вкрапленными повсюду свечами и чашами с цветками лотоса. Пахло благовониями. Живые элементы алтаря — цветки лотоса — так органично сочетались с неживыми — чашами, статуэтками, свечами, и вдобавок, колеблющиеся огоньки свечей и игра отражений придавали этому всему какое-то внутреннее движение, что создавало полное впечатление, будто алтарь — живет какой-то своей жизнью.

Слева, примерно на метр ближе к группе, боком к учителю сидел на коленях молодой аджан со сложенными лодочкой ладонями на груди. Голова у него была гладко выбрита и блестела от алтарных отсветов. Каждый по очереди подходил к алтарю с медной чашей в руках, в которой белели влажно-нежные цветки лотоса, становился на колени, делал три поклона Тройной Драгоценности: Будде, Дхамме — учению и Сангхе — общине, а затем застывал с протянутой к учителю чашей. Насупленный учитель, все так же ни на кого не глядя, с начальственным хмурым недовольством, будто выговаривая кому-то, а не давая благословение, с минуту тихо бормотал на пали. Потом молодой учитель делал знак, нужно было поднять чашу ко лбу, дотронуться до него и сделать подношение — поставить чашу на алтарь, а затем перебирать коленями назад — поворачиваться к Будде ступнями — большой грех.

Потом все, кроме молодого аджана, сели в позу «вольно» и началась неформальная часть. А тот, прикрыв глаза и уже окончательно окаменев, так и продолжал стоять на коленях с выражением смирения, сквозь которое, однако, проступала его монгольская непреклонность, будто преклонялся он не перед учителем, а перед неизбежностью самого порядка вещей. Лицо у него было совершенно восковое и неподвижное, как из Музея мадам Тюссо. Шумел вентилятор. Было жарко. Игорю казалось, что с молодого аджана сейчас начнет капать воск и даже, может быть, весь аджан оплавится и стечет, но что точно останется, так это тот невидимый стержень, что был в нем, что составлял его суть, его непреклонность. Может, это будет просто белый сверкающий столб.

А старший учитель неожиданно сделался мягким и ласковым — расступились насупленные брови, словно сильным быстрым ветром разогнало облака и внезапно проступило и согрело солнце. Даже широченные его брови стали как будто тоньше, деликатней. Он говорил про то, как важно быть в моменте «здесь и сейчас», осознавать в нем себя, свое тело, свои мысли, чувства; осознанность необходима не только во время формальных медитаций, но и в каждый момент здесь; медитацией может быть что угодно, любое действие, в котором присутствует осознанность — принятие пищи, прогулка, подметание двора — так, одна монашка достигла просветления, стирая белье. Медитация откроет доступ к вашей внутренней свободе и вы познаете, что такое независимость от внешнего мира. Время, что вы проведете здесь, — это школа независимости. С помощью медитации вы очищаете свой ум от мешающих чувств — злости, страха, привязанностей, а чистый ум приносит радость. Но если вы ощущаете мешающие чувства, не боритесь с ними, а просто наблюдайте за ними со стороны.

Учитель то делался серьезным, то расплывался в улыбке. Голос у него был мягкий и ласковый, с сильным акцентом, так что Игорь понимал далеко не все, ориентируясь по ключевым словам. Порой Игорь переставал вслушиваться в смысл и просто наслаждался звуками голоса учителя, словно журчанием воды, медленно наливаемой из кувшина. Иногда учитель шутил.

— Зачем вы здесь? — улыбаясь спрашивал он. — Ужина нет. Вечеринок нет. Мальчикам с девочками общаться нельзя.

Все в группе заулыбались, кто-то даже тихо рассмеялся. Только молодой аджан так ни разу и не дрогнул, а продолжал стоять статуей, словно Будда на алтаре, с закрытыми глазами и абсолютно непроницаемым лицом, будто его здесь не было, будто его вообще не касалось происходящее. Вот это выучка, не переставал восхищаться Игорь. Это было очень непривычно — в мире, откуда он приехал, когда начальник шутил, подчиненным нужно было, если не смеяться, то как минимум тактично улыбаться.

— Это хорошее место, чтобы скоротать пару недель, — продолжал переливаться голос учителя. — А можно и месяц. Или жизнь. А можно и парочку.

Молодой аджан был все так же недвижим.

И началась монастырская жизнь с неизменным боевым набором йогина — таймером, бутылкой воды и матиком для медитаций. Вдохновленный встречей с учителем, Игорь ощущал невероятный подъем и решимость погрузиться в медитацию. Мест для них было полно — Игорю хотелось медитировать и в храме возле ступы, и в библиотеке, и в дальнем храме с удивительной крышей из ярко-красного дерева. Игорь начал с деревянной галереи храма возле ступы — он представил, как классно будет ощущать босыми ногами гладкие каменные плитки нежного салатового цвета, которыми был выложен пол в галерее.

Двадцать минут ходячей медитации, пиканье таймера, затем двадцать минут сидячей, опять таймер, небольшой перерыв, можно сходить набрать воду из кулера, затем все по новой. Народу вокруг было много, отовсюду время от времени пикали таймеры. После каждого сеанса Игорь сразу же хватался за свой, чтобы поскорей его выключить и не мешать другим. Когда чей-то таймер все продолжал и продолжал пищать, Игорь чувствовал легкое покалывание в висках и думал, ну как же так, почему они не думают о других, это же так легко — просто нажать на кнопку. Конечно, он понимал, что это неправильно и даже досадовал на самого себя, но, увы, в полном соответствии с его убеждениями, что понимание ничего не дает, виски продолжали покалывать. Гудели вентиляторы. Рядом белые фигуры шагали, сидели и делали простирания — медленные поклоны, когда внимание сосредоточено на теле в движении. Иногда Игорь видел вышагивающую Ленку, она раскачивалась взад-вперед; высокая и тонкая, она походила на цаплю. Ленка высоко поднимала ногу и делала большой полукруг, крутя педаль невидимого велосипеда, после чего медленно опускала ступню, держала ее какое-то время на весу, затем касалась пола пальцами ноги, будто пробуя тоже незримую воду, а в конце ускоряла темп и шлепала всей ступней о плитку. Издалека раздавалось стройное пение монахов, их не было видно, они жили своей жизнью. Достижение состояния «здесь и сейчас» оказалось делом чрезвычайно трудным (это Игорь знал и по прошлому опыту медитаций дома, так что сюрпризом для него это не стало) — мысль постоянно улетала в какие-то дали. Игорь то заново переживал разные обиды, причем порой такие мелкие, что становилось даже стыдно за самого себя, за такое отсутствие широты души и благородства («Господи, сколько во мне всякого говна», — тяжело вздыхал Игорь), то, наоборот, вспоминал свои успехи, снова и снова прокручивая в памяти победные моменты, тоже, иногда довольно маленькие и не заслуживающие такого внимания, то просто соскальзывал во вневременные, параллельные пространства размышлений. Кроме того, и физически это было очень утомительным — уже через пару часов Игорь ужасно устал — ломило спину, огнем горели связки и суставы, в затекших ногах переливалась с места на место боль, а ноги, особенно ляжки, постоянно дрожали мелкой дрожью, будто налитые теплым бараньим жиром. Надо же, сколько, оказывается, в ногах мелких ненатренированных мышц. Через два часа начало дрожать лицо, стала прыгать челюсть, и Игорь почувствовал, что язык его, словно большая шершавая подушка, как будто набух, его некуда было девать, он постоянно мешал, и его нужно было все время куда-то перекладывать. Он никогда так явственно не ощущал свой рот, и эта острота ощущений ему была хоть и любопытна, но неприятна.

Иногда мягко всплывал синтетический ксилофонный звук, как на железнодорожном вокзале, и слышалось объявление на тайском. Это было очень забавно — старинный монастырь, и такой современный вокзальный звук — казалось, после него раздастся гулкий с эхом женский голос: поезд до станции Кирилловское отправляется в 18.15 со второй платформы, левая сторона.

Игорь ждал пяти часов как манны небесной, чтобы сделать длинный перерыв, к этому времени Йинг попросила подойти к офису. Наконец на его часах Apple Watch высветилась-таки заветная цифра, и Игорь встал и побрел к офису. Там всем раздали по маленькому картонному пакетику соевого молока. Игорю казалось, что ничего вкуснее он в жизни не пил. Сладковатый вкус молока мягко обволакивал шершавую подушку языка.

После перерыва Игорь вернулся к медитациям, перебазировавшись внутрь храма. И вдруг через час у него стало получаться. К тому моменту Игорь, что

называется, уже еле ноги волочил — он с трудом отрывал прямую, как ходуля, ногу и после короткого рывка, так что пятка лишь чуть-чуть приподнималась над землей, бросал ее вперед, шлепая плоской дрожащей ступней о деревянный пол. Сидячую медитацию приходилось делать, опираясь о стену храма, до того болела спина; в ней будто бы торчал накаленный докрасна железный стержень, прожигающий изнутри. Стержень этот был не твердый и непреклонный, как у аджана, а вихляющийся и норовящий согнуться дугой. Мир вокруг стал какой-то чужой, отстраненный, чего-то в нем не было. Внутри ничего не откликалось — не было ассоциаций, не было того, чтобы что-то нравилось, а что-то не нравилось, внешний мир превратился в простую совокупность сигналов, фиксировавшихся организмом.

— В НЕМ НЕТ МЕНЯ, — вдруг осознал Игорь.

Он устал, как бывало уставал в детстве, когда ходил за грибами. После многих часов поисков красных, белых, подберезовиков, груздей, сыроежек, сопровождавшихся восторгами, когда завидев кирпичную головку, он пробирался к нему дрожащими от нетерпения руками с ножиком сквозь нежно-зеленый мох, и горькими разочарованиями, если, перевернув срезанную ножку, он обнаруживал, будто наколотые тоненькой иголочкой, крошечные оспинки червоточин; Игорь совершенно изможденный плюхался на первый попавшийся пенек, понимая, что он забрел куда-то черт знает куда, в незнакомую чужую глушь, так что было страшно подумать, как он выберется отсюда, если бы для страха оставались силы. Игорь сидел и тупо смотрел на черные резиновые сапоги или на покрытую корками ржавчины сосну. Уже не радовала корзинка, полная грибов, он просто сидел и смотрел на эту сосну без всякой мысли, без всякого участия. Только тут было еще кое-что: Игорь устал от самого себя, от своих мыслей, своих обид, злости, раздражения. За весь день он пережевал их неисчислимое количество раз. А человеческого общения — самого сильного из возможных раздражителей — не поступало, в этом и заключался смысл обета молчания. И тут-то как раз пришло то состояние безучастного наблюдения, о котором он читал в книжках, только здесь он не тупо смотрел на сосну, а следил за своим дыханием и движениями.

«Вот для чего нужен такой интенсивный тренинг!» — пронзило Игоря. Нужно устать до такого изнеможения, когда сил на мысли не остается их хватает только на то, чтобы следить за дыханием или безучастно наблюдать подымающуюся и опускающуюся ногу. Он растворился в движениях живота сначала около пяти, потом десяти, потом пятнадцати дыханий подряд, ни разу не улетев мыслью. Правда, когда удалось сделать это раз двадцать, нахлынула радость и гордость за себя, а вместе с ними откуда-то вынырнул внутренний рассказчик и стал мешать, захотелось раструбить на весь свет о своем достижении — вот оно, наконец-то получилось, я понял, как это делается! Концентрация сразу пропала. Но Игорь снова сосредоточился и вернул внимание на живот, затыкая непрошенного хвастуна-рассказчика, и так они попеременно боролись за внимание...

Уже стемнело, когда Игорь, еле передвигая ноги, доплелся до своей пышущей жаром комнатки и включил вентилятор, черным лакированным шмелем сидевший вверху комнаты. Тот загудел и стал медленно ворочаться в разные стороны, обдавая Игоря спасительным ветерком. Комнатка была хоть и спартанская, но довольно уютная, с белыми чистыми стенами, так что согласие Игоря мириться с любыми трудностями здесь осталось невостребованным — зная свою слабость по части апартаментов, Игорь долго морально готовился к ретриту, рисуя в голове самые ужасные варианты и внутренне смиряясь с ними. Игорь медленно сел на койку и, тихо

охая, осторожно, будто разбирая части складного инструмента, разместил себя на кровати, отвернулся к стене и тут же заснул.

В четыре утра разбудил звук гонга, каждый удар протяжно гудел низким налитым басом, буммм, бумм, буммм. Как ни странно, несмотря на короткий пятичасовой сон, Игорь проснулся отдохнувшим и свежим и быстро трансформировал свое тело из лежачей формы в сидячую. Уродливый ярко-красный пластмассовый будильник огромных размеров, словно гордящийся своим безобразием и выставляющий его напоказ, не понадобился. Будильник этот напомнил ему пору студенческой молодости, он уже и забыл, когда в последний раз таким пользовался, настолько привык к телефону. Но телефон он сдал.

«Что ж, продолжим», — бодро подумал Игорь, к нему вернулся его вчерашний энтузиазм, усталости совершенно не чувствовалось, что тоже было странно, учитывая, как он вчера уработался. Настрой у Игоря был боевой, он готов был к новому трудовому дню во имя очищения ума и обретения внутренней свободы.

Игорь вышел в сырой сумрак утра. Было тепло. Птицы где-то вверху кричали громко и резко. Вдали светло-серые, окутанные туманом фигуры, кучками ныряли в подвальчик в библиотеке. Предстояла групповая молитва и медитация, потом опять — индивидуальная. По дороге в библиотеку Игорь прошел мимо высокой золоченой статуи Будды. Взглянув наверх, Игорь увидел, что Будда как будто бы даже улыбается, приветствуя его усилия на пути Просветления. Настроение было отличное. Даже какая-то птица без конца долдонила что-то очень похожее на «окей».

После медитации был завтрак. Когда Игорь, еле донеся тяжеленный поднос с едой, бухнул его на черный лакированный стол с ветвистыми ногами из толстых сучьев, он бы, конечно, с радостью тотчас же накинулся на тайские яства (еда здесь была великолепная, даже европейские рецензенты-придиры это признавали), но делать этого было нельзя. Сначала надо было прослушать благословение еды, которое через мегафон совершал заунывным голосом монах откуда-то издалека. Все сидели и терпеливо ждали. Благословение продолжалось минут двадцать. Возникла пауза. Игорь уже хотел схватить вилку и наброситься на Пад Крапу Моо Саап, но не тут-то было. Вступила монашка и старым неприятным голосом стала читать еще какую-то молитву. «Господи, конца и края этому нет», — сердился Игорь, он почувствовал себя Каштанкой, из которой на веревочке вытянули уже проглоченную колбасу. А монашка все продолжала вытягивать жилы, что-то тихо, по-стариковски, бормоча, то на пали, то на тайском. Возникали паузы, когда Игорь надеялся, что уже все, но она снова начинала свой бесконечный речитатив. В животе свербило. Игорь медленно втягивал в себя воздух и еще медленнее выдыхал его через нос, стараясь справиться со злостью. В какой-то момент, когда Игорь думал, что это — очередная пауза, тайцы вокруг начали есть, похоже, они все понимали. Игорь накинулся на еду. Еда была остывшая, но ему было не до того, он с жадностью глотал куски огненного от перца мяса, нейтрализуя его местным фиолетовым рисом, соленые и острые гороховые стручки. Игоря не поразило обилие мясных блюд, он уже читал, что хотя убийство любого живого существа грех, в Таиланде монахи беспрепятственно наслаждаются плодами чужих преступлений — едят мясо. В свое время это его удивило: будто монахи сами не воруют, но охотно пользуются краденым. Но, как он сам недавно отчитывал европейских зазнаек, в чужой монастырь...

Опять — удивительное дело — несмотря на то, что Игорь, стремясь наесться впрок, набил пузо тайскими деликатесами, тяжести в животе совершенно не чувствовалось. «Интересно, — продолжал удивляться Игорь, — что-то тут, правда,

такое есть, что привычные законы не работают — спал мало, а привычной ломоты от недосыпа в теле ни следа, накануне устал как собака, а проснулся абсолютно свежим, объелся за завтраком, а никакой тяжести».

После завтрака началась уборка территории рядом с их домиками. Весь пол был засыпан малюсенькими зелененькими листиками, так плотно прилипшими к поверхности, что их было трудно отодрать от каменных плит, и широкими изогнутыми листьями другого дерева, настолько жесткими, что, когда Игорь гнал их по плитам, раздавался неприятный царапающий звук, зато убирать их было легко. Игорю попалась плохая метелка — он чиркал и чиркал об пол редкими сухими прутьями какого-то плотного южного дерева, но зелененькие листочки намертво влипли в камень, будто приклеенные.

Игорь косился на других и не поспевал. Ему было ужасно неловко, ему казалось, что все только и думают о нем, об этом медлительном русском, который все возится и возится со своим маленьким участочком. Остальные уже сгребали листья в кучки, а Игорь все еще лихорадочными быстрыми движениями царапал взад-вперед редкими прутьями плитку — все никак не мог отодрать эту тонкую шелупонь, она застревала между плит, как еда между зубов. Белая одежда липла к телу, то и дело приходилось отрываться и стирать со лба пот. И вот подоспела подмога. Двое учеников, разделавшись со своим участком, пришли на помощь Игорю со своими первоклассными, плотными метлами. Игорь чувствовал к ним несказанную благодарность, он улыбался и раскланивался, как глухонемой. Во рту ворочалось и пыталось вырваться наружу громкое улыбчивое «thank you!», приходилось прямо-таки чуть ли не рот закрывать рукой, чтобы ничего не выскочило. В два счета все было убрано.

Проходя мимо офиса, Игорь увидел большой рюкзак. Ага, кто-то уже сваливает, подумал Игорь, и стало даже как-то радостно, хоть и немного неловко, что кто-то уже сдался, а вот он выдержал.

В этот день Игорь решил поискать место, где было бы поменьше народу — достали пикающие таймеры, постоянное мельтешение других людей вокруг, так что во время ходьбы постоянно нужно было следить, будто водителю, чтобы ни в кого не врезаться. И тут Игорь вспомнил про второй, запретный для женщин, этаж библиотеки.

Игорь быстрыми широкими шагами двинулся в сторону библиотеки, чувствуя, как при каждом взмахе ноги на колене натягивается ослепительно-белая брючина — солнце уже жарило вовсю. При каждом шаге Игорь наступал на свою съежившуюся южную тень. Ярко сиял на солнце золоченый Будда. Он улыбался. Из-за густой, темной зелени праздничными бело-розовыми пятнами проступала библиотека.

Оставив шлёпки у входа внизу, Игорь с сильным свистящим звуком втянув в себя воздух от боли, проскакал с пятки на носок по раскаленному мрамору к спасительной тени у дверей в библиотеку. Внутри несколько белых фигур медленно передвигались по выложенному плитками полу, вдоль стен чернело несколько тайских голов. Была и пара монахов в охровых одеяниях. Украдкой оглядев присутствующих, Игорь увидел трех иностранцев своего призыва — двух долговязых шатенок и маленького светлокудрого паренька. Ему стало неудобно, что он использует свою «мужскую привилегию» и идет на «сексистский» второй этаж; ни на кого не глядя, Игорь быстро проскользнул к лестнице наверх. Перила лестницы на второй, «мужской», этаж, тоже были в виде чешуйчатых, сделанных из блестящих камешков, нагов. Даже если демоны и прочая нечисть одолеют первых нагов и ворвутся в библиотеку, их должна остановить вторая линия обороны.

К радости Игоря наверху никого не было. Он решил осмотреться. Все тут было

какое-то чудное — к примеру, шкафы были не прямоугольные, а сужались кверху, как трапеции. Видно было, что шкафы — старинные: затертое темное дерево украшено слишком тонкой и подробной для наших дней резьбой. Книги в шкафах тоже были странные — ярко-желтого цвета, — судя по числу и одинаковости, какая-то энциклопедия. Удивительным было и то, что на канареечных корочках чернели не тайские буквы, а китайские иероглифы. В их ярком праздничном цвете напрочь отсутствовала внушительность Библии, Торы и вообще книг, посвященных основательным материям. Это было вызывающим — всем серьезным книгам полагалось быть черными, на худой конец, коричневыми, в любом случае тусклых неярких расцветок. И в довершение ко всему, они были еще и новенькими, какая уж тут солидность? Игорь вынул одну из книг, раскрыл — в нос ударил аромат типографии и раздался хруст свежеотпечатанной книги — и бегло пролистал. Струились сверху вниз столбцы китайских иероглифов. Надо же, выходит, и в Китае живут и творят мудрецы местной монастырской традиции. Да еще и шлют сюда свои размышления — по углам были разбросаны коробки с вездесущей надписью — «MADE IN CHINA». Или они тоже тут все аутсорсят в Китай, как и весь остальной мир?

На пол из темно-коричневого дерева со светлыми прожилками Игорь обратил особое внимание, ведь по нему шагать и шагать; проведя по дереву босой ногой, Игорь ощутил приятную гладкость.

В этот день концентрироваться получалось лучше — где-то через полтора часа Игорь повторил вчерашние успехи, а потом и превзошел их — тридцать, сорок дыханий подряд, ни разу не сбившись. И конечно же, пришлось опять бороться с внутренним хвастуном, норовившим рассказать чуть ли не всем знакомым о его достижениях. Как и вчера, все тело болело, ныло, ломило и затекало — правда, Игорь обнаружил связь: чем сильнее болело тело, тем ближе было освобождающее пиканье таймера; он следил за подымающимся и опускающимся животом, и где-то позади плыла мысль — «ничего, ничего, таймер близко».

А еще Игоря периодически тревожила мысль, правильно ли он все делает — что, если он следит за дыханием как-то не так, не на том месте живота концентрируется, и даже, когда получается, достаточно ли глубока его концентрация, а что, если он вообще идет не в ту степь и все его усилия напрасны? Но Игорь гнал от себя эту мысль — делаю, как делаю, надо принимать себя, сказано же — надо просто наблюдать, вот я и наблюдаю, сейчас как раз наблюдаю свою тревогу и опасения.

В три часа был report — ученики должны были обсуждать с учителем свой опыт медитации. Report происходил в том же павильоне, где вчера была Церемония Открытия. Настоятеля не было, и Игоря кольнуло в сердце — как всегда ему нужно было самое лучшее — если уж аджан, то непременно самый опытный и мудрый, всем аджанам аджан. Интересно, куда подевался тот старый, мелькнуло у него в голове, — что-то филонит, послал вместо себя молодого, он, конечно, крут, но все-таки такого опыта у него, разумеется, нет. Игорь привычно тяжело вздохнул.

Но хоть аджан был и молодой, важности ему было не занимать, он сидел высоко и надменно, как монгольский хан, весь обложенный какими-то темно-бордовыми атласными подушками. От былого смирения не осталось и следа, одна непреклонность. Казалось, он теперь наслаждается своим единоличным статусом Учителя. Лицо у него было не такое мертвенно-восковое, как накануне, в него впрыснули немного крови. Разговаривал аджан тоже свысока и даже как бы немного насмешливо, а заканчивал разговор тем, что опускал взгляд и обращался в камень. Это означало, что пора уходить. Каждый ученик сначала брал с круглого стола, стоявшего неподалеку от

входа, свой табель, где в одном столбце были проставлены дни, а в столбце рядом — количество часов, намедитированных учащимся в этот день (еще при поступлении заполняя анкету, Игорь узнал, что медитация тоже измеряется в часах, как налетанное время у летчиков, и, отметив кружочком цифру «1» — «от 0 до 200 часов», понял, что стоит, как сказал бы профессор Преображенский, «на самой низкой ступени человеческого развития»), подходил к коврику напротив алтаря, становился на колени и сначала делал три поклона Тройной Драгоценности: Будде, Дхамме и Сангхе, а затем, перебирая коленями по коврику, добирался до учителя. После поклона учителю начинался сам report. До Игоря доносились куски отчетов других учеников, и Игорь завидовал их успехам. То, что буддистские монахи способны на все, чуть ли не на остановку дыхания и левитацию, Игорь знал из популярного фольклора. А вот то, что кому-то из иностранцев, таким же новичкам, как и он, пусть и дней на десять больше находившимся в монастыре, удается медитировать по двенадцать часов в день по часу за каждый заход, казалось невероятным. «И как им это удается? — завидовал Игорь. — Как у них спина не отвалится, башка не лопнет от концентрации?» Иногда, а именно с девушками, довольно быстро заметил закономерность Игорь, аджан начинал говорить о буддистских понятиях, знакомых Игорю по книгам.

— Вам известна концепция non-self?[1] — спрашивал монах у девицы с роскошными каштановыми волосами, ниспадающими по белым одеждам.

Игорь не слышал ее ответа, очень уж тихо он прозвучал, но ужасно захотелось вытянуть вперед руку, как когда-то на лекции, и сказать: я, я знаю! Миниатюрная китаянка, чья очередь была перед Игорем, чрезвычайно прилежно отвесила поклоны Тройной Драгоценности и столь же прилежно, как хорошенькая маленькая ученица, склонила голову перед аджаном, застыв на несколько секунд, прежде чем поднять ее (во оно как — Восток, промелькнуло у Игоря в голове). Игорь следил за ее изящными движениями и не мог оторвать взгляда от ее тоненьких ножек с аккуратненькими выгнутыми пяточками, обращенными к нему. Аджан что-то тихо спросил, и маленькая китаянка еле слышно, как котеночек, пискнула в ответ «a little»[2]. По этой стандартной фразе Игорь понял, что аджан спросил ее, говорит ли она по-английски. «Немного?» — слегка передразнивая, переспросил аджан, и на его лице появилась снисходительная усмешка. Игорю это не понравилось. Правда, неприятное впечатление тут же было перекрыто восхищением, когда аджан бегло затараторил по-китайски. Наконец, очередь дошла до Игоря, и он смог задать свой долгожданный вопрос, почему здесь принято концентрироваться на животе, а не на носу, как советуют в книгах. И мельком обмолвился, что дома он уже медитировал, концентрируясь на носу, и даже достиг кое-каких успехов. Игорь втайне питал слабую (а такую ли уж слабую?) надежду, что он сейчас все объяснит и для него сделают исключение — ну, раз уж вы привыкли концентрироваться на носу, так уж ладно, продолжайте.

— На животе — концентрация глубже, — внимательно и твердо посмотрев на Игоря, ответил аджан. — Сколько часов медитировали вчера и по сколько минут?

— Семь часов по двадцать минут, — ответил Игорь.

— Делайте восемь. По двадцать пять минут.

Аджан, блеснув гладко выбритой головой, опустил взор и застыл. Разговор был окончен.

---

[1] Ан*а*тман (санскр., пали: Анатта; букв. «не-Я») — один из важнейших догматов буддизма, постулирующий отсутствие атмана — «Я», самости индивида или его души (Википедия).

[2] Немного.

Около шести, когда Игорь сидел, уже ничего не соображая от усталости, вентилятор опрокинул пустую бутылку для питьевой воды, загнал ее в угол и стал болтать туда-сюда, перекатывая по звонкому деревянному полу. Раньше Игорь бы непременно прервал медитацию, да все что угодно, и кинулся бы за бутылкой — она же своим шумом мешает другим практиковать! А тут вдруг, неожиданно для него самого, у него даже ничего не шевельнулось внутри, он даже не открыл глаз, чтобы посмотреть, что там, а все так же продолжал спокойно сидеть, только внимание сместилось с живота на бутылку; он сидел и внутренне следил за звуками ее движений; это было необыкновенно интересно — бутылка то громко стучала, то слабо шуршала, то на мгновение замирала, и тогда Игорь ощущал каждую секунду этого замирания... С необыкновенной ясностью перед глазами возникла картинка — он, Игорь, маленький, классе в третьем, стоит и смотрит, как на фонтане крутится и подпрыгивает мячик, это так завлекательно, что он не может оторваться, и вдруг откуда-то врезается мамин голос: Игорь, Игорек, я тебе кричу, кричу, и тут же картинка исчезла, ударила боль — мама, мама, где ты... А через несколько мгновений исчезла и боль, он опять то следил за своим дыханием, то слушал бутылку, и все так же — ничего, никакого позыва встать, что-то сделать, Игорь просто безучастно слушал бутылку, мешает она кому, нет, ему было совершенно все равно. И внезапно из неведомых глубин поднялась мысль: Я ПОЗВОЛЯЮ ВЕЩАМ БЫТЬ, и тут же: Я ПОЗВОЛЯЮ СЕБЕ БЫТЬ. И все его существо пронзила острая радость — вот оно, вот что означает быть свободным!

Когда вечером Игорь на нетвердых дрожащих ногах, внутренне охая, доковылял до лестницы со второго этажа библиотеки, он первым делом, по-стариковски, схватился за перила — нага и, начав спускаться, скользнул рукой по его шершавой, чешуйчатой поверхности. И тут же остолбенел. Ладонь его будто вся превратилась в сплошное нервное окончание, и ощущения от прикосновения к нагу были такими восхитительными, что у него по телу пошли мурашки, а его объяло какое-то бесконечно приятное томление. Вот это да! Игорь медленно и глубоко вдохнул и медленно же выдохнул воздух, чуть не замычав от наслаждения. Его охватило сильнейшее чувство благодарности к нагу, словно тот был живой. Он стоял и вновь и вновь водил ладонью по нему, чувствуя его каждой клеточкой ладони, он даже закрыл глаза, чтобы отсечь лишние сигналы и сильнее сосредоточиться на ощущении. Блин, это все работает! Это — не просто книги, не просто обещания, всего второй день — и такие ощущения, такой кайф! Когда волна наслаждения немного схлынула, Игорь продолжил спуск, скользя ладонью по волшебному, дарящему негу, нагу. Спустившись, он еще какое-то время гладил его, а потом, окрыленный, побрел к своему домику. В деревянном ярко освещенном храме, расположенном рядом с темной громадой утратившей праздничные краски библиотеки, он увидел монахов, они повылезали, как мотыльки на фонарный свет: кто-то из них медленно шагал, высоко поднимая ноги, кто-то сидел неподвижным темным силуэтом внутри галереи. В ночной теплой тьме звенели цикады, беспрерывно квакали древесные лягушки, было шумно. Игорь поднял взгляд на желтеющего в искусственном свете Будду и испытывал такое чувство благодарности, что у него аж перехватило дыхание. Будда улыбался в ответ отзывчивой, все понимающей улыбкой.

Игорь уже четвертый день находился в монастыре. Как всегда, несмотря на пятичасовой сон, он встал свежим и отдохнувшим. Режим в монастыре казался ему даже не идеальным, а просто-таки единственно правильным. Когда и вставать, как не

в четыре утра? И зачем есть после десяти тридцати? Ну, разве выпить соевого молока ближе к вечеру, и хватит. Многие монахи активно догонялись по вечерам всякими сиропами, колой и прочими жидкими калориями, чтобы обойти запрет на принятие твердой пищи после полудня, но Игоря нисколько не мучил голод, которого он так опасался в первые дни, — все его совершенно устраивало. Восемь ноль-ноль, а столько уже всего сделано! Проделаны все утренние обряды — это раз, произошло принятие вкусной и здоровой пищи за завтраком — это два, постирана и развешена смена белых одежд — это три, ну и, конечно, самое важное — можно записать себе в план-график налёточасов два часа хорошей, качественной медитации. Обо всем этом, сытый и довольной, рассуждал Игорь, когда они после завтрака в белых рубашках навыпуск — ни дать ни взять — Левины на сенокосе, дружно махали метлами. Никто не издавал ни звука, но люди кланялись, приветствуя друг друга, кивками давали понять, какой участок они собираются убрать, или просто улыбались, и все это создавало атмосферу незримой и таинственной солидарности и единения. Где-то рядом, наблюдая за этим и одобряя, громкая южная птица с преувеличенным надрывом беспрерывно кричала, что все — о'кей. Игорь, как всегда, не поспевал за другими, но чувствовал не стыд, а какое-то уверенное и безразличное спокойствие. Неторопливым размашистым движением он махнул метлой по плитке, гоня листья в сторону образовавшейся, уже довольно приличной кучки, и вдруг услышал голос внутри себя: «Да куда ты торопишься? Помнишь, главный аджан рассказывал, как одна монашка достигла просветления, стирая белье? Будь в моменте. Здесь и сейчас, бро, здесь и сейчас, расслабься, куда спешить? Ну не уберешь ты эти листья вовремя, и шо? Ну уберешь потом, не в этой, так в следующей жизни. Или через жизнь. Или через парочку», — звучал у Игоря голос в голове, слегка пародировавший расслабленную южную ленцу. В голосе слышалась спокойная уверенность шарлатана, которой у Игоря никогда не было.

— Ну ты даешь, — ответил Игорь неизвестно откуда взявшемуся голосу, — как ты гладко все рассказываешь, уже можно в Питере школу какую-нибудь открывать, что-нибудь типа «Радость чистого ума», людей разводить, сидеть в белых одеждах и рассказывать про «здесь и сейчас» и прелести незамутненного восприятия.

С таймером на шее, с матиком под мышкой и с бутылкой воды в руке Игорь шел в родную уже библиотеку, как всегда наступая на крохотную головку собственной тени. «Я иду по головам», — подумал Игорь и рассмеялся полным, радостным смехом своей не слишком остроумной шутке — Игорь знал это, но было пофиг. В нежно-голубом небе тяжелыми белыми валунами развалились облака. Рядом крошечным крахмальным платочком пропорхнула бабочка. Жара была в самом разгаре, одежда липла к телу, и Игорь вдруг подумал, что за все это время он не только ни разу не страдал от жары, но даже о ней и не вспомнил. То ли потому, что здесь нигде не было термометра, а может, просто потому, что здесь никто не жаловался и некому было жаловаться. Подул легкий ветерок, щекоча листья деревьев, отчего те пошли волнами мелкой ряби, и внизу широкая брючина — почти клеш — тронула голень, и это прикосновение было удивительно приятным. Игорь остановился и услышал, как булькнула вода в бутылке. Звук бульканья был необычен и интересен. Игорь взмахнул бутылкой. И опять — такой яркий и совершенно новый звук. Игорь будто впервые в жизни услышал, как булькает вода. Он посмотрел на бутылку и увидел, как внутри нее играют солнечные зайчики. «Хочу еще!» — потребовал Игорь и снова зашагал к библиотеке, болтая бутылкой, глядя на игру солнечных зайчиков и слушая причудливые звуки, спрятанные в ней. Он уже не был, как вчера, охвачен восторгом новизны, а

просто шел и смотрел, и слушал. Он опять, как в ту секунду с фонтаном, ощущал себя ребенком, которому все интересно. На душе было чисто и радостно.

В библиотеке с места в карьер Игорь сразу включил всю свою концентрацию; теперь, когда он видел реальные результаты медитации, ему хотелось идти все дальше и дальше. Он шел будто сквозь джунгли, безжалостно отсекая все мысли, как лианы вокруг, и випассана была его мачете. Это было тяжело — прорубать себе путь через джунгли. Но Игорь справлялся. Только на горизонте появлялась какая-нибудь мысль, как тут же Игорь слышал голос внутри, но не тот южный, расслабленный, а другой — молодой, четкий и резкий, — он звучал командно и громко, загоняя под лавку еще не окрепшую мысль, а заодно затыкая краснобая-рассказчика. Игорь следил, как его живот движется вверх-вниз, а все мысли-мыши сидели по углам и пикнуть не смели, пока какая-нибудь из них опять не пыталась высунуть нос, и тогда Игорь снова слышал резкий, немного сердитый голос: «Потом!», и вновь уходил в дыхание.

И вот — победа! Все сорок пять минут, отмеренные таймером, прошли, а Игорь ни разу не сбился. И все-таки что-то внутри не выдержало, выплеснулось. Как только запикал таймер, рассказчик-хвастун, до поры до времени сидевший поджавши хвост, вскочил, и Игорь понял, что лучше дать говоруну высказаться — уж больно долго, бедняга, молчал, ерзал, маясь с кляпом во рту, не в силах трубить на весь мир о достигнутых успехах. Все равно не успокоится и будет мешать во время следующего сеанса. Да разве и по силам Игорю было его сдержать, когда покорена такая высота? Игорь схватил ручку и торопливо дрожащей рукой записал, одновременно с радостью и страхом, — а вдруг ему больше не удастся повторить это рекорд? ТЫ МОЛОДЕЦ!!!! ТЫ МОЛОДЕЦ! ТЫ МОЛОДЕЦ! ТЕБЕ УДАЛОСЬ, УДАЛОСЬ, УДАЛОСЬ! НЕ БОЙСЯ, НЕ БОЙСЯ, НЕ БОЙСЯ!! ТЫ УЖЕ ПОБЕДИЛ, ТЫ УЖЕ ПОБЕДИТЕЛЬ, ТЫ УЖЕ ПОБЕДИТЕЛЬ, НЕ БОЙСЯ, РАССЛАБЬСЯ!

И откинулся на матике, прочертив ногами шумные, визжащие линии. В висках колотила радость победы.

А через пять минут Игорь уже медленно ходил, будто отмеряя какой-то неизвестный надел, по теплому темному лакированному полу библиотеки. Краем глаза он увидел, что метрах в десяти от него, по другую сторону лестницы, сидит молодой монах в очках с гладко выбритой головой. Игорь и не заметил, как тот вошел, вернее, во время прошлой медитации он слышал шаги, но ему удалось не отвлечься на них. Снова таймер. Игорь почувствовал, что он ужасно изнемог, не было уже ни прежней радости, ни возбуждения, одна сплошная усталость. Он медленно сел, опираясь спиной о стену, и от нечего делать стал считать, сколько томов в китайской энциклопедии. Их оказалось ровно сто шестьдесят восемь, ярко-желтых нарядных книжек. Где-то далеко ударил гонг — пора было идти на обед.

После сильной двухчасовой концентрации голова утомилась, как будто после долгого занятия математикой — аж сводило мозг. А тело при этом было удивительно легкое и пустое, словно его накачали насосом. Игорь шел к столовой и увидел двух рабочих при монастыре. Спасаясь от жары, они не только надели широченные панамы, но и закутали головы в какие-то тряпки — видны были лишь узкие прорези тайских глаз, как бойницы в средневековой крепости, и жарко блестели пропеченные солнцем их коричневые лица. Один из рабочих кинул другому мешок. Мешок двигался плавно, как в замедленной съемке, Игорь явственно чувствовал каждую точку его траектории, будто сам летел вместе с ним.

Набрав полный поднос еды, Игорь пошел в мужскую часть столовой; несмотря на полную измочаленность, поднос в его руках не дрожал, нес он его уверенно и,

повстречав цепь монахов, Игорь спокойно проплыл сквозь них и поставил поднос на стол. Он сел. Все по-прежнему было как в замедленной съемке: он увидел, как его рука, будто чужая, тянется к бутылке с водой, и как только рука до нее дотронулась, всего его пронзила волна наслаждения, затем он увидел, как пальцы обхватывают бутылку, и это было так здорово, что он застыл, не в силах прервать удовольствие; но вот рука с бутылкой все-таки пошла назад (кто-то ей приказал?), (да это не рука, а кран — юркнула в голове рыбка-мысль), поднесла ее на уровень груди, к ней медленно и точно, ровно до пробки, поднялась другая рука-кран, взялась за пробку — снова Игоря обдало кайфом от прикосновения — проделала операцию по откручиванию и застыла в воздухе, очевидно, дожидаясь новой команды крановщика, а та, первая рука, подняла бутылку ко рту; и вот по языку, щекам, нёбу медленно разливается вода, драгоценная вода, — словно наполнили арык, проведенный в среднеазиатской сухой, каменистой, жаждущей напиться почве, и вода такая тяжелая и мокрая, что Игорь закрыл глаза и тихонько, еле слышно, замычал про себя; затем горло совершает глоток, и он видит, как рука снова возникает перед глазами и как идеально работающий, хорошо смазанный кран, ставит бутылку на стол. Мышцы вокруг рта поднялись наверх — Игорь улыбнулся. Наклонилась шея — Игорь нагнул голову. Глаза повернулись в орбитах — Игорь посмотрел на лужицу воды на столе.

Так вот что означает «здесь и сейчас», вот что означает «осознанность»! И Игорь рассмеялся усталым, все понимающим, бесконечно мудрым и даже как будто немного сардоническим смехом. Это когда вся жизнь, как в замедленной съемке, когда ощущаешь все вокруг каждой клеточкой, когда прошлое и будущее *действительно* исчезают, а не *хочется* — чтобы они исчезли! А эти шарлатаны и олухи твердят и не понимают, о чем говорят, да они даже не могут понимать, да у них средств, просто нет *элементарных физических средств,* чтобы воспринимать это «здесь и сейчас», — это все равно как рекомендовать слепому любоваться оттенками радуги! Он сидел и смеялся, ему было все равно, как он выглядит, раздражения к шарлатанам и олухам у него не было, презрения или жалости тоже, он сидел и смеялся, и слышал свой смех, как из-за стены, и чувствовал, как что-то шевелится в горле, какие-то там гланды, альвеолы...

Игорь снова незаметно оказался в мыслях, они подступили, как вода в ванной, когда лежишь голый, открываешь кран, и вода начинает тебя обволакивать, ты чувствуешь ее прикосновение на пальцах рук, ног, а потом отвлекаешься — и вот ты уже в ней по шею, а потом незаметно — рраз! — и ты уже вынырнул, наглотавшись воды, и отплевываешься. Оказывается, в мысли можно утонуть. И когда Игорь вынырнул из мысли, он прежде всего подумал: А ГДЕ Я БЫЛ ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ? МЕНЯ ВЕДЬ НЕ БЫЛО... Отсутствие осознанности ощущалось так остро, будто его физически здесь не было, будто он куда-то отошел на это время. И это стало для него очередным открытием, которое все расставило на свои места и избавило от сомнений — червячка, незаметно точившего его все эти дни, несмотря на все успехи: а достаточно ли сильно он концентрируется, все ли идет правильно, как надо? Когда ты осознаешь свое тело и дыхание, следишь за ними, чувствуешь их — так сказать, помнишь себя, — значит, все идет как надо, не важно, есть ли при этом мысли или нет; даже если они есть, ты видишь их со стороны, как рыбок в аквариуме, а вот, если ты улетел и потом не можешь вспомнить, где ты был, как будто тебя не было на месте, значит, ты потерял концентрацию. Игорь не мог бы объяснить, почему то, что он понял, было истинным, правильным толкованием, что такое концентрация, никакого подтверждения со стороны «старших», аджанов, не было, но он интуитивно ощутил, что это всё — правда. И это успокоило его.

Во время рипорта Игорь сидел рядом с девушкой с выжженными солнцем белесыми волосами, на лице которой было запечатлено выражение такой глубокой скорби, что находящихся рядом невольно охватывало чувство вины, что у них, несмотря на разные неурядицы, все-таки все не так уж плохо. Подобное чувство вины бывает, когда видишь человека, у которого недавно умер кто-то из близких. Игорь раньше ее не видел. Он искоса поглядывал, пока сидел в очереди к аджану — тот по обыкновению быстро отпускал мужчин и периодически, сияя своей гладкой головой, со снисходительной ханской усмешкой наставлял девушек в буддистских понятиях. Игорь с нетерпением ждал своей очереди, ему ужасно хотелось рассказать учителю про свое открытие «здесь и сейчас» во время обеда. Ему казалось, что это настолько значимо и ценно, что аджан непременно скажет что-нибудь интересное и важное, а заодно и похвалит Игоря за его прогресс в продвижении к чистоте ума, в конце концов, иногда аджан удостаивал беседой и мужчин, так что шансы были.

Перед Игорем была очередь девушки со скорбным лицом. Когда она, сделав поклон, стала на коленях перед учителем, Игорь с удивлением услышал, как тот сказал: «privet» — девушка оказалась русской. Почему-то Игорь думал, что она откуда-то из Скандинавии.

— Did you smile today?[1] — с легкой иронией спросил аджан, по его тону было заметно, что он общался с ней и раньше, и видно было также, что он давно привык подтрунивать над бесконечной скорбью, разлитой по ее лицу. Интересно, почему я ее до сих пор не видел, подумал Игорь, как я не натыкался на нее хотя бы в столовой, где же она хранит свой траур? Девушка ответила так тихо, что Игорь ничего не разобрал, он так и не узнал, улыбалась ли она сегодня. Аджан тоже понизил голос вслед за ней, так что, хотя Игорю и было очень любопытно, то, о чем они говорили, так и осталось тайной.

Наконец настал черед Игоря. Проделав необходимые раскланивания, Игорь сбивчиво и возбужденно рассказал про свои обеденные прозрения. Аджан молчал. Кольнуло в висках — Игорь почувствовал легкую досаду. Пауза затянулась.

— Может, у вас есть что-нибудь сказать по этому поводу? — не без раздражения спросил Игорь.

— Нет, — спокойно ответил аджан. Продолжайте медитировать, — подытожил он. — По сколько минут вы медитируете сейчас?

Дальше пошел обычный разговор про налёточасы и т.п.

Хотя Игоря и разочаровало, что аджан в очередной раз не уделил ему никакого внимания, он быстро справился с этим. Час медитаций — и аджан с его надменной усмешкой оказался где-то далеко-далеко, а Игорь снова отмерял свой надел на втором этаже библиотеки, снова сидел со скрещенными ногами, следя за дыханием.

На следующий день Игорь проснулся непривычно разбитый. Вообще все пошло не так, он впервые проспал гонг — выручил уродливый красный будильник, на утренней общей медитации не мог сконцентрироваться даже на нескольких дыханиях и, изнывая от скуки и тоски, ждал спасительного таймера. После завтрака, когда ему только-только удалось сконцентрироваться, неподалеку раздался отвратительный металлический перестук, будто кто-то со всей силы колотил в кастрюлю. Игорь матернулся про себя и прервал медитацию, чтобы (неслыханное дело) подойти к окну и посмотреть, что там происходит. Он увидел, как на пагоде неподалеку монах

[1] Вы сегодня улыбались?

с каким-то, как показалось Игорю, остервенением, дергает веревку, разнося на весь монастырь отвратительное кастрюльное бряцанье. При этом — и это особенно разозлило Игоря, — у самого монаха были громадные наушники от плеера, две здоровенные шайбы по бокам головы, о таких Игорь когда-то мечтал в юности, то есть монах о себе-то позаботился. И вот этим колотящим прямо по нервам кастрюльным перестуком, вместо того чтобы бить в благородный низкий гонг, монах потчевал обитателей монастыря. Вот сволочь, подумал Игорь, со всей дури бьет в этот чертов колокол, мол, наслаждайтесь, а сам в наушниках. Странно, что я раньше не замечал эту кастрюлю, какое-то особое событие у них, что ли, сегодня, что они устроили по его случаю праздничный перезвон? Игорь глубоко втянул в себя воздух и медленно, задерживая дыхание, выдохнул через нос. Ладно, ладно, есть куда расти, — отходя от окна, подумал Игорь.

Как-то в середине дня Игорь отлучился из библиотеки и пошел за водой к кулеру, а возвратившись, увидел, как один носатый, с хипстерской бородкой, паломник из его призыва, хамски отложив матик Игоря в сторону и оккупировав его, Игоря, место, нагло сидит и самым бессовестным образом предается медитации, как будто даже и не подозревая, что занял чужое место. Как он вообще может концентрироваться, зная, что он, фактически, кого-то согнал? Конечно, Игорь понимал, что место ему не принадлежит, но есть же, в конце концов, не только Уголовный кодекс, но и элементарная человеческая порядочность, есть приличия. Причем он немного знал захватчика, насколько тут можно было кого-то знать. Это был, конечно же, американец, и мало того, что он, в основном, просто болтался по монастырю, он еще и *говорил*. В нарушение всех уставов. Игорь несколько раз видел, как он переговаривался и о чем-то хихикал во время пятичасового соевого молока с долговязой блондинкой. «Ему-то, разгильдяю, все равно, где валять дурака, — кипятился Игорь, — а мне ведь насколько же проще концентрироваться в знакомом месте, где ничего не отвлекает». В другом углу клевал носом монах, так что на втором этаже делать было нечего. И конечно же, через минуту-другую Игорю стало досадно, что он снова наступил на те же грабли и в очередной раз поддался раздражению... От ощущения собственного бессилия, от очередного поражения перед самим собой, своим эго, стало ужасно горько... Заболело в груди. Игорь почувствовал, как у него опустились уголки рта и досадливо выгнулась нижняя губа.

Подыскивая себе место для медитации, Игорь оказался рядом с офисом. У деревянной скамейки неподалеку, сверкая на ярком солнце чужеродной для древнего монастыря синтетической тканью, сиротливо стоял очередной рюкзак. И впервые Игорь позавидовал его владельцу. Через час-два тот уже будет на воле в Чанг Мае, где так хорошо гулять вдоль ярко горящих в южной тьме древних крепостных стен, разговаривать с красивыми тайскими девушками из местного университета, сидеть в маленьких, совсем европейских кафе в кондиционерной прохладе, наслаждаясь ледяным карамель маккиато...

Весь день тело болело с новой силой — натренированность и умение терпеть боль, наработанные с таким трудом, улетучились, словно в невидимую печку, огнем жгущую его тело, подкинули дров. Горело в коленях, раскаленный стержень в спине, казалось, выжжет ее изнутри. Изнывая от боли, Игорь ждал таймера. Иногда ему казалось, что он забыл завести таймер и будет сидеть дольше положенного, и неизвестно, когда можно будет открыть глаза и распрямить затекшие, ноющие

суставы, — и одна эта мысль наполняла его страхом. Наконец таймер все-таки зазвонил, Игорь со стоном распрямил ноги, посидел несколько минут, тупо уставившись в пространство, а затем встал, и как часовой, верный неизвестно кому данной присяге, снова принялся мрачно шагать взад-вперед по мраморным плиткам галереи.

На рипорте Игорь, чтобы показать свою независимость и не то чтобы отомстить аджану, а просто продемонстрировать свое равнодушие, решил сделать Будде формальный холодный поклон и уже собрался было, оказавшись перед алтарем, как вспомнил добрую и мудрую полуулыбку Будды, и ему стало неловко. Ладно, Будда-то здесь причем, — подумал Игорь и поклонился как обычно. На вопрос аджана «как дела», Игорь, не глядя на него, отрапортовал, что все хорошо, хотя ничего не было хорошо. Но какой толк что-то говорить, изливать душу, если все равно наткнешься на равнодушие и игнор?

Настоящий кошмар начался вечером. В библиотеке, которая, слава богу, освободилась, было темно. Шкафы со своими косыми стенками казались уродливыми обрубленными пирамидами. В них тускло и совсем непразднично желтели тома китайской энциклопедии. Незаметно растворился в сумерках паркетный блеск. Игорь шагал и шагал по почти невидимому полу, сидел и сидел на едва различимом мате, и ему было больно. Стало совсем темно. Обычно в это время где-то неподалеку зажигали свет, и комната окрашивалась в теплые уютные тона, но сейчас этого почему-то не сделали.

А потом он начал злиться. Что-то накопилось за эти несколько дней, и непроговоренные усталость, злость, раздражение прорвали плотину. Он вспомнил все книги, что обещали ему освобождение, легкое и радостное, и прямо закипел от внезапно всколыхнувшейся ненависти. Тяжелым расплавленным свинцом давила и жгла виски фраза, вычитанная у одного всемирно известного аджана, что если в медитации нет радости, то это пустая трата времени. Да уж, блин, просто и радостно! Сидеть часами напролет с горящими ногами, когда сводит мышцы, отваливается спина, ломит в суставах, — это должно быть радостно, да? А если нет, то нехрен и сидеть, так? А еле передвигать онемевшие бесчувственные ноги по полу — это должно вызывать радость, правильно? А если не вызывает, значит, все насмарку, так? Joy, мать вашу! Да как это может быть легко, твари вы конченые, кидалы, лохотронщики вы бессовестные! Как это может вызывать радость? Причем, я ее постоянно должен чувствовать, так по-вашему? Иначе, все — полная хрень, нечего и огород городить? Ну не суки, а? Значит все, что я делал и продолжаю делать, было напрасно? Несмотря на все эти сверлящие голову мысли, Игорь по какой-то инерции продолжал все так же честно выхаживать и высиживать отмерянное таймером время. Он с необыкновенной четкостью видел радостные, улыбчивые, с мудрым восточным прищуром рекламные лица с обложек, и они вызывали у него такое отвращение и ненависть, будто это именно они хитростью затащили его в этот чертов монастырь. Все время до этого момента Игорь был собран, готов бороться с трудностями, терпеть боль, потому что для него было важным выдержать, выдюжить — его рюкзак не будет стоять перед офисом, он приедет и расскажет друзьям, что такое випассана, как это быть «здесь и сейчас». А сейчас он был солдатом деморализованной, отступающей армии и он ненавидел всех этих разводил из книжек, как штабных крыс. И лишения, боль в теле сразу обессмыслились, а оттого он ощущал их еще сильнее.

И тут появился аджан. Игорь закрывал глаза, и лицо аджана с высокомерной, самодовольной усмешкой монгольского хана, снисходящего до своих коленопреклоненных просителей, ярко-желтым пятном прыгало, скакало перед ним,

от него некуда было деться. Игорь ясно видел его ненавистную улыбочку, лоснящуюся голову, слышал, как будто бы аджан был прямо здесь в комнате, его негромкий уверенный голос. Треплется, ссука, с девицами! А вот интересно, почему это он не спросил меня, улыбался ли я сегодня? Я ведь тоже мрачный был. Ну, пусть не так, как та, у которой кто-то умер, но все равно. Почему он не рассказывает мне про non-attachment[1] и non-self[2]? Мне вот интересно было бы послушать из первых уст, а не из книг, задать вопросы. Почему он вообще ничего не говорит, кроме как про эти гребаные налёточасы? И вообще все тут не так! Концентрируют внимание на животе, а не на носу, как все нормальные люди! Сиропами и газировкой догоняются постоянно, чтобы обойти предписание о твердой пище! Это же жульничество! Во времена Будды только соки были, соевое молоко, там, чтоб человеку полегче. А у них — «Кола», «Спрайт», «Фанта» — весь набор. Еще какие-то непонятные сиропы ярко-ядовитого цвета — сразу видно, что отрава. Так же от диабета можно загнуться! И куда, интересно, запропастился старый аджан, который типа мудрый весь из себя? Не хочет тратить на нас свое драгоценное время? Так у него его хоть залейся, сам же говорил про жизнь или парочку — не жмись, одари нас своим вниманием! Гюльчатай, открой личико! Вот черт, опять я лоханулся, выбрал не тот монастырь! Надо было тот, другой, без старинного храма, там вроде писали, что больше объясняют, общаются. Игорь продолжал ходить по невидимому полу. Он даже не пытался концентрироваться, совершенно позабыв про то, что он должен наблюдать мысли, а не жить в них, просто отхаживал и отсиживал положенное. Все его открытия и прозрения последних дней провалились в громадную черную дыру ненависти.

Шум и ярость нарастали. Как будто все то, с чем он был не согласен, все теории, взгляды, мысли появились откуда-то, как незваные гости, которые пришли спорить, ругаться. Игорь чувствовал острую, кинжальную боль в груди, будто эти теории были направлены лично против него, Игоря, и норовили ранить его побольнее. Как можно верить в демократию после тридцать третьего года, — полыхала огнем мысль в голове, — как можно верить в прогресс после концлагерей, как можно верить в теорию рационального выбора, — кричали мысли на разные голоса. Почему всю планету подсадили на трэшевую, дырявую систему Виндоус, где компьютерный Нюрнберг; как можно стоять перед кулером и тут же пить, людям же не подойти; как можно посылать сотни мегабайт на печать, а другим приходится стоять и ждать у этого чертового принтера, тем более что он один всего работающий на все громадное здание; вот тоже вбухали миллиарды в ремонт, наняли дорогущего модного дизайнера, а принтеры не работают и штор нет, солнце бьет в лицо — невозможно работать, типа это лофт, не полагается штор по дизайну... Иногда Игорь слышал свой голос — резкий, громкий и безапелляционный, таким голосом Игорь как-то отчитывал студентов, когда выяснилось, что почти вся группа списала контрольную. Шум перешел в рев. Игорь сидел в кромешной тьме, и ему стало страшно, что этот рев сейчас сведет его с ума. И вдруг мелькнула спасительная мысль: Господи, а зачем это все? Я ведь не обязан тут сидеть! И мысль эта, появившись, мгновенно заполнила голову, как воздух, который тут же заполняет все свободное пространство. Вырваться из этой клетки и немедленно, сегодня, сейчас! И плевать, что я этим чертовым аджанам нанесу какое-то там смертельное оскорбление, типа они говорили, что даже если раньше уходишь, нужно

---

[1] Alobha (санскрит, пали) Буддийский термин переводится как «непривязанности». Она определяется как отсутствие привязанности или желания по отношению к мирским вещам или мирского существования.

[2] См. примечание 2.

непременно с ними проститься. Да, конечно, придется возвращаться завтра за телефоном, неудобно будет, но здесь я просто не могу больше находиться! Бежать, бежать отсюда немедленно в Чанг Май, да хоть к черту лысому! И, оставив лежать уже ненужный бесхозный матик, Игорь устремился вниз из страшной библиотечной тьмы.

Игорь не разбирая дороги быстро шел по монастырю к своим домикам. По пути мелькали белые и оранжевые фигуры, они что-то делали, но Игорю было не до них. Резкими зигзагообразными движениями метались летучие мыши, оставляя в глазах ярко-черные антрацитовые вспышки. Гул в голове мешался с громким звоном цикад. Где-то на середине пути он наткнулся на маленькую, незаметную, как подножка, оградку, и со всего размаху грохнулся оземь, едва успев спружинить руками о колючую траву. От боли он матерно взвыл. Черт бы их всех побрал, с яростью подумал Игорь, конечно, только статуи Будды и освещают, до людей дела нет, понятно. Игорь отжался от газона и встал. Ладони горели. Сильно болела нога. Игорь закатал штанину и оглядел голень — на ней чернели ссадины. Он посмотрел вперед, за садом белели заветные домики. Решив поскорее добраться до них, Игорь перешагнул через оградку и пошел по саду. Он едва различал темные контуры деревьев вокруг. Внезапно он съехал ногами по невидимому склону, снова едва не упав, и оказался по колено в воде — через сад пролегала какая-то канавка. В воде голень засаднила с такой силой, что Игорь с минуту медленно цедил воздух сквозь стиснутые зубы, чтобы не заорать. Тут уже было не до мата. Канавка была довольно узкая, и Игорь уже собрался выбраться из нее, как что-то громко чмокнуло внизу, и Игорь вынул на поверхность неожиданно легкую, босую ногу — илистое дно канавки засосало шлепанец. Господи, да что ж это такое на самом деле, вот проклятый монастырь, прямо не отпускает! В полной тьме Игорь стал шарить руками по илистому дну и искать злополучный шлепанец — руки тоже изрядно саднило. Надеюсь, хоть бутылочных осколков здесь нет, — с ненавистью и страхом думал Игорь, ощупывая руками липкую донную грязь. И вот, слава тебе Господи, находка — Игорь насилу выдрал шлепанец из всосавшегося в него цепкого дна. Надев шлепанцы, в облипающих грязных и мокрых штанах, Игорь снова зашагал к дому. Зато можно их не стирать, со злой радостью подумал он, сейчас же выкину всю эту белую дрянь к чертовой матери.

Чтобы снова на что-нибудь не налететь, Игорь стал внимательно смотреть себе под ноги, выискивая кочки, оградки, выбоины в асфальте, внезапные подъемы, ступеньки. И вот уже, вступив в освещенное фонарем пятно перед самым входом в свой домик, Игорь едва не налетел на резко вынырнувшую из темноты ярко-оранжевую фигуру; отпрянув, Игорь поднял взгляд — перед ним стоял молодой монах. Глаза у него были широко открыты. Их взгляды встретились, и они какое-то время стояли и смотрели друг на друга. А потом монах улыбнулся ему. И от этой улыбки исходила такая бесконечная, всепроникающая доброта, а глаза монаха светились таким пониманием, что Игорь на секунду оцепенел, а потом от внезапно нахлынувшей благодарности едва не разрыдался, чувствуя, как его лицо растягивается в ответной исполненной признательности улыбке, а по телу идут мурашки, и слезы приливают к глазам. Все это длилось несколько секунд, а затем монах сделал учтивый поклон, словно поблагодарив Игоря за возможность сделать приятное, и снова скрылся во тьме. «Господи, — подумал Игорь, — я даже и не представлял, на что способна простая человеческая улыбка. Или это именно улыбка буддистского монаха? Черт его разберет...» Игорь почувствовал, как у него стекают по спине окаменевшие плечи, расслабляется затекшая шея, его всего объяла сладостная усталость и лень. «Ну его к черту, — подумал он, поднимаясь к себе в комнату, — куда я сейчас попрусь? Завтра

будет завтра». Ввалившись в комнату, он с трудом дотянулся до черного шмеля, включил его, скинул шлепанцы, швырнул в угол испачканную одежду, плюхнулся на койку и мгновенно провалился в сон.

Ночью ему снились чудесные, необычайно яркие сны: красивые девушки на пляже, Ямайка, солнце и море, синие лодки, белые паруса, он чему-то смеялся, и ему было радостно.

На утро, еле продрав глаза после настойчивого писка будильника — он опять проспал гонг, — Игорь подумал: «Господи, до чего же хорошо было ночью!» Именно *было*, а не какой чудесный приснился сон. Может, и сон показался явью, потому что и явь здесь, как какой-то сон? Он вспомнил про вчерашнюю библиотечную тьму, и она тоже показалось ему сном, только кошмарным. Игорь встал и поплелся на общую медитацию, как на утреннюю поверку (некоторые не ходили, но не таков был Игорь — если уж взялся за что-то, значит, все надо делать по совести, иначе зачем и приезжать). Ни о чем думать не хотелось. По дороге ему встретилась привычная статуя Будды. Игорь взглянул на нее, но ничего не смог разобрать в окутавшем статую тумане.

Именно потому, что от мыслей воротило, на общей медитации Игорю удалось достичь сильнейшей концентрации. Ему стало удивительно спокойно и хорошо, он чувствовал в своем дыхании верного и надежного спутника. И перед самым гонгом большим пузырем опять откуда-то из неведомых глубин поднялась и лопнула в голове мысль: они же все говорят тут о независимости от внешнего — вещей, обстоятельств, людей, а я из этого аджана прямо-таки сотворил себе кумира! Вот он — attachment[1]! Я впал в настоящую зависимость от аджана, его манер, того, как он ведет себя со мной, уделяет ли он мне достаточное, по-моему мнению, внимание. Отношения с людьми, учителем, хорошее, уютное место для медитации — все это привязанности, attachments. А на самом деле, ЕСТЬ ТОЛЬКО Я И МОЕ ДЫХАНИЕ, И ЭТО ВСЕ, ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ. И ЭТО ВСЕ, ЧТО МНЕ НУЖНО. И ЭТОГО НИКТО НЕ В СИЛАХ У МЕНЯ ОТНЯТЬ, ПОКА Я ЖИВ. Как правильно говорил тот старый мудрый аджан: ретрит — это школа независимости. Но теперь я не просто понимаю, о чем он говорит, понимание ничего не дает, сколько раз читал, что привязанности разрушают, теперь у меня есть средства для того, чтобы это *ощущать*. Недаром Будда (что в свое время подкупило Игоря), в отличие от прародителей других религий, которые требовали прежде всего безусловной веры, а то нечего и огород городить, учил не верить ему, а самим проверять то, что он говорит. Как хорошо, что учитель оказался именно таким — как быстро все стало четко и ясно. Если б он со мной панькался, когда бы я до этого дошел? Если бы я верил в бога, я бы непременно подумал, что вся эта «история с несправедливым аджаном» «была мне послана», чтобы я ощутил — никто, даже самый мудрый, внимательный и любящий учитель, не может заменить ту силу и свободу, что дает медитация. А ведь всего этого не было бы — и при этой мысли Игорь ужаснулся — если б не вчерашняя улыбка монаха, ничего из того, что я открыл сегодня, не было бы, сидел бы сейчас в Чанг Мае и злобствовал по своему обыкновению. Вот для чего нужна Сангха — сообщество! — и Игорь с необычайной теплотой и любовью подумал обо всех, кто находится в монастыре: и оранжевых бхикку, и белых

[1] Привязанность.

паломников, — недаром Сангха тоже называется сокровищем вместе с Буддой и Дхаммой, все-таки одному на одной медитации далеко не уехать.

Прозвучал удар гонга, длинный и низкий. Игорь открыл глаза и посмотрел на аджана. И не почувствовал ни-че-го. Ему даже не верилось. Он закрыл глаза и снова осторожно посмотрел на аджана. И опять — ни-че-го. Только аджан почему-то стал казаться меньше ростом и каким-то хрупким. Куда делись ненависть и негодование, почему больше не щемит в груди, не ломит в висках? И тут Игоря накрыло такое чувство бесконечного счастья, легкости и свободы, что у него закружилась голова и он даже прислонился к стене библиотеки, чтобы не упасть. «О Господи! — подумал он. — Неужели это я?»

* * *

Шли дни, и медитировать с каждым днем становилось все легче. Если раньше нужно было продираться сквозь джунгли, рубя направо и налево, чтобы отсечь отвлекающие мысли, то теперь Игорь будто бы научился кататься на велосипеде: сначала вместе с радостью было немного боязно — неужели у меня получается и я действительно еду, а потом пришла спокойная уверенность: если едешь слишком медленно, так что руль виляет в разные стороны, прибавь скорости; если, наоборот, несешься так, что можно во что-то врезаться — притормози. Так же и тут: если слишком возбужден, надо расслабиться или, наоборот, прибавить концентрации, когда слишком вялый. Медитация оказалась таким же простым и увлекательным делом, как велопрогулка.

Каждый день приносил какие-нибудь прозрения. Они приходили не как результат умственной деятельности, анализа, а, как и тогда с аджаном, будто пузырьки воздуха выныривали откуда-то из глубины сквозь толщу вод. Как-то выдался такой трудный день, что Игорь даже удивился, вроде он же уже научился концентрироваться, а тут все было словно в первые дни — постоянно мешали мысли, так что под вечер Игорь безумно от них устал, а деваться было некуда. То, что я устал от собственного «я», это понятно, размышлял Игорь. Только вот почему все мысли причиняют боль? Обычно только мысли о чем-то плохом или неприятном вызывают болезненную реакцию, видимо, таким образом организм пытается защитить нас от повторения прошлых ошибок. А вот почему стало причинять боль то, что до этого всегда вызывало у меня лишь упоение и гордость собой: мои победы, достижения, причем не обязательно какие-то суетные, типа социального статуса, а вроде как подлинные — статьи, открытия в науке, почему от этого так начинает щемить в груди? Вроде же в этом случае организм, наоборот, подавая нам серотониново-эндорфиновые коктейли, стимулирует нас к тому, чтобы мы снова повторяли наши правильные и полезные поступки? Какое-то время это мысль крутилась по кругу в голове Игоря, пока и она не опротивела так, что накрыла тошнота, он даже почувствовал рвотные позывы. И тут ему удалось-таки уйти в живот и дыхание. И снова всплыло из глубины, по-шопенгауэровски четкое: МЫСЛЬ ЕСТЬ БОЛЬ. Вот что означает их понятие «Прибежище в Будде, Дхамме и Сангхе», — это прибежище от любой эмоциональной боли, которая приходит через мысль — неважно, почему эта мысль появляется: из-за учителя, который уделял тебе мало внимания, кого-то еще, кто повел себя не так, как тебе хотелось, или даже просто когда от своего бульона, варящегося в голове, воротит так, что некуда деваться. После этого прозрения мысли во время медитации стали приходить гораздо реже: если раньше они цепляли и притягивали, то после того, как в мозгу выбулькнуло — «мысль есть боль», — даже самые легкие позывы к

мыслительному процессу стали вызывать дурноту, настолько стало ясно, что абсолютно любая мысль, какой бы приятной она ни была раньше, все обломает, испортит, с нею будет только хуже. Медитации не нужно делать или не делать, как домашнее задание в школе, — это не обязанность, а приют: хочешь — продолжай страдать, а хочешь, уйди от страдания в медитацию. И вслед за этим страх Игоря, что он забыл завести таймер и придется медитировать дольше положенного, отпал совсем.

А как-то и внутренний рассказчик-хвастун тоже пропал — после очередного сеанса Игорь вдруг подумал: а перед кем я хвастаюсь и зачем, для чего? «Ну, удалось тебе сконцентрироваться на протяжении часа, ни разу не отвлекшись, и шо? — услышал Игорь знакомый говорок с южной ленцой. — Ну, молодец, возьми с полки пирожок».

Как-то по пути в библиотеку Игорь споткнулся и сильно потянул связку. К вечеру сидячая медитация превратилась в ад — Игорь даже несколько раз прерывал ее до таймера — в голени будто крутили раскаленную проволоку. Он читал, что как и всё на свете, во время медитации боль «надо наблюдать со стороны». И какое-то время Игорь пытался беспристрастно следить за жжением в ноге, но оно становилось настолько невыносимым, что больше сил терпеть не хватало, Игорь охал и медленно, будто развязывая узел, выплетал ноги из позы крест-накрест, раскладывал их на паркете и откидывался на матик.

Но вот как-то, когда ноги от непрерывного сидения и хождения устали так, что даже на то, чтобы раздвинуть их и разложить на паркете потребовались силы, а их не было, Игорь решил попытаться хоть пару минут высидеть с полыхающей в огне голенью. И вдруг — точно где-то крутанули ручку и снизили подачу газа, — пламя в икре трансформировалось в мягко согревающий голубой огонек. Сначала Игорь радостно изумился — ему не верилось, что он способен на такое, все-таки он не буддистский монах и в монастыре без году неделя, а потом сосредоточил свое внимание на икре и стал наблюдать за огоньком. Это было легко и приятно. Когда пропикал таймер, Игорь вспомнил, как он читал в книге принстонского профессора про задокументированный случай, как монах в Южном Вьетнаме в знак протеста против преследований буддистов тогдашней хунтой на глазах у всех поджег себя — и не то что не визжал и не катался по полу от боли, но даже не шевельнулся — так и горел, пока не превратился в обугленный каменный лотос. Да, конечно, до того монаха мне далеко, думал Игорь, по-прежнему сидя со скрещенными ногами, хотя уже можно было разложить их на полу, сладко откинувшись на матике, он теперь сидел совершенно добровольно, без таймера, ощущая в себе необыкновенную силу, — я по крайней мере понимаю, нет, не понимаю, это все фигня, — одернул он сам себя, — теперь, у меня есть опыт, как с помощью медитации можно справиться не только с эмоциональной, но и физической болью. Надо же, и тут все работает! Игорь торжествовал.

А через пару дней сразу после обеда совершенно неожиданно, как это часто бывает, Игоря выстегнула паническая атака. Они случались с ним со времен юности, и каждый раз его охватывал такой ужас, такая уверенность, что он вот-вот через секунду-другую умрет, что первое время, пока ему всё не объяснили, он даже вызывал «скорую». Потом ему прописали транквилизаторы, и при первых признаках панической атаки, чтобы не дать ей разгореться, Игорь быстро совал под язык сладковатую таблетку. У него и сейчас в рюкзаке лежало несколько оранжевых пластинок со стройными рядами пластиковых капсул, ждущих своего часа. Вот и теперь атмосфера вокруг сгустилась, все стало чужим, ирреальным и при этом враждебным, замолотило

сердце, оледенели ноги, заходила ходуном грудь. Игорь огляделся. Люди за обеденными столиками вокруг тоже были какими-то ирреальными, как во сне. Было пасмурно, надвигалась гроза, сильный ветер бесстыдно задирал подолы деревьев, и их обнаженная сторона светила исподней отталкивающей белёсостью. Где-то вверху тревожно, словно предупреждая, гудели деревья. «Надо скорей к рюкзаку, — вихрем пронеслась мысль в голове, — пока атака не захлестнула так, что придется пить двойную или тройную дозу таблеток». И тут внезапно Игорь услышал знакомый голос с фейковым южным акцентом: «Да шо ты вскинулся, как баба? Чуть застучало сердце и шо, сразу непременно умирать, не больше не меньше? Здоровый мужик вроде, а чуть что — дрожишь, как не знаю кто. С чего тебе умирать-то? Да если и так, не велика беда, ну одна жизнь кончится, начнется другая, шо ты паришься?» Да что за бред, подумал Игорь, не верю я ни в какие другие жизни. Но тут всепоглощающая лень накрыла Игоря и придавила к стулу, и так неохота вдруг стало вдумываться, что там у него с сердцем — паника это или что-то всамделишное, и что там с другими жизнями... «Слушай, а может, ну его нах, все эти колеса, — продолжил голос, — просто хорош париться и гонять, вот и всё лекарство». Игорь сладко и широко зевнул, наслаждаясь ленивой медлительностью зевка, и подумал: а правда, че париться-то. И, прихватив воду и матик, спокойно, вразвалочку пошел медитировать в библиотеку. По пути, проходя мимо ступы, Игорь увидел, как одна кошка с пронзительным мяуканьем гонится за другой, и остановился посмотреть — словно Ахилл и Гектор, те трижды обежали ступу и исчезли в кустах. Вокруг слышался смех, Игорь, совершенно не смущаясь, как это было вначале, смотрел на людей вокруг, на их лица, не стесняясь заглядывать в глаза, и улыбался всем — и белым, и оранжевым, а они в ответ улыбались ему. «Господи, как хорошо, что я здесь», — счастливо вздохнул Игорь и пошел дальше.

Родным в монастыре стало все — библиотека, храмы, ступа, пиканье таймеров, громкое щебетанье птиц, вечерний звон цикад, стройное песнопение монахов и даже длиннющее благословение еды заунывным голосом. Кастрюльный звон из пагоды рядом, и тот не раздражал. Он научился делать монахам настоящий поклон — останавливался, не торопясь складывал на груди руки лодочкой и медленно и глубоко наклонял голову. Саду, саду[1] — говорили ему монахи и кланялись в ответ. Это было лестно, он чувствовал себя даже немного своим.

Однажды Игорь вышел из библиотеки передохнуть — стало одиноко, захотелось увидеть и услышать мир. Как всегда после хорошей медитации, мир скользил перед ним в замедленной съемке. Подумалось: а послушаю-ка я птиц, исчезну в их пении. Немного потыкавшись туда-сюда (ох, как медленно он двигался и ничего толком не мог решить, точно полупьяный), он наконец отыскал хорошую скамейку — широкую, из блестящего темного дерева, в тени высоких сказочных баньянов. И только он разместился на ней, положив голову на матик и подвернув ноги, налитые приятной послемедитационной дрожью, готовясь наслаждаться покоем и раствориться в щебетании птиц в вышине, как метров в двадцати от него рванул, остановился, словно задумавшись, стоит ли, а затем, решив, что — да, стоит! — окончательно распорол окружающую пасторальную тишину отбойный молоток — все тот же самый, из отзывов. Игорь лежал и слушал издаваемые им звуки, которые, то учащались (др-др-др), то становились медленными (дыр-дыр-дыр) и такими отчетливыми, что Игорь перепрыгивал с одного «дыра» на другой, как с кочки на кочку, то замирали в

[1] Воистину, воистину (*пали*).

пронзительных паузах. Нельзя сказать, что Игорь наслаждался этими звуками, он их просто слушал, без каких либо ассоциаций, оценок, сравнений, хотя ему и было интересно, как дальше будет развиваться партия отбойного молотка. Наслаждался он не этим. Истинное блаженство давало чувство своей полной защищенности от капризов внешнего мира и собственного вечно чего-то требующего и чем-то недовольного мозга. Игорь почти физически ощущал незримого на*а*га и вокруг, и где-то внутри себя. Упоительно было лежать на гладкой теплой скамейке, вдыхать смолистый запах темного дерева и чувствовать каменную, железобетонную уверенность: что бы ни случись, этому не под силу разрушить его внутреннюю гармонию и душевный покой. «Ведь это прямо чудо какое-то! — думал Игорь. — Я же знаю себя, знаю, как я должен реагировать». И он включал в голове, чтобы посмотреть со стороны, прошлую, заезженную мелодию, раньше годами до ломоты сдавливавшую виски: «Вот именно, как раз тогда, когда я после стольких трудов пришел отдохнуть и послушать пение птиц, им надо непременно начать работать! Нет, ну хорошо, они не при делах, у них работа, все такое. Но вот что они не раньше, не позже, а именно сейчас? Вот почему такое колоссальное невезение, почему мне все время так не прет?» И дальше шла знакомая череда обид и несправедливостей, коими была усеяна его жизнь. А сейчас этого всего не было, просто был Игорь, и просто был отбойный молоток.

Как-то ночью, не желая беспокоить окружающих, незаметно и стыдливо прошел дождь. А наутро Игорь ходил и смотрел, как в каменных зеркалах тротуаров отражаются и он сам, и храмы, и другие люди, и все это было так красиво и восхитительно, весь этот новый мир в каменном зазеркалье, что Игоря переполнило чувство благодарности — и к аджанам, и вообще ко всем людям в монастыре, открывшим ему глаза на незамечаемую прежде красоту, которая таится буквально везде, стоит лишь повнимательнее вглядеться. Чистый ум ведет к радости, вспомнилось Игорю наставление старого аджана. И витая улыбка Будды на деревянных статуях была все такой же одобрительной и вдохновляющей его и дальше идти по пути очищения ума от мешающих чувств — злости, раздражения, недовольства — и открывать все новые и новые радости восприятия. Будто сам Будда говорил ему: «сад*у*, саду».

Иногда Игорь видел «Ленку». Встречаясь с ее пронзительным, смотрящим прямо в душу, но почему-то непризнающим взглядом, будто больной в бреду, Игорю хотелось сказать: Ленка, да хорош уже притворяться, что меня не знаешь, я знаю, что это ты. Но «Ленка» по-прежнему не узнавала его и все с тем же спокойным упорством вышагивала свои большие велосипедные полукруги. Хорошее, здоровое упорство передалось ей по наследству в полном соответствии с законами кармы от прежнего ее воплощения в университетской Ленке. Она и в прошлой жизни бегала все положенные на физре кроссы и получала зачет-автомат, в то время как Игорю приходилось отрабатывать проспанные после ночного префа занятия.

Он часто теперь слышал тот ленивый, пародирующий украинский акцент, голос, слегка насмешливый, но всегда успокаивающий. Игорь думал, что, может, и правда переехать в монастырь, не сейчас, нет, но когда-нибудь потом, когда совсем достанет его европейская жизнь. И чем черт не шутит, может, и проведет здесь остаток жизни («а может, и парочку», — слышал он южный, расслабленный говорок). Игорь понял, нет, не понял, прочувствовал основное, главное: дыхание — это все, что нужно для счастья, а больше ему и не надо.

Оставалось всего два дня до окончания ретрита. Последние несколько дней почти непрерывно шел тропический ливень, много народу заболело, вокруг все время кто-то чихал, кашлял, сморкался, хлюпал носом. Остались лишь самые стойкие — менее половины из тех, кто был на первом собрании. На утренней медитации народу было еще меньше — многих из тех, кто остался, Игорь встречал уже на завтраке. Он тоже заболел — сухой, режущий кашель разрывал грудь; хотелось откашляться, отхаркаться, освободить хрипящие и свистящие бронхи, но там что-то засело; Игорь выкашливал лишь мелкие брызги желтоватой мокроты, и облегчения не наступало. Мышцы тоже сильно болели, ежесекундно пронзаемые миллионами невидимых иголочек; Игорь шевелил ногами, силясь хоть немного отогнать боль, но не тут-то было. Выворачивало суставы. «Черт, все как в детстве, — в туманном болезненном чаду думал Игорь. — То ли бронхит, то ли ОРВИ, черт его разберет. Эх, давненько я так не болел, и надо же, под самый конец, Церемония Закрытия уже послезавтра. Ну ничего, вытерплю, всего два дня осталось», — и он мысленно представлял аджанов, Будд, лотосы, благовония. От мысленного запаха благовоний, впрочем, начинало тошнить, поэтому Игорь старался о них не думать. От ходячей медитации пришлось вскоре отказаться — сильно кружилась голова и накрывала такая дурнота, что один раз его чуть не вырвало. Обычная требовательность к себе практически сошла на нет, не было сил чего-то добиваться от себя в таком состоянии. «Да и болезнь — все-таки уважительная причина, — думал Игорь. — Я ж не от слабоволия. Будда вот тоже, когда был болен, медитировал сидя на стуле». Не в силах практиковать с прямой спиной, Игорь разваливался в позе «вольно», подвернув ноги, и упрямо отсиживал положенное по таймеру. Иногда Игорю удавалось сконцентрироваться и уйти в дыхание, боль становилась меньше, а потом незаметно он впадал в тяжелую полудрему. И просыпался от таймера. Так он то сидел, то полулежал, пока не стемнело. Потом пошел домой. «Два дня, — время от времени повторял он про себя. — Два дня. Ничего, выдержу. Зато какой это ценный опыт — пережить острый грипп в монастыре без жалоб, без лекарств — учиться терпеть боль рано или поздно все равно придется. До вьетнамского монаха еще далеко, но это уже шаг в правильном направлении». Всю ночь Игорь не мог найти себе места. Вентилятор прямо-таки жалил болезненную сверхчувствительную кожу, волны воздуха отзывались во всем теле ответными волнами боли. А когда Игорь выключал его, жара и духота быстро становились невыносимыми. Так он и метался по комнате, пока совсем не обессилел. Под утро, наконец, отключился. Ему снились какие-то мутные, дурные сны, Игорь иногда просыпался с чувством тягостной боли в душе, пытался вспомнить сон, и что там было такого дурного, но не помнил, оставалось одно ощущение какой-то гадости.

Когда Игорь проснулся, солнце уже встало, и в комнате было жарко. Жар был разлит повсюду: и по комнате, и в голове Игоря, и во всем его теле, — трудно было понять, где горячей. За стеной раздавалось тяжелое буханье — какой-то бедолага тоже заходился в кашле. Игорь посмотрел на красный тошнотворный будильник и понял, что проспал все на свете, но ему было все равно. Его горячечный мозг пытался сообразить, как поступить, но задача казалась непосильной, весь его привычный режим был сломан болезнью, и что делать, было непонятно. Все так же ломило грудь, и все так же Игорь кашлял и не мог прокашляться. Он подумал о библиотеке — путь до нее по жаре казался таким же бесконечным, как путешествие по пустыне Гоби. «Кара-Кумы», — раскаленным ветром пронеслось в голове. Кара, кара, это моя кара. Нет, кара — это вроде «черный» означает. Каракурт — вспомнил Игорь паука из детской книжки по природоведению — укус смертелен. Он представил абсолютно черного мохнатого паука и заерзал от омерзения и страха. Медитация, вспомнил Игорь. Если уйду в концентрацию, станет легче, уже проверено, это уже не знание, это

опыт, я могу ему доверять, могу доверять, крутилась мысль бесконечной петлей. Ее хотелось оттуда выковырять, но она застряла в голове, словно косточка в зубах. Он с трудом сел на постели, опершись о белую стену. Стена пронзила холодом, и его передернуло мелкой дрожью. В тумане на тумбочке проглядывал таймер. Игорь медленно дотянулся до него и повесил на грудь. Таймер тянул вниз, словно гиря, а шнурок впился в шею. Игорь снял таймер и положил его рядом. Он включил таймер и тут же закашлялся, грудь просто рвало на части, Игорь вцепился в нее пальцами, словно опасаясь, что она физически разлетится на куски. Тяжелая липкая мокрота заполнила рот, Игорь наклонился и выхаркнул ее на пол — ему уже ни до чего не было дела. Он сидел, слегка покачиваясь, и пустым отсутствующим взглядом глядел на студенистую блямбу мокроты, она была отвратительного желтовато-зеленого цвета. В груди стало полегче. Один день. Всего лишь один день. Завтра после Церемонии Закрытия сразу на такси к врачу. Он откинулся к стене, взял таймер, это же было не в счет — скользнула мысль — и заново включил его. Какое-то время Игорю удавалось сконцентрироваться на дыхании, а потом он снова незаметно сполз в забытье.

Ему снилось, что он в том парке с фонтаном, на котором крутился шарик; он изнывал от жары и с нетерпением ждал маму, которая пошла за газировкой. Мама не приходила, и Игорь начал волноваться. Он пошел по аллеям, высматривая ее, ища киоск с газировкой. Рядом скользили люди, и от них почему-то веяло таким жаром, что Игорь невольно отшатывался. Не было ни мамы, ни киоска. И тут Игорь вспомнил, что мама говорила, чтобы он не отлучался от фонтана ни на минуту, и его обдало таким ужасом, что он немедленно развернулся и побежал обратно к фонтану. Мамы не было. «Шарик, — вдруг понял Игорь. — Я должен сконцентрироваться и медитировать на шарик. Если мне удастся достаточно хорошо сконцентрироваться, мама должна появиться, это же ясно как дважды два четыре». Он пытался смотреть на шарик, но видел лишь мутное пятно, ему стало страшно, что никогда не удастся сосредоточиться, а значит, и мама никогда не придет. В панике он смотрел в фонтан, силясь что-то разглядеть, но в мутном пятне все никак не прорисовывался шарик. Значит, мама никогда не придет? Неужели никогда? И от ужаса его бросило в холод...

Запикал таймер. Игорь не сразу понял, что происходит, он все еще мысленно пытался найти шарик. *И тут его пронзило — мамы больше нет.* Но почему об этом извещают таймером? Это что, какой-то аналог колокольного звона? В жарком бреду Игорь сидел и пытался сопоставить пиканье таймера с тем, что мама умерла, и никак не мог распутать, разгадать эту связь. Ему казалось чрезвычайно важным установить ее, будто это может воскресить маму, *хотя он знал, что маму не воскресить, потому что она умерла.* Но все равно нужно, обязательно нужно разгадать эту связь, а она есть, есть, надо просто хорошенько напрячься и подумать, как когда-то над математической задачей... К таймеру и маме еще как-то припутана концентрация на фонтанный шарик, это какая-то важная переменная, возможно, опосредующая их связь, а может, являющаяся ее первопричиной...

Весь день Игорь лежал в бреду, пытаясь решить эту задачу. Маму не вернуть — это точно, но что-то можно вернуть, что-то очень важное, ценное, связанное с мамой. Игорь не знал, что, он только знал, что это возможно, но проклятая задача все никак не поддавалась...

Он проснулся от очередного приступа кашля и боли, раздиравшей грудь. Он задыхался, грудь ломило, там что-то хрипело, свистело. Дышать было больно и, стараясь уменьшить боль, Игорь дышал мелко и часто, и от этого не хватало воздуха. Болело под мышками, в шее комками перекатывались лимфоузлы. Он опять зашелся в кашле, и снова рот наполнился густой, вязкой мокротой. Он свесился с кровати и выплюнул ее на пол. Темный сгусток. Игорь включил лампу на тумбочке, наклонился

посмотреть и увидел, что сгусток этот темно-красный. «У меня что, кровь горлом идет, что ли?» — подумал Игорь. И тут ему впервые стало по-настоящему страшно. А вдруг это не грипп и не бронхит? Это точно не паническая атака... Надо наружу, к людям, там помогут, откачают, если что. Игорь встал, кровь прилила к голове, постоял, покачиваясь, приходя в себя, потом нащупал ногами шлёпки и медленно побрел из комнаты. Уже стемнело. Снаружи звон цикад оглушил его, он проникал в голову и сверлил ее изнутри. Игорь едва выбрел из дома на ярко-освещенную фонарями часть двора рядом со статуей Будды, шурша нап*а*давшими за день широкими листьями, чей скрежет прямо-таки терзал слух, как вдруг в глазах что-то перевернулось, и Игорь очутился на асфальте. Он не сразу понял, что произошло, и силился встать, но земля предательски уходила из-под рук. Что за ерунда, он просто как-то не так уперся руками об асфальт. Вот только бы найти правильную постановку, и он непременно поднимется... Но асфальт все уходил из под него, и внезапно Игоря охватил ужас, как тогда в детстве на озере, в Рощино, когда он еле доплыл до буйков, рассчитывая передохнуть и набраться сил, а буек вдруг начал уходить из-под рук в глубину, и Игорь понял, что передохнуть не удастся, и развернулся плыть назад, а темный бор с короткой полоской песка казался таким далеким-далеким, что до него не доплыть, и он начал кричать, но на берегу никого не было, а бор только грозно темнел и молчал...

Когда Игорь снова очнулся, над ним мелькали сине-красные огоньки «скорой». Он лежал на носилках, вокруг сновали санитары в синем и доктор в белом, у них были озабоченные лица, и они громко переговаривались на своем. Игорь едва не стонал от боли в груди, с каждым вздохом отдирая что-то приклеенное. Он откашлялся и слабым голосом проговорил: «Excuse me, excuse me». Подошел серьезный доктор, его прожаренное солнцем лицо дышало жаром, так что хотелось заслониться рукой, как от тех людей во сне. «Как вы себя чувствуете?» — спросил доктор на хорошем английском. Игорь слабо улыбнулся и пошевелил рукой, показывая — так себе. И в дополнение просвистел: «Не очень». «К сожалению, мы пока не можем сказать, что с вами, — сказал доктор. — Возможно, пневмония, нужно сделать снимок. Ваши жизненные показатели, — доктор сделал паузу, нахмурился, но тут же разогнал тучи у себя на лице, превратившись во всегда приветливого тайца, — не очень хорошие», — после чего начал задавать обычные вопросы: что ел, не замечал ли чего-нибудь необычного за последние дни и т.п. И напоследок спросил: не заходил ли Игорь в канавы со стоячей водой, а если заходил, не было ли у него на тот момент открытых ран, ссадин. Игорь вспомнил вечер, когда хотел уйти из монастыря. Хрипя, сипя, кашляя, с тяжелыми передышками, он рассказал доктору про то, как он угодил в канаву, искал шлепанец. Доктор опять сделался очень серьезным и переглянулся с медбратом. Тот что-то резко сказал ему. «Возможно, у вас острый мелиоидоз, — хмурясь, сказал доктор. — Это — очень опасное заболевание. Но вы...» — тут медбрат встревоженно позвал доктора, показывая что-то на ногах Игоря. Услышав про мелиоидоз, от страха Игорь задышал еще чаще, еще мельче — перед поездкой в Таиланд он со свойственной ему методичностью прочитал среди прочего про здешние тропические болезни — лихорадка денге, малярия, и «крайне трудно диагностируемое заболевание, которое специалисты часто ошибочно принимают за пневмонию, — мелиоидоз». Осталось в памяти, что в острой фазе летальность — крайне высокая. Это все та чертова канава, где он лазил с ободранной ногой, — она всему причиной, опять очередное «вот если бы» вспыхнуло у него в голове, опять он сделал неверный выбор. А сейчас этот выбор убивает его. Игорь стал задыхаться. Так вот оно каково, когда отбирают дыхание. А ведь только оно мне и нужно, я же все осознал тут. Рано, рано, я не готов, не сейчас. И вдруг ему стало безумно жаль той уже далекой, недожитой жизни с Сан-Диего, университетом, Петербургом, «Хьюго Боссом», айфоном,

отелем с беконом, жизни, которой он якобы пресытился. Ужас сковал его. И где же этот голос, где этот южный, успокаивающий говорок, почему он не слышит его, ведь он же всегда приходил ему на помощь? Игорь ждал его. Казалось, он никогда никого и ничего так не ждал, с таким надрывом, с такой внутренней мольбой. Но голос молчал. Взгляд его упал на ярко-освещенную статую улыбающегося Будды. Что-то в ней было не так. И вдруг Игоря осенило, что это вовсе никакая не улыбка, а презрительная усмешка. Господи, какой дурак! Тут только он понял, что на самом деле все это время Будда не улыбался ему, а насмехался над ним, как он — *чужак* — здесь своими нелепыми ужимками, дыхательными упражнениями, дурацкой шагательной гимнастикой пытается кого-то обмануть — обмануть его, Будду, себя, всех вокруг, будто он что-то осознал, к чему-то приник.

И тут Будда заговорил. Голос у него был тот, знакомый, только на этот раз не придуривающийся и без всякого акцента. «Ты просто хотел сделать свою жизнь занятнее, раскрасить ее, "обострить восприятие", — в голосе не было и намека на утешение. — Ты так ничего и не понял, хотя читал про Ниббану, знал, что это слово означает "тушение свечи". "Оставьте туземцам их сказки", — усмехнулся Будда. — Без нашей, как вы выражаетесь, "философии", "религии", все это — ничто, пыль, одно ваше стремление к счастью, на котором вы все помешались. Надергали кусков, будто это шведский стол. У себя всякими своими *лайф чейнджинг экспириенсами* объелись и теперь от скуки к нам подались. Да нас же еще и решили проверить своими энцефалограммами. Даже от злости и раздражения вы хотите избавиться только для того, чтобы они не обламывали вам кайф и можно было бы наслаждаться каждым куском в ресторане и смаковать еду "осознанно" (голос иронично выделил последнее слово), чтобы можно было без помех нежиться на гладких прохладных простынях в гостинице. В этом весь смысл вашего бытия. И сильно твоя "осознанность" помогает тебе сейчас, когда ты умираешь? И ваши популяризаторы — гореть бы им в аду, если бы у нас было такое западное понятие, — в восьмом кругу ада, где по вашему Данте обитают лжепророки, хуже которых только предатели. Они извратили все наше Учение. Вы приехали не за лекарством, а за его побочными эффектами — блаженством, счастьем, которые только мешают нам достичь цели. Для нас это — как запор от хорошего лекарства. А вы приехали ради этого запора. Вы трепещете при мысли о смерти — и для вас буддизм просто еще один способ забыться, сосредоточиться на ощущениях, чтобы не думать о жизни. Некоторые из ваших популяризаторов говорят, что если долго и правильно медитировать, то можно вспомнить прошлые жизни. А в следующей, значит, и эту. То есть стать бессмертными. Господи, какая чушь! Для настоящего буддиста и одной-то жизни — слишком много. Мы здесь тысячи лет. С одной единственной целью. А вы? Хоть один из вас приехал бы, если бы действительно хотел понять, *что* мы проповедуем, понять наше Учение, Дхамму? А? — грозно спросил Будда, немного выждал и грянул, заканчивая затянувшийся разговор. — ИСЧЕЗНОВЕНИЕ, ПОЛНОЕ И ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ, — ВОТ РЕЗУЛЬТАТ ИСТИННОГО СИЯНИЯ ЧИСТОГО УМА!»

«Но», — попытался прохрипеть Игорь, но Будда уже не смотрел в его сторону. Он уже все сказал.

Мелькали огни «скорой», а тело Игоря, в аккуратно застегнутом на молнию мешке, неслось в Чанг Май, в морг. Уже виднелись ярко освещенные крепостные стены старого города. Стрекотали цикады — так сильно, будто звенели высоковольтные провода. В небе томилась влажная от жары луна.

Чанг Май — Санкт-Петербург — Берлин,
2019—2020

Евгения Джен Баранова

Из несбывшихся сердец

* * *

У меня внутри деревня
из несбывшихся сердец.
«Жизнь — возможность тратить время», —
говорил мой друг — певец.

Там, где музыка гремела,
где клубился Амстердам,
остаётся только тело,
то, что пляшет неумело
по стихам.

То, что пляшет водомеркой
и скулит — о ком? о ком?
Нарезает зелень мелко,
заправляет чесноком,

выбирает соус (лучший
из предложенных) в салат.
Жизнь — возможность тратить душу
на ненужные дела.

Евгения Джен Баранова — поэт, переводчик, редактор. Родилась в 1987 году в г. Херсоне (Украина). В 2011 году окончила Севастопольский научно-технический университет. Автор четырех поэтических сборников, среди них «Хвойная музыка» (М., 2019). Участник арт-группы #белкавкедах. Сооснователь литературного журнала «Формаслов» и одноименного издательства. Лауреат многих литературных премий, в том числе журнала «Дружба народов» (2019), финалист премии «Лицей» (2019), молодежной премии СНГ «Содружество дебютов» (2020) и др. Живет в Москве.

* * *

Где золотое, там и белое.
Надеть всё чистое, уйти
туда, где бабы загорелые
не разбираются в IT.

И над судьбой своей наморщиться,
и тронуть кедами прибой.
Весна, патлатая уборщица,
не пощадила никого.

И вот июль уже разделали,
и август звёздами прибит.
Где золотое, там и белое
кипит, и жалит, и кипит.

Лечу ли аистом над крышами,
пытаюсь тенью рисковать —
лишь золотистой пылью вышиты
на белом воздухе слова.

* * *

Мир меня поймал, но не ловил.
Что поделать с пленником — не знает.
Я живу от клавиш до чернил
и над запятыми унываю.

Ничего не будет хорошо,
из телёнка сделают ботинки.
Выдумала пасеке стишок —
выдумаю подвиг для пчелинки.

Выдумаю море во дворе,
выдумаю почерк на конверте.
Интересно, думал ли орех,
что родится шкафом после смерти?

Интересно, думала ли я,
хлопковая куколка пустая,
что уйду в молочные края,
в киселе и йогурте растаю?

* * *

Я прячу в долгой тишине
защитные огни.
Они молчат, молчат во мне,
а я теряюсь в них.

А я качаюсь рукавом,
невидимо дышу.
Плетёт обиды метроном
ритмический маршрут.

Океанической траве
смешны движенья рыб.
Но неужели я мертвец,
актиния,
полип?

Ни свежих слов, ни новых жабр,
ни сна на берегу.
Я не умею продолжать
и бросить не могу.

* * *

Нас очень много — пишущих и длящих,
впадающих в верлибр или в немилость.
— Ах, Машенька, была ли настоящей?
— Ах, Петенька, конечно, я приснилась.
Проходим незнакомцами смешными,
качаясь на верёвке бельевой.
— Ах, Дашенька, осталось только имя.
— Ах, Фёдор, не осталось ничего.

И букли, и турнюр, и гимнастёрка —
ничто не изменяет, всё искрит.
— Ах, Полинька, вы ждали слишком долго.
— Ах, Всеволод, оставьте ваш иприт.

Нас очень много.
В этом ли причина
неузнавания — хоть вейся, хоть лютуй.
— А если буквы — поезд журавлиный.
— А если тело — только поцелуй.

Георгий Панкратов

Пятеро

Рассказы

Ревность

1

Деньги были, и придумать то, что она просила, казалось не слишком сложным. Я начинал тогда работать над проектом, который должен был иметь коммерческий успех, средства вливались немалые, я не нуждался ни в чем: все последние технические возможности и научные разработки были в моем распоряжении, а успех проекта и его дальнейшее внедрение позволили бы мне прожить безбедно весь остаток жизни. А жить я планировал долго и, разумеется, счастливо.

Я был одним из самых перспективных молодых специалистов, уже имел достаточный опыт в работе со звездным светом. Обо мне говорили, меня рекомендовали. Моя профессия так и называлась — «корректор дальних звёзд». Хотя в реестре профессий она, конечно, не значилась, нас были единицы во всем мире. Да и когда речь идет о проекте, который меняет мир, и его доверяют тебе одному, имеет ли смысл говорить о точном названии?

Если совсем кратко, меня приглашали работать над упорядочиванием света дальних звезд и в отдаленной перспективе направлением его в нужное клиенту русло, а сейчас — моему заказчику на Земле, крупному метанаучному центру. Клиентами могли быть развлекательные комплексы или, напротив, деловые центры — все, кому мог потребоваться ночью яркий, несогревающий свет. Услуга могла потребоваться для корпоративов, дней рождения; конечно, такое доступно лишь избранным, но ведь прежде — не было доступно никому! Повторюсь, я собирался менять мир.

Принцип коррекции заключается в том, чтобы собрать тусклое свечение дальних звезд, рассеянное хаотично вокруг источника, который зачастую уже давно погас, в условный концентрированный пучок, перенаправить этот пучок к Земле, будто

Панкратов Георгий Витальевич родился в Ленинграде в 1984 году. Окончил гуманитарный факультет СПБГУТ им.проф.М.А.Бонч-Бруевича. Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Урал» и других. Автор книг «Российское время» (СПб., 2019), «Мечта о прекрасном, несбыточном» (М., 2020) и других. Проживает в Севастополе и Москве.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

мячик, и «раскрыть» над конкретным районом, где позарез требуется ночное освещение. Концентрированный свет тратится куда быстрее, чем неспешное многолетнее свечение, но он гораздо ярче и создает эффект десятков тысяч обыкновенных люминесцентных ламп, расположенных над освещаемой территорией. Свет проникает всюду, даже в самые потаенные уголки зданий, и необходимость в других источниках полностью отпадает. По крайней мере, по нашим расчетам все должно происходить именно так.

Для работы со светом построили станцию — небольшую продолговатую капсулу с огромным экраном на одной из сторон. Ее создавали не под меня, мне лишь доводилось бывать в ней, когда она еще стояла на Земле. Иногда ее поднимали ненадолго в небо и потом возвращали на Землю. Новый проект требовал длительной и кропотливой работы, и по условиям сотрудничества я должен был поселиться на станции, подняться к облакам и, зависнув под ними, жить и работать. До тех пор, пока не совладаю со светом, приучив его светить не там, где ему хочется, а там, куда укажет заказчик. Я мог самостоятельно подниматься вместе со станцией выше облаков и опускаться снова на дозволенное программой и необходимое для работы расстояние, остальные же передвижения управлялись только с Земли.

Все это было заманчиво, я реально мог стать первым человеком на Земле, провернувшим *такое* со светом. Я мог стать не просто корректором, а настоящим властелином дальних звезд, и эта мысль пьянила. Уже одно то, что мне оказали такую честь, поднимало мое тщеславие на невиданную высоту. По сути, чем я занимался раньше? Ну да, изучал звезды, ловил пучки света, транслировал их на землю, где в составе нашей небольшой команды долго, кропотливо, и не сказать, что слишком увлекательно, исследовал. Иногда получалось схватить небольшое облако света, сконцентрировать в пучок и бросить на освещение маршрутов для нашего космического флота. Но пучки выгорали стремительно, и министерство публично выговаривало нам: мол, в маяках такого качества мы не нуждаемся, маяк — это надежность, а ваши пучки один смех в лучшем случае, а в худшем — неверная дорога и гибель корабля. Такого не случалось, но послушав эти разговоры, на высшем уровне решили резко сократить нам финансирование. Наш центр был вынужден искать частных инвесторов, и вскоре пришлось перепрофилироваться: где большие деньги, там огромные задачи. Когда я впервые узнал масштабы запросов, был поражен: это вам не «фонарики для корабликов», как иронично отозвался наш руководитель. Нужно было высасывать весь свет из звезд небесных и выкладывать на блюдечке «звездам» земным.

Признаюсь, я думал недолго. Но у меня было условие.

— Мне нужна комната, — сказал я нанимателям.

— Само собой. Вы были на станции и прекрасно знаете, что там есть рабочая зона и зона отдыха, а также зона, где вы можете привести себя в порядок...

— Нет-нет, вы не поняли. Мне нужна *моя* комната. Я хочу, чтобы из моего дома... Он небольшой... Чтобы разобрали стены, пол и потолок. И воссоздали их на станции.

Они обещали подумать. С той встречи я беспокоился лишь об одном: только бы они не приняли решение снять меня с проекта. Я рисковал, рисковал ради Тебя.

Но Ты удивила меня. Помнишь, что Ты сказала?

— Нет, конечно, я рада. Но я не готова, понимаешь? Не готова жить между землей и небом, не готова потратить годы на какой-то станции.

— У нас будет своя комната, — убеждал я Тебя. — И не такая же точно, а *вот эта самая*. В которой мы впервые... в которой мы прожили, провели...

— Мы даже не женаты, — возражала Ты.

— Поверь, едва я овладею звездным светом, как мы вернемся сюда. Эту комнату вставят обратно, воссоздадут. И мы тут же исправим!

— Ты лучше скорей возвращайся, — говорила Ты и уходила, не желая продолжать разговор.

Вскоре меня пригласили наниматели.

— Что ж, — услышал я. — Для корректора у вас немалые запросы. Но мы посовещались и решили: ваша комната будет на станции. Собираетесь жить с женой?

— Она не жена мне. Просто любимая. Мне бы хотелось, чтобы ее могли привозить и забирать обратно. Это будет не так уж часто, я даже не требую дополнительных рейсов. Только те, что и так в плане.

Они дали согласие и на это. Но Ты сумела снова поразить меня.

— Мне нужен твой клон. Ты ведь не думаешь, что я хочу лишиться тебя совсем?

Я не поверил своим ушам. Ты не соглашалась лететь *со мной*, но не хотела оставаться *без меня*!

— Послушай, ты ведь понимаешь, что клон — это не я? Ты насмотрелась сказок о далеком прошлом и плохо ориентируешься в реальности. Это лишь название для удобства: клон.

— Я понимаю, — твердо сказала Ты. — Не думай, что я глупышка. Их называют еще мужеботами. Ну, если они для женщин.

— Да как ни назови! Это оболочка, как резиновая кукла, пусть даже во много раз реалистичнее. Она не станет мной!

— Успокойся. Я буду помнить, что это не ты.

— Хорошо. Допустим, я ничего не имею против. Но ведь Ты знаешь, что сделать клона — это не взмахнуть рукой, не дунуть-плюнуть. Это кропотливая работа, сбор информации, построение воздушной матрицы, овеществление ее, наращивание тела. А мне завтра приступать к проекту, я просто не успею!

— Что ж, готова подождать, — согласилась Ты. — Сделай клона там. А когда приеду в гости, заберу.

«Приеду в гости...» Как это мило прозвучало: приеду. Все звезды на небе свидетели: я не хотел терять Тебя. То, что Ты придумала, было на грани шантажа, но я любил Тебя.

— Но если об этом узнают... — робко возражал я.

— Ты сам говорил, для создания клона нужно только несколько программ. Ну и материал для тела, но в своем статичном виде он весьма компактен. Ты сможешь там этим заняться, а когда клон будет готов... Ну, убеди их, если просекут, что ты им нужен как специалист, похвастайся успехами. Они ведь будут?

Да уж. Пока я вечно смотрел на звезды, Ты обеими ногами стояла на земле. Это первичные потребности, без них не обойтись так долго, убеждал я сам себя. Хотя идея делать «это» с клоном вызывала оторопь.

Ты ничего от меня не скрывала. Была такой, какая есть. В конце концов, мы не первые и не последние в мире, кто создавал клонов, чтобы использовать их так. Удовольствие не из дешевых — материал, все эти программы, и не из простых. Но когда-то, на заре времен, и обычный 4D-принтер казался чем-то необыкновенным.

2

Обживаться на станции не было времени, да особо и не пришлось: что обживаться в собственной комнате? Выходя из нее, я попадал в круглый коридор, посреди которого находился цилиндрической формы лифт с раздвижными дверями. Это был стыковочный отсек. Именно к нему прибывало грузовое судно — воздушный катер, доставлявший еду. На нем же должна была отправиться ко мне и Ты.

Из коридора велиеще три выхода: в отсек, где я мог помыться и справить потребности, в миниатюрную кухню и собственно в рабочий кабинет со множеством приборов, установок, о которых я не стану говорить, — к чему Тебе знать? И огромный экран-стекло. Сидя в рабочем кресле, я видел перед собой как на ладони города нашей большой страны. Как я захотел, увидев эту красоту впервые, чтобы Ты оказалась здесь, разделила восторг и радость.

Я чувствовал себя пилотом большого космического корабля, но мой рабочий отсек лишь отчасти напоминал кабину пилота. Я не имел возможности управлять полетом, мог лишь поднимать и опускать станцию в допустимых, заданных с земли пределах. Хотя изображение, которое я видел перед собой, казалось настоящим видом из окна, хотя сам экран окном не был. Он показывал в точности тот вид, который открылся бы с обзорной точки на этой высоте, будь здесь действительно окно. Специальные функции позволяли приближать и удалять изображение, менять цвета и моделировать различные эффекты. Это было непередаваемо, захватывало дух.

Недолго думая, я принялся за клона. Его создание выглядит простым в теории, но занимает много времени. Сначала моделируется пространство и вместе с ним некое колебание воздуха, которое принимает очертания, похожие на человека. Они видны только под определенным углом, и то очертания формируются лишь по мере того, как эта сущность насыщается информацией, которая перекачивается из фрагментов кожи с разных участков тела. Эта часть самая неприятная: необходимо перетерпеть процедуру изъятия, которую выполнит специально предназначенный прибор с длинным и узким наконечником. Отщипывание участков кожи похоже на укусы крупной мухи. Кусала ли Тебя когда-нибудь муха?

Нет, теперь я бы спросил несколько иначе: какая муха Тебя укусила?

Я отвел для будущего клона самый дальний угол кабинета, мне хотелось думать о нем реже. Пытался сосредоточиться на задачах, изучал нужные звезды, вычислял кубометры света, прокладывал световую логистику, сопоставлял технические затраты и высчитывал нужные мощности.

Так прошел месяц или около того. Наконец, пришло известие с Земли; связь с метанаучным центром:

— К вам направляется первый рейс. С продуктами и прочим, как заказывали. На рейсе летит и ваша девушка. Также должен напомнить, что мы ждем от вас более активной работы. И более результативной. Не злоупотребляйте нашим доверием.

Связь с Землей прекратилась, а я сидел, глядя в экран, и думал только об одном: клон не готов. Что я скажу Тебе?

Я перепроверил программы. Пошагово все свои действия, пытаясь разобраться, где мог допустить ошибку. Проблема в том, что он никак не хотел обрастать телом, хотя материал, подключенный к системе, был готов на 95%, он разрастался и все больше тактильно напоминал человеческую кожу. Ему оставалось только остановиться в делении и принять необходимую форму, став единым целым с

бестелесной сущностью. Процент ее готовности был примерно таким же, в районе девяносто пяти. Но достигнув этой отметки, показатели отчего-то перестали расти, застыли на ней, словно скачивался объемный файл, и вдруг отключился Интернет. Такого не бывает, возразишь Ты. Знаю, это только для наглядности.

Вот ведь как получилось, думал я тогда: две сущности, материальная и информационная, стремились навстречу друг другу, и были созданы все условия, но что-то мешало. Что?

У меня оставалось не так много времени, чтобы это понять.

3

Ты помнишь? Ведь было неплохо, когда Ты наконец прибыла. Я поднял станцию выше, и из того самого окошка, откуда прежде виднелась тоскливая дорога, по которой пару раз в день проезжал автомобиль, мы наблюдали теперь облака. Они лежали под нами, будто бы у наших ног. На самом деле, это был тоже экран, но я решил не говорить Тебе.

Было совсем немного времени, служебное судно не планировало задерживаться. Мы лежали, смеясь, и смотрели в потолок, как и там, на Земле, в беззаботные дни, когда мы едва познакомились и только начинали узнавать друг друга.

Потом Ты вышла, а я присел на кровать, отдышался. Стал медленно одеваться, перевел экран в режим зеркала, причесался. Казалось бы, что могло произойти? Но именно тогда-то я впервые по-настоящему испугался.

Ты вбежала ко мне встревоженная, голос дрожал, и я сразу догадался: на сей раз Тебе не до шуток.

— Там какая-то женщина?

— Здесь не может быть женщины, — ответил я. — В коридоре тусклый свет, Ты, наверное, увидела тень и Тебе показалось.

— Я видела ее! Я видела, — упорствовала Ты.

Мы вышли в темный круглый коридор, и я включил свет. Внезапно распахнулись двери цилиндрического «лифта», это было очень неожиданно и выглядело так, будто я сам нажатием кнопки открыл их. На пороге возник человек в форме с каменным выражением лица.

— Прошу вас следовать за мной, — отчеканил он. — Мы должны отправляться строго по расписанию.

— Но здесь какая-то женщина! — воскликнула Ты.

— Здесь нет женщины. Это просто невозможно, — он протянул Тебе руку. — Прошу вас, мадам. Иначе эта поездка сюда станет для вас последней.

— А клон? — вдруг вспомнила Ты, и я сжал зубы, зажмурился. Человек в форме взглянул вопросительно.

— Кулон, — нашелся я. — Она имеет в виду кулон. Для нее это важно. Понимаешь, — я посмотрел на Тебя умоляюще. — Я не успел починить его. Там сложный случай.

Мне надолго запомнилось Твое возмущение.

— Это ты сложный случай! И вся наша жизнь сложный случай. У тебя здесь черт знает что происходит. Ты что-то от меня скрываешь!

Человек в форме не выдержал и повысил голос:

— Предупреждаю в последний раз. Вас обоих. Срыв расписания повлечет за собой серьезные проблемы.

— Да чтоб вас с этим расписанием! — в сердцах воскликнула Ты и нырнула в проем. — Чтоб вас всех!

«Глупость какая-то, — бормотал я, вернувшись в рабочий отсек. — Женщина! Надо ж такое придумать! Похоже, действительно ей нужен клон. А то, того гляди, и с ума сойдет».

Я мог отказаться от клона и сосредоточиться на звездах. Но в этом случае я мог бы забыть о Тебе. А лишившись Тебя, мне оставалось биться о стены в одиночестве, отчаянии, тоске. Какой уж тут проект! Я спроецировал поток звездного света на город, приблизил квартал и раскрыл зонд. На квартал пролился ослепительно-белый поток. Но город не видел этого, ведь я включил учебную программу. Это была просто картинка, развлечение для одного человека, застрявшего в облаках.

— Красота — повторял я. — Красота.

Глядя на квартал, залитый светом из небесного источника, я скучал. Скучал по Тебе.

Мое сердце сжималось и болело. Что-то было неправильное во всем этом: и в последней встрече, и в наших отношениях; разве я мог подумать, что они превратятся в *такое*? А Ты? Неужели *нас* мог спасти только дурацкий клон?

Вспомнив о нем, я глянул в сторону своей маленькой лаборатории и заметил странность: что-то случилось с будущим телом. По показателю на экране его объем превысил двести процентов.

При ста, допустимых для одного клона.

— Не может быть, — выдохнул я. Казалось, с этим выдохом из меня выходила душа, как воздух из шарика. Я понимал: второй клон мне здесь не сделать, права на ошибку не было. А вот сама ошибка была.

И тогда я заметил еще одну странность. Само тело, а вернее, разбухавший материал, готовившийся для него, значительно уменьшился в размерах. Но при показателе в двести такого просто не могло быть! Я подскочил и в панике добежал до угла рабочего кабинета, где все эти дни наполнялась информационная сущность клона — отдаленно похожий на человека силуэт из плотного воздуха. Дурное предчувствие не обмануло меня: сущность исчезла.

Время, доступное для материализации, истекло. И девяносто пять процентов готовности клона превратились в абсолютный ноль.

Я увидел *ее* впервые именно в тот момент. Здесь была женщина, Ты оказалась права.

4

Я бы даже не мог сказать точно, что она *пришла* в мой рабочий отсек. Она возникла в нем, появилась. Она *перемещалась* — одинаковыми ровными движениями.

Женщина была обнаженной.

Конечно, я испугался. Заорал, попытался спрятаться. Но прятаться было негде.

— Что вам нужно? Кто вы такая? Откуда? — кричал я. Полагаю, на меня было страшно смотреть.

Но она и не смотрела.

Она только ходила, словно лунатик, передвигая ноги. У нее не дернулся ни один мускул, ее лицо не выражало никаких эмоций, а глаза не моргали и смотрели все время вперед. Хотя я даже не могу сказать с уверенностью, что они смотрели.

Женщина и не собиралась приближаться ко мне. Все так же сомнамбулически она покинула мой кабинет и пошла куда-то по коридору. Меня потряхивало. Помимо

того, что не находилось никаких объяснений этому немыслимому явлению, я отчетливо понимал: мне никуда от него не деться. О какой работе теперь вообще могла идти речь? Запереть ее в комнате, ванной, закрыться здесь самому? Это все, что я мог. А что дальше? Сидеть, трястись, ждать следующего рейса пару месяцев? Да ведь я просто сойду с ума! Я отказывался думать, что мне придется провести здесь столько времени с ней. С ней!

Земля вышла на связь неожиданно. Просто погас экран с картинкой ночного неба, и на ее месте возникло лицо руководителя проекта. Руководитель говорил из своего кабинета, за его спиной я видел герб и флаг. Он застал меня сидящим на полу. Я дрожал, прислонившись к стенке, и всхлипывал. Я был жалок.

— Мне сообщили, что вы готовили клона, — голос руководителя был суров. В любую другую минуту я стал бы все отрицать, клясться, что все не так, вспомнил бы версию с кулоном. Но теперь, исполненный ужаса, я только просил:

— Заберите ее. У меня здесь обстоятельства, непредвиденные. Здесь полуживая женщина. Я уверен, что это не глюк, она реальна.

Руководитель протянул вперед руку, видимо, чтобы подвинуть камеру, и я заметил, что он находится в кабинете не один. Рядом с ним сидела Ты. И Ты была в ярости.

— Она голая, да? — кричала Ты. — Она голая? Зачем ты сделал из меня идиотку? Я что, похожа на идиотку?

Мне казалось, что я седею от ужаса. Жизнь стремительно рушилась, рассыпалась в пыль, а я не знал, что сделать, за что уцепиться, чтобы хотя бы немного замедлить этот процесс.

— Уймите ее, пожалуйста, — попросил я руководителя. — Что она делает там, у вас?

— Командир служебного рейса доложил о своих подозрениях. Простите, мы были вынуждены поговорить с вашей девушкой.

— Почему вы не сказали, что она у вас? — я был в ярости. — Почему не сказали сразу?

— А что, — шипела Ты. — Хотел все скрыть, а не получилось? Покажи мне *ее*, покажи! Ну давай, слабо, что ли?

— Я не понимаю, что это, — отчаянно кричал я. — Она не человек. Она как будто не совсем живая.

— Мы больше никогда не будем вместе, — ответила Ты ледяным голосом.

Меня охватила паника. Моя девушка приезжала навестить меня, своего вроде как бы любимого, стоящего на пороге огромного достижения, способного изменить мир! И о чем она думала? О том, чтобы я с кем не переспал! На чертовой станции в облаках, закрытой со всех сторон! Чтобы я не изменил ей там! Вдуматься только: Ты меня ревновала!

Я вжался в стену, словно меня пригвоздило к ней отравленной стрелой. Хотелось забыться.

— Я уезжаю, — твердо сказала Ты. — Не рассчитывай увидеть меня снова.

— Господи! — вскричал я.

— Не взывайте к Богу. Все, что с вами происходит, имеет вполне конкретное метанаучное объяснение, — невозмутимо сказал руководитель. — Призраки.

Я не сразу поверил в то, что услышал. Уставился недоуменно на экран.

— Да, вы имеете дело с материализовавшимся призраком.

— Что за ерунду вы порете? — не выдержал я.

— Не дурите. Вы захотели воссоздать свою комнату, и вам воссоздали комнату. Но никто ведь не знал, что вы собираетесь воспроизводить на станции мужебота.

— Я не...

— Не отпирайтесь, в вашей ситуации это более чем глупо. Вы хотя бы знаете, как производят этих клонов на Земле? Вы хоть раз наблюдали этот процесс?

— Но он технически совсем не сложный, — произнес я надломленно.

— Возможно, это так. Но вы не учли важное обстоятельство: всех клонов производят в наистерильнейших условиях, в замкнутых очищенных отсеках, созданных специально для этого процесса и ни для чего кроме! В них никто не мог не то что жить, а даже просто находиться.

— Но почему?

— Из-за тех самых призраков. Ваша комната была изъята вместе с призраками, которым не посчастливилось находиться в ней во время демонтажа и транспортировки. И эти призраки теперь у вас на станции. Вот, собственно, и все, что нужно знать.

Мне стало очень холодно и страшно.

— Но она здесь одна, — сказал я срывающимся голосом.

— Полагаю, материалом для создания тела вы запаслись. Так что должно хватить на всех, а сколько их там будет, я не знаю. Вам это станет известно скорее. Видите ли, вы запустили совсем не тот процесс, на который рассчитывали. Призраки более сильные сущности, чем вяло формирующаяся псевдосущность клона. Они перехватили у него тело и забрали себе. Теперь осталось лишь разделить материал поровну.

— Спасите меня, — только и сказал я.

— Мы что-нибудь придумаем, конечно, — ответил руководитель. — А пока пусть это будет уроком. И да, мы по-прежнему ждем результатов проекта.

Он отключился, и я снова увидел черное небо. Там светили далекие звезды, проплывали огромные мрачные корабли. Я заперся в отсеке и просидел там до утра. А потом весь следующий день. Становилось понятно, что помощь придет нескоро.

Я посмотрел на индикатор клона, и там, где еще недавно было число двести, увидел страшное: восемьсот.

Материал для тела был полностью израсходован.

5

Прошло время, и я свыкся с призраками. Это оказалось проще, чем привыкнуть к мысли, что Ты решила отвергнуть меня, отказавшись от всего, что мы так долго строили.

Их оказалось восемь. Восемь призраков, Ты только представь такое! Я выходил и считал их, а что оставалось делать? Вся еда была за пределами рабочего отсека. Об уборной вообще молчу.

Я никогда не задумывался о том, что призраки могут жить среди нас. Жить своей отдельной, даже *отделенной* жизнью.

По привычке, да и просто по незнанию, продолжаю называть их призраками и теперь. Но те, в вынужденном соседстве с кем я живу и пытаюсь работать, перестали быть призраками с тех пор, как обрели тела. Не предназначенные для них тела.

И нельзя ведь сказать, что они *живут* в этих телах, они находятся в них, как в ловушках, из которых не могут выбраться. Они пребывали только в одном состоянии — полуживом-полумертвом. Но это только казалось мне: на самом деле ни жизни, ни смерти, ни даже чего-то среднего в них не могло быть. Я не знал их природы и не хотел знать, лишь слегка догадывался, *что* произошло.

Больше всего я боялся, что они внезапно перейдут в *другое*. Что они изменятся, станут говорить, дышать, шевелить руками и, конечно, чего уж там, опасался, что они окажутся способны на агрессию. Неконтролируемую, сверхъестественную. Но ведь клоны, те же мужеботы, никогда не переходили в *другое*. Они были лишь тем, что в них загрузили. А в этих призраков, похоже, не загрузили ничего. Информацию на них никто не записал, и попав в поле влияния, которое я запустил для создания клона, они примерили тело, одно на всех восьмерых, и стали его рабами. Своим внезапным появлением они перетянули на себя все мощности приборов. Но чего-то им не хватило или что-то пошло не так, а может, что вероятнее всего, система создания клонов не была элементарно совместима с ними. Вот и дала сбой, выполнив лишь то, на что была способна, и в том виде, в котором смогла.

Глядя на город со своей невообразимой высоты, я молился, чтобы Ты вышла на связь или центр сообщил о Тебе хоть что-то. Вокруг бродили призраки в искусственных телах, и я, кажется, быстро понял, что смогу с этим как-то жить. Но вот как мне жить без Тебя?

Я ходил по коридору, комнате и всюду натыкался на них. Ворчал, ругался, орал матом, а потом, осмелев, даже стал толкать, когда они, медлительные, преграждали дорогу. Среди них больше не было женщин, кроме той, единственной. Все остальные семеро оказались мужского пола — что бы сказала, узнав об этом, Ты? Ревновала бы? Они походили друг на друга, как капли воды, но все же один из них был чуть отвратительнее. То ли мне так казалось, то ли материала тела уже не хватало, когда он материализовывался. У него было перекошенное лицо и кривые губы, я так и прозвал его: Кривой.

Прошел месяц, я каждый день возвращался к работе, поначалу через силу, я заставлял себя, но со временем стало проще. Задание не удавалось. Несмотря на верность всех расчетов и выверенность действий при проекции на город свет выливался весь. От такого обилия те, кто мог находиться в квартале, могли ослепнуть. Но с населенными домами я, конечно, не работал: для опыта была возведена модель города в далекой глуши, спрятанной от посторонних глаз.

Хотя теперь, узнав о призраках и убедившись, что они существуют, я понял: скрыться от посторонних глаз нельзя.

Однажды, в очередной раз истратив весь свет дальней звезды попусту, я выскочил в коридор и долго в бешенстве колошматил по толстой стене «лифта». Да, мои нервы стали ни к черту, подумаешь Ты, но успокою: я нашел, как спускать пар. Каких-то две минуты, и я снова в порядке: спокоен, сосредоточен. Насколько вообще возможно в таких условиях. И в этом мне помогает Кривой.

В тот раз он как нельзя кстати шатался по коридору; не помню, чтобы когда-нибудь в своей жизни поднимал руку на человека. Но передо мной был не человек, и я, обозленный, заметил его.

В общем, я измочалил Кривого. Отмолотил. Отдубасил. Избил в мясо. Я бил и бил по его тупому лицу, а ему хоть бы хны: не падал, не уворачивался, лишь слегка подавался назад, чтобы тут же вернуться, как ванька-встанька, в свое прежнее положение.

Я нашел боксерскую грушу. Идеальную бессловесную грушу, как некоторые ставят в углу кабинета куклу начальника. Моя же кукла сама приходила ко мне. Разве что сама не просила: «Избей меня».

Ты спросишь: нравится ли это мне? Да, очень. Я бью его с удовольствием, я делаю это теперь часто.

Земля выходила на связь, но мои наниматели ничего не желали слушать, ни о призраках, ни о Тебе.

— Вы там занимаетесь черт знает чем, развлекаетесь, — кричал руководитель, и какие-то люди в военной форме с автоматами стояли рядом с ним. Я их не видел прежде; мы разве нанимались работать на военных?

— У меня здесь призраки. Вы можете забрать их? — умолял я. — Что вам стоит? У меня кончается еда!

Они долго совещались там, на Земле, а потом сказали:

— Мы этого делать не будем. Технические рейсы не предназначены для подобных ситуаций.

— Но можно же что-то придумать! Пустите дополнительный рейс! Или в конце концов, знаете что... Заберите меня. Заберите меня отсюда! Для таких ситуаций у вас что-то предусмотрено?

— Да, — твердо ответили с Земли. — Для таких ситуаций у нас предусмотрен ответ: вы должны выполнить свою работу по контракту. Мы вас не заберем, пока вы ее не сдадите. То, что мы видим на полигонах сейчас, извините, непрофессионально.

Тогда я вспомнил о Тебе.

— У меня исчезла любимая. Исчезла потому, что вы ей ничего не объяснили. Почему вы ей позволили уйти?

Земля молчала.

— Мне нужно наладить с ней связь, помириться с ней! Сделайте же что-нибудь! Найдите ее, уговорите подняться сюда!

Они снова переговаривались, отвернув камеру от меня. Это было невыносимо. Наконец я услышал ответ.

— В наши задачи это не входит. Да и с рейсами сейчас не все так просто. Знаете, а у вас ведь там есть выход.

— Выход? О чем вы?

— У вас там есть женщина.

Знаешь, я даже не сразу понял, *что* он хочет сказать.

— И в чем же выход?

— Как вам снимать ваш стресс.

Экран отключился. Связь была завершена.

6

Мои опыты не приводили к успеху. Даже в начале я был к нему ближе; пусть свет в последний момент вел себя совсем не так, как требовал заказчик, но мне удавалось без особых проблем довести его до Земли, соблюдая лишь технику, наработанную схему. Теперь же свет отказывался подчиняться, хотя я и делал все в точности то же самое. Как будто изменилась сама его природа, и растворяясь в черноте, свет подавал мне сигнал: мол, больше не хочу на Землю.

Конечно, я не спешил докладывать об этом. Ко мне все так же приходили служебные рейсы, я говорил пилотам: там, на Земле, есть Ты, и Ты мне очень нужна. А тут, на станции, призраки. Тут сбои в работе. Мне очень нужна связь с Землей, говорил я. Они кивали головой и улетали. Но однажды связь пропала полностью — как будто обо мне забыли. Я понимал, что это не может быть просто так, что тем самым мне дают понять: работай, мы ждем результатов, вот будут, тогда и поговорим.

Но и здесь случилось непредвиденное.

Экран в моем рабочем кабинете перестал функционировать. Он по-прежнему показывал картинку, но только в одном режиме — обычного окна. Я не мог ни приближать кварталы, ни играть светом, ни выбирать цели, ни предпринимать хоть какие-то действия. Мог только смотреть вниз.

И думать: где-то там Ты.

Меня охватила депрессия. Я стал слоняться без дела, подолгу лежать в комнате — насвистывать что-то или молчать. И проходя по коридору, огибая в стотысячный раз за день «лифт», я даже не трогал *их*. Лишь иногда с ужасом думал, что сам все больше становлюсь похож на призрака, бесцельно перемещающегося лишь потому, что ноги способны двигаться. Я превращался в такого же, как *они*.

Иногда я вспоминал, стараясь пережить в мельчайших деталях, чтобы приятное чувство длилось подольше, как мы с Тобой жили. Как я строил планы, добивался первых успехов в своей, казавшейся тогда романтической, профессии. Я жил будущим, не замечая настоящего, а Ты упорно не хотела будущего и делала все, лишь бы его отсрочить.

Но оно наступило. Что я в нем делал кроме того, что лежал? Иногда читал. Иногда играл в простейшие компьютерные игры на тех приборах, что еще не вышли из строя. Остальные их возможности были заблокированы; все это могло быть заговором или нападением, или черт знает чем еще. Мне было все равно. Я ждал связи с Землей, чтобы взмолиться: заберите меня. Я больше ничего не могу делать. Я ни на что не способен больше.

Меня перестал заботить внешний вид: все реже заходил в уборную, чтобы помыться, привести себя в порядок. Все реже ел; последний корабль с едой задерживался, хотя прежде они прибывали четко, раз в пару месяцев. Я понимал: происходит неладное, но все же не допускал мысли, что может дойти до худшего. Стал экономить.

Завидовал призракам, — они ничего не хотели есть. Да и вообще ничего не хотели.

Я вспоминал последние разговоры с Землей в поисках зацепки, на что рассчитывать, как выкрутиться, и вдруг всплыл дурацкий совет руководителя.

«У вас там есть женщина, — будто снова услышал я. — Как вам снимать стресс?»

Его слова звенели в ушах, и я чувствовал, что они, застывшие, будто желе, впервые за долгое время побуждают к действию, провоцируют во мне импульс. Когда я услышал их в том разговоре, постарался скорее забыть. Меня воротило, тошнило от них. Я хотел и даже успел забыть. Но теперь стало так *горько*, что даже такая ужасная мысль начинала казаться сладостью.

И я нашел ее. Нашел ту, которую никогда не воспринимал *так*. На которую не вздумал бы *так* посмотреть. Она медленно передвигалась, и я шел рядом, изучал ее. Она была обнажена, и ее кожа казалась упругой, как у молодой женщины. Разве что бледнее, чем бывает у людей. Но других дефектов я не обнаружил. Все было на месте: голову женщины-призрака украшала аккуратная короткая стрижка, повторюсь, ее тело выглядело идеально гладким.

Другие призраки шли мимо нас и ничего не видели. Они никак не реагировали на женщину, как не реагировали ни на что и никогда. Да и она, если говорить честно, а я ведь всегда был честен с Тобой, не сильно от них отличалась. Прическа, небольшая грудь, округлые ягодицы. Внешне все призраки схожи, и она не была исключением.

Я решил *не смотреть в ее лицо*. Знаю, звучит ужасно, но я решил.

Чувствовали ли они хоть что-нибудь до того, как обрели тела? Я никогда не узнаю; все, что нам известно о призраках: они есть. Да и то, разве многие в это верят? Разве верил в это я сам?

Они ничего не могли сделать, никак не сопротивлялись, только смотрели этим страшным взглядом, а вернее, совсем не смотрели, не используя функцию тела: смотреть. Я хотел увидеть свет далеких звезд в ее глазах, найти универсальную формулу, как делали открытия ученые древних времен: во сне или случайно, повинуясь импульсу. Я мог бы применить увиденное в них и перевернуть свою жизнь, жизнь мира. Но в глазах, которые видел перед собой, не было никакого света.

А потом вдруг понял, обыденно, обыкновенно: ничего искать не нужно. Нужно снимать стресс.

Так мы стали парой: искусственное тело с заключенным в него призраком и я. Кто она такая? Была ли она когда-нибудь женщиной? Была ли когда-нибудь жившей, а после умершей? Или все эти призраки лишь бестелесные сущности, которые заполняли собой параллельный мир, проживали в них параллельные нашим жизни? Я не видел ее и ничего не знал о ней. Передо мной и подо мной была резиновая кукла, которая могла передвигаться. Стоило усилий уложить ее и удержать в том положении, которое мне требовалось.

Когда это случилось в первый раз, я даже о Тебе не вспомнил. Лишь выспавшись, понял: теперь меня есть за что ревновать.

Равновесие восстановилось.

7

Все это стало моей новой жизнью, и только комната напоминала о прежней. Я дошел до того, что стал говорить с призраками, рассказывать им случаи из жизни, сообщать им, что я думаю. Иными словами, если раньше я сходил с ума медленно, то с некоторых пор процесс пошел быстрее.

Минуло где-то полгода с прибытия последнего служебного рейса. Я разделял еду на маленькие кусочки и старался вообще не есть. Пил по стакану воды в день и, если честно, начинал думать, что близок конец. Я вдруг с чего-то решил, что если не буду работать, на связь со мной не выйдут вообще. Нужно было хотя бы изображать деятельность за неработающими приборами и сломанным экраном.

Но во всем, что я делал теперь, чувствовал себя тупым. Я был опустошенным, полым, мне казалось, что все знания словно вынули из меня, и оставшееся бесполезное бессмысленное существо мое осознавало, что оно слабо, что ему не выбраться. Когда Ты исчезла, я считал минуты до каждого нового служебного рейса, я встречал его как спасенье, надеясь, что Ты выпорхнешь из дверей лифта навстречу мне. Но Ты не появлялась, и надежда гасла, а потом и вовсе ушла. Ее отсутствие не тревожило больше, *не болело*. Оно стало нормой.

Я перегорел. Лежал, смотрел в окно из комнаты, шатался целыми днями по круглому коридору.

В день, когда случился тот звонок, на один из бортовых планшетов мне пришло напоминание от компании-нанимателя:

«Поздравляем, вы три года на проекте. Гордимся вашими успехами, достигнутыми вместе с нами! И желаем не останавливаться на этом великом пути». Вначале я воспринял эти слова как насмешку. Ведь больше половины из этого срока я уже не думал ни о проекте, ни о чем другом.

И только потом меня осенило: напоминание не прислали, его запрограммировали, *заложили* еще на Земле. Я получал такие прежде, но забыл.

А спустя какое-то время со мной связались.

Экран включился неожиданно, вид из окна исчез, и я увидел совершенно не знакомого мне человека, худого и лысого, в военной форме. Кажется, он стоял, и совсем не в нашем офисе, а где-то в открытом поле. За спиной его был лес, а в руках оружие.

— Я знаю, с вами долго никто не связывался, — он начал без предисловий; было похоже, что явно торопился. — Можете нас извинять, можете не извинять. Видите ли, прошло много времени, и у нас это время было, скажем так, непростым. Курировать ваш проект некому. И я думаю, это продлится долго.

Он замолчал, ожидая моей реакции.

— И... что же мне делать? — осторожно спросил я.

— Для начала гляньте в окно. Не бойтесь, я отключусь и выйду на связь снова. Просто посмотрите.

Я подумал, что давным-давно, с тех пор как решил не работать больше, не заглядывал вниз, на Землю. И то, что увидел теперь, шокировало меня, заставило отшатнуться, отбросило на пол к стене, совсем как в тот день, когда я впервые увидел призрака.

— Вы видели? — снова вышел на связь лысый. — Проливать свет у нас больше не на что. Вот если бы можно было слить на это все дерьмо солнечную лаву, так, чтобы спалить его к чертям, — он долго ругался. — Вот это было бы дело.

— Там все и так горит, — сказал я пораженный. — Все и так в огне.

— Все убивают всех. Война, — коротко ответил лысый. — Так что считайте, вы в самом безопасном месте.

Он несколько раз тревожно обернулся; похоже, на разговоры со мной у этого человека оставалось совсем немного времени.

— В общем, хотите возвращайтесь, хотите нет. Я попробую организовать вам рейс, хотя сами понимаете, это будет сложно. С другой стороны, и возвращаться-то некуда. Вы улетали совсем из другого мира, поверьте, я знаю, о чем говорю.

— Моя девушка, что с ней? — спросил я. — Вы не знаете, где она? Она выходила на связь?

Лысый посмотрел на меня жестко, но в то же время слегка снисходительно. И промолчал.

Связь прервалась. Я подбежал к экрану, нажимал на кнопки, бил по нему кулаком, но все было бесполезно. Тогда я просто застыл перед ним, стоял и смотрел на пылающие города и свое отражение в стекле: заросший, больной, исхудавший, с безумными впалыми глазами.

Я думал в тот момент: где Ты? Не понимал, не находил оправдания: как же могло случиться так в тот злополучный день? Почему Ты не дослушала, не поняла; к чему была эта ревность, зачем? Так ли была важна тень, проскользнувшая в коридоре?

Этот лысый вынес мне приговор: я остался один. И даже не успел спросить: а что с едой? Удастся ли отправить рейс? Доберется ли он? Мир рушился. Но какое это имело значение для *призрака*?

Я нашел Кривого и долго его бил. Бил головой о свое колено, о стену, кулаками по лицу, под дых, ногами. Бил и орал. Бил и пытался вернуть, пробудить в себе жизнь.

А потом сидел на полу, тяжело дышал.

— У меня, кажется, есть идея. Будем пробовать с Солнцем. Попробуем все залить. Попробуем, — я нервно хохотал.

Но хотя я и был благодарен Кривому за то, что выпустил пар, говорил я совсем не с ним. Какой толк в разговоре с призраком?

Я говорил с Тобой. Да, в последнее время я все чаще говорил с Тобой. Громким, отчетливым голосом, не скрывая своих мыслей; от этих, резиновых, у меня уже давно не было тайн. Мне казалось: чем больше я стану с Тобой говорить, тем скорее увижу Тебя. И я говорил, говорил, говорил с Тобой!

И я увидел.

8

Ты за окном, с той стороны экрана. Пылает Земля внизу, а над нами идут черные облака. Корабли с далекой высоты бросают тяжелые бомбы в огненную реку бывших городов.

Все было не напрасно, думаю я, а сам и смеюсь, и плачу. Все было ради этой встречи, ради того, чтобы видеть твое лицо. И я его вижу.

— Не надо, — говоришь ты. — Не надо.

— Думаешь, не надо? — сомневаюсь я.

Ты улыбаешься и наклоняешь голову, и яркая вспышка внизу ослепляет на миг и гаснет.

— Пусть это будет звездный свет, — говоришь Ты. — За которым ты и отправлялся в путь.

— Но там... — пытаюсь объяснить я. — Там, взгляни.

— Я знаю, — говоришь Ты. — Я *оттуда.* Не нужно менять свой курс из-за того, что *там.*

— Конечно, — соглашаюсь я, и во мне просыпаются силы. — Конечно, — кричу я Тебе сквозь стекло. — Я хочу, чтобы Ты там увидела звездный свет. Увидела и знала, что все получилось. У меня все по-лу-чи-лось!

Я бью по глади экрана и хохочу.

— Я хочу увидеть твой свет, — говоришь Ты твердо. — Я хочу.

— Может, когда-нибудь под этим светом ты построишь город.

Ты киваешь, хотя, кажется, знаешь точно.

— А если не построю, так просто буду знать, куда идти, — отвечаешь Ты.

Я прикладываю руку к экрану, и Ты делаешь то же самое. С той своей воздушной стороны. За моей спиной стоят семеро призраков, внимательно смотрят на нас. Приоткрывается дверь, и входит она, восьмая. Я наклоняюсь к стеклу, прижимаю к нему губы и шепчу еле, только Тебе одной, слышно:

— Туда, где я.

Америка

Мы были два простых парня. Вечерами брали по бутылочке пива, вернувшись с учебы или работы, и садились на широкую скамейку, одну из трех, стоящих буквой «П» у перекрестка. Смотрели на проезжающие троллейбусы, те бывали двух типов: короткие и длинные, с гармошкой; и на окружающих людей, они были одного типа: суетливые, спешащие купить хлеба, колбасы или того же пива и скорей укрыться в своих квартирах. Мы доставали сигареты, прикуривали. Я носил пилот, простые черные джинсы и бэг — дешевую тряпичную сумку. Мой друг — пуховик и спортивки. Вспоминали о чем-то, смеялись, думали, чё делать дальше. Вариантов, как правило, не было, а потому мы так и сидели, никуда не спеша.

Взглянув на нас тогдашних, любой сказал бы: гопники. Я же вообще не знал

такого слова — мы ходили куда хотели, делали, что хотели и никого не боялись. Мы выглядели так, как будто умели, и развлекались так, как умели, просто не зная других развлечений среди огромных коробок, в которых жили, и обладая теми средствами, которыми обладали, то есть не обладая ничем. Кроме смутной надежды, что когда-нибудь будет иначе, будет что-то еще, кроме троллейбусов. Можно было стоять в подъезде, покуривая в окно, или сходить на трубы. (Но это если было денег хотя бы на бутылки три: дорога предстояла дальняя, в конец района.) Или шататься по улицам, или сидеть на лавках. Пока наши домашние занимались своими привычными делами: ругались и протирали пыль.

А еще мы писали стихи. Вернее, это из нас выливались огромные грязевые потоки жутких, никчемных стихов, я измерял их количество сотнями, не успевая клепать сборники, и только на восьмом обнаружил: что-то наконец получилось. Писал их и Антон, так звали друга, и другие наши приятели, все вместе мы ходили на Корабль — странную квартиру, куда нужно было позвонить семь раз подряд, чтобы тебе открыли. Там жил худой и непрерывно курящий человек старше каждого из нас, а нам было лет по девятнадцать. Он выпускал «самиздатовский» журнал, и мы, запасшись бухлом и стишатами, спешили на этот Корабль, чтоб вместе с ним снова идти ко дну. Там были люди с никами «Валькирия», «Дементия», «Тёмная принцесса», DarkBlackRain — нежно влюбленные в свой образ толстые девочки, угловатые, некрасивые мальчики. Все молчаливо признавали, что вряд ли когда-нибудь поднимутся на борт большого литературного корабля, и, приняв это умолчание, ожесточенно спорили на страницах самопального журнала, боготворили или разбивали в прах, строили козни, давили, ломали, грызли друг друга. Все как и положено по-настоящему. Однажды у Антона появилась дикая идея: он придумал для нас премии. О литературных мы не знали, вдохновляло радио. Помню их названия: «Поэтика», «Строфика». Можно было награждать друг друга, голосуя в прокуренном подъезде возле лифта, прижавшись к теплой батарее спиной.

Об этих людях, хотя и не нашел со многими общего языка, вспоминаю с теплотой. Спустя много лет я упомянул о них в своей так называемой победной речи, когда меня пустили поглазеть на мир гигантов мысли, на большой и уже настоящий корабль — вручение премии, придуманной не Антоном. Победы не случилось, но по изуверским условиям премии сочинить такую речь должен был каждый. Наивный, я написал о тех парнях и девчонках, что живут литературой, но даже не верят, что когда-нибудь им дадут сигнал с большого корабля: поднимайтесь на борт! Должно быть, восседавшие в жюри изрядно потешались над той моей запиской: «Вот идиот-то!» У меня не было ни одного знакомого на их большом и сияющем Корабле, и меня, схватив за руки и за ноги, выбросили за борт: «Литературой займутся другие, за нее не беспокойся. А ты — дерьмо. Тебя ждут другие дела, дерьмовые».

На Корабле-то мы и познакомились с той девушкой, у нее был псевдоним «Шелли». Она была старше нас, готовилась стать инженером, и у нее уже была книжка, выпущенная в издательстве, настоящая. Шелли никогда не показывала ее нам, но мы, раскрыв рты, верили. И пригласили посмотреть на троллейбусы, обещали угостить пивом. Она долго сомневалась, но, видимо, не смогла устоять перед обаянием простых петербургских лузеров с окраины. А вероятнее, просто хотела развеяться, тоже убить время.

И вот она сидела, болтая ногами, в красном пальто, на одной из трех скамеек, другие занимали мы с Антоном. И, конечно, старались ей понравиться: от нечего делать, просто так, ибо если встречаются девушка и два парня, по-другому быть вроде

не может. Антон убеждал ее участвовать в придуманной им тотчас новой премии, а она, понимая, что для этого придется читать мусорные стишата одиноких, истосковавшихся по женскому вниманию парней, отнекивалась как могла.

Моим козырем было то, что я не только писал, но и читал в недолгих перерывах между распитием алкоголя и созерцанием троллейбусов. А раз читал, то и писал, соответственно, больше. И у меня была книга, а если быть честным, простая тетрадка в клеточку, наполненная матом, извращениями и убийствами до самой последней страницы. Я писал бы еще, но тетрадка кончилась. Шелли была высокого мнения об этой «вещице», она называла ее отборным и даже талантливым — нет, мне это не слышалось — трэшем. Но я не знал, что значит трэш, и искренне утверждал, что написал книжку о трагичности любви и, в принципе, ее невозможности. С тех пор для себя так и определяю: трэш — это произведение о невозможности любви. Шелли смеялась.

У Антона был свой джокер — он разбирался в фэнтези и фантастике, сыпал терминами, каких я даже не слышал, и пересказывал сюжеты, от которых меня клонило в сон. Но Шелли нравилось, и я с каждой секундой все отчетливее понимал, что Антон завладевает ее вниманием окончательно и бесповоротно.

— Не, — говорил я, отхлебывая пиво, — фэнтэзи и фантастика — это все туфта. Не нужно бояться реализма.

— Да ну тебя с твоим реализмом, — Антон занервничал, ведь в реализме ничего не смыслил.

Едва он это договорил, к нашим скамейкам подошел мужик, на вид лет под пятьдесят. Бородатый, усатый, с пьяным уставшим взглядом. Он присел на скамейку, а заодно и нам на уши.

— Вы тут все о поэзии, — начал он. — А я вот о ненависти.

Мужик помолчал, но заметив, что мы никак не реагируем, вдруг громко крикнул:

— Ненавижу!

И обхватил голову руками. Похоже, ему было нехорошо. Но кого он так ненавидел? Нас? Это вряд ли. Чем мы его могли так раздосадовать? Жену, выгнавшую из дома? Нехватку денег на пиво? Свою неудавшуюся жизнь? Мы не терялись в догадках, мы просто сидели, но мужик не выдержал и признался сам:

— Америку! Америку, мать ее, ненавижу.

Одет он был бедно, под стать нам с Антоном. Пуховик с красными и синими полосками, джинсы, кроссовки.

— Я во Вьетнаме бывал, слышьте, — заговорил он скороговоркой. — И в Афганистане бывал. И в Северной Африке тоже. И в Центральной Африке.

Я не знал, как реагировать. Мы не бывали нигде, кроме собственного района, и вряд ли могли поддержать разговор.

— А что же вы здесь делаете? — спросила Шелли с усмешкой. — Отдыхаете?

— Отдыхать на кладбище буду! — отрезал мужик. — Охраняю вон, халабуду, — он показал рукой на минимаркет через дорогу. — А чё еще делать?

— Америку ненавидеть, — нашлась Шелли.

— Не, ну я же не просто так, с нихрена вот! Америка нас унижает, Америка нас поставила на колени. Почему это все? — он описал руками неопределенный жест. — Потому что Америка.

— Ну, я тоже американосов вообще не люблю, — неуверенно поддержал Антон.

Я молчал. Девушка напротив интересовала меня куда больше, чем Америка. Да и друга тоже. Зато она совершенно не интересовала охранника.

— Ну, вот вы и нашли друг друга, собеседнички. Темы у вас есть общие, сидите, общайтесь, — вежливо сказала Шелли и незамедлительно упорхнула.

— Вот и правильно! Проваливай, — бросил вдогонку незнакомец. — В свою Америку!

Мы с тоской провожали ее глазами, наблюдая, как она пересекает перекресток и садится в маршрутку. Ее больше не будет ни в этом рассказе, ни в каком-то другом. А мужик еще будет некоторое время, и будем мы с Антоном, до конца.

— Ну твою ж мать! — выругался Антон.

— Бабы все такие, — замотал головой охранник. — Сначала они с тобой туда-сюда там, то да сё, — он листал свой мысленный словарь синонимов, но так и не найдя ничего подходящего, плюнул. — А потом валят в Америку.

— Мужик, — в сердцах сказали мы. — Далась тебе эта Америка!

— Да мне она знаешь куда далась! Но ведь жить не дает, зараза. Жить не дает!

Незнакомец изливал нам душу, говорил о самом сокровенном. Вот только мысли давались ему все сложнее, и временами он только мычал и пытался махнуть рукой.

— Ты скажи мне, — выпалил он так быстро и громко, насколько хватило внезапного просветления, — вот у нас страна такая большая: Калининград там, Ленинград, Урал, прикинь, Урал целый! А Сибирь-то, Сибирь! А Сахалин! — тут он и вовсе вытаращил глаза. — Сахалин-то! Вы были хоть на Сахалине, пацаны?

— Ну что тебе сказать про Сахалин, — поддержал, как умел, Антон.

— Я бы съездил, — сказал я. — Да не приглашает никто.

— Вот и я говорю: съездил! Я бы тебе по морде съездил!

Он посмотрел на нас косо, но тотчас направил агрессию в привычное русло.

— А у них страна никакая! Есть там Калининград? Нет Калининграда. Есть Ленинград? Нет Ленинграда. Ни Урала у них, ни Сибири, твою их мать, нет. А Сахалин? Чё, думаете, Сахалин у них хотя бы есть?

— Иди проспись, мужик. Вот что мы думаем.

— Вот и я говорю! Нет у них Сахалина, — торжествующе сказал охранник и начал осторожно подниматься. — А еще Америка!

Собирался он долго. То стоял, нависнув над нами, как туча, то бормотал что-то бессвязное, сопел, рычал: «ненавижу».

— У нас — образование, а у них черт-те что.

Эта последняя претензия к Америке меня рассмешила. Я полез в карман за сигаретой, а мужик, наконец-то потеряв к нам интерес, поплелся к светофору.

— Ну чего, теперь на Корабль двинем?

А куда нам было деваться? И пусть этот Корабль пришвартован навеки к нашему району, пусть мы никогда не побываем на нем ни в Америке, ни на Сахалине, но хоть поднимемся на борт, ведь так скучно в этом порту, на трех скамейках, да еще и вдвоем, без Шелли.

— Эй, смотри! — изумленно крикнул Антон.

Наш недавний собеседник шел, пошатываясь, к троллейбусной остановке, и только теперь я догадался, что же так впечатлило друга.

Во всю спину охранника, в цветах знакомого всему миру флага, красовались огромные буквы: U.S.A.

Сопли

Вступление

Боль.
Боль от радости
Боль от счастья
Боль от болезни
Боль от любви
Боль от дружбы
Боль от вокруг
Боль от внутри
Боль от белого
Боль от боли
Боль от себя
Боль от нечего делать
Боль от ненужности
Боль от необходимости
Боль от вечности
Боль от сладости
Боль от гадости
Боль от сна
Боль от утра
Боль от бухла
Боль от раны
Боль от сердца
Боль от мозга
Боль от того, что
Боль от того, кто
Боль от безумства
Боль от света
Боль от мрака
Боль от вас
Боль от себя
Боль от любя
Боль от губя
Боль от чувства
Боль от солнца
Боль от луны
Боль ото всего
И отовсюду

Невступление

Я на крыше.
Холодно и мерзко.
Вниз — страшно.
Назад — противно.
Вправо, влево — бессмысленно.
Надо мной — холодная луна.
В руке — портвейн «777».
На душе — гнило.
FUCK!

7:37

— Алло, — злостно сплевываю на пол.
— Бухать пошли!
— Да задолбало, — зеваю.
— А что делать еще? Хоть деньги есть.
Думаю.
— Черт его знает!
— Что еще делать в этой жизни? Поскорее допить ее до дна да проблеваться!
— С каких это пор ты пустился в эти рассуждения?
— А вот! — не без гордости. Придурок!
— А мне наплевать.
Зеваю. Моя задача — опустить его. Его — опустить меня.

7:50

Жахнули по первой. Соленый огурец — отличная вещь. Но его нет, поэтому маринованный тоже сгодится. Вышли покурить. Молчим. О чем говорить-то?
— Нормально бы сейчас потрахаться с какой-нибудь бабой, — говорит он.
— Да, — зеваю я.
А сам думаю: «Ну уж нет, на хрен».
Я выработал-таки в себе отношение к жизни.
Я плыву по течению.

8:03

Сварены пельмени. Это обстоятельство меня радует. А то я уже чуть не уснул. До чего же скучна и однообразна жизнь! Раньше меня радовало хоть бухло. Теперь и оно не радует. Зачем тогда все? Жру пельмени.

8:14

Снова пьем.

8:15

Снова выходим курить.

8:27

Покурили, поговорили. Ему уже весело. Он что-то суетится, чего-то хочет. А чего можно хотеть? Хотеть-то нечего. К чему стремиться? Не к чему. Зачем?
А незачем.

9:05

СОПЛИ
СОПЛИ
СОПЛИ
СОПЛИ
СОПЛИ

18:51

Больно. Как больно жить на этом свете!

По России:

— убийств: 81
— ограблений: 316
— изнасилований: 14
— суицидов: 8
— автомобильных аварий: 1665

По барабану:
— убийств: 81
— ограблений: 316
— изнасилований: 14
— суицидов: 8
— автомобильных аварий: 1665

Не по барабану:
— хочется в сортир;
— хочется блевать;
— хочется курить;
— хочется летать;
— хочется любить кого-то нежно, тепло и безответно;
— хочется Жить.
Не жить — нет, жить не хочется.
Хочется Жить.

18:56

Мир умнее меня в сотни тысяч раз. Тогда зачем я? Это меня угнетает. Впрочем, что меня не угнетает? Ладно.
По полу ползут тараканы. По полу ползут тараканы.
Сопли бегут ручьем из носа. Они капают на пол.
ЧПОК!
ЧПОК!
ЧПОК!
Все потеряно.
Все потеряно.
Все потеряно.
Скажите! Ладно, не говорите.
Чпок, чпок, чпок, чпок, чпок...
Капают так...
Простите меня...
Простите меня...
Простите меня...
Я бессилен.
Вы, кстати, тоже.
Но не настолько.

19:24

Опрокинул еще одну.
Горе! Какое горе! Нельзя пить, когда тебе и так хреново. Если ты насквозь протух, свою вонь вряд ли спрячешь.
Я: Да ты охренел совсем, я смотрю!
Он: А по щщам не хочешь?
Я: А ну давай, на!

19:15–19:21

Получаю по щщам. Но мне наплевать, хоть сдохну! Так приятно. Так кисло и кроваво в рот тебе течет твоя кровь, и я в снегу, я пьян и мерзок.

19:48

Плетусь, куда не знаю. Что-то ничего не думается и не хочет думаться. Хочется спать. Заваливаюсь в сугроб.
Завтра будет новый день.

19:54

Не засыпается.
Отчего-то тревожно.
Недалеко от меня пустая дорога. Иногда кто-то проходит, но редко. Тишина успокаивает. Я представляю, что рядом никого нет. И это действительно становится так.
Падает снег. Я радуюсь снегу, как бешеный, как безумец. Я ловлю его, он блестит на моих руках, в моих волосах, я ловлю его ртом, я гляжу в небо, и сопли, сопли текут так противно, так мерзко, так гадко текут на этот снег, на этот сугроб. На этот мир. Текут, текут — сопли.
Падает, падает — снег.

20:02

Безумное одиночество, поедающее меня изнутри и рвущееся наружу в этот огромный, бессмысленный мир.

20:21

1. Уродство мира.
2. Светлая, светлая, светлая, светлая, светлая, светлая, светлая, светлая, светлая, светлая, светлая, светлая, светлая, светлая, светлая, светлая, светлая, светлейшая, свет, свет, свет.
3. Святая.

20:38

Уже, уже, уже, уже, уже...
Я знал.
СОПЛИ.
Но ничего ведь не изменить.
«Уже» распадается на восемь миллиардов веществ, и теперь я уже не то.
Я это.

20:50

Слепая тоска по чему-то ушедшему, а может, и не приходившему, по чему-то недосягаемому, изначально потерянному, по чему-то неизвестному и непонятному. Зов оттуда. Пора?
Пора, пора пришла.
Но как же это всё? Как же то, что, быть может, только начинается? Как же тонкий стебелек чего-то, пробивающийся сквозь мертвый асфальт жизни? Неужели он тоже обман? Неужели опять fake? Неужели это снова безумие мира, маска бессмысленного существования?
Мне не дано этого знать. А потому я не верю в то, чего не знаю. Не верю, не надеюсь, не люблю.

20:54

Возвращение обратно. Туда, в изначальную боль бытия, в глубину собственных глаз, в вечность собственной души. В изначальные сопли.

20:59

Тоска, боль, страх, нетерпение, переполненность болезненным ожиданием. На чаше весов пусто*т*ы жизни: смысл и радость, ничто не перевешивает, потому что ничто ничего не весит.

Ноль на ноль не дает ноль, дает 00, кабинет 00. В нем сидит Великий Хозяин Жизни, Бог Моего Сердца, Ангел Моей Души, Светлая моя, Святая моя, моя Вечная. Она там, в Кабинете 00. А сопли текут, а сопли все текут и текут, стекая к Ее ногам, омывая их своей чистотой, своей безнадежностью и серо-зеленой любовью, моля Ее о чем-то, о чем-то Ее моля.

21:83

Прости иллюзии.

Всегда — только хорошего.

Пусть только хорошее у тебя.

А в остальном так же, как у всех.

22:04

Сопли, сопли, сопельки...

Страшно. Страш... Но надо.

Пойду попью чаю. Я озяб. Было бы хоть что-то. Было бы здесь хоть что-то!

Но ничего нет.

22:15

Если бы кто знал... Нет, если бы кто понял. Но я и сам не знаю и сам ничего не понимаю. Я выливаюсь из себя, теку через края, и сопли текут тоже, они текут рядом и перемешиваются со мной, светлые, чистые, прекрасные, символизирующие вечные ценности нашей жизни.

22:33

Я перестал думать.

Я отключился от всего.

Я вошел в энергию Соплей. Моя самореализация на планете Земля проходит как никогда успешно. Задание номер «2» считаю невыполнимым. Наши с ним не справятся. Прошу вернуть меня обратно для усиленной подготовки к выполнению задания номер «2».

А, нет, не так.

Я все прочувствовал. Умоляю об амнистии. Это сраная планета. Я больше не могу.

22:44

Неизвестно что

Непонятно что

Не удивительно, что

По-прежнему текут сопли. Они стекают с крыш домов и медленно сползают по стенам, разливаясь густыми скользкими лужами возле подъездов домов, смрадно воняя, заливая собой ВСЁ.

22:57

Сопли текут с неба. Они льются над городом, заливая дома, машины, людей. Особенно страшны кровавые сопли. Они разливаются на асфальте. Все вокруг в соплях.
Ответ не поступает. Я застрял здесь. Мне надоело ощущать это все.

23:31

И удивились все: зачем так много зла на Земле? И ужаснулись они. И стало его еще больше.

23:58

Вечность черной звездой накрывает Землю. Души людей, жизни людей, надежды людей — все накрыто ею.
Великий звездец.
Я здесь навечно.

23:59

А кто-то все это любит. Рисует картины и восхищается. Есть ведь романтики, они любят друг друга, они, может быть, вместе.
Но это обман.
Никто не может быть вместе.
Каждый одинок.
Каждый обречен.

0:00

Гости встают. Хозяйка дома улыбается, все наперебой кричат «С новым счастьем!» и чокаются бокалами. Кто-то целуется, все счастливы. На лицах улыбки.
Глоток, другой. Все выпивают до дна свои бокалы с полусладкими соплями и садятся за огромный стол с яствами несметными, есть свою красную икру.
А за окном — взрывы, фейерверки, петарды, радостные и пока еще слегка трезвые голоса. Утрите сопли, господа, и пусть сбудутся все ваши мечты, как это всегда случается в Светлый праздник встречи Нового года.
Разве не так?
Со старым новым счастьем!

Ущерб

Вадим жил с Вероникой уже седьмой год. Не расписался — и так нормально. В последние месяцы сидел без дела — был отделочником, но слишком высоко не котировался. Работу не предлагали. Так, подхалтуривал иногда: в его тридцать восемь поздно было искать что-то новое, рыпаться. В общем, жил в ожидании лучших времен.

Иногда что-то делал по дому, встречал-провожал жену. Та крутилась в офисе. О работе жены он не знал ничего, и ему было неинтересно. Отношения с Вероникой были нормальными — не в том смысле, что без проблем, а в том, что без искорки: ну, не искрилось между ними после стольких лет. Но и Вадим, и Вероника поступили так, как «поступают все»: забили на это. Что же, расходиться теперь, если нет искорки?

Развлекаться Вадим не умел, а у жены не было времени. Иногда гуляли в ближайшем парке. Вадим стоял на балконе и докуривал, осматривая двор, Вероника осторожно открывала дверь и предлагала: «Пойдем?» «Ну пошли, чё», — отвечал

Вадим, и они выходили на улицу. Приближался Новый год — хоть и через месяц только, а думать уже надо: как отметить, где деньги брать, сколько... Да и просто можно было фантазировать, представляя, как на несколько долгих и сонных дней все вокруг станет хорошо. Сказочно.

— А, вспомнила, — сказала Вероника по дороге. — Надо в офис смотаться за документами. Завтра ж к этой... — она выругалась, — через весь город переться. Вставать рано. А я их забыла, вот дура!

— Да езжай ты с утра, — вяло возразил Вадим.

— Ну, Вадим, ну чё ты... Это мне в пять утра вставать надо. Как маленький. На автобусе доедем — полчаса, и свободны.

— Ладно, поехали, — безучастно сказал Вадим, и они отправились на остановку. Вадим закурил.

— Вот подарю тебе на Новый год никотиновый пластырь, — пошутила Вероника.

— Не-не-не! — бурно возразил Вадим и пояснил, где он видел такие подарки.

— А вообще, давай друг другу не дарить ничего, — предложила Вероника. — Сэкономим. Съездим к маме, погостим...

— Ой, на фиг надо, — скривился Вадим, — к маме твоей... Давай у нас лучше. Фейерверки позапускаем.

— Ага, — Вероника поднесла руки к лицу и шумно выдохнула в них, а потом улыбнулась, взглянула на Вадима добрым взглядом. — Скорей бы.

— Скорей бы автобус, — буркнул Вадим. — Хабец выкину.

Подходя к урне, Вадим краем глаза заметил, как грузовик на противоположной стороне улицы стал разворачиваться — остановка находилась на перекрестке их двухполосной улицы не с переулком даже, а с узенькой асфальтовой дорожкой, по которой завозили продукцию в универсам.

«Ну и как он тут проедет, дятел?» — подумал Вадим, и вдруг эту мысль перебила другая, шальная и страшная. Его обдало холодом, словно кто-то швырнул в лицо снега, и он обернулся. Пытаясь уйти от удара, прямо в остановку неслась черная иномарка. И в этот же миг все вокруг стихло, только кружились в желтом свете фонаря снежинки.

Вадим повел себя странно: он не бросился к остановке сразу же, не закричал — он закрыл глаза, чтобы ничего не видеть, и долго стоял так. Когда наконец двинулся к месту, вокруг уже толпились люди, кто-то суетился и причитал, кто-то щупал пульс. Жена лежала как живая, только мертвая. Немного крови на висках — и все. И в руке сумка.

Неподалеку остановилась разбитая иномарка. За рулем сидел крупный человек в тонких очках, бритый наголо, в сером пальто. Он смотрел прямо перед собой и не шевелился.

— Я убью тебя, сука! — заорал Вадим. Стучал по стеклу кулаками, затем водитель опустил стекло. — Что ж ты сделал-то?!

Потом были похороны. Точнее, была кремация, но русский человек не скажет «был на кремации», он все равно скажет «на похоронах». Народу было немного — девчонки с работы да ее родители. Они Вадима не любили. Жили они с женой в своей квартире, так что съезжать никуда не пришлось. Но кроме квартирки, доставшейся от родных, у него ничего не осталось.

Началось разбирательство. Вадим ходил в суд неохотно — для дачи показаний, пару раз. Уже в первый день мужчина из иномарки высказал желание поговорить. Они зашли в пустой зал и долго сидели, молчали. А потом водитель резко, безо всяких предисловий, предложил ему миллион.

— Ты что же, сука, откупиться хочешь?! — взревел Вадим.

— Видишь, — спокойно сказал водитель, — я не то чтобы очень богат, но... Я не зверь, так вышло случайно. Перед Богом я все равно виноват... Я просто хочу помочь. Это не то что моральный ущерб... Да, никакими деньгами... Но это единственное, что я могу сделать.

— Пошел ты! — крикнул Вадим, направляясь к выходу. — Засунь себе в жопу, понял?

— Придешь в следующий раз, сообщи реквизиты, — устало сказал водитель.

«Ущерб! — думал Вадим дома. — Ишь ты!» Ему не нравилось это слово: так его дразнили школе. Кликухи такие были, у всех разные. У него вот «Ущерб». Вспоминать было неприятно.

Когда снова пришел в суд — дал номер счета, и в тот же день ему упал миллион.

Потом он весь вечер пялился в «ящик». Думал мучительно: «Как потратить деньги, чтобы с умом, или вложить во что-то. Но во что?» И еще подумал с горечью: «Как она была бы рада! Перед самым Новым годом — миллион!»

Сразу постановил для себя: не бухать. Ни в коем случае. Но в первый же вечер навалилась такая тяжесть, что оставаться трезвым было невыносимо. Он отправился в бар и пропил двенадцать тысяч.

«Ничего, — думал, — скоро выйду на работу. Отработаю, доложу обратно. Буду считать, что свои пропил. Считай, взял в долг. У мертвой жены...» От тоскливых мыслей хотелось напиться сильнее, чтобы забыть их.

Но наутро навалилось такое похмелье, что Вадим понял: он может банально сдохнуть. Башка разорвется на части.

Так он провел две недели. Иногда звал приятелей. Иногда ночевал дома, подолгу перед сном глядел на ее фото, что стояло на подоконнике возле тощего цветка. Было тошно.

Потом была Лига чемпионов. Однажды, смотря «под пивко» матч, Вадим увидел в кадре красивых болельщиц. Почувствовал сильное желание — и просто никак не смог справиться. Покопался на сайтах и вызвонил двух женщин — Вадиму нужны были две. Полночи занимался непотребствами, пока хватало сил. Бросив распаленный страстью взгляд на подоконник, увидел ее фото. Подошел, отвернул.

Назавтра Вадим осознал, что пить больше нельзя. Весь день проклинал судьбу, вечером подсчитал деньги: семьсот тысяч, не так плохо.

Новый год был совсем скоро. Было ужасно встречать его без Вероники, но он решил сделать подарок себе — больше все равно некому. А заодно и ей: может, видит с небес, порадуется. Купил новый диван, «плазму», мощный компьютер, остеклил балкон — купил материалы, вызвал рабочих. Подключил, наконец, кабельное телевидение — Вероника давно хотела. Еще четыреста тысяч осталось.

После праздников приезжали ее родители, поразились переменам. Хотели забрать вещи дочери — что-то из одежды, белья, мелочевку, но Вадим пожал плечами. «А я все выкинул», — сказал он простодушно. Чтоб отстали, пошел в комнату, отсчитал сто... потом передумал — пятьдесят тысяч. Триста пятьдесят положил в ящик, рядом с паспортом и ИНН.

А потом Вадим обнаружил, что совсем нет одежды, обуви — и отправился в магазин. По дороге обратно купил хороших продуктов — огромную тележку. Еле дотащил. Пока тащил, подумал, что неплохо бы автомобиль. Да только вот какой? На двести семьдесят тысяч особо не повыбираешь.

Сговорился с мужиком на сайте «Авито». Мужик оказался нормальный, работяга, поняли друг друга быстро.

— Нормальная? — спросил Вадим, кивая на машину.

— Нормальная, — кивнул мужик.

Ударили по рукам. Осталось еще двадцать тысяч и несколько сотен, и доехав до дома, Вадим отправился в ночной ларек взять пивка. Не торопясь, зашел в подъезд, выругался — как всегда, там было темно. Вспомнил, как Вероника просила вставить лампочку. «Да чё ее ставить! Сразу же упрут».

В темноте сверкнули огоньки сигарет — и пара быстрых ударов свалила его на пол. Вадим не успел ничего понять. Последнее, что слышал, — гнусавый голос:

— Двадцак и мелочь.

— Нормально! — ответил второй, такой же.

Очнувшись, побрел домой — умылся, упал на диван, отоспался.

Наступала весна. Деньги кончились, даже те, что удалось выручить с продажи «плазмы» и компа. Спустился к почтовым ящикам, достал газету, нашел номер. Позвонил.

— Ребят, отделочники нужны? Нормальный, много не пью.

На следующий день пришел на объект — квартира с множеством окон, просторной кухней, несколькими комнатами и двумя — Вадим присвистнул — туалетами. Прораб обрисовал задачу, познакомил с другими работягами. Мужики вроде нормальные, решил Вадим. Оставалось дождаться босса.

Когда в квартиру вошел человек в сером пальто, бритый наголо, в тонких очках, Вадим уже не чувствовал ничего. Он не вскочил с места, не бросился с криком: «Ты, сука!» Нужны были деньги, нужно было работать, жить.

Они только обменялись взглядами — короткими, выразительными.

— Смотри сам, — выдохнул мужчина.

— Ничего, — шмыгнул Вадим. — Нормально.

— Ну ладно, — сказал мужчина. — Работай.

Прораб на будущей кухне уже дожидался его: нужно было решить по деньгам.

Жёлтые тюльпаны

Раздался звонок в дверь. Спешно выскочив из ванной, Игорь помчался в комнату, разбрасывая по квартире брызги, вытираясь на ходу полотенцем. Схватил штаны, принялся натягивать на мокрую ногу.

— Сейчас, сейчас!

— Кто там? — крикнула с кухни жена.

— Не знаю. Секрет, точнее. Да хватит уже звонить! Сейчас, говорю, выйду.

Поискал тапки, надел. Вышел на площадку. На пороге стоял курьер, протянул пакет.

— Здравствуйте. «Петцвет», доставка.

— «Петцвет»? Вы так называетесь?

— Я нет, а фирма — да. «Петербургские цветы» для недогадливых. Держите вот, ваши тюльпаны.

Игорь недоуменно фыркнул, но взял пакет.

— На сайте было по-другому.

— Всегда так. Виртуальная реальность!

Игорь хотел было расплатиться, но пакет в его руке раскрылся, он хмыкнул и вопросительно уставился на курьера.

— Четыре тысячи, — вежливо уточнил курьер.

— Желтые, — сдавленно ответил Игорь.

— Ну да, желтые.

— Я же заказывал оранжевые! На сайте были оранжевые. Сегодня у нас годовщина с женой. И как мне теперь поздравлять?

— Попробуйте так, — неуверенно предложил курьер. — Желтые — почти оранжевые.

— Но это не одно и то же! Где мои оранжевые? Желтые — это же, это... вестники разлуки. Как дарить?

— Ну да, — курьер улыбнулся. — Цвета запоздалой утренней звезды.

Игорь помялся возле пакета, достал букет и напел негромко:

— Желтые тюльпаны помнят твои руки.

— Помнят твои губы, — поддержал курьер и тут же осёкся.

Игорь закивал: ничего, нормально.

— Строгие цветы, строгие цветы, — пробасил он.

Курьер оживился, задвигался в дверном проеме, будто желая пуститься в пляс, но так и не решаясь:

— Ты уедешь скоро, опустеет шумный город!

— Так, ну хватит, — оборвал его Игорь, сунул деньги и направился к квартире. Кашлянул перед тем, как потянуть ручку, улыбнулся во весь рот:

— Люби-и-и-имая!

Он шагнул в дверной проем и тотчас ощутил чувствительный толчок в спину. Пошатнулся, едва не упав, но удержал равновесие. В уши ворвался шум, перед глазами запестрели краски. Мимо него шли люди, не сбавляя шага и не обращая на Игоря никакого внимания. В руках был все тот же букет, но всё вокруг изменилось и стало совсем другим. Ничего не понимая, Игорь обернулся и увидел распахнутые стеклянные двери, а за ними множество цветов.

— Магазин? — удивленно спросил Игорь.

Он увидел румяную женщину в фартуке и резво направился к ней.

— Что такое? Как все это понимать?

— Вас не устроили цветы? — невозмутимо спросила женщина.

— Вообще-то да, — сказал Игорь и быстро осекся. — Только дело не в этом. Ведь я был в квартире, ко мне приходил курьер.

Он не успел договорить, как заметил зеркало. Бросился к нему, перевел взгляд на женщину, снова на зеркало.

— А это что?

— Зеркало, мужчина. Не зря я сразу учуяла, что от вас разит.

— Но я ничего не пил! Не понимаю. Я ведь старше, а здесь словно лет на семь помолодел!

Женщина остановилась перед ним и посмотрела внимательно. Не смогла сдержать улыбки:

— Вы взяли как раз семь цветов. Берите еще, если все так удачно.

Игорь глянул на букет: и вправду, семь тюльпанов. Не маловато ли для годовщины? «Что, на сайте ошибся с выбором? Или снова курьер напутал?»

— Я купил их второй раз в жизни, — произнес он, собравшись с мыслями. — И только из-за досадной ошибки.

— Еще недавно вы утверждали, что в первый, — женщина развела руками. — Странный вы. Если это какой-то розыгрыш...

— Розыгрыш, — Игорь уцепился за спасительное предположение. — Вот и мне хотелось бы так думать.

— Вы говорили, что торопитесь?

— Я? И куда я мог торопиться?

— Видимо, к той, для которой букет?

Игорь закивал, будто внезапно все понял, хотя не понял ровным счетом ничего. Попятился. Обнаружил себя в том же месте: торговые ряды, цветочный за спиной; ни коридора, ни квартиры, ни курьера. В голове искрило, трещало. И вдруг — словно бы на секунду застыл мир, замедлили движение прохожие, перестали пахнуть цветы, и только Игорь стоял, окруженный воссозданным воспоминанием: он уже был здесь, он уже все это видел. Прожил.

Гипермаркет «Окей», Купчино. Он вышел из огромного здания с рюкзаком на спине, встал под навесом у входа, открыл зажигалкой пиво. Нещадно лил дождь, ручьи стекали с машин, люди с тележками кучковались возле раздвижных дверей. Напротив серела высокая новостройка, а над ней нависало тревожное санкт-петербургское небо. Игорь взглянул на часы, покачал головой, присосался к бутылке. Сделал несколько жадных глотков и вернулся в здание.

Справа от входа в «Окей» начинался торговый ряд: безделушки, предметы быта. Он прошел до конца, завернул в цветочный.

— Здравствуйте, — улыбнулась женщина в фартуке. — Скоро праздник. У нас сейчас акция.

— Только не это, — Игорь скривился и показал на цветы. — Мне желтых, штук пять. Нет, шесть. А, шесть нельзя. Дайте семь тогда. И быстрее, если можно, тороплюсь.

— Как скажете, — женщина пожала плечами, принялась за тюльпаны. — Во что завернем?

— Целлофан, — механически ответил Игорь. — С желтой ленточкой.

— Этой?

— Ага.

— Эта золотистая, — с укоризной поправила женщина.

— Тем лучше, — растерянно сказал Игорь. — Я вообще в первый раз беру желтые. И, надеюсь, в последний. Так что полностью вам доверяю.

— Себе доверять нужно, — неожиданно ответила продавщица. — В первую очередь себе. Вы знаете, бывает ощущение, когда ты что-то вспоминаешь, как будто смотришь в прошлое и видишь самого себя со стороны? И думаешь о себе как о ком-то другом: вот он какой, еще не знает, что будет дальше! А знал бы, делал все совсем иначе. Это такой немой укор, но через время.

Игорь наблюдал, как она заворачивает тюльпаны, и не знал что сказать. Согласился:

— Вообще да, так бывает.

— Бывает. Но нужно думать и наоборот. Когда вы сейчас, в настоящем. Все время представлять, что на вас смотрите вы же, только спустя много лет. И вы там знаете то, что сейчас не знаете. Нужно жить в настоящем, как в прошлом, все время представлять эту дистанцию. Тогда вы допустите меньше ошибок и о меньшем придется жалеть.

Она протянула букет, широко улыбнулась. Игорь хотел продолжить разговор, но вспомнил, что совсем нет времени. Он выскочил из магазина и через пару минут стоял возле метро. Из перехода вынырнула Лена, тонкая девушка с головой-луковицей, засияв для него в толпе.

— Чего хотел? — сонно спросила Лена, распахивая зонт.

— Вот, — Игорь протянул букет. С его насквозь промокших волос падали крупные капли.

— С чего вдруг? — девушка ради приличия сунула нос в цветы.

— Спасибо тебе за всё, — коротко ответил Игорь.

— Что ж, пожалуйста, — ответила Лена. — Ты на метро?

— Провожу? — он схватился за трость зонта, будто за последнюю надежду. Девушка сверкнула глазками, не отдала зонт. Но все же сказала:

— До такси, если так хочешь.

— Пойдем, — согласился он. — Как там мама?

— Нормально все. Выписали. Привет тебе передает.

— И от меня передавай, — Игорь перескочил лужу. — А Герда как?

— Герда — не знаю. Первый раз слышу о ней.

— Ну, Герда же звали, нет? Твоя собака.

— Грета. Собаку зовут Грета.

— А, ну вот Грета. Она как, жива еще?

— Жива, здорова. Всем бы так. Привет тебе передает.

— И от меня, — начал Игорь, но замолчал.

— Ладно, мне правда пора.

Она нажала кнопку, и зонт моментально сложился. Игорь смотрел на него с тоской, будто на миг вернулся в детство, как раз в тот момент, когда лопался праздничный шарик. Конечно, теперь он знал много такого, о чем не догадывался тот грустный мальчик. Лена захлопнула дверь такси.

Игорь достал из рюкзака еще бутылку и медленно побрел. Переход, троллейбусная остановка, пара ларьков, «Окей», еще переход. Наконец — широкий проспект Ярослава Гашека, трамваи, перспектива, простор. Здесь даже дышалось легче. Хотя едва он вспоминал о Лене, становилось нестерпимо больно, хотелось вцепиться в голову и выжать ее, как губку. Промокнуть сильнее, чем он, кажется, было нельзя. Он понял, что замерз, что очень холодно, его трясет, и вообще вместо пива лучше бы выпить горячего чая с медом. Таким отпаивала Лена на второй день их знакомства, после того, как он проводил ее — в такую же погоду, как сегодня, в такой же точно петербургский день.

Но проспект Гашека длинный, и впереди лишь первый перекресток. Трамваи повернут налево, автобусы направо, а он, конечно, отправится по прямой. «Пока можно идти вперед, всегда нужно идти вперед!» Пока земля не затрясется под ногами, пока не метнутся с небес остроконечные пики молний, пока не примутся ссыпаться здания — по обеим сторонам улицы, блок за блоком не полетят в бездну, обнажая нутро квартир, а затем и сами квартиры, тот самый внутренний мир, о котором каждый мечтает, чтобы его хоть кто-то увидел, хоть кто-нибудь оценил. Ну вот и все, друзья, до свидания.

«Петцвет»™. Букет из прошлых лет [где вас сегодня нет][1].

[1] Внимательно изучайте подробности акции, напечатанные мелким шрифтом.

Юлиана Ульянова

Правда о ближнем

Маятник

Все уезжают из страны —
давно тесны её границы.
Все убегают из страны —
как из тюрьмы или больницы.

А я, как маятник, стою
не на краю, но близко к краю —
и то билеты достаю,
то машинально убираю.

От Биржи Вечного Труда
с гнилым амбаром Минсельхоза
страдальцу хочется туда,
где устарела эта поза.

Где дарят разный капитал —
и материнский, и дочерний.
Но — цвет небес, родной металл...
Но — этот нежный свет вечерний...

Заката робкое клише,
что розовел над кромкой леса,
и отпечатался в душе, —
как будто пятка Ахиллеса.

Ах, эта бедная душа,
как приживал, сидит на шее —
и жизнь-то ей нехороша,
и смерть-то ей нехорошее.

Юлиана Ульянова (псевдоним; настоящее имя — Юлия Игоревна Ульянова) — поэт, литературный критик. Родилась в 1985 году в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ и магистратуру Государственного университета управления. Выпускница литературной студии «Луч». Автор книги стихов «Девочка с демонами» (М., 2010). Составитель поэтических антологий для издательства «Эксмо», в том числе «Страшные стихи» (совместно с Д. Быковым). В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живет в Москве.

Сон князя

Князь беспокойно ворочался, понимая,
что русский народ — раздроблен, дремуч, незряч.
С юга на Русь катилось войско Мамая —
чёрный гремящий шар, человекомяч.

Князь был печален, светел, был безутешен.
А внутренний голос вещал каждый день в году:
«Что тебе эта родина? Горсть скворечен,
белый костёр на льду.

Тьма путевая, локация огневая.
Власть меховою шкурою на плечах
тяжко лежит у тебя, и она — живая,
а ты уж поди зачах.

Брось, отрекись, ибо крови твоей не стоит
тёмная Русь, и трагедию не ломай.
Так ли она — взаправду — страдает, стонет?
Так ли уж плох Мамай?»

Князь усмехался, и месяц-кузнец над Доном
лил серебро расплавленное над рекой:
«Что ж отступать, если даже во сне ладоням
слишком легко без меча да тяжёл покой?»

Видел под утро княже родные сечи,
красные речи, горящие города...
Вечна — резня. А этот Мамай не вечен,
как и его орда.

Смоленская дорога

Не с бравадой российской, а с робкой печалью вселенской,
отступаем тихонько по старой дороге смоленской —
в тишине,
на своих на двоих,
без коней и орудий,
ковыляем, как будто от фразы отставший герундий.

По России, в мороз, и пешком, и совсем без оружья —
а на снежную мякоть ложатся копыт полукружья,
развевается облачко дымное — сера, не порох —
это правда о ближнем в дорожных рождается спорах.

Кто он, рядом идущий?
Скрывает лицо капюшоном
и впивается в путников взглядом своим отрешённым,
этим глазом пустым, почерневшим стеклянным софитом,
под которым скопытиться хочется нам, неофитам.

Он кивает, он нас утешает, он всё понимает —
то один, то другой поскользнётся и ногу сломает.

Он к упавшему бросится, вьётся, юлит, убеждает
распрощаться с морозной страной, что нас всех побеждает,
с молодыми берёзками, с домом, кривым и белёсым —
этим рубленым символом грусти за лесом и плёсом,
с доморощенной русской тоской, завывающей в песне,
даже с матерью нищей, живущей на пенсию в Пензе, —

чтобы к чёрту летели куличики-тройки-савраски!
чтобы только бушующий праздник и яркие краски,
только синь высоты, где безумная пляшет сорока...
А не эта забытая Богом родная дорога.

Дрожащая тварь

Дрожащая тварь дрожит не всегда —
например, не дрожит от любви
и от радости где-нибудь в зале суда,
где вопрос в её пользу решён.

Не дрожит от волненья без ясных причин
в ожиданьи нового дня,
от рождения текста в глубокой ночи —
хотя автор в халате смешон.

И от смеха она не дрожит никогда,
и хотя она вовсе не тварь,
ей смеяться нельзя и не можно смешить,
а то могут её зарубить, задушить,
говоря на жаргоне — пришить.

А когда наступает свежайший январь,
то есть новый радостный год,
она ходит по тёмной квартире пустой
и не может унять свою дрожь —

и молекулы мира синхронно с ней
вдруг приходят в движе-ние,
колебанье эфира, вращенье сфер,
всей планеты круже-ние...

Как мотор завели — снега замели.
Механизмы мира просты.
Вот дрожащая тварь — это соль земли.
А кто, собственно, будешь ты?

Евгений Каминский

Отпалка

Повесть

Едва застрекотало над сопками (правда, глагол этот ни в коей мере не отражал ужас, творящийся в небе: что-то большое и железное с треском рвало воздух в клочья, грозя рухнуть в образовавшуюся дыру), Бызов направился к поселковой площади — небольшому участку тундры, распаханному «Катерпиллерами» до коренного плитняка. Здесь проходчики и буровики, спотыкаясь и хрипло матерясь, играли по воскресеньям в футбол, а в остальное время вольный ветер гонял туда-сюда тучи звенящего гнуса.

Вертушка натужно снижалась, выискивая место понадежней.

С каждым вертолетом в поселок помимо муки, консервов, завербованных на материке рабочих или прокурорских работников (что делать, и здесь, на краю земли, советские люди калечили друг друга по недосмотру или убивали по пьянке), сдержанно покашливающих в кулаки кабинетной пылью, с бумажными папками под мышками, на которых написано «Дело», доставляли почту.

И каждый раз, когда небо разрывали лопасти вертолета, Бызов спешил на площадь, надеясь получить письмецо от невесты. По крайней мере, считать таковой однокурсницу Катю, с которой у Бызова уже два семестра как развивался роман, тут, за тысячи километров, было утешительно. Полноценными письмами Катины послания нельзя было назвать: так, несколько необязательных вопросов к нему, несколько игривых ответов на его «проклятые» вопросы («Так было у тебя с ним или нет?») да незамысловатое описание собственной жизни — мол, живу без тебя монахиней в келье. Одна кукую... А ты поди проверь! И ни слова о любви. Верней, все слова о любви, но не о той, полновесной, кипящей в крови и ноющей в сердце, в которой нуждался Бызов, а какой-то картонной, не имеющей вкуса и запаха. Однако и эти тощие конверты с картонными чувствами от Кати были необходимы Бызову, чтобы хотя бы в грёзах оказаться там, на большой земле, или, как говорили здешние аборигены, на материке. Говорили, несмотря на то, что обитали не на затерянном в океане острове, а на северной оконечности Евразии. Эти люди считали себя до зарезу необходимыми стране героями-геологоразведчиками, обеспечивающими ее золотым запасом и престижем. Когда они говорили об этом, лица у всех становились значительными, как

Каминский Евгений Юрьевич — поэт, прозаик, переводчик. Родился в 1957 году. Автор 10 поэтических сборников и нескольких книг прозы. Лауреат премии Гоголя за 2007 год. Живет в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2019, № 7.

у руководителей страны, а в глазах заводился романтический сквознячок, как у космонавтов перед стартом. Будто и впрямь они отказались от самих себя ради блага родины и, лишенные элементарных человеческих благ, обитают в безвоздушном пространстве. Отчасти эти настроения аборигенов были небезосновательны, поскольку «контингент» попадал сюда всегда минимум на три года и преимущественно по воздуху (на вертолете) или, на худой конец, с караваном «Уралов», груженых харчами, горючкой, буровыми трубами и запчастями к технике, сутки, двое, трое ползущих по рыхлым руслам мелководных чукотских рек.

Вертолетчики стремительно выбрасывали на плитняк мешки да баулы, ставили один на другой ящики с консервами, извлекали на свет божий укачанных до положения риз баб с поклажей, коих тут же принимали под белы руки мужья — буровики, проходчики, бульдозеристы, перво-наперво спрашивавшие: «Привезла?», имея в виду питьевой спирт. Бледные тетки, не в силах сопротивляться такому прямому вопросу (а ведь собирались поглумиться, заявить благоверным, что «о спирте-то у них вылетело из головы», так что пусть теперь *насосы проклятые* переживут небольшую клиническую смерть), вымученно кивали, и на лицах у них было написано: «Ой, сейчас умру»...

Надо сказать, прилетали сюда и улетали отсюда только по записке начальника экспедиции, дважды орденоносца, члена бюро Магаданского обкома партии, маленького, можно сказать, миниатюрного, но при этом отчаянно напоминавшего уличного хулигана из рабочего поселка. Ходил член бюро обкома всегда насупившись и неизменно в лётной кожаной куртке. При разговоре с подчиненным (а тут все были его подчиненными) он вращал глазищами так, словно собирался подчиненного если не ограбить, то, как минимум, ударить по лицу в наказание за что-то. Но за что?! Именно он еще в начале июня дважды не пропустил Бызова в вертолет, который должен был лететь в поселок. Бызов куковал уже несколько ночей на цементном полу Певекского аэровокзала и даже успел отравиться какой-то падалью в местном буфете. Не пустил, несмотря на то, что Бызов лез к нему со своим командировочным предписанием, выданным в Центральной лаборатории в Магадане, где было четко прописано место назначения. И только через неделю позволил-таки немытому, опустившемуся Бызову занять место среди поселковых баб, регулярно летающих из поселка в Певек к гинекологу. (И хотя знал член бюро обкома, сам каждую неделю мотавшийся по неотложным делам через Певек в Магадан и обратно, что летят бабы за спиртом для своих мужиков, против гинеколога был бессилен.) Да, позволил, но лишь прочитав переданную смущенным Бызовым записку, адресованную орденоносцу товарищами из Магадана, которая начиналась так: «Дорогой Ильюша! Этот мальчик питерский...», и которую Бызову было стыдно предъявить Ильюше, поскольку Бызов считал подобную *блатную* записку излишней мерой в том благородном предприятии, в котором он подвизался участвовать на благо родины. К тому же — проявлением слабости (что я — баба на сносях и не могу потерпеть?), которую все же проявил, боясь, что если не проявит, то либо умрет от истощения, либо завшивит и забичует, так и не добравшись до места назначения. Правда, и слово «мальчик» в записке саднило Бызову душу, и он несколько раз порывался выбросить этот свернутый вчетверо тетрадный лист. И если бы не какие-то вопросы непосредственно к Ильюше автора этой блатной записки, непременно выбросил бы как опасную для себя улику.

Этот Ильюша, смотревший на Бызова, словно громовержец из туч, и говоривший с ним, как записной Бармалей (а как еще прикажете говорить с контингентом, который на пятьдесят, а то и на все сто процентов состоит из бывших уголовников, знающих цену и себе, и слову?!), имел весьма непривычную для этих мест и

занимаемой должности фамилию Розенблюм. Весьма странной ее, правда, посчитал хитроумный, как Одиссей, студент Ципкин — коллега Бызова, всегда глядевший на вещи чуть шире и уже почитывавший самиздат. Бызов же не видел в этой фамилии ничего странного, но будь его воля, он попросил бы Розенблюма отрастить подлинней бороду, чтобы предъявить бородатого Розенблюма хитроумному Ципкину: «Ну разве не Карабас Барабас?»

— А где почта? — возопил вдруг кто-то из толпящихся возле вертолета, и Бызов сделал стойку.

Обычно почту доставляли.

Но на этот раз забыли.

Это было неслыханно — оставить мешок с корреспонденцией на материке. А как же они, отказавшиеся от себя ради страны первопроходцы, золотодобытчики, герои, ждущие весточку с большой земли?!

— Да в воскресенье еще вертушка будет! — попытался примирить золотодобытчиков с действительностью вертолетчик. — Просим прощения, конечно. Очень торопились. Метеосводка, сами понимаете...

Дальше Бызову стало неинтересно. Сунув руки в карманы, он отправился в барак читать толстенный московский журнал с повестью о директоре провинциального завода, безответственно влюбившегося в московскую корреспондентку и тем самым всерьез покачнувшего *устои.* Им, этим вертолетчикам, которые сегодня здесь, а завтра там, у которых дома баба и пельмени *когда захочешь*, оказывается, ничего не стоило забыть почту для них, лишенных здесь и собственных баб, и домашних пельменей.

Это было больно, но не смертельно. Бызов это уже проходил. Теперь требовалось побыстрей выбросить Катю из головы. Напрочь! Ну или на несколько дней. В общем, перетерпеть, перемучиться. Он шел и чувствовал себя осужденным на казнь, которому следует перестать надеяться на чудо, чтобы освободившимся от всего тут без сожаления вдруг оказаться *там*...

Перед Бызовым маячила женщина (судя по крепкой, тонкой фигуре, молодая) в белом, бьющемся на порывистом ветру и то и дело залипающем на спине и бедрах платье, тащившая огромный чемодан и ребенка. В одной руке чемодан, который она то и дело ставила на плитняк, чтобы перевести дыхание, в другой — ладонь мальчугана лет четырех. Мальчуган упирался. Потрясенный местным ландшафтом, с открытым ртом он озирался на высящиеся тут и там сопки, которые август уже задрапировал разноцветным — от охристого до красно-бордового — велюром. Этого мальчугана словно без предупреждения высадили на Луне, и теперь он хлопал широко расставленными глазами, силясь вместить увиденное.

Не испрашивая разрешения, Бызов мягко, но настойчиво отобрал ручку чемодана у женщины и сразу понял, что в чемодане, помимо одежды, лежат пудовые гири, чтобы придавливать ими грибы в кадках.

— Я донесу. Вам куда? — хрипловато (его жилы чуть не лопнули от напряжения) спросил он, глядя вперед.

Взглянув на Бызова испуганно (правда, это была самая первая, молниеносная ее реакция) и, видимо, рассудив, что ее не грабят (куда тут убежишь с награбленным?), она кротко улыбнулась (а ведь и здесь водятся рыцари!) и назвала адрес. И пошла рядом с Бызовым, не сводя с него взгляда. Ее сын, оторвавшись от созерцания лунного ландшафта, также воззрился на Бызова как на первого в своей жизни инопланетянина.

Мальчик был потрясен до бесчувствия. А может, и нет; дело-то происходило на Луне, и потому, если все вокруг удивительно, замучаешься удивляться.

Бызов чувствовал на себе оба этих взгляда. Но особенно неуютно ему было под неотрывным взглядом женщины. И, попытавшись изобразить на лице безразличие к невзгодам, которое, как он полагал, должно быть свойственно первопроходцам, он повернул к ней лицо, чтобы...

Боже, что это была за красавица. Черноволосая Шамаханская царица с огромными серыми глазами, тонкими изогнутыми бровями, широкими матовыми скулами, изящным носом с легкой горбинкой, чуть хищными, налитыми горячим соком губами и статью женщины, которую нельзя не полюбить, а полюбив, невозможно добиться. Потому что для такой красавицы непременно найдется улыбчивый заморский принц, ни в чем, кроме присутствия в своей жизни этой красавицы, не нуждающийся, поскольку его тетя — английская королева. Бызов тут же опустил глаза и неконтролируемо покраснел.

Царица расценила краску на его лице по-своему: нежно, но при этом порывисто взяла его за руку (ту самую, в которой был чемодан) и, стараясь заглянуть ему в глаза, которые он от нее сейчас изо всех сил прятал, взволнованно спросила:

— Мальчик, тебе тяжело, тебе плохо?

От этого невыносимого «мальчик» Бызов покраснел еще гуще — так, что пот выступил у него на кончике носа, а из глаз едва не потекли слезы. Он уже собирался одернуть красавицу, мол, никакой он не мальчик, ему уже двадцать один год, и он тут штатный геофизик. Но, решительно подняв глаза, он вновь увидел ее лицо — средоточие сострадания и нежности, на которые способна только женщина, готовая любить мужчину до гроба. Ну, или до первого серьезного скандала. Она чуть не плакала от жалости и умиления, глядя на Бызова, в свою очередь пыхтящего от смущения. Все это было так нелепо, что Бызов забекал, замекал о том, что у него высокая температура, и как только он донесет чемодан до пункта назначения, тут же отправится в постель. Эту информацию она приняла еще ближе к сердцу и стала умолять Бызова немедленно отдать чемодан, чтобы только бедненький мальчик не надорвался (а ей, что поделаешь, надрываться положено как матери, да и на роду написано как женщине).

При этом она отчаянно вырывала ручку чемодана из ладони Бызова, чему Бызов мужественно сопротивлялся, размышляя о том, почему эта необыкновенная женщина, недоступная никому из смертных, кроме заморского принца, ведет себя как вполне обыкновенная? Почему воспринимает такой естественный для мужчины поступок Бызова как манну небесную? Неужели считает себя недостойной мужского внимания?

А что если (пустился в праздные размышления мозг Бызова) она не знает о том, что красива? Что если ей никто об этом по злобе и зависти человеческой не сказал? Понятно, подружки в школе скорей удавятся, нежели сообщат подруге, что та — королева красоты. И она всегда у них будет во всем виновата. Даже когда будет искренне радоваться их успехам на любовном фронте. Даже когда кому-то из них, идущей вечером на свидание с юношей, отдаст свое белое платье... И главное, будет искренне считать себя виноватой, всегда и во всем, и обещать подругам исправиться, и сокрушенно просить у них прощения за чужие грехи... Но, похоже, и муж, или тот мужчина, от которого у нее мальчишка, тоже не сказал ей, что она неземной красоты женщина. Почему не сказал, почему не открыл ей глаза? А может, и сказал, да она не поверила. Лишь зажмурилась от счастья и исполнилась благодарности за такую к себе

непомерную доброту. И принялась еще сильней, еще отчаянней, надрывая жилы и забывая о себе, заботиться о муже, семье, доме...

Что и говорить, время от времени такие женщины по милосердию Божьему попадают на грешную землю. А может, по чьему-то недосмотру падают с Луны. И счастье тогда всякому мужчине, оказавшемуся поблизости, хотя бы перекинуться с ней парой слов о погоде, хотя бы подать ей руку на подножке трамвая, хотя бы мельком взглянуть на ее лицо, чтобы наконец понять, как выглядит та любовь, которая *не завидует, не превозносится, не гордится, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, которая все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит*...

Но, оказавшись среди людей на земле, живет такая женщина недолго. Живет как белая ворона: клюют ее товарки нещадно, обводят вокруг пальца сантехники, электрики да продавцы, изводит бесконечными попреками муж, и хамоватый начальник лезет под юбку, чтобы, получив робкий отпор, начать сживать ее со свету.

Нет, не живет на земле долго подобная белая ворона. Поскольку гневный архангел, денно и нощно глядящий на нее сверху, больше не может всего этого терпеть. И тянет он за рукав своего Патрона, и просит Того взглянуть на беззаконие, которое люди творят с такой-то вот непорочной душой, с таким-то вот любящим сердцем, с этим ангелом во плоти, которого все они, все поголовно, недостойны. (Только сыночка жаль! Как он без мамы-то будет?) И смотрит Патрон с небес на род человеческий и, вздыхая, качает головой, мол, да, Гавриил, всё так, как говоришь...

И вот уже мечется в горячке наш ангел на холодной больничной койке, выгорает дотла. Еще немного и... И в самом конце, уже над обрывом, где вечность свистит под ногами, все же находит в себе силы сжать своею ладонью дрожащую ладонь безутешного мужа, уже осознавшего трагедию, и говорит с любовью, мол, ты не бойся, родной, мне не больно ни капельки. И тот плачет навзрыд, и всё просит не оставлять его. А гневный архангел из небес цедит сквозь зубы: «Ужо вам, ужо! Всех бы вас огнем попалил, если б не Патрон, всех до единого! Потому что не люди вы давно, не люди!»

И забирает ангела во плоти, и уносит его, нежно прижимая к груди, туда, где нет ни завистливых, вероломных товарок, ни вороватых сантехников, электриков, продавцов, ни глупых мужей, ни хамоватых начальников с потными руками, а есть одна только любовь.

О, если б подобную любовь сейчас явила Бызову восторженная старуха, которой только и осталось, что воспевать благородных рыцарей, не запятнавших себя бытовым женоненавистничеством! Он бы воспринял это как должное. Но перед ним была красавица примерно одного с ним возраста, посчитавшая его... мальчиком.

Но кто, кто виноват в том, что Бызов в свои годы выглядит, как взволнованный школьник?!

Доставив чемодан по адресу, Бызов бросился наутек. Потный, красный как рак. Нет, смотреть на шамаханскую царицу, которая, как бы вас ни боготворила, все равно всегда достается заморскому бездельнику, у него не было сил.

Бызов шел к себе и думал о местных женщинах, которые в последнее время все сильней волновали его кровь. Тонкие, толстые, брюнетки, крашеные блондинки — все поголовно. В поселок вертолеты то и дело доставляли завербованных на материке «щучек» — по одной, две, а то по три сразу. «Щучки» — Лары, Тани, Алёны, Марины — как правило, разведенки не старше сорока лет (были, правда, и двадцатипятилетние), поджарые, хваткие, с крепкими зубами и разнузданным

смехом — по прилёте быстренько устраивались в бараках общежития и молниеносно оказывались кто в конторе Управления, кто в диспетчерской, а кто в продуктовой лавочке или в столовке. Оказывались и незамедлительно приступали к охоте. Благо нужная рыба в поселке не переводилась. Свободные, никому ничем не обязанные, ни с кем покуда не связанные обязательствами, шипучие, как шампанское, звонкие, как хрусталь, и яркие, как мишура, с еще не сошедшим с лиц материковым загаром, они, посверкивая серебристыми боками, грациозно стояли в тине какого-нибудь застолья и высматривали карасей пожирней. Мелкая рыбешка, вроде помбуров, проходчиков с восьмью классами за плечами или бульдозеристов из разреза, их не интересовала. Нужные (жирные, перспективные, с бумажниками, туго набитыми северными надбавками) караси уже в изрядном подпитии проплывали мимо, и щучка вполне могла проглотить одного такого с потрохами. Но она выжидала самого жирного, самого перспективного карася, даже если тот был при карасихе, имел дома выводок мальков и раз в три года улетал со всей ватагой на полгода в Гагры, чтобы прежде времени *не склеить ласты*. Нет, никакая местная карасиха не выдерживала сравнения с подобной щучкой, специально к этому мероприятию (в то время подобная массовая пьянка именовалась если не праздником, то *мероприятием*) влезшей в серебряную чешую, привезенную с материка в качестве охотничьего реквизита, высоко вздымавшей тяжелую грудь, лезущую при каждом вдохе из декольте, и смотревшую на зазевавшегося карася влажными глазами сироты. Глазами, в которых карась мог тут же и утонуть. Ведь там (в этих глазах) для него таилось все: и наслаждение, и утоление, и... Одним словом, альфа и омега грез первопроходца. Когда же щучка, улучив момент, оставалась с карасем наедине, вся такая сладкая и гладкая, то с легким стоном прикрывала глаза и приоткрывала рот. И карась, потеряв чувство опасности, не помня себя от вожделения, сам плыл ей в зубы... Потом, конечно, с карасихой случалась истерика, и карасиха грозила карасю самоубийством или комиссией парткома, куда собиралась жаловаться на карася за такую подлую измену, и посеревший от переживаний карась нервно курил на кухне папиросу за папиросой, мучительно выбирая между своей неповоротливой карасихой и изящной щучкой, и все было в пользу щучки с серебряным боком и влажными глазами. Однако вокруг него сновали сопливые мальки, и карась все никак не мог решиться на уход.

Иной же карась решался и, стремительно собрав маленький чемодан с трусами и бритвой, уплывал от карасихи к щучке в общежитие, весь полный радужных надежд. И партком был ему не указ. Щучка же, осторожно положив свою зубастую голову на грудь переметнувшемуся карасю, загадочно посверкивая фосфором глаз, обещала ему небо в алмазах, а сама думала о том, не поторопилась ли и не прогадала ли с этим карасем, который вовсе не такой жирный, как ей поначалу показалось. Ведь тут, совсем рядом, в одном из отдельных кабинетов экспедиционного управления мутит воду о-го-го какой карась. Карасище! К тому же — без неповоротливой карасихи с мальками... А карась, тая как воск, уже говорил щучке, что не прочь завести с ней, такой тонкой штучкой, щурят, и полагал, что обрел наконец тихую заводь в эдемском саду, не понимая, что, как Иона, уже давно находится во чреве кита. То есть щуки. И лишь дело времени, когда это чрево его усвоит.

Несчастный карась! Да какие там щурята, если подобной щуке всегда всего мало, и она всё никак не может наесться досыта?!

Бывало и так: бросался карась с чемоданом от своей карасихи, наплевав на партком, к щучке, а у той уже отлеживается другой карась, не хуже этого, и без отягчающих обстоятельств, только-только вернувшийся с материка из отпуска,

встретивший эту щучку в коридоре Управления и разом потерявший самоконтроль. Весь такой крепкий, улыбчивый, еще не жеванный щукой, в общем целенький, стопроцентный.

И смотрели тогда караси друг на друга. Один с ненавистью, другой с презрением. И готовы были вцепиться друг в дружку, чтобы заполучить щучку с вываливающимися из серебристого декольте сладостями. Щучка же довольно щурилась, жмурилась да сладко потягивалась и предлагала попить с ней чайку обоим карасям, еще не понимающим, что им обоим — крышка. Потому что это щучка заполучила карасей. Обоих сразу, ешь не хочу...

На следующее утро мрачный Бызов с насвистывающим Ципкиным — студенты-дипломники из Ленинграда, оба в ватных костюмах, кирзовых сапогах, шапках-ушанках, навьюченные измерительной аппаратурой, — явились в диспетчерскую за аккумуляторными лампами.

Каски и лампы с аккумуляторами, лежавшие в номерных ячейках, выдавал диспетчер — широкоплечий, чернобровый, с щедрой улыбкой малоросса говорун лет тридцати. В обязанности диспетчера, помимо прочих, входила отправка вниз бригад проходчиков, постановка задач взрывникам, снабжение всевозможных комиссий схемами, картами и сопроводительными документами. Сколько ламп отсутствует, столько и людей в настоящий момент находится под землей. Это важно, когда в Геологическом отделе Управления наконец разобрались, куда направляется неуловимое (поскольку никак на глазок его не проследить) «рудное тело», и значит, где, в каком месте, штольню надо *удлинить* или *углубить* с помощью «отпалки» — взрывов патронов аммонита, размещенных в специально пробуренных в стенках горной выработки шпурах. После взрывов, на время которых проходчики, геологи и все прочие убирались из штольни, поскольку ядовитый дым взорвавшегося аммонита мог любого угробить за минуту, через некоторое, необходимое для проветривания время под землей вновь появлялись проходчики с вагонетками. В вагонетки насыпали «отпаленную» породу и отталкивали их к уклону — трехкилометровому наклонному туннелю, ведущему на поверхность. Там вагонетки цеплялись к движущемуся стальному тросу, который и вывозил поставленные на рельсы вагонетки на свет Божий. Из этой «отпаленной» породы, которая собственно и являлась «рудным телом», отсыпали дорогу от этого поселка до еще одного тундрового, в котором базировались геологи, «бьющие» в тундре шурфы и канавы в надежде расширить границы месторождения. Кстати, спустя два десятилетия из этого *дорожного полотна* (этакой заначки на будущее) выплавили несколько тонн золота.

Выдавая Бызову с Ципкиным лампы, диспетчер даже не уточнил, в каких именно штреках они сегодня трудятся. Да и говорил он со студентами довольно раздраженно. И, похоже, потому раздраженно, что в диспетчерской в этот момент находилась какая-то щучка из недавно прибывших в поселок, строившая диспетчеру глазки. Тонкая, стервозная, наверняка способная и коня на скаку остановить, и в горящую избу войти, если только там еще трепыхается карась. Войти и вынести его оттуда на руках.

На Бызова с Ципкиным эта щучка, рассказывавшая диспетчеру что-то веселое из своей жизни, не обращала внимания, будто Бызов с Ципкиным были не мужики, а шахтерские лампы. Она явно нацелилась на улыбчивого диспетчера, предполагая еще до зимы завести у себя под боком карася.

Наконец диспетчер, взвинченный присутствием щучки до отчаянного блеска глаз, махнул Бызову с Ципкиным рукой, мол, идите уже, не до вас.

И те потащились к спуску в штольню.

Клеть для спуска и подъема была им не положена. Клетью пользовались только настоящие шахтеры — проходчики, взрывники да начальники. А «наука» и прочая шпана, вроде инженера гортехнадзора, должна была ножками-ножками спускаться под землю на глубину примерно триста метров. И потом подниматься...

Грохоча кирзовыми сапогами, каждое утро Бызов с Ципкиным спускались в царство вечной мерзлоты выполнять свою работу на стенках штреков и рассечек в течение шести часов, не более. Почему только шесть, если воздух энтузиазма, нагнетаемый газетными передовицами, заряжает тебя на десять, а то и на все двенадцать?! Да потому что работали Ципкин с Бызовым с радиоактивными источниками, а КЗОТ делал подобным «смертникам» определенные поблажки, включавшие, кроме укороченной рабочей смены, еще и молоко, и дополнительный отпуск, и радиологический диспансер, где рано или поздно всем ставили диагноз «лучевая болезнь». Люди, занимавшиеся на государственном уровне охраной труда, справедливо полагали, что долго «смертники» все равно не протянут, так пусть хоть побольше погуляют на свежем воздухе да попьют молока досыта.

После шести часов измерений во тьме и холоде Бызов с Ципкиным начинали восхождение; поднимались они тем же путем, что и спускались, но теперь уже в мыле, как добрые хозяйские кони. Тысяча пятьсот ступеней-выступов в коренной породе, обшитых досками. И через каждые триста — площадка со скамьей, на которой можно перевести дух. Поначалу Бызов с Ципкиным его, конечно, переводили. Ведь каждый из них спускал в бездну и потом поднимал на поверхность по шестнадцать килограммов веса: блок аккумуляторов для прибора, датчик с радиоактивным источником, пульт, шахтерская лампа с батареей. Но в последнее время оба на подъеме не останавливались. Привыкли терпеть. Да и хотели друг другу доказать, что не знают устали.

Ципкин считал себя перспективным горнолыжником и упорно накачивал ноги, надеясь взять первенство Ленинградского университета. Бызов же не отставал от него, потому что планировал грядущей зимой наконец встать на горные лыжи (собственные новые были неподъемны для кошелька Бызова, но Ципкин обещал отдать свои старые) и научиться красиво, как Ципкин, выделывать виражи по склонам гор...

Подобным образом они трудились здесь уже около трех месяцев, и свыклись и с постоянным холодом (минус восемь по Цельсию), и с кромешным мраком в рассечках (штреки все же худо-бедно освещались тусклыми фонарями), и с бесконечными записями в журнал показаний прыгающим в замерзших пальцах карандашом.

Это был настоящий труд. Черная, пусть и не ломовая в полной мере, но все ж с потом и хриплым дыханием работа. Хотя и считалась она прикладной наукой, ядерной геофизикой. Ядерной, потому что в процессе, как уже говорилось, использовались радиоактивные источники, о чем свидетельствовал специальный знак радиоактивной опасности на датчике прибора.

Во время смены Бызов с Ципкиным мужественно ничего не ели и не пили. Они даже не перекуривали (надо признаться, оба студента не курили). Просто «молотили» план. Монотонно, бессловесно, как скотина на пастбище, наедающая на свою голову живой вес. Ставили датчик на стену, смотрели на показания прибора и записывали их в журнал. Затем переставляли датчик на десять сантиметров в сторону в соответствии

с генеральной линией, намеченной местным геологом, и вновь смотрели и записывали. Тысяча и более записей за смену.

Мимо очередной рассечки, в которой студенты *молотили* план, то и дело проходили шахтеры. Увидев подозрительный луч во тьме, они в удивлении останавливались и светили на Бызова с Ципкиным: «Хто такие? Шпионы?» Иные, заинтересовавшись, входили в рассечку и выслушивали маленькую лекцию о рентгенорадиометрическом элементном анализе вещества на стенках горной выработки. «Це добре!» — восклицали тогда шахтеры и шли по своим делам, раскатисто до многократного эха обмениваясь впечатлениями от общения с наукой.

После работы студенты строили графики показаний прибора и, как ни удивительно это было для местного геологического отдела, всегда «отбивали» границы рудного тела, которое невозможно было бы визуально определить ни одному Билибину, ни одному Цареградскому — здешним геологическим светилам недалекого прошлого, первый из которых сначала предсказал, потом открыл золотоносный Северо-Восточный регион, а второй, генерал, Герой социалистического труда, работал начальником Геологоразведывательного управления Дальстроя. Что и говорить, без Ципкина с Бызовым геологоразведочная экспедиция двигалась бы под землей вслепую.

Местного подземного геолога, который привык все потрогать, пощупать, понюхать и даже полизать (да, так определяют некоторые минералы), это умиляло до слез, и он, почесывая свою рыжую бороденку, восхищался: «Вот это настоящая наука! Физика! Математика! Не то, что мы — на глазок да на зубок...»

Одним словом, двое студентов уже третий месяц определяли направление разведочных работ под землей крупной геологической экспедиции, как бультерьеры, вцепившись в «рудное тело», коим являлась обычная коренная порода, правда, пропитанная мелкодисперсным золотом. Примерно два с половиной грамма золота на тонну вмещающей породы — таким было «бортовое содержание», меньше которого разработка золоторудного месторождения становилась нерентабельной. До Бызова с Ципкиным местным геологам приходилось скалывать породу со стенок через определенные промежутки, измельчать ее и отправлять на пробирный анализ в Магадан. А это большие деньги и месяцы ожидания результатов анализа.

А тут вдруг физика с математикой! И в итоге — миллионы сэкономленных советских рублей. В общем, Бызов с Ципкиным сами являлись для местных геологоразведчиков этакими золотыми слитками, которые можно с гордостью показывать друг другу — ты когда-нибудь такое видел? Однако не более того. Руководство экспедиции считало физику с математикой обыкновенными наложницами, нужными известно для чего, и потому и близко не подпускало их в лице Бызова с Ципкиным ни к обсуждению планов и результатов разведки, ни к принятию маломальских решений, ни к сопутствующим всему этому преференциям в виде продуктовых наборов из Магадана к всевозможным всенародным праздникам. А это были и День молодёжи, и День комсомола, и День шахтёра, и День строителя, и День геолога и еще много архиважных для трудящихся дней. Не приглашали Бызова с Ципкиным и на пикники с шашлыком по-карски куда-нибудь в тундру.

А ведь они здесь досыта не ели.

С тех самых пор не ели, как люди из руководства Центральной лаборатории (лысый, веселый заведующий, всучивший по приезде Бызову журнал «Плейбой» на пару часов — *познакомиться* с образцом вражеской пропаганды, и не менее веселый заместитель заведующего, взявший этот журнал у ошарашенного Бызова после ознакомления себе под подушку), предложившие местным геологам свои передовые

разработки и в придачу — студентов-дипломников из Ленинграда, оставили последних в общежитском бараке, выдав им аванс, спустив им производственный план, отгрузив им ящик тушенки и ящик борщей, а под конец демократично распив с ними бутылку питьевого спирта. Руководство и сейчас своими телеграммами из Магадана торопило студентов, само же готовилось к победным сводкам о перевыполнении, считало экономический эффект от присутствия физической науки на месторождении и тайно крутило дырки в лацканах пиджаков под ордена. Это было щедрое на ордена для товарищей начальников время. К тому же речь шла о золоте для страны.

Тушенка у студентов закончились мгновенно — у обоих отменный аппетит. Питание в столовой было скудным, невыразительным (слипшиеся макароны по-флотски, мясные шницели, изготовленные из панировочных сухарей), а порой и невыносимым. Жареные же грибы, собираемые на склонах сопок, быстро приелись и потеряли вкус. Да, можно было наминаться хлебом и пить чай с рафинадом. Ну, Бызов с Ципкиным так и поступали. Но чтоб, набив брюхо, мурлыкать нечто легкомысленное, удовлетворенно жмурясь на жизнь, не получалось.

Первым не выдержал Ципкин и пошел сдаваться на милость. Можно сказать, кинулся в кипящую, а кое-где искрящую вечернюю жизнь поселка. В роговых очках городского интеллигента, в отглаженном костюме (похоже, привез на Чукотку в рюкзаке именно для подобного кризиса), с букетиком бледных тундровых маков отправился в гости к одной щучке из столовки, накануне перекинувшейся с ним на обеде одной-тремя двусмысленностями и для убедительности подмигнувшей ему...

Теперь Ципкин частенько возвращался в их с Бызовым комнату под утро, тихий, до отказа набитый мясными котлетами, ласково поглаживающий живот и густо пахнущий домашним теплом и женщиной. Ципкин, конечно, понимал, что проглочен щучкой с потрохами, и не рыпался, надеясь в конце сезона улизнуть от нее если не на вертолете, то в кузове «Урала», затаившись между ящиками. Знал, что щучка, поджидавшая его у себя в тине каждый вечер, если и бросится на поиски, никак не успеет схватить его за хвост. Поэтому днем он измерял, что было положено измерять, вечерами отъедался у щучки котлетами из оленины, ночью платил за котлеты любовью и под утро уходил в барак. По воскресеньям же, освобожденный от всех этих повинностей, Ципкин собирал в геологических фондах материалы для своего диплома. И уже видел себя, кафедрального любимчика, в аспирантуре.

Бызов тоже собирал материалы, но ничего не видел, кроме домашних пельменей с маслом и сметаной, дымящихся в тарелке. Правда, когда закрывал глаза. Интеллигентный Ципкин не приносил голодному Бызову от щучки котлету в кармане. Никогда! Говорил, что ему неудобно приносить. И Бызов, сжав зубы, закрывал глаза, чтобы хотя бы увидеть вкусную еду.

В ту пору ему почему-то всегда хотелось есть, но есть почему-то всегда было нечего. Да, он честно давился украинскими консервированными борщами, от которых сводило живот, и ел жареные, пока было масло, грибы. В комнате всегда имелся хлеб, и даже связка сушек с маком висела на вбитом в стену гвозде. Но хотелось мяса. Или рыбы, которая просто обязана была водиться в местных озерцах. Но ни мяса, ни рыбы в поселке не наблюдалось. По крайней мере, на прилавке.

Однако проходчики и буровики вечерами весело орали песни, а потом дрались до крови под окнами общежития. Это дарило Бызову надежду, поскольку явно указывало на то, что провиант в поселке, пусть неофициально, имеется в достатке. И Бызов не отчаивался: а ну как и ему сверкнет удача и он однажды съест (проглотит!) тройную порцию пельменей со сметаной и сливочным маслом...

Было бы даже странно, если бы проходчики, буровики и бульдозеристы, живущие здесь круглый год, не приспособились к скудному на гастрономические изыски бытию, к такому вопиющему, бесчеловечному безрыбью. Нет-нет, все они уже давно притерлись кто к поселковым продовольственным складам, а кто к продуктовой лавочке с ее тайными закромами. А иначе как выжить?! Как выдавать по две нормы за смену?! Потому-то и стремились завербованные на материке женщины стать, скажем, если не кладовщицами, то непременно попасть в столовую, где им, кашеварившим в армейском вагоне с четырьмя обеденными столами и нагло выдававшим раскисший крахмал с колбасным фаршем то за макароны по-флотски, то за сибирские пельмени, не было отбоя от мужиков. И после работы, уже не следуя служебному долгу, а лишь по велению любящего сердца, за плотно закрытой дверью вагончика они, томно вздыхая, жарили своим вмиг образовавшимся поклонникам бифштексы с кровью.

И вот еще что. Здешние буровики, бульдозеристы и проходчики имели обыкновение на своих «Восходах» (а мотоцикл «Восход» тут водился у всякого порядочного работяги) с карабинами за плечами заезжать подальше в тундру и, если только знали тучные на добычу места, залегать там на сутки в засаде. Так что мужики с «Восходами» и карабинами были здесь всегда *при мясе*, а их фронтовые подруги или законные жены — спокойны за свое будущее, ровны и доброжелательны в общении и всегда готовы были заняться изготовлением бефстроганов ко дню рождения или гуляша к обеду...

Двадцать лет спустя месторождение рассекретили. И поселок, где два полевых сезона Бызов с Ципкиным выявляли на глубине в триста метров «рудное тело», появился на карте державы. По радио читали указ о присвоении высоких званий и вручении государственных наград за разведку такого важного для державы золоторудного месторождения людям, многих из которых Бызов с Ципкиным видели в вагончике администрации, а кое с кем даже здоровались за руку. И хотя Бызов с Ципкиным формально считались в данном великом деле рядовыми (разве что преисполненными всеобщего энтузиазма) винтиками, а потому являлись несущественными для государственной комиссии по присвоению или присуждению, оба они, по сути, были непосредственными, фактическими творцами этой очередной трудовой победы народа. Были, являлись, но ни в коротком списке удостоенных, ни в длинном просто отмеченных, себя не обнаружили. Ни в качестве примкнувшего Шепилова, ни в качестве неуловимого Киже.

Смена уже подходила к концу...

Насквозь промерзшие, как два ванильных пломбира, студенты добивали последнюю на сегодня рассечку и мысленно готовились к подъему. Уже полчаса Бызов, однако, не думал о сибирских пельменях со сливочным маслом и сметаной, как думалось ему всегда в конце работы. Он испытывал какое-то постороннее, непривычное ощущение, незаметно примешавшееся к привычному голоду-холоду. Здесь, под землей, сейчас что-то было не так. Что-то неуловимое, неопределимое, неосязаемое, но при этом вызывающее тревогу.

Но что?

Завершая измерения, Бызов лихорадочно размышлял о том, что именно могло вызвать у него беспокойство. Перебирал в голове детали окружающей обстановки, анализировал, сравнивал этот день с предыдущим. И вдруг понял — *что*.

Мертвая тишина!

Уже час как никто, ни один шахтер, не прошел мимо их рассечки, звонко смеясь над чем-то или же глухо матерясь. К тому же вдруг разом стихли все металлические звуки. А ведь они должны были звучать! Работы в штольне шли круглосуточно, и ничто не могло их оставить, кроме... кроме...

Тут Бызов замер: кроме *отпалки.*

И словно в подтверждение этого открытия где-то там, далеко, а может, и не очень, довольно отчетливо хлопнуло. Так, словно во время тихого часа в пионерском лагере один пионер ударил другого пионера подушкой по голове за доносительство. Не громче, но и не тише. Нет-нет, это совсем не походило на взрыв. Максимум — на падение поскользнувшегося толстяка. Но осторожный, подозрительный и в этот момент трусоватый Бызов на цыпочках (и почему именно на цыпочках?) направился к выходу из рассечки и там нацелил луч своей лампы туда, где, как показалось Бызову, один пионер и треснул другого по голове.

Метрах в пятидесяти, а возможно, и в двадцати (под землей расстояния всегда обманывали Бызова) он увидел... клубящуюся желто-оранжевую стену дыма, которая ползла, ползла, ползла к нему по штреку, по пути заполняя все углубления, пузырясь и потрескивая, как пена.

Открыв рот, Бызов закричал что-то бессмысленное (так кричат во сне, за мгновение до того, как счастливо проснуться), что-то такое, в чем было и абсолютное неверие в то, что он сейчас видит, и смертельное отчаяние от увиденного.

Рядом тут же возник пружинистый Ципкин. Оценив эту оранжевую, хищно ползущую на них, двух глупых мышат, змею, Ципкин, не проронив ни слова, побежал в противоположную от змеи сторону — к уклону, на ходу бросая аккумуляторные батареи, пульт и, главное, датчик с радиоактивным источником, что было не просто нарушением техники безопасности, но самым настоящим преступлением.

Только увидев стремительно удаляющуюся спину Ципкина, Бызов пришел в себя.

Но не поздновато ли?

Смертоносный дым уже цеплялся за хлястик его ватной куртки...

Красный, потный, с блестящим лицом и бегающими глазами диспетчер, уже жалеющий о том, что только что произошло между ним и этой Оксаной, искал повод избавиться от нее, чтобы двинуть домой, к семье, давно его ждущей. А то, не ровен час, жена явится сюда посмотреть, где работает ее благоверный. *Приступая* сегодня к нему, Оксана не спрашивала о семье, а он и рад был, что не спрашивала.

— Все, Оксана, давай... У меня тут еще много... я тут еще должен, — начал озабоченно диспетчер, обращаясь к глядящей на него исподлобья Оксане и тяжело поднимаясь со стула, на котором все, собственно, у них и *произошло.*

Диспетчер чувствовал себя потерянным и не находил себе места в диспетчерской. То, поначалу неистовое, фантастически сладкое, что он вкусил только что, быстро заместило горьковатое послевкусие, и вмиг вернувшийся к действительности диспетчер ощущал что-то вроде личной катастрофы.

Оксану же, напротив, всё, что только что произошло, до упругости наполнило свинцовой уверенностью в том, что этот парень теперь от нее никуда не денется, и ему уже завтра можно продиктовать свои первые пока маленькие требования.

Не зная, что еще сказать (а может, сделать), чувствуя роковое приближение жены (наверняка, сейчас распахнется дверь!), диспетчер принялся крутить головой по сторонам, словно ища того, кто его сейчас ужалил. Потом замер и, бледнея,

посмотрел себе за спину, чтобы удостовериться в том, что мелькнувшее там — плод воображения, не более. Посмотрел, и Оксана отметила про себя, что даже уши у этого мужика стали белыми, как у покойника.

За спинкой стула диспетчера в стеллаже для шахтерских ламп зияли пустотой две ячейки. Всего две из многих десятков. И, увы, не было уже никакого смысла шарить в надежде обнаружить там, в глубине, у самой стенки, недостающие лампы. Двух не хватало, и значит, что какие-то два горняка (не студенты ли?), по какой-то причине не покинувшие горную выработку до начала отпалки, доживали сейчас последние минуты на глубине триста метров, отравленные ядовитым дымом. Диспетчер лихорадочно вспоминал, сообщал ли сегодня взрывникам, в каких рассечках работают студенты. Вспоминал и никак не мог вспомнить. С этой Оксаной у него все мозги отбило!

Взглянув на Оксану с ужасом, нарастающим во взгляде, он прохрипел:

— Мне крышка... Я тут с тобой... студентов угробил! Пошла...

— Что? — не расслышала Оксана.

— Пошла вон!

Последнюю фразу диспетчер изверг со звериной силой, и Оксану как ветром сдуло.

Дрожащими руками закрывая дверь на щеколду, диспетчер не думал о жене, которая наверняка была уже где-то на подходе. Что теперь он мог ей сказать? Я виноват во всем, это мне наказание, уходи, меня больше нет?

Сейчас он размышлял о том, сколько ему дадут. Почему-то пришло на ум сказанное кем-то из коллег: прокурор за *такие дела* восемь лет требует, и судья меньше четырех не дает. Но если и четыре, считай, что ты — счастливчик... И уже чудилась диспетчеру камера предварительного заключения, и уже ехал он на суд в автозаке, и уже стучал на стыках вагон, везущий его отсюда подальше. (Хотя куда ж его отсюда, если здесь и так — дальше некуда?!) И уже лезли к нему со своей «пропиской» лагерные авторитеты, и небо в клеточку было ему уже с овчинку...

Бежать. Он, конечно, подумал об этом. Но чтобы бежать отсюда, нужно готовиться не один день: провиант, теплые вещи, сухой спирт для розжига и мокрый для нутра, мотоцикл «Восход» с тремя двадцатилитровыми канистрами бензина, принайтованными позади мотоциклетного седла... И все равно не убежишь!

Диспетчер взвыл, и его взгляд уперся в плафон над головой (сам уперся, диспетчер его об этом не просил). «Выдержит ли?» — опять-таки против воли промелькнуло в голове, обдав диспетчера ледяным холодом. Потом его взгляд остановился на бухте электрического провода.

«Нет! — заартачилось что-то живое внутри диспетчера, — только не это! Отсижу! Другие-то сидят, а потом выходят. И ничего!»

В этот момент кто-то стал дергать ручку двери снаружи, пытаясь войти.

Диспетчер бросился к двери и прошептал:

— Уходи, Ириша, уходи.

Однако с той стороны заревели:

— Открывай, гад!

«Прокуроры! — вспыхнуло в мозгу диспетчера. — Уже?»

С той стороны кто-то ломился в помещение.

Еще раз в панике глянув на плафон над головой, потом скользнув взглядом по бухте провода, диспетчер засмеялся так, как смеются сумасшедшие в художественном

фильме, почему-то непременно округляя глаза, словно они и впрямь видят сейчас что-то такое, чего не видит ни один смертный. Засмеялся и откинул щеколду.

Двое взмыленных, раздетых до пояса проходчиков с шахтерскими касками в руках и ушанками под мышками ворвались в комнату; один, иронично поджав тонкие губы, второй — скрипя зубами от злости и негодования. И дежурного, словно взрывной волной, бросило на стул. «Студенты! Живы!»

— Ребята? — по-бабьи изрек диспетчер, и мгновение назад искаженное безумием лицо его разгладилось. Пытаясь взять себя в руки, чтобы не разрыдаться, обрывающимся голосом он изрек: — Давайте-ка сюда лампы. Что-то вы задержались.

Если сейчас они отдадут лампы, уже нельзя будет доказать его вину!

Если лампы в ячейках, а проходчики налицо, значит, ничего и не было. И никакой прокурор, никакой самый въедливый следователь никогда, ни за что...

— Не отдадим! — вдруг рявкнул тот, что скрипел зубами, непримиримый и почему-то обвешанный аппаратурой, которую можно было бы и оставить за дверью. — Ты нас чуть не угробил! — заорал он, срываясь на фальцет.

— Ну, зачем так громко, — опустил глаза диспетчер и вновь побледнел (да они, кажется, всё прекрасно понимают!). — Давайте, давайте, я тут из-за вас и так...

Что «и так» он, однако, не договорил: понял — бессмысленно. И силы покинули его. Он сидел на стуле и с жалкой улыбкой выслушивал обвинения гневного студента, который грозился посадить диспетчера в тюрягу за такое преступное отношение к живым людям, которые только чудом остались в живых.

О, как обличал этот парень! Заслушаешься! Ему бы выступать общественным обвинителем на *процессе Промпартии* или *врачей-отравителей*. Вот была бы слава народного трибуна.

А тот тем временем и не думал прекращать свою прокурорскую речь. Он уверял уже раздавленного вконец диспетчера, что отлично знает, как теперь с диспетчером поступят, и кричал, что ни за что не отдаст ему свою шахтерскую лампу. Да, не отдаст! И непременно предъявит ее инженеру гортехнадзора, который составит соответствующий акт, или начальнику экспедиции, орденоносцу и члену бюро обкома, который, конечно же, не потерпит такого преступного головотяпства, а то и лично в руки товарищу прокурору. И диспетчер тогда попляшет не хуже них, еле унесших ноги от смерти и при этом едва не надорвавших себе пупки. А все почему? А все потому, что у диспетчера в диспетчерской вместо исполнения должностных обязанностей шуры-муры...

В этот момент дверь распахнулась и кто-то молча застыл на пороге.

Диспетчер тут же встал, глядя за спины студентам и так щедро улыбаясь, словно дарил эту свою улыбку кому-то на прощанье.

Пошедший от возмущения красными пятнами обличитель повернулся, уже готовый предъявить свою шахтерскую лампу вошедшему товарищу прокурору.

Но это была Шамаханская царица. Все в том же белом платье.

С ее лица еще не успела сойти улыбка, вдруг в мельчайших подробностях осветившая это довольно темное дело гневному обличителю (конечно же, это был Бызов; Ципкин лишь посмеивался). Чуткая женщина уже почувствовала неладное. Посмотрев на Бызова так, что тому захотелось провалиться сквозь землю, она подошла к диспетчеру и так же, как вчера Бызова, схватила его за руку.

— Ириша, прости, — только и сказал ей диспетчер и сел на стул.

— Коля, Коленька, что с тобой? — с болью в голосе воскликнула она и обняла его голову и прижала ее к своему животу. — Что, что, родной? Я же вижу. Я же знаю...

И Коленька захлюпал носом, словно только и ждал этой нежности, этих легких ладоней у себя на затылке, чтобы сбросить с себя тяжкие одежды греха, выдавить из души ужас, который едва не лишил его разума, который едва не убил его.

Ципкин взглянул на Бызова, подошел к столу, положил на него свою лампу прямо перед диспетчером, доверчиво уткнувшегося головой в живот женщине и жалующегося ей на что-то. Потом вновь скорчил гримасу, мол, да ну его, махнул рукой и вышел за дверь.

И Бызов сдулся.

Праведный гнев и жажда мщения оказались в нем пшиком, фикцией. А ведь сколько мер, сколько решительных шагов было им намечено для того, чтобы воздать, наказать или хотя бы прищучить нерадивого диспетчера...

Километра два, пока Бызов убегал от ядовитого дыма, который не отставал, но и не приближался, он даже не успел как следует испугаться. К тому же за время этого забега ему не пришло в голову избавиться от аппаратуры — всю ее, в целости и сохранности, он вынес на поверхность в трех километрах от поселка. Да, поначалу он просто спасался, как Лот из Содома. Не оборачиваясь. Когда же понял, что дыму его не догнать (ведь дым в этой своей погоне обязан был, в соответствии с законами физики, заполнять попадавшиеся на пути штреки да рассечки, и потому время от времени отвлекался от своей погони), Бызов, выжатый как лимон, перешел на шаг и вознегодовал: во всем виноват диспетчер! Наверняка этот головотяп, увлеченный той нагловатой теткой, не сообщил взрывникам о студентах, работающих в одном из штреков. Понимал, наливался праведным гневом и вынашивал страшную месть. Но все карты ему спутала Шамаханская царица, в которую он со вчерашнего дня был, кажется, влюблен.

Оставив свою лампу на стуле возле двери, Бызов бесшумно покинул диспетчерскую.

На крыльце стоял мальчишка, ее сын. Увидев Бызова, мальчишка улыбнулся ему как родному, и шагнул вперед, явно ему доверяя. Даже *доверяясь* ему. Бызов покраснел от стыда и стремительно пошел прочь, думая: «Да как я такой?!»

Да как смел я давить этого Коленьку, отца малыша и мужа такой бесподобной женщины?! Да эта Ириша, оттолкнув стражу, с радостью взошла бы на эшафот вместо своего преступного Коленьки (берите меня вместо него!), да еще, положив голову на плаху, подбадривала бы своим любящим взглядом Бызова, взявшего в руки топор, но всё не решающегося отрубить ей голову...

«Какой-то Коленька из диспетчерской, а не принц из тридевятого царства. Нет, вы только подумайте!» — негодовал Бызов, чтобы как-то заглушить в себе чувство стыда.

И тут его окликнули.

— Эй, студент!

Он остановился, снял с плеча ремень прибора, поставил железный ящик перед собой и повернул голову: кажется, это была та самая вертихвостка, которую Бызов видел утром в диспетчерской.

— Значит, ты живой. А тот, второй? Что с ним? Все в порядке? — спросила она, идя к Бызову и с интересом его разглядывая.

Бызов хмуро кивнул.

— Вот видишь! А почему невеселый? — усмехнулась она. Бызов не ответил, почему. — Ну, хорошо. Как тебя зовут, юноша?

— Бызов, — буркнул Бызов и покраснел, а вертихвостка рассмеялась.

— А меня Оксаной кличут. Можешь Ксюшей звать. Ты в столовую? — последний

вопрос заставил Бызова поднять на Оксану глаза и тут же ощутить зверский голод. — Не спеши. Столовка уже закрыта. Все, что было, съели.

Бызов сокрушенно вздохнул, мол, вот так всегда. Уставившись на Бызова насмешливо, Оксана не сводила с него глаз: изучала, прикидывала, оценивала и при этом излучала что-то такое, от чего Бызову стало жарко, хотя из тундры уже тянуло вечерним холодом. Пауза затянулась. Не проронив ни слова, Бызов вновь водрузил ремень прибора на плечо, чтобы идти к себе в общежитие и там заморить червячка сушками с маком.

— Бызов, а пошли ко мне. Накормлю тебя обедом, — все с той же насмешливостью изрекла Оксана.

— А что на обед? — не смог сдержаться Бызов, смело глянув в глаза Оксане.

— Что, что... Пельмени со сливочным маслом и уксусом. Уж извини, сметану только в воскресенье забросят с материка.

И в глазах у Бызова полыхнуло зарево.

Вертолет рвал воздух в клочья, блестя на солнце лакированным брюхом, и жители поселка ручейками стекались к площади. Должен был прилететь прокурорский работник с подручными, чтобы забрать проходчика Мишу, который зарезал перочинным ножом буровика Витю. Оба крепко выпили, а потом повздорили на бытовой почве, и так получилось, что Миша хотел лишь попугать, но немного не рассчитал, хотя, и Витя мог вот так же — Мишу... «Просто так получилось, — пожимая плечами, говорил Мишин бригадир белому от злости Карабасу Барабасу, пока Мишу паковали местные дружинники. — А человек Миша добрый, и в бригаде на хорошем счету».

Помимо прокурора с помощниками, бидонов со сметаной, в поселок должны были доставить долгожданную почту. Тот самый мешок, что забыли неделю назад, и еще один — с новой корреспонденцией. В общем, сразу два мешка с письмами.

Однако Бызов не очень-то спешил сегодня к вертолету.

Шел вразвалку и думал, а что если почту и на этот раз не привезут? Однако что будет, если не привезут и на этот раз, он не додумал, поскольку остановился и, широко раскрыв рот, зевнул. «Не привезут и не привезут, тебе-то что!» — промелькнуло в его голове постороннее, за Бызова ответив на вопрос.

Ранним утром сегодня крадущийся по коридору барака Бызов столкнулся с крадущимся же Ципкиным. Ципкин опешил. Потом спросил:

— Твою как зовут?

— Оксана, — шепотом ответил Бызов.

— И мою Оксаной, — удивился Ципкин. — У них тут одни Оксаны, что ли? Ладно, пошли досыпать...

Вертолет уже висел над площадью, поднимая тучи пыли, задирая женщинам подолы, срывая с мужиков кепки, а с ближайших бараков — листы рубероида.

Бызов глянул на собравшуюся толпу (где-то там, в гуще, стояла *она* с сыном и своим Коленькой) и не стал дожидаться посадки вертолета. Отправился к себе в общежитие спать.

А как же письмо от Кати?

Ах да, письмо. Ну, письмо, если оно будет, принесут ему в общежитие. Никуда это письмо не денется...

Минут пять назад Бызов увидел ее и диспетчера, идущих к площади чуть впереди: Коленька нес на плечах мальчишку и что-то весело рассказывал ей, а она прижималась

к Коленьке плечом, будто в чем-то провинилась перед ним вчера, а он, такой добрый, сегодня утром ее простил. Счастью этой женщины не было предела. Так показалось Бызову. Ему не хотелось, чтобы она внезапно обернулась и увидела его, идущего следом, словно подглядывающего за ее счастьем и ищущим, как бы его украсть. Поэтому он и остановился возле барака. И не пошел дальше.

Все эти дни Бызов тщательно избегал встречи с нею. Однако то и дело встречал Коленьку то в коридоре Управления, то в продуктовой лавочке, и всегда одинаково холодно смотрел в глаза виновато улыбающемуся диспетчеру, всем своим видом говорящему Бызову: да брось ты дуться, парень, ну виноват я, виноват, с кем не бывает? Однако Бызов прожигал своим взглядом Коленьку совсем по другому поводу. Как этот диспетчер посмел променять свою бесподобную Иришу на какую-то Оксану из Кривого Рога? А вот посмел, променял.

И все-таки Бызов столкнулся с ней, одетой все в то же белое платье, в коридоре Управления. Вся она словно светилась изнутри. В ее глазах, широко раскрывшихся в тот момент, когда увидела Бызова, сияла кристальная чистота помыслов, а на лице была написана благодарность, одна только благодарность, правда, помноженная на миллион миллионов. И Бызов, склонив голову, поспешил малодушно проскользнуть мимо, не вступая в разговор, хотя ей — он это видел — хотелось поговорить. Она деликатно опустила глаза, пропуская Бызова мимо, и смутилась. Наверняка почувствовала себя виноватой в том, что Бызов ее теперь сторонится. Конечно, она уже знала о том, что Коленька наделал, и понимала, что эти студенты, по сути, спасли его от суда, отдав свои шахтерские лампы. И простой ее душе и чистому ее сердцу было необходимо выразить этим мальчикам свою благодарность. Хотя бы сказать что-то трогательное этому юноше, который не помнит зла, но у которого, конечно же, есть повод не любить ни ее саму, ни ее Коленьку.

Но почему Бызов смалодушничал? Почему прошел мимо?

Не оттого ли, что не мог вынести нестерпимый свет ее души, присутствие рядом той неприступной славы, которую носила в себе эта женщина? Нет, не зря теперь в ее присутствии Бызову хотелось спрятаться в нору, забиться в щель. А может, этот ее свет выставлял на всеобщее обозрение чернильное пятно греха, которое уже несколько дней лежало на душе Бызова, вдруг превратившее пылкого мальчика в расчетливого, знающего себе цену мужчину.

И этот мужчина теперь не понимал только одного: как Коленька до сих пор не ослеп от этого нестерпимого света, как не выгорел дотла от этой неприступной славы?! Как без страха и сомнений может смотреть этой женщине в глаза, обнимать ее и прижимать к себе, как смеет просить ее о чем-то, нет, требовать от нее чего-то и спокойно отвечать на ее вопросы, уничтожающие своей правдой любую ложь?!

Бызов бы не смог.

Не посмел бы.

Никогда.

Особенно теперь, когда жизнь его внезапно стала сытой, ленивой и ко многому вокруг безразличной. Устав удивлять, она вмиг остыла почти до нуля и тут же обросла диким мясом быта. И Бызов в ответ охладел к жизни, потерял к ее деталям и подробностям прежний горячий интерес.

Вместе с голодом Бызов утратил свою прежнюю легкость, заматерел и, кажется, стал, наконец, взрослым. И теперь письма от Кати были ему не нужны...

Арсений Гончуков

Принц

Рассказ

Все детали реальны, все персонажи вымышлены.
Почти все.

— Another day in Paradise! — кричал мне Гилберто, и я смеялся.

Я спрашивал, как дела, а он мне в ответ — свою вечную присказку. И добавлял: «You know?» Ах-ха-ха! Ну как можно? Это смешно! Еще один день в Раю. Если ты понимаешь, о чем я... Господи Иисусе, Гилберто! Какой хулиган... Он у нас нелегал был, как и я когда-то, работал по поддельным документам, за кэш. Он во второй смене, я — в ночной. Его день заканчивался, и начинался мой — в Раю.

Понимаете, человек не должен ходить со слишком прямой спиной. Ну как... Никто ничего не должен. Но согласитесь, слишком прямая спина смотрится подозрительно. Будто человек сильно напряжен, будто держит его какая-то сила невидимая и не может отпустить... Вот с такой спиной ходил наш Принц. Он никогда не сутулился, даже когда нагибался, и всегда все делал с прямым корпусом, как будто палку проглотил и она мешает. Он как натянутая струна, как мачта, он как будто боится согнуться и сломаться пополам. Странный он. Вроде бы все привыкли, а меня до сих пор пугает.

Проработал я у них недолго, уборщиком. Не могу сказать, что это было несправедливо, когда меня уволили... А если скажу, что я Hispanic, то есть латинос, и что мне уже семьдесят два года, я достаточно серьезно болен и поэтому... Нет, нет. Не хочу навлечь на себя гнев мистера Принца. Зачем? За такое, даже за намек, можно схлопотать если не иск, то серьезные проблемы... Я никого не обвиняю, просто они переехали в другой офис, он и вся его орава: главы подразделений, проект-менеджеры, эти, как их, программисты, тестировщики, человек сто всего... Теперь, мне рассказывал Хесус, который у них остался, там работают в основном белые парни и девчонки, ну еще азиаты, индусы, здесь их много, и все молодые, до тридцати лет, а офис у них огромный, раза в три больше прежнего... А я что? Мне осталось только вспоминать.

Гончуков Арсений Михайлович — писатель, поэт, режиссер. Родился в Нижнем Новгороде в 1979 году. Окончил университет по специальности «Филология» и Школу кино при Высшей школе экономики. Автор сценариев, режиссер-постановщик и продюсер полнометражных художественных фильмов, а также первого в России веб-сериала «Район тьмы». Лауреат, обладатель наград российских и мировых кинофестивалей. Автор двух книг, в том числе поэтического сборника «Отчаянное рождество» (2003). Публиковался в журналах «Дружба народов», «Юность» и др. Живет в Москве.

Да нет, вы знаете — шеф хороший человек. Хотя, как по мне, пацан еще совсем, и спина прямая от ребячества, от желания выглядеть лучше, даже нет, как бы вам объяснить... Он пытается быть правильным, но не знает, как это. Ему кажется, что правильно именно так, что прямая спина единственно верное положение, как у автомобильного сиденья, а на самом деле выглядит это по-дурацки... Как будто человек пришел на вечеринку барбекю в смокинге и цилиндре. И что самое плохое, он не понимает, а сказать ему некому... Я не самоубийца. И потом, английский я знаю не очень, иначе здесь бы не работал. Но и зная язык: как скажешь, что лучше держать себя естественно? Этому не научишь.

Про нашего Принца ходит много слухов и баек, знаете. Что он такой-сякой, что помешан на секретности, соблюдении личных границ, хотя его компания как раз собирает данные и все такое. Ну, не знаю, может, что-то и правда, вот только никакой он не маньяк. Жил в то время он неподалеку от офиса, в простом, хотя и скрытом от посторонних глаз домике, несмотря на свои миллиарды. Там, конечно, охрана, как без нее, и она хорошо спрятана... А как иначе? Сколько ходит безумных, обиженных, а террористов... Этого дерьма навалом! Секретность, это правильно, когда за тобой днем и ночью следят папарацци, когда каждую частичку твоей жизни рассматривают под микроскопом и из каждой готовы раздуть сенсацию. Поневоле начнешь прятаться, хотя он особо не старался... Есть же кадры, я видел по телеку, кто-то снял, как шеф покупает такос и стоит с коллегой на улице, потом они садятся на землю и просто болтают. Не знаю, некоторым показалось, что это слишком как-то сделано на камеру, типа показуха, понимаете. Но я уверен, что нет. Он такой, простой парень. Уж не знаю, как сейчас, позволяет ли он себе подобные вылазки, но тогда захотелось ему пожрать свежий такос, он вышел и купил. Ну и отлично, пусть... пока может себе позволить быть, как говорится, обычным человеком, испытывать простые радости, так сказать.

Конечно, я многое знаю по слухам... Кто я? Обычный уборщик, прихожу в офис поздно вечером, хотя иногда и днем дежурю, когда подменяю Гилберто. Как в тот раз, когда произошла история с Ларри. Сразу скажу, что никогда, никогда мистер Принц не повышает голос, ни разу он не сказал ни одной грубости, ни разу в его словах не прозвучала злость... Рассказывают, что однажды стукнул кулаком по столу, но это чистое вранье. Может, он хлопнул в ладоши, чтобы на него обратили внимание увлеченные спором ребята, но чтобы стучать кулаком с угрозой — такого просто не может быть! Не скажу, что шеф общается спокойно и дружелюбно, нет-нет. Он говорит очень ровно, очень, как бы это сказать, нейтрально... Он просто говорит — и все. Я не могу вспомнить интонаций, ну разве что когда его допрашивали в Конгрессе, он говорил, как будто оправдывался, отвечал, что сожалеет, но обязуется, обещает исправиться... Мы все тогда смотрели ТВ. Он держался очень прямо, хотя был бледен, когда соглашался, что признает ошибки... Но даже это не звучало как-то так или эдак, понимаете? Когда-то я работал в университете Айовы и помогал в лаборатории старенькому профессору химии, очень умному и порядочному мистеру. Так вот, даже среди ученых не было такого, чтобы человек был настолько, как бы это сказать, не сухим, нет, а каким-то никаким, без эмоций... Вот как пить чистую дистиллированную воду. Пробовали?

При всем при этом как его боялись! Хех! Панически, до паралича, до остановки сердца! Не знаю, с кем сравнить, кого еще можно так бояться, русского президента с ядерной бомбой, наверное, да? Или злого духа в пустыне, или мертвяка, вставшего из могилы? Страх перед Принцем был какой-то умертвляющий все живое, так, наверное, действует невидимый ядовитый газ... Хотя, может, я преувеличиваю. Кто я? Старый больной работник клининга. У меня есть только мои глаза, и ничего более.

Обычно шеф собирал планерки в дальнем углу опенспейса, где стоят красные и синие диванчики, там еще сотрудники пьют кофе, отдыхают, читают, играют в шахматы и даже вяжут. Я никогда не понимал, о чем они говорят, и английский у меня не очень, и ничего-то я не понимаю ни в технологиях, ни в этом, как его, маркетинге, да что говорить, меня нет ни в одной социальной сети. Ни в одной! Ха-ха! Если уж совсем откровенно, я с трудом представляю, что такое Интернет. Картинки, сайты — это мне показывали. Но я все-таки больше в реале... Люблю бумажные книжки, мягкий переплет, и чтобы не сильно большие, чтобы можно было сунуть в карман. Вот так. А это все, ну, знаете, староват я для этих дел.

Это случилось после одной такой вечерней планерки, я даже помню, что на улице стояла ранняя весна, на аллеях появилась зелень, люди уже начали ходить в легких куртках. Как раз тогда отличился худосочный Ларри... Но я совсем забыл сказать, а чего, собственно, мы все боялись? А боялись и правда все, все без исключения, не раз и у меня коленки подгибались и потели ладони... Но чего? — спросите вы. И вот здесь не знаю, что ответить... Не было никаких выговоров, наказаний или штрафов, не было абьюза, никто не игнорил провинившегося, все продолжали дружелюбно улыбаться и здороваться, да и сам шеф с такими, кажется, становился еще ласковее... И уж тем более не понижали, как говорится, в должности, нет, ничего этого не было.

За оплошности и факапы не наказывали никак, совсем никак, я клянусь. И это было самым страшным наказанием. Отсутствие его, как будто ничего не произошло, и даже наоборот, вежливость в ответ, были как нож, что подносили острием к груди, медленно вводили, а потом ты вдруг ощущал холодный металл в сердце... Нож проходил его насквозь, и острие рвало кожу на спине, но ты был все еще жив и только холодел и таращил глаза от ужаса. Да-да! Это ощущалось именно так, я не раз видел... В офисе все боялись расстроить Принца, сделать ему неприятно, стать причиной его недовольства... И чем больше боялись, тем сильнее скрывали это. Его подчиненные делали все, лишь бы однажды не ощутить этот взгляд, когда сделал что-то неправильно, взгляд серых не холодных и не горящих глаз, а просто взгляд, легкий и спокойный, прямой и очень ясный, под которым обретало черты все долбаное мироздание, становились понятны все тайны мира... Взгляд, который он бросал на виновного и которым как будто простым привычным движением рассекал человека надвое. И это было понятно и справедливо, и даже не больно.

Я нисколько не преувеличиваю, хотя, конечно же, я немолод и всего лишь уборщик. Я не сильно образованный человек, хотя верующий. А еще я люблю читать и был знаком с серьезными учеными.

Итак, Ларри облажался, и очень сильно, судя по всему. Дело касалось данных пользователей, нет, катастрофы не случилось, вовремя спохватились, но Ларри был главным разрабом, заместителем шефа, а потом еще за дело взялся Конгресс... Разбирательство шло немного по другому поводу, насколько я понял. Но речь шла тоже про какую-то утечку. Ларри, как все технари, далекий от политики человек, а вот Принцу пришлось несладко, он сидел перед всей страной и оправдывался, постоянно ссылаясь на свою команду, кстати, заметьте... Видимо, так говорить велели ему советники.

Ларри намудрил что-то с шифрами, но я даже не буду пытаться пересказать то, что слышал. Что-то случилось с базами данных, хотя он ничего такого вроде бы не сделал, а только поставил под угрозу... Просто цена оказалась очень высока, как я понял.

Принц был в бешенстве. Ну как в бешенстве? Мы это предполагали, так говорили ребята. Потому что дело было серьезное, угроза потери кучи денег, сотни миллионов баксов, ну а что вы хотите... Шеф появился в офисе мгновенно. После того как

проблема всплыла в их внутренних письмах. Все забегали, успевшие уйти после планерки вернулись, программисты начали куда-то звонить, кто-то громко заявлял, что это катастрофа и не дай бог снаружи станет известно...

Так получилось, что я оказался в центре событий. Во время планерки помощница шефа уронила двухлитровую бутылку с колой на пол и та разбрызгалась по ковру, и даже на стену попало, и меня вызвали убрать, отмыть, а эта мерзкая штука сладкая, липкая, я начал замывать ее и бегал туда-сюда. В общем, меня не замечали, а я все видел. Принц прибежал, весь красный, запыхавшийся, но прямой, как стержень, он окинул взглядом всех собравшихся и громко сказал, все OK, проблема решается, счет идет на минуты... Рядом с ним уже были советники, его пресс-секретарь и служба технической безопасности в полном составе.

Ларри тоже был здесь. Он стоял недалеко от меня, у стены, забрызганной колой. И когда в офис ворвался шеф, Ларри, кажется, даже не шелохнулся, а застыл, как многотонный мраморный истукан. Ларри был высокий симпатичный парень с черными дредами, очень ухоженными и чистыми, что встретишь нечасто. Но сейчас он был, мне показалось, совсем тонкий и прозрачный, как будто за две минуты прошло два месяца, в которые ему не давали ни есть, ни пить... Щеки ввалились, вокруг глаз потемнело, с длинных белых пальцев капала вода, уж не знаю, что это было, он только что помыл руки или это стекал пот... Даже вспоминать неприятно.

А знаете, что произошло дальше? Я до сих пор, когда вспоминаю, начинаю нервно хихикать. Принц вошел в опенспейс и бросился туда, где сидели и стучали по клавишам ребята-программисты, затем он метнулся к своему столу, но тут увидел боковым зрением Ларри... В следующий миг, знаете, как бывает в фильмах, воздух стал густым, все замедлилось, словно планета останавливала свое вращение, и в этой замедленной съемке и полной тишине, в которую вдруг окунулся офис, я увидел, как Принц подходит к Ларри, и тот вдруг... вспыхивает, загорается, Господи Иисусе! Святая Мария! — самым настоящим огнем!! И прожигает в полу под собой дыру и проваливается в нее, и оттуда с диким свистом вырывается столб черного дыма!.. Ладно, ладно, я шучу, глупая дурацкая шутка старого уборщика, простите... Просто я так чувствовал и готов был в тот момент увидеть взрыв, пламя! Но вместо этого Принц подошел к Ларри и очень просто и буднично, словно ничего не случилось, похлопал его по плечу, мол, держись, чувак, мы всё починим... Он очень легко так, хотя и плотно, похлопал его, но мне показалось, что сейчас худосочный Ларри сломается пополам, как ветхая пролежавшая тысячу лет на подоконнике спичка.

Я оттер, наконец, сладкую кофейного цвета гадость с пола и со стены, позвонил в фирму и подал заявку на паровую чистку ковра и спустился в комнату отдыха. В нижнем техническом помещении такая полагалась каждому из нас, что было очень круто по меркам богоспасаемого Пало-Альто благословенного штата Калифорния. Я сразу же завалился спать и продрых несколько часов кряду. Да уж, произошедшее в офисе помотало мне нервы.

Вернулся в офис я поздно вечером, когда закончился еще один райский день и большинство сотрудников разошлось по домам. Кто-нибудь всегда задерживался допоздна, конечно, но я стараюсь работать тихо, моя задача — собрать по столам и вытряхнуть из корзин мусор и раз в три дня протереть пыль на полках. После меня уже приходят ребята Ник и Льюис, которые полночи моют и пылесосят все досконально, от пола и окон до потолка.

В тот день я увидел то, что всю жизнь не будет давать мне покоя. И уже тогда я понял это. Я начал со шкафчиков для одежды недалеко от туалета. Скажу по секрету, у меня возобновились боли и мне было тяжко, да и лень таскать с собой ведро, поэтому

я то и дело ходил в уборную смачивать свои губки и тряпки. Когда я в начале работы заглянул туда, мне показалось, я слышал шорох в одной из кабинок, но не придал значения. Потом я очень долго копался со шкафами, которые были выше меня в полтора раза. Пришлось тащить лестницу и забираться на самый верх: и откуда только там, под потолком, с завидным постоянством скапливается пыль?

Спустя, наверное, минут двадцать я пошел в туалет сполоснуть грязную тряпку, открыл дверь и встал как вкопанный... Рядом с умывальником перед зеркалом стоял Ларри, мертвенно бледный, чуть ли не зеленый, у него было напряженное вытянутое лицо не живого человека, а какой-то белёсой рептилии, но самое главное, что происходило ниже. Он смотрел на себя в зеркало, кажется, даже криво улыбался, а в руке... Господи! Святая Дева Мария... В правой руке он вертикально держал длинную стальную спицу, конец которой упирался в деревянную полку рядом с краном, и на этой спице будто в воздухе висела кисть его левой руки, проткнутая посередине. Кисть была бледнее его самого, она дрожала и напоминала умирающую белоснежную птицу, растрепанную от ужаса, и только на тыльной стороне ладони я заметил красную точку... Кровь капала на край раковины, и струйка стекала в слив — тонкая красная линия разрезала белую чашу. Это было по-настоящему жутко, дико. Мне тут же стало холодно, и я вздрогнул. Помню, у меня, у меня, который весит под триста фунтов, закружилась голова, как у девчонки... После чего из меня вырвалось:

— Твою мать, парень! Какого черта ты делаешь?!

Несколько мгновений он как будто не слышал меня. Наконец его проткнутая рука вздрогнула, как в предсмертной судороге, и заставила очнуться его самого. Он вскрикнул, как птица, тонко и жалобно, и бросился к выходу, чуть не сбив меня с ног. Я стоял и смотрел на кровь, думая о том, что испорчу тряпку...

Тряпку, пропитанную кровью, я запечатал в пластиковый пакет и выбросил в контейнер у своего дома. Я никому ничего не сказал. Хотя надо было первым делом сообщить в отдел кадров. Но тогда у Ларри начались бы проблемы, такие кровавые фокусы начальству запоминаются. А мне всегда казалось, что он нормальный парень. Жалко его было ужасно.

С того дня прошло уже два года, я живу недалеко от долины, в Стоктоне, и работаю в небольшом продуктовом магазинчике. Убираться здесь нужно не так часто, и меня это полностью устраивает. Силы уже не те, и здоровье подводит все чаще.

Райские деньки в Пало-Альто вспоминаю часто, даже снятся иногда. Интересно, кто-нибудь зовет еще шефа Принцем? Ведь это я придумал и всех научил, а он услышал однажды и, кажется, ему не понравилось... Хотя я ничего не сочинял, а вычитал в официальной биографии, что Принцем его называли в детстве в кругу семьи. А что? Мне кажется, подходит! Хотя принц наш давно вырос. Сколько у них теперь? Недавно смотрел передачу по CBSN, так там говорили, что уже перевалило за два миллиарда пользователей! Невероятно, конечно. Невозможно поверить.

Хотя я верю, верю. И два миллиарда, и три будет, и четыре. А потом и весь мир будет у них там... Причем скоро, очень скоро!

В прошлом месяце гостили у меня ребята, дочка и внук; и внук показал на планшете нашу соцсеть — ему всего двенадцать, а он уже там зарегистрирован, представляете? Я смотрю, а там в окошке написано: «Что у вас нового, Маркус?» Это внука так зовут. И я задумался: и правда, что у меня нового? Хотел даже написать, но так и не придумал — что... Ничего нового у меня, Принц. Ничего нового. Я пока жив, и каждый день для меня еще один день в Раю.

Анатолий Валевский

Эльза

Рассказ

С благодарностью за всё — Галантине

По паспорту она Лида, но для всех давно Эльза. Чувствуете, дух авантюризма уже просачивается через буквы. Это только начало.

Эльза сидит перед оперным театром, лихо дымя беломориной. Пряный табачный дым неспешно расплывается в окружающем пространстве. Черная таблеточка с вуалью, прикрывающей глаза, гипюровое темно-синее платье и белое, в две нитки, жемчужное ожерелье делают ее яркой и неотразимой. Ее обожаемая фраза: «Будем брать эффектами!»

В глазах Эльзы зажигается огонек, когда к ней подсаживается мужчина значительно моложе и ненавязчиво, даже робко интересуется:

— Не желаете ли посетить оперу? Сегодня дают «Дон Карлоса».

Эльза аристократично, неспешно поворачивает голову, с полминуты оценивает ухажера, после чего делает одолжение, будто уронила платок:

— Ну, если вы так просите, молодой человек, могу ли отказать...

Молодому человеку, зовущему Эльзу на «Дон Карлоса», не меньше семидесяти, но выглядит как настоящий щеголь. После оперы он предлагает Эльзе ресторан. Она соглашается, и на этом знакомство заканчивается.

— О чем с ним разговаривать, если он посчитал, что мой любимый Ремарк — женщина, — выносит она свой безжалостный вердикт. — Разучились мужчины ухаживать за дамами, — с прискорбием добавляет Эльза.

Уникальная старуха.

— Эльза, так нельзя с ухажерами, — возмущаюсь я.

Эльза закатывает глаза.

— Мальчик, ты не видел истинных ухажеров.

Мне ничего не остается, как только улыбнуться.

— Мальчик, — это она мне, когда я уже стал отцом, — запомни: женщина не стареет! С годами она становится только интересней. — Эльза внимательно посмотрела на меня, взяв за руку. — Еще один мой тебе совет. Что бы ни происходило между тобой и твоей женщиной, просыпайтесь в одной постели.

Валевский Анатолий Михайлович — родился в Новом Роздоле (Украина) в 1969 году, окончил Томский государственный педагогический университет (1997). Работает в школе. Живет в поселке городского типа Андра (ХАМАО-Югра). Это первая публикация автора.

— Женщина, о которой ты говоришь, моя жена, — с сарказмом напоминаю я.

— Это звание еще надо заслужить, как и звание мужа. То, что я наблюдаю, это отношения мужчины и женщины.

— Это плохо? — интересуюсь уязвлено.

— Это ваши отношения, вам и решать.

Эльза бывает невыносимой, на что живо парирует:

— У меня даже кровь с отрицательным резусом, чего тогда хотеть от характера!

Я развожу руками: убойный аргумент.

— Вся моя жизнь — бег по острию лезвия, — задумчиво добавляет Эльза.

— Не опасно?

— Разве это опасности? — Эльзу разбирает смех. — Опасности — это незаживающие порезы на теле, они слишком часто напоминают о себе.

Эльза умолкает. Ее лицо становится жестким и непробиваемым, как броня танка.

— Давай о приятностях...

И мы о них говорим.

— Пойду в кафе, посмотрю на мальчиков, — с воодушевлением произносит Эльза.

Я гляжу на нее со скрытой усмешкой.

Ей нравится сидеть и наблюдать за молодыми двадцатилетними официантами в кафешке, расположенной в уютном подвальчике недалеко от нашего дома.

Когда она входит, посетители встречают ее аплодисментами. Во все закоулочки несется шепотное: «Эльза пришла, Эльза пришла...»

Подходит хозяин заведения, почтительно кланяется и задает неизменный вопрос: «Мадам, как обычно?» — на что Эльза благосклонно кивает головой.

Как обычно — это кофе и рюмка коньяка.

— Мадам, как вы себя чувствуете?

Эльза качает головой — медленно, почти машинально.

— Относительно, — отвечает неопределенно.

— Сигарету, мадам? — предлагает хозяин кафе.

Эльза не отказывается.

— Вы же, конечно, расскажете о Париже?

Эльза делает томные глаза, мол, достали вы меня, сколько можно рассказывать одно и то же тысячу раз, но после первого глоточка коньяка лицо ее оживает, в глазах появляются искры, как от разгорающегося костра.

Эльза пересаживается в специально купленное для нее в антикварном магазине старинное кресло. Столики подтягиваются ближе к ней, рядом в ногах садится хозяин. Кафе закрывается на переучет.

Эльза привычно произносит: «Боже, как я люблю Париж...», и народ в маленькой подвальной кафешке замирает, слушает затаив дыхание голос странной старухи, вещающей о Париже, Лувре, Елисейских полях и, конечно, о бурлящих романах, потому что любовь у Эльзы всегда выскакивает нежданно как черт из табакерки.

— Вот это жизнь, — в экстазе выкрикивает хозяин кафешки, иногда на его одутловатом лице поблескивает слеза.

— Мадам, вы же завтра нас обязательно посетите?!

Эльза устало смотрит в зал, в висок ей постукивают мягкие молоточки опьянения.

— Возможно.

Я как-то спросил Эльзу: «Зачем тебе это?»

— Мальчик, как ты не понимаешь? Любая женщина прежде всего жаждет мужского внимания. Знай, если через десять лет ты разведешься, в этом будет виновата

не твоя жена и тем более не бытовые проблемы. Будешь виноват исключительно ты, потому что стал уделять жене недостаточно внимания. Учти на будущее!

Помню, как однажды пришел с работы и мама в ужасе выпалила:

— Эльза пропала!

— Как пропала? — я даже испугаться не успел.

— Просто! — мама развела руками от моей бестолковости. — Я уже обзвонила все морги, больницы. Ее нигде нет. Утром ушла — и вот, ее нет.

— Ну хоть что-то сказала перед тем как ушла, и вообще, куда ушла?

Мама ответила, слегла заикаясь:

— Сказала: «Скоро буду». И еще сказала, что всех нас любит.

И меня разрывал смех. Ай да Эльза, ай да молодец!

Сынок, когда ты звонишь папе и неожиданно начинаешь ни с того ни с сего признаваться, как его любишь, можешь не тратить красноречие — папа все знает и понимает. Он-таки был в твоем возрасте. Скажи: «Папа, нужна денежка».

Если Эльза говорит, что нас любит, значит, у нее очередное приключение. Они — ее существо, ее стихия.

«Жить обыденно — тоска зеленая и депрессия, — Эльза патетично вздыхает и поднимает глаза к небу. — Жизнью надо наслаждаться до последнего глотка, чтобы потом ни о чем не жалеть!»

Эльза — ходячий цитатник.

«Я не кошка, которая гуляет сама по себе, — гордо заявила однажды она моей остолбеневшей матери, когда исчезла на полторы недели. — Я — женщина, которая еще не до конца познала мир. Я безумно жадная до его познания!»

— Мама, — спрашиваю, перестав наконец смеяться. — Эльза пенсию получала?

— Да, вчера!

— Все ясно, через недельку будет звонок. Не удивлюсь, если наша Эльза где-нибудь со своей подружайкой греется на теплых морях.

— Но она же в возрасте! — в голосе тревога.

— Мама, о чем ты? — улыбка не сползает с моего лица. — Эльза и возраст — вещи несовместимые.

Мать призадумалась.

— Почему она такая эгоистка и не думает о нас? — мне понятно беспокойство матери. — Мы же волнуемся!

Приходится бессильно пожать плечами.

— К сожалению, таков ее темперамент.

У Эльзы на все один ответ: «Ну что со мной может случиться? Я взрослая девочка!»

Ровно через семь дней Эльза подала сигнал бедствия.

— Толичек, дома все спокойно? — вкрадчиво зондирует обстановку.

— Относительно.

— Надеюсь, не сильно вы тосковали по моему отсутствию?

— В рамках разумного.

Мой голос спокоен.

— Чудненько, — Эльза переходит в наступление — все формальности соблюдены: — Представляешь, собралась уже было возвращаться и, как назло, закончились деньги.

— Бывает, — философски поддерживаю тетку.

Молчание. Каждый из нас тянет паузу, первым не выдерживаю я.

— Эльза, ты хоть где?

— Да рядом, — я слышу облегченный вздох. — Решила с подругой съездить на янтарные берега.

— Ты в Калининграде? — догадываюсь.

— Я не знаю такого города, — недовольно фыркает Эльза. — Я — в Кёнигсберге.

— Коньяк распробовала?

— Поверь, он здесь шикарный, — в голосе собеседницы появились душевные переливы. — В следующий раз прихвачу тебя. Составишь нам, девочкам, компанию?

Я все понимаю.

— Что, в этот раз было скучновато?

— Знаешь, да! — энтузиазм в голосе отсутствует.

— Эльза, за тобой ехать, или перевести только деньги?

— Желательно приехать.

— Жди, к вечеру самолетом прилечу.

— Так я и так жду тебя в аэропорту.

— С Ингой?

— Как догадался?

— Дочь Инги нам звонила, спрашивала, где ее мать.

— Ну, немножко дамы развлеклись, зачем сразу разводить трагедию?

— Эльза, ты когда-нибудь угомонишься?

В трубке слышится искристый смех.

— Толичек, еще не пришел тот возраст...

— Ничего, что тебе....

Я вовремя останавливаюсь.

— Молчи, или я брошу трубку!

И я с улыбкой молчу.

Вечером вылетаю в Калининград, где меня дожидаются моя ненаглядная старуха со своей взбалмошной подругой.

По приезде Эльза сразу начинает вспоминать, что у нее обострился диабет, жуткая стенокардия и вообще, наверное, пришло время умирать. Ее надломленный, утомленный голос — как сигнал SOS.

Я давно раскусил этот незатейливый трюк. Чем выслушивать мораль от моей матери, лучше притвориться умирающей и получить новую порцию внимания и забот. Умирающая Эльза — то еще представление.

Каким образом она умудряется накрутить себе давление, для меня загадка, потому что после отъезда «скорой» Эльза спокойно на балконе курит беломорину, разговаривает с такой же «умирающей» подругой. Они весело хохочут. Девочкам хорошо, девочки в своей стихии.

Когда врач с озабоченным видом заявил Эльзе, что она может умереть, Эльза изумилась.

— Доктор, что вы такое говорите? — ее голос соткан из сарказма. — Мне всего-то восемьдесят семь, какая смерть?

— Не молоденькая, однако, вы.

Эльза с недоумением смотрит на смутившегося от ее взгляда доктора.

— Моя мама ушла на тот свет в девяносто шесть, я никак не могу раньше, — Эльза не собирается поднимать белое знамя поражения. — Я просто не готова к этому, доктор, — в голосе Эльзы трагизма столько, что доктор начинает извиняться.

— Все же вам надо себя беречь.

Театральная пауза по сравнению с ее задумчивостью — мимолетный сигаретный дым.

— Значит, все-таки существует такая вероятность? — аккуратно прощупывает ситуацию.

— Да, — кивает доктор.

Эльза задумалась. С ней такое бывает: чуть задумается — и полностью уходит в себя. Но вот она поднялась. Голова гордо откинута назад. К Эльзе вернулась ее стихия.

— Спасибо, я вас услышала, — она по-мужски жмет руку обалдевшему доктору и уходит на балкон. Закуривает и по телефону громко жалуется Инге на непрофессионализм врачей.

Когда мама приносит Эльзе на блюдце таблетки, Эльза смотрит на нее с недоумением.

— Ты решила меня отравить?

— Врач сказал, что надо.

— Кому?

— Эльза, прекрати клоунаду.

— Я не буду этой химией травить свой организм. Принеси мне моей «Негрустинки». Десять капель, и я здорова.

— И готова к новым приключениям, — добавляю я.

Эльза счастливо светится как новогодняя ёлка.

— Я к ним всегда готова.

Я это знаю, мне об этом можно не говорить.

Эльза — знаменитость района. Играет с мужиками во дворе в шахматы, и никто ее еще ни разу не победил.

Поет в хоре «Русские сударушки». Эльза — на всех выставках, на новых спектаклях, концертах. Она везде успевает.

— Толичек, жизнью надо наслаждаться, а не ныть, потому что сколько той жизни будет отмерено, никому неизвестно. Запомни, когда я говорю, что у меня депрессия — это означает только одно: одиночество и отсутствие любви, с чем я борюсь всю жизнь.

Эльза умерла в девяносто два года, с обидой сказав: «Недолго пожила», — и попросила выполнить последнюю просьбу — окурить любимой беломориной.

Проводить пришло множество людей, даже те, кто не знал Эльзу, но был о ней наслышан.

Почему же она всегда называла себя Эльзой? Так звали женщину в фашистском концлагере, спасшую ее, подростка, от гибели.

Мне не хватает Эльзы. Ее неуемной, бьющей ключом энергии, ее неугасающего энтузиазма («Отдыхать будем на том свете, хотя может и не получиться»), ее оптимизма («Жизнь для того и дана, чтобы человек через всё прошел»), ее искрометного юмора («Старость — это возрожденное детство, при условии, что вы знаете, что такое настоящее детство» или «Умирать не страшно, все равно похоронят, куда денутся»).

Порезы жизни Эльзы — это: Освенцим, колымские лагеря, смерть единственного ребенка.

«Жизнь дана для того, чтобы ее прожить, — часто повторяла Эльза. — Жизнь надо любить!»

И она ее любила. Окончила физмат, защитила докторскую, в совершенстве самостоятельно выучила французский и говорила на нем, как истинная мадам, удочерила, взяв из детского дома, мою маму.

За несколько минут до последнего вздоха Эльза с глубочайшим сожалением произнесла:

— В Париж так и не успела съездить.

Ксения Борисова

Круговода

* * *

Мир привычный, вычерченный кругами,
Вдруг взорвётся зёрнышками в попкорне.
И деревья окажутся вверх ногами
Оттого, что руки деревьев — корни.

Узловатыми пальцами землю роют,
Обходя на ощупь комочки глины,
Всю кору земную своей корою
Разрывают древние исполины.

Человек растерян (трещит планета),
Беспорядочно в памяти что-то ищет:
«Я ведь где-то читал, читал про это —
Баобабы-бабочки-корневища?»

Чернозём копает, хохочет, плачет,
Говорит о круге, твердит в испуге:
«Я и сам внутри перевёрнут, значит?
Я хочу погладить деревьям руки!»

* * *

так червоточины сверлятся точечно
мелются мысли клочьём
думаешь думаешь сосредоточенно
всё ни о чём ни о чём

так настоящие кровоточащие
гулкие слоги саднят
кровогорчащие реже ли чаще ли
вынырнут с донышка дня

не залатаешь ни словом ни пластырем
вынырнут в ночь в белизне
звона созвездия воплем о Касторе:
где мой убитый близнец?

так умирают на торжищах таборных
скорбь раскорябает рот
больше не думаешь
собраны забраны
кто никогда не умрёт

Борисова Ксения Андреевна — поэт. Родилась в 1999 году в Петропавловске-Камчатском. Окончила филологический факультет Астраханского государственного университета. Живет в Майкопе. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

* * *

На обочинах слов оставлять запылённые смыслы,
ни бежать, ни забыть, ни остаться под небом провислым,

ни ладони вперёд —
прорастать, прорастать, прораста...
сквозь ослепшую вечность
в лакричное утро-печенье,
в порыжевшую грусть и непонятый смех просто так.

Я вчера принесу урожай несозревших значений,

ну и пусть, ну и пусть:
разбросаем, разложим везде,
отдадим словарям и свирельным январским потёмкам.
Вдруг окажется: завтра мы тоже молчали весь день,
и мурчащее мудрое слово свернётся котёнком.

* * *

Полемика поленьев каждый раз
О том, что неизбежное — горенье,
О том, что центробежно умозренье:
От костровища к краю симметр*и*й.

Но судорожным клацаньем кольца —
Но замкнутыми линиями смеха:
Так не во мне ли просыпался еху —
Двуногое без речи, без лица?

Поистине ли, свифтовский контраст
Выращивает формы и значенья?
Напрасное ворчание-верченье
Обуглившихся веточек внутри.

* * *

круговорот воды в природе
круговода круговода
Так льдина думает тревожно: я отражение систем.
но инороден сумасброден
внекружен вневодоворотен
и невозвратен иногда

как человек

пересеченьем (не говорить, а колдовать)
макушек слов касаться бегло — едва-едва
Обжечься чайником, обжиться
в одном из космосов
и вспомнить,
лёд приложив к ожогу,
надпись
в учебнике начальной школы
«круговорот воды»

Константин Волчков

«Февр...»

Рассказ

1

Иногда мир отказывается сходить с места. Он непреклонно упирается, пока время безуспешно норовит подтолкнуть его вперед. Любое сдвинутое мгновение тут же возвращается в изначальную точку. Мысли напряженно пульсируют, никак не разрешаясь в последовательный поток. Тело мерцает, не зная, какое движение совершить.

Стоя в коридоре, заполненном гамом и топотом, я увлеченно царапал на стене «Лох» под именем одноклассника. Ванька за моей спиной жаловался Лёшику на то, что воду отключили даже в туалете. Они смеялись, вспоминая, что окончательно перекрыть воду в школе решили из-за нашего друга Васьки.

Ванька пнул по раковине фонтанчика, над которым я и занимался наскальной живописью. А Лёшик еще раз покрутил ручку крана. Фонтанчик недовольно побурчал, сделал презрительный плевок и затих. Вместе с ним затихло и все вокруг, кроме моего шуршания по стене. Я обернулся, чтобы посмотреть, что случилось, и замер.

Три семиклассника — три зловещие фигуры, пугающие и гипнотизирующие, всего в трех шагах от нас. Самый мелкий из них ростом чуть выше меня — с поднесенной к затылку рукой. У него добрые голубые глаза. У него белоснежная улыбка. Светлые несерьезные кудри. У него обидные хлесткие издевательства и затрещины, получаемые мной каждую неделю перед всем классом. Мазки, выкрашивающие мое лицо красным, шлепки, выбивающие из глаз слезы. Двое других, кидающие друг другу горячие матерные слова, — куда выше. На высунутом желтом языке у одного из них блестящее бритвенное лезвие. На мне его мутные неживые глаза, и я с дрожащими губами и предательскими, нежелающими опускаться глазами весь в ожидании режущего: «Чё зыришь?!» У третьего в руках сигарета, и это прямо посреди школьного коридора! Мир чуть дернулся. Ладонь мелкого, обращенная в когтистую лапу, уже на самом его затылке. Желтый фильтр сжат в тисках потрескавшихся губ, а конец сигареты направлен вниз. Лезвие спрятано в кривой ухмылке на вылепленном из серого хлеба лице с оспинами от выдавленных прыщей. В его потухших глазах ни цвета, ни света, — бездушные они, затягивающие в черную воронку. И опять. Обнаженные желтые зубы, высунутый плоский язык. Сигарета, торчащая из пачки.

Волчков Константин Игоревич родился в 1990 году под Екатеринбургом. Учился в Уральском Федеральном университете на физика. Живет в Санкт-Петербурге, иногда работает.

Это его первая «толстожурнальная» публикация.

Поднятая к затылку рука. По моим щекам будто бы уже прошлись обветренные руки-наждачки. Ухмылка, затылок и фильтр. Бритва, кудряшки и губы.

Мир вылез из трясины. Серолицый спрятал язык с бритвой и улыбнулся, посмотрев прямо на меня. От страха затошнило, а когда я увидел, как мелкий поднимает руку к затылку, дернулся и инстинктивно вскинул руки, прикрывая лицо. Третий из них достал сигарету из пачки и зажал ее губами.

Семиклассники прошли мимо, и все напряжение, охватившее меня, спало. Ноги обмякли от облегчения. Мы с Лёшиком и Вано мечтаем когда-нибудь собраться и дать им сдачи, но пока только отдаем им сдачу со школьных обедов. Говорить продолжили так, будто эти три секунды ничего не происходило.

— Чего... — Вано засипел и откашлялся. — Чего с руками-то делать?

Он покрутил у лица своими измазанными мелом ладонями.

— Меня только не трогай! — Лёшик отпрянул от Вано. Тот медленно потянул к нему руки, делая вид, что хочет схватить его.

— Аааа! — Лёшик с криком побежал вдоль стенки, а Вано бросился за ним.

— Чего носитесь? — к ним навстречу шла математичка. Я быстро доделал последние штрихи и отошел от фонтанчика.

По-утиному переваливаясь из стороны в сторону, учительница дошла до меня. Она крякнула и остановилась, переводя дыхание. При этом ее шея неестественно согнулась, будто бы ее свело.

— Чего стоишь, давай на урок. Две минуты осталось! — и, не дожидаясь ответа, покрякивая, пошла дальше.

— Ха! — Лёшик прибежал обратно и пальцем указал на мою надпись. — Надо Петюне показать. Пусть знает, что он лох.

Мы вбежали в класс под самый звонок и уселись по местам. На грязно-белой доске остался кусок позавчерашней даты. Математичка пыталась стереть, чтобы написать новую, но сухая тряпка только размазывала надпись. Отчаявшись, она оставила доску со старыми примерами и куцым «февр» сверху. Теперь жертвы, вместо того чтобы идти к доске, решали уравнения в тетрадях, комментируя действия вслух.

Не прошло и минуты, как в кабинет вошла классноха. Она ходила в черном вязаном жилете, который хорошо подчеркивал ее фигуру. Жирную пингвинью фигуру.

— Тамара Михайловна, я отниму у вас пару минут? — спросила она у математички.

— Да чего уж, отнимайте, — та лениво развернулась на стуле в сторону пришедшей.

— Так, класс. Попрошу внимания, — вступила классноха. — Я вынуждена в сотый раз повторить: «Не пейте воду из-под крана!» Вы все прекрасно знаете, что в городе ЧП. Эпидемия у нас сейчас. Вода должна быть обязательно прокипячена, прежде чем вы ее выпьете. Петров, Тамара Михайловна, представляете, что вычудил? Воду из туалета выпил. Ладно хоть из-под крана, а не из унитаза. Додумался. Здесь-то всё отключили, так он туда пошел. Теперь вот у нас такой караул, — она окинула взглядом доску. — И почему все такие безответственные? Всю школу подставил! Вы-то, надеюсь, усвоили, что можно пить только кипяченую воду?!

Мы всем классом выкрикнули: «Да!» и закивали головами.

— Продолжайте, — она пошла к двери. Секунда тишины, и начался урок. Зачином стало недовольство Тамары Михайловны грустным видом сидевшего перед ней Петюни.

— Что ты опять лицо такое скуксил, тебе всего одиннадцать лет, а будто уже войну прошел. Когда вы уставать-то успеваете? Жизнь же беззаботная: на уроки сходи — да весь день свободен. Еще ведь и не учитесь ни шиша.

В завершении она оперлась о стол рукой и приподнялась.

— Вот, чтобы взбодриться, расскажи-ка нам, сделал ли ты домашнее...

Время легло под каток.

* * *

После уроков мы собрались навестить Васяна и узнать, как он себя чувствует.

— Впервые в мире! — он торжественно провозгласил с наполненной до краев маленькой бутылкой пепси в руках. Мутная вода пугающе выплескивалась из горлышка. — Смертельный номер!

Мы вчетвером собрались в коридоре во время окна между уроками. Вася давно собирался выпить опасной воды. Еще когда только начали появляться слухи об отравлениях, он уже поделился с нами мыслью, что можно устроить внеплановые каникулы.

— Давай, Васян! — подбадривал Лёшик. — Пей!

— Пей! — поддержали я и Вано.

— Пей! Пей! Пей! — мы скандировали втроем.

— Але-оп! — Вася закинул голову, поднес бутылку к губам.

Лёшик развернулся и забарабанил по подоконнику. Вася открыл рот, и его кадык быстро зашевелился. Полбутылки ушло секунд за пятнадцать.

— Та-дам! Очень даже вкусно.

В возбуждении мы забегали вокруг, чествуя нашего героя. Вася же с довольным лицом спокойно стоял. Вано выхватил у него бутылку и принялся плескать из нее в потолок.

— Учитель! — я крикнул, когда увидел идущую к нам фигуру, и мы сразу же присмирели. А на следующий день Вася не пришел на уроки.

* * *

Выбежав из дверей с рюкзаками и пакетами со сменкой, мы сразу же кинулись к снежной куче, чтобы зачерпнуть снега и бросить в кого-нибудь. А лучше, если хватит духу, в окна школы.

Следом вышли наши девчонки, и мы вдарили по ним залп из всех батарей, услышали возмущенные возгласы, ответили: «Дуры!», запулили еще по снежку и побежали дальше ко дворам, где жил Васька. Когда мы пробегали мимо супермаркета, я остановился.

— Пацаны, может, купим ему сникерс?

— Зачем? — спросил жадный Вано. От него даже скинуться летом попить не дождешься, а тут сникерс купить кому-то.

— Поддержать! Болеет же. А мы навещаем больного. В больницу всегда передачки носят.

— Давай, друг же, — Лёшик согласился и достал мелочь из кармана. — У меня два пятьдесят.

— У меня пятерик есть, — сообщил я и обратился к Вано. — Добавишь еще два рубля?

Вано стоял и думал. Скупость и нежелание быть жидой устроили бой прямо на его лице, и мы терпеливо следили за бегающими глазами и закушенными губами.

— Лааадно, — Вано нехотя вытащил деньги и передал мне. Я бросился к дверям магазина.

— Эй, мелкий! — я замер на вдохе. От мысли, что я должен развернуться, ноги

из килограммов мяса и костей превратились в килограммы ваты. Сердце сбилось с темпа, а желудок прижал свои стенки друг к другу. Дурное чувство разлилось по всему телу.

Обернувшись, я увидел, что рядом с Лёшиком и Вано стоит старшеклассник. Тот, который доставал сигарету.

— Сюда подойди!

Я медленно спускался, пока мысли схоронились на дне. Когда я подошел, он обратился только ко мне.

— Есть два рубля?

Он наверняка видел, как мы скидывались, и что вся касса теперь у меня. Врать было бессмысленно, и я просто молчал, смотря на него, как кролик на удава.

— Чего смотришь?! Деньги давай!

— Нам надо, — промямлил Лёшик.

— Я тебя спрашивал?! — старшеклассник ударил рукой по Лёхиному пакету со сменкой, и тот упал в снег.

— Давай! А то втащу, — он сделал шаг ко мне. Оторопев, я не двигался. Не мог.

— Ты че, офигел?! — он сделал еще шаг и встал передо мной, отчего я мелко затрясся. — Считаю до пяти. Раз.

Мы втроем стояли без движения.

— Два.

— Нам не для себя, — Лёшик тонким голосом снова обратился к рэкетиру.

— Заткнись, говорю. Три.

Я продолжал пялиться на старшака.

— Четыре.

Я лихорадил. Мои глаза покраснели

— Ну все, пять! — он ладонью хлестнул меня по лицу. Рука была в перчатке, и я не почувствовал боль, только в глаз будто что-то попало. Я быстро заморгал, а мои руки схватили его за предплечья, стараясь удержать от следующих ударов.

— Лапы убери! — он пробил мне в грудак. Мой пуховик сделал удар почти неощутимым. И тут произошло неожиданное: парни вместе накинулись на старшака. Лёшик вцепился в его руку, а Вано пытался бить. Очевидно, удары не причиняли вреда нашему противнику. Он быстро раскидал парней в стороны и кинулся ко мне. Руками он полез в мои карманы и принялся выворачивать их. Я сопротивлялся и отталкивал его. Это привело к двум оплеухам. Шапка слезла мне на глаза.

— Отвали от детей! — в темноте я услышал мужской голос и почувствовал, что старшак больше ко мне не лезет. Подняв шапку, я увидел, что к нам подошел какой-то мужчина, а противник потихоньку отступал.

— Иди отсюда, еще раз увижу, все руки переломаю, — продолжил незнакомец.

— Вам завтра капец, — бросил нам напоследок старшак, уходя без всякой спешки.

Я оправил шапку.

— Учитесь за себя стоять, — мужик сказал это с плохо скрываемым презрением. — Вас трое, он один, а вы ссыте.

Мы промолчали, а тот двинулся по своим делам.

— Сейчас опять вернется! — Вано запаниковал.

— Да он боится теперь, — Лёшик был воодушевлен. — Ничего не придет.

— А если он за остальными пошел? — Вано не успокаивался.

— Давайте в магаз и быстро к Ваське, — предложил я, и мы вместе поспешили внутрь.

* * *

В квартире у больного нас встретила Васина мама — тетя Лена. На входе она строго спросила, не повторяли ли мы подвига ее сына и не мы ли надоумили Васеньку на это дело. После яростного мотания головами нас пустили. В первую очередь мы бросились наперебой рассказывать ему о стычке со старшаком. Вася только посмеивался над историей, ему-то еще долго ничего не будет грозить.

— Да мы их завтра, если что! — Лёшик ударил правым кулаком в левую ладонь.

— Вы бы лучше, как я, пацаны... — Васян заговорил полушепотом. — Водички попили бы, и на больничный. Пока проболеете, уже все забудется. Он со своими дружками уже к другим начнет прикапываться. А вы придете отдохнувшие. Поиграть можно нормально. Пока мамки нет, уже две кампании в колофдьюти прошел, — он прервался, испугавшись, что сказал слишком громко. — Рвет только иногда, да температура, что и вставать не хочется. Но настоящий мужчина должен уметь преодолевать свои слабости для действительно важных вещей, так ведь?

— Ну, ты мужик, — Вано продолжал восхищаться Васей. — Сказал, что выпьешь, и выпил. Я вот дома хотел так сделать. Но честно скажу, испугался. Да и родители сказали, что, если попью из-под крана, сперва отфигачат как следует, и тогда уже подумают, лечить или лучше в детдом отдать.

Мы сочувственно посмотрели на Вано. Его родители действительно не чурались приложить руку. Мы считали это дикостью, но сам он особо не переживал и говорил об этом как о чем-то обыденном. Как-то он рассказывал о том, как мамка гонялась за ним со скакалкой по всей квартире и била по спине. При этом он заливался смехом, вспоминая, как наткнулся на диван и разбил вазу, пока убегал.

— Вано, — мне в голову вдруг пришел вопрос. — Вот тебя же дома часто наказывают. Ты не привык к боли? Ты ведь тоже боишься, что старшаки побьют.

— Так то родители, они с любовью. По голове не лупят, отсыпают ровно. А эти скоты не остановятся ведь. У двоюродного брата в школе одного парня запинали так, что его в больницу увезли. Оно мне надо? Этот, который с лезвием еще, представляешь, если по шее или глазу саданёт?

Мы все угукнули в знак согласия, а Лёшик заявил Васе:

— Ты, кстати, очень важный человек.

Мы с Вано прыснули, а Вася непонимающе посмотрел на нас и на Лёшика.

— Очень-очень важный, — продолжил Лёшик.

— Вери-вери импотент, — добавил Вано, но больному это ничего не объяснило.

— На английском проходили, что важный это... — я начал объяснять.

— Импотент! — слишком громко крикнул Лёшик. Мы все замерли, слушая, не идет ли к нам тетя Лена.

— Ах ты! — Вася понял, что его обозвали, и бросил в Лёшика подушкой, рванул к нему и повалил на диван, где они со смехом стали бороться.

— Пожалуйста, обезьяны в зоопарке, — прокомментировал Вано и потянул из-под них одеяло. Когда же оно полностью оказалось у него, он накрыл их сверху: — Спокойной ночи, голубки.

Парни, услышав это, отвлеклись и кинулись вслепую в нашу сторону, повалили нас на пол. Но тут в комнату вошла Васина мама.

— Что вы здесь устроили! Вася! Куда ты, у тебя температура. Лежи смирно. А вы? Если вы баловаться пришли, то дуйте домой, ему покой нужен, а не ваши побоища.

— Теть Лен, мы будем тихо сидеть, — заявил Вано, поднимаясь с пола и скидывая одеяло.

— Да, мам. Больше не будем.

Мы спокойно посидели еще полчаса и пошли по домам. Когда дошли до места, где всегда расходимся в разные стороны, я начал:

— Пацаны, ну ведь мы сегодня почти сделали это. И я хочу сказать... Хочу сказать, что не забуду до самого конца, что вы вступились за меня. Я обещаю, что тоже всегда помогу, если они кого-то из нас будут травить.

— Да ладно, — Лёшик хлопнул меня по плечу. — Если чё, соберемся и по одному их отхерачим.

— Или я брательника позову, — заверил Вано. — Разберемся.

Мы пожали друг другу руки, как настоящие взрослые мужчины, и развернулись каждый в свою сторону.

— Блин! — я трагически протянул, пока вытаскивал из кармана сникерс. — Забыли отдать.

Парни сразу оказались около меня.

— Да фиг с ним, давай по-братски поделим, — предложил Вано.

Я недолго сомневался. Через десять секунд батончик был вытащен из упаковки, и мы разделили его на неровные три части. Шоколад рассыпался под холодными пальцами и налипал на них вместе с кусочками нуги. Я не стал сразу разжевывать свою часть, а медленно обсасывал ее.

— Ну все, пока! — Лёха ударил Вано по плечу и помчался в свою сторону. Временами он запинался о болтавшийся в руках пакет со сменкой. Вано с криком побежал отвечать ему на удар. Я смотрел вслед, пока шоколадка обжигала горло своей сладостью. Дыхание сперло, и я закашлялся. Когда кашель отпустил, я с серьезным лицом посмотрел на уже валяющихся в снегу друзей.

— Прям как маленькие.

* * *

До прихода родителей оставалось еще три часа, и я сел в своей комнате за компьютер, чтобы поиграть во второго «Принца Персии». Патлатый качок-акробат под бодрую музыку рубил слабеньких оживших мертвецов. Я чувствовал, как во мне просыпаются силы, и был готов выйти и раскидать всех этих уродов из старших классов, а потом взять самую красивую одноклассницу и сделать с ней то, что делают взрослые: положить ее голую в кровать и везде целовать.

Я дошел до момента, где нужно в очередной раз убегать от Дахаки — черного орудия судьбы. Загрузившись у фонтана с пополнением жизни, я двинулся вперед, ожидая скрипта заставки и появления монстра. Принц перепрыгнул пару ловушек — и началось.

Я управлял им суперсосредоточенно: перепрыгивал пропасти, бежал по стенам, минуя шипы на полу, кувыркался, спасаясь от вращающихся лезвий, но тут принц посмел ослушаться и сорвался вниз. Я опять запустил игру с того же места. Дахака появился на экране, и я зажал W, чтобы принц ринулся вперед. Он побежал, перепрыгнул ров, пробежал по стене, прыгнул на другую сторону, перескочил шипы, оказался между двумя стенами и запрыгал от одной к другой, чтобы попасть наверх. Оставался лишь прыжок, когда я слишком рано нажал пробел. Принц свалился вниз, где его ожидал монстр. Я запустил игру еще раз и оказался уже в самом начале. Снова. Пройдя ненамного дальше, принц наткнулся на шипы, они откинули его назад к пропасти, но он сумел зацепиться за край. Я быстро застучал по пробелу, но пока принц выбирался, Дахака уже оказался перед ним. Ещё раз.

Игра вышла за пределы монитора, вытесняя реальный мир.

Психанув, я шлепнул мышкой по столу. Я не знал, куда мне деться: в голове возникли картинки с предсказаниями ближайшего будущего. Вот старшаки зажали в школе у всех на виду и бьют нас перед красивыми девочками из параллели, вот ставят на счетчик перед смеющимися одноклассниками. Вот дают поджопник на прощание, когда учителя решают разогнать толпу. Я представил, как, будто бы принц Персии, пытаюсь исполнить эффектный кульбит, чтобы ударить в полете сразу двоих. Но ничего не выходит. Я получаю кулаком в лицо, бьюсь затылком о стену, падаю и остаюсь лежать.

Во рту пересохло от таких фантазий, и я пошел на кухню за стаканом воды. У нас уже стояла полная трехлитровая банка для питья. Отец специально ездил куда-то за чистой питьевой водой. Мысли о расправе надо мной и друзьями не покидали. Достав стакан с полки, я поставил его рядом с банкой и уже приготовился переливать воду, но дрожащая правая рука схватила стакан, подставила его под кран, а левая открыла вентиль с холодной водой. Сам я ничего не делал.

Когда стакан опустел, руки снова заполнили его с помощью крана. Живот набух от неприятной полноты. Глотки давались с трудом. Вспомнив Васины слова о необходимости преодолевать свои слабости, я, уже сам, налил и выпил еще полстакана. Осталось дождаться симптомов отравления, мужественно делая вид, что не болею, пока мама все не поймет и не оставит меня дома.

2

Проснулся от холода. Ежась, стянул с головы одеяло и посмотрел на часы, висящие на стене. Кое-как разглядел стрелки в темноте: еще пятнадцать минут до того, как зайдет мама. На кухне шипела сковорода. Мне хотелось в туалет, и потому пришлось вставать. Неприятно: холод почувствовался еще острее, когда я сбросил одеяло. От озноба движения давались тяжело. Казалось, что иду до двери минут десять. Когда открыл ее, свет из коридора впился в глаза так, что я отшатнулся назад.

— О, ты уже встал! — заметила мама бодрым раздражающим голосом, проходя мимо. Я ничего не ответил. — Завтрак еще не готов, можешь поваляться чуть-чуть. А что с тобой? — она настороженно посмотрела на меня. — Бледный какой-то.

— Ничего, — буркнул в ответ.

— Ну понятно, без тапочек в коридор вышел. Тут из-под двери поддувает, — мама потеряла интерес и пошла дальше на кухню. — Давай, делай свои дела, я сейчас пожарю яичницу.

Я прошел в туалет, а после в ванну. Чистка зубов обернулась настоящим испытанием: щетка будто бы весила несколько килограммов, холодная вода, попадая на руки, резала кожу, а зубная паста разъедала рот. Чтобы ополоснуть лицо, я выкрутил красный вентиль на максимум.

Вернувшись в комнату, полностью оделся и прошел на теплую от конфорок кухню.

— Отец тебя не будил? Сегодня он так шумно собирался, — мама спрашивала об этом почти каждый день. Она поставила передо мной тарелку с яичницей.

Нехотя я взял вилку и ковырнул желток. Подцепив кусок, я поднес его ко рту. Противный запах сжал мой рот, и я с трудом разжал челюсти и положил край вилки на язык. Сняв с зубцов кусок яичницы, я медленно разжевал его. Ощущалось каждое столкновение еды с зубами, а мышцы челюсти устали двигаться.

— Что-то ты неважно выглядишь, — мама наблюдала все это со стороны. Она приблизилась и потрогала лоб. — Непонятно. Отравился?!

— Нет, мам, — яичница чуть не выпала изо рта, когда я ответил.

— Так, давай температуру тебе смерим.

Я сплюнул пережеванную пищу в мусорку, прошел в комнату и лег на диван. Мама принесла градусник, сунула под футболку. Через пять минут он показал «38».

— Ну все, остаешься дома, я сейчас все лекарства выложу и распишу что как пить. За день собьем температуру. А Наталье Георгиевне позвоню с работы: предупрежу, что ты заболел. Если пораньше отпустят, то приду. А ты побольше спи. Банку с малиновым вареньем на кухне оставлю, с ним надо навести морс. Вскипятишь в чайнике и разбавишь, понял?! Все, я побежала.

Мама поцеловала меня напоследок в лоб и ушла на работу.

Только тогда я понял, что избегу расправы в школе. Это меня обрадовало, и я почувствовал облегчение. Собравшись с силами, я встал, чтобы выпить первую порцию лекарств и вернуться в постель, уютно закутавшись в одеяло. Несмотря на озноб, я чувствовал себя умиротворенным и счастливым.

* * *

Проснулся только к двенадцати часам. В школе уже подходил к концу четвертый урок. У нашего класса должно было быть пять. Мне казалось, что сейчас я легко встану и сяду за компьютер, но засевшей в мышцах слабости казалось по-другому. Я кое-как дошел до ванной и снова почистил зубы. Затем выпил лекарства и перенес одеяло с подушкой на диван в комнату родителей. От всего этого на мне выступил пот. Рухнув на диван, я схватил пульт, включил телевизор и принялся искать канал с какими-нибудь мультиками. Наконец-то попался Котопёс. Эту серию я уже видел раз двадцать, что не помешало посмотреть ее снова, параллельно гуляя в своих мыслях. Я гадал, как дела у пацанов, и обидятся ли они на меня. Я даже представил, как мы с ними ссоримся. Это расстраивало, но не пугало до дрожи, поэтому я смог свыкнуться с этой мыслью. Незаметно снова уснул. Меня разбудил писклявый звон домофона. Я медленно подошел к входной двери, надеясь, что за это время звонок оборвется, но он продолжался.

— Да? — я снял трубку.

— Ватсаааааап! — заорал Лёшик.

— Открывай! — а это уже радостно кричал Вано.

Я нажал кнопку, и в динамике запиликало.

Они шумно вошли в подъезд, а когда поехал лифт, я слышал их возбужденные голоса. Распахнул дверь, и меня обдала волна холодного воздуха, а парни в ледяных курточках, покрытых снегом, полезли ко мне обниматься. Я упирался изо всех оставшихся сил, но в конце концов сдался.

— Ну что, мистер больной, — Лёшик принялся рассказывать, когда они разделись и сели вместе со мной на диван. — Вы все пропустили.

На их лицах легкими штрихами наметилось по паре ссадин.

— В общем, там капец был, — подхватил Вано, — смотри.

Он показал казанки на правой руке. Те, что у указательного и среднего пальца, ярко и нагло краснели.

— Вы дрались? — я удивился.

— Еще как! — Лёшик воскликнул. — Но не то чтобы прям-прям дрались-дрались. Этот и его друзья нас искали все перемены.

— И нашли! — добавил Вано.

— И?

— Что и? Двое нас скрутили. Игорь и Саня, — Лёшик назвал их по именам, которые мы всегда знали, но избегали в разговорах.

— Пигорь и Лошаня! — уточнил Вано.

— А вчерашний... как его... — продолжал Лёшик.

— Петушила! — напомнил Вано.

— Решил нас избить, а тут Вано такое замутил! — Лёшик взглядом передал историю другу.

— Я начал ныть, мол отпустите, у меня деньги есть, давайте откуплюсь. Жалобно стонал, как девочка. Очково было ж. Лошаня, дебил, меня выпустил, я полез типа в карман, а сам как вдарил Петушиле по яицам, он загнулся, я ему еще и по лицу двинул. Пигорь растерялся и Лёху выпустил. А тот...

— А я на Саню накинулся. Дак вообще оказалось, они драться не умеют. Ну, то есть умеют, конечно, но не так чтобы супер круто. Им Игорь стал помогать, вот меня по заднице пнул, так прикинь, остальные пацаны из класса прибежали и на них накинулись. Я не ожидал. Те свалили. И...

— Завтра у нас стрелка класс на класс, — закончил Вано.

Такой финал виделся не то чтобы очень радостным. Седьмой «Б» точно завалит наш пятый «А».

— И что теперь делать? — я недоумевал.

— Что? Втащим им, раскатаем! — Вано аж подпрыгнул, а потом показал, как он будет бить противника, как раньше это делал Лёшик.

— Все норм, Вано со своим брательником уже договорился. Ты видел, какой у них кабан в классе есть? Он просто сядет на нас и в лепешку раздавит. Поэтому нужна тяжелая артиллерия.

— А брательник с технарьскими договорился. Они придут, но не типа, чтобы нас больше было или еще что. А разрулят так, чтобы мы один на один вышли. Как брательник сказал: «Их лучший боец против нашего». Мы с Лёшиком будем драться с кем-то из этих. Я, наверное, выберу вчерашнего, а ты кого? — Вано обратился к Лёшику.

— Да любого. Смотри, меня раз десять по лицу ударили, а такая мелочь. Голова даже не болит. Если даже проиграем, то запинать нас не дадут.

— Брательник пугач принесет, говорит, если что начнется, сразу пальнет. Вот жаль, тебя не будет. Как раз бы три на три. Там остальные-то в их классе вроде нормальные.

— Может, они даже не пойдут их поддержать, — предположил Лёшик.

— Только из других классов могут позвать еще, конечно. Дак че им, они же думают, что со слабаками связались. Никого не будут звать.

Я застыдился, что бросил друзей в такое время.

— Пацаны, я ведь воду специально выпил, чтобы сегодня не получить, — я дрожал уже не от озноба, а от постыдного признания.

— Да ты чего, вообще не парься. Это же все из-за тебя! — успокаивал меня Вано. — Ты же вчера деньги не отдал, даже когда он тебя бить стал. Мы, может быть, никогда бы и не кинулись. Раньше же всегда боялся, что больно будет или еще что. А тут — мелочи. Я от них и сто ударов мог бы выдержать. Вот в меня мамка вчера вилку кинула. — Вано закатал рукав на кофте и обнажил предплечье с четырьмя красными точками. — Под кожу чуть-чуть зашло. Так она, прикиньте, извинялась. Я выпросил за это нидфордспид новый. Сегодня обещала денег дать.

Мы провели наш обычный день в гостях у друг друга — играли в червячков и в фифу. Я почти забыл о болезни, даже захотел есть. Мы разогрели на троих суп, и я нашел у мамы в заначке мешок конфет, которыми мы украсили послеобеденное чаепитие.

— Давайте Хэппи три френдс посмотрим? — предложил Лёшик.

Мы запустили мультики и стали смотреть, как милые и чокнутые зверята разными способами гибнут под веселую музыку. Вот глупый лось разгоняет карусель со зверушками, и они начинают разлетаться в разные стороны, попутно лишаясь конечностей. Вот тот же лось прижигает себе лицо утюгом, а когда отрывает его, кожа и глаза остаются на утюге. Он умилительно ходит по квартире и натыкается на разные предметы, которые травмируют и лишают конечностей. А в следующем эпизоде белка-сладкоежка просовывает руку в автомат с вкусняшками. Ее засасывает внутрь, где в глаза, как дрели, входят пружины из автомата. Мы закончили серией, в которой ежик пьет воду из грязной речки. От этого у него опадают иголки и сползает кожа. Он цепляется ошметками кожи за сучок, и ее остатки вместе с мясом слезают со скелета, обнажая голые кости.

Парни засобирались домой. На прощание я пожелал им удачи на завтра. Они пообещали обязательно забежать сразу, как стрелка закончится. Я закрыл двери и в коридоре оперся на стену руками. Силы снова оставили меня. В животе курлыкнуло, и рот обожгла изжога. Я чуть ли не на коленях рванул к туалету, где наклонился к унитазу, и меня вырвало.

* * *

Когда вернулась мама, моя бледность прошла.

— Ничего ты позеленел! Рвет?

Я лежал под одеялом у себя в комнате.

— Да.

— Ты воду из-под крана пил?! — мама сразу же взорвалась.

— Нет, — я бессмысленно соврал.

— Не ври, когда ты пил?

— Не знаю.

— Что значит «не знаю»?! — мама нервно вышла из комнаты и заходила по квартире. — Ну что за ребенок мне достался?! — донеслось с кухни.

Она заботилась обо мне, но с таким видом, что я понимал: за выздоровлением меня ждет наказание.

— Мама, извини, — я промямлил, когда она принесла мне очередной стакан воды с малиной.

— Пей, — приказала она и вышла.

Когда с работы вернулся отец, ритуал разочарования во мне повторился. Кажется, родители не разговаривали даже между собой, молча обвиняя друг друга в том, что воспитали такого мерзавца.

Я лежал и скучал. Передо мной стоял тазик, чтобы не приходилось вставать для очередного приступа рвоты. Во рту стоял горько-кислый вкус. В последний раз мне уже нечего было испускать из себя, и спазмы работали вхолостую. Внутренности натирали друг друга и вырабатывали едкую желчь. Та спешила наружу, обжигая горло.

Чтобы разнообразить досуг, я достал с полки томик Тютчева. Его задавали еще на лето, но я же не ботаник. Я-то — зачинщик восстания, достойный похвалы и уважения. Мне хотелось рассказать об этом родителям в надежде, что они будут гордиться мной. Но при этом пришлось бы признать, что раньше я вел себя как чмошник.

А стихи оказались скучными. Сказки у какого-нибудь Пушкина еще ничего, но это — совсем нудятина про природу и всякое такое. Я положил книгу рядом с тазиком.

— Есть будешь? — в комнату вошла мама и спросила уже спокойным голосом. Я помотал головой, и вдруг раздался входной звонок. Мама пошла открывать двери, а через две минуты возле меня сел врач. Он ощупал мой живот, послушал сердце. Тоже мое. Все это он делал холодными руками и приборами. Отец и мама стояли в дверях.

— Все типично, — врач закончил осмотр и обратился к родителям. — Сейчас полгорода таких. Я пропишу лекарства, чтобы бактерии убить. Даст бог — скоро поправится. В больницу класть смысла нет. Вы можете с ним днем время проводить?

— Да, я уже отпросилась, — мама вздохнула. — Через неделю-то выздоровеет?

— Сложно сказать. Еще никто не выздоровел окончательно, но улучшения есть. Тут, видите ли, специфика сложная. Бактерии с повышенной резистентностью к обычным препаратам. Мутанты, проще говоря. По ним в области уже решили докторскую писать. Травить сильными лекарствами молодой организм опасно, поэтому мы ничего такого не советуем. Взрослым прописываем, но пока без большого успеха. Как тебя-то угораздило? Везде же оповещают: «Не пейте воду из-под крана». Даже кипяченую-то не рекомендуется.

— Не знаю.

— Теперь еще и школу пропустишь. Мама дома сидеть будет вместо работы. Нехорошо, — он начал собирать свои вещи и снова обратился к родителям. — По большому счету, надо бы уже карантин объявлять и школы закрывать, хотя бы на ту же неделю. Там-то детей не проконтролируешь нормально.

Врач что-то записал в блокноте и, вырвав листок, отдал его родителям.

— Я еще вам для профилактики выписал вот это, — он тыкнул пальцем в листок в отцовских руках. — Если сами не дай бог водой отравитесь, то лучше перенесете. А вообще, конечно, ребенок тут не виноват. Десять заводов на сто тысяч жителей всякую дрянь в речку сливают. Дышать-то и так нечем, а теперь и пить опасно.

Вечером родители заставили меня поужинать с ними и съесть хоть что-нибудь. За столом я понял, что они сменили гнев на милость и решили окружить меня заботой через сюсюканье, постоянные вопросы о самочувствии и предложения попытаться съесть что-нибудь еще.

— Ниче, — отец потрепал меня по голове, когда встал. — Належишься, потом с новыми силами отучишься. Я как-то в детстве грипп сильный подхватил. Тоже валялся. А температура так накатывала, что стены оплывали. Галлюцинации были. Так что у тебя еще все в порядке. Может, тебе игру какую-нибудь купить, пока дома сидишь, чтобы не скучал?

Я закивал головой и попросил второй «Колофдьюти».

3

На следующий день мне стало хуже. За ночь в животе завелась неутомимая лягушка. Она пыталась выпрыгнуть наружу от каждого проглоченного куска: начинала подскакивать к горлу, раскачивая внутренности. А из моего рта доносилось ее кваканье. От мысли, что мне уже никогда не доведется поесть нормально, мне стало страшно.

Мама, взявшая больничный, обустроила мне место на диване в большой комнате, и мы вместе смотрели телевизор. Единственное, что во всем этом доставляло удовольствие — это ее забота. Я снова превратился в сыночка, маленького зайчика, теплое солнышко, мама обращалась ко мне только так; гладила по голове, растирала мне ноги. До этого я опасался, что моя взрослая жизнь уже началась и школа,

хулиганы, домашняя работа навсегда заменили мне заботу и ласковые слова родителей. Да и не к лицу это взрослому одиннадцатилетнему парню.

День протекал в полусне, я не заметил, когда вернулся отец. Поэтому испугался от неожиданности, услышав голос рядом с собой. Вздрогнув и раскрыв глаза, я увидел в его руках желанный диск, но сил обрадоваться не хватило, и я почти тут же опять задремал со счастливыми мыслями. Через какое-то время я услышал домофон, кто-то из родителей подошел к нему.

— Сынок, Лёша звонил, — отец подошел ко входу в комнату. — Я его не впустил, чтобы не мешал тебе сил набираться. Еще увидитесь, как лучше станет. Он сказал, что все прошло, как вы и думали. Что-то такое. Что вы затевали?

Я даже не понял, о чем шла речь, и протянул: «Не знаю». Отец не допытывался и ушел на кухню или за компьютер, или остался стоять. Я не мог сосредоточиться, чтобы определить это.

Наступил новый день, и еще один. И может быть третий. Я привык к своему состоянию, меня навещали бабушка с дедушкой, а за ними еще и второй дедушка. Заходил и врач. Заверял родителей, что нет никаких причин класть меня в больницу, и вообще я скоро пойду на поправку.

В какой-то день ко мне подошел отец со своим сотовым. У нас в семье телефоном пользовался только он, потому что ему звонят по работе.

— Это тебя. Лёша, — он передал мне телефон. Как повелось, родители настаивали, чтобы папин номер телефона был у всех моих друзей, чтобы я мог через них предупредить, что где-то задерживаюсь или куда-то иду. Но у Лёшика домашнего и какого-либо другого телефона не было, поэтому я удивился его звонку.

— Угадай, откуда я тебе звоню, — я понял, что Лёшик будет хвастаться.

— Ну?

— Мне сотик купили, прикинь? Три тыщи стоит!

— Да ты мажор!

— Да не говори. Правда, брать с собой никуда не разрешают, только дома можно.

— А зачем он тогда?

— Ну, чтобы дома лежал, ждал меня. А так — потеряю или отберут. Мама боится. Я уже мелодий накачал. Хочешь послушать, — он зашуршал. — Блин, надо чтобы ты так увидел, без звонка. К тебе можно уже приходить?

— Еще нет, — по правде я не знал, но даже от мысли о приеме гостей накатывала тяжелая волна лени.

— Ладно, я че звоню-то, в общем, мы победили!

— Да ладно?!

— Давно бы рассказал, да к тебе не пускают. Дрались раз на раз. Ну, в общем-то меня отделали неплохо так. Родители два дня гулять не пускали и все допытывались, что случилось. Я сказал, что один козел нарывался и получил от меня. Но они не верят. А телефон подарили! Как в награду, наверное.

— А Вано?

— Вано этого Засаню загасил. Прям вообще. Его брательник еще сказал, что кто на нас рыпнется, тому крындец. Но эти-то вообще не вякали при технарьских. Даже было видно, что драться им стрёмно. Сейчас нам в школе при встрече руку жмут. Мы за тебя сразу договорились, тоже не тронут больше. Так что скорее выздоравливай, будем по школе королями ходить. Вано предложил, что, может, теперь нам самим мелочь сшибать. Я ему сказал, что он дебил. Мы-то никогда такими не будем. Мы за справедливость. Правильно?!

— Правильно!

— Да. Я думаю, может в бокс записаться. Или в борьбу. Пойдем вместе?

— Пойдем! Я только выздоровею, и пойдем.

— Всё, заметано. Я пошел. А то дорого звонить. Еще на смски для мелодий потратился. Пока!

— Пока!

— Чего такой радостный? — отец спросил, когда я подошел к нему с телефоном.

— Да ничего. Пап, можно я в телефон поиграю?

— Да, сиди играй.

Я сел рядом с ним на диван и запустил змейку, но сосредоточиться на игре не получалось. От Лёшиного рассказа мои мысли бередило непонятное волнение. Вроде как-то и радостно с одной стороны, и почему-то тревожно с другой, будто опасность еще не миновала.

Каждый раз змея съедала очередной квадратик, телефон вибрировал, вырываясь из моих рук. Я с трудом удерживал его. Вскоре мне надоело, и я прилег поспать.

4

Наступил понедельник. Я болел уже почти неделю. Мама разрешила поиграть в компьютер, и я с радостью засел за него. Волнуясь, распаковал новенький диск, ждавший меня несколько дней, с нетерпением поёрзал на кресле, пока шла установка, запустил игру и утонул в ней.

Посреди заснеженного полуразрушенного города мы пытались пробиться сквозь фашистские укрепления. В пылу перестрелки я не понимал, где находятся свои, где чужие. Вдобавок все вокруг заполонил чад из смеси отлетающей штукатурки и взрывов гранат. Приходилось пробиваться почти вслепую. Голоса товарищей терялись среди общего грохота. «Это самоубийство!» — я разобрал восклицание бойца рядом со мной, когда мы оба ворвались в полуразрушенный дом. Мы не переставая палили наугад. Я прошел мимо пары лежащих пулеметчиков: мерзавцы не успели меня заметить, и мои пули оборвали их стрельбу. Теперь наши смогут пройти внутрь двора, не опасаясь стать легкой мишенью. Я облегченно вздохнул, как вдруг все замерцало красным — по мне вели огонь. Я сразу же забежал за стену, чтобы перевести дух и оценить обстановку. В дом вбежал командир.

— Там танк! Он мешает пройти остальным, — крикнул он мне прямо в лицо и кинулся дальше. Когда он ворвался в соседнюю комнату, застрекотала автоматная очередь.

Солдата, который входил вместе со мной, рядом не оказалось. Я счел, что он уже погиб, поэтому не мешкая запустил в комнату гранату.

После взрыва я присел и пошел на корточках. Пробравшись в комнату, выглянул в окно. Действительно, внизу находился танк. Он кружил по двору вокруг трамвая с немцами. Как сюда попал трамвай, остается только догадываться. Я достал гранату и кинул ее вниз. Немцы с криком выбежали из трамвая, и я, расстреливая их из автомата, прыгн

гул от затихающего вентилятора плавно сменился с громко-высокого на тихо-низкий. Раздался щелчок, и тишина вышла из засады. Я просидел полминуты в оцепенении, а затем вынырнул на поверхность реальности. Игра была потрясающей, лучшей в моей жизни. Мне хотелось и рассказать об этом всем друзьям, и продолжить играть, и просто сидеть наслаждаться послевкусием.

Пощелкав кнопкой компьютера, я понял, что он не собирается запускаться. Надо разобрать корпус, посмотреть, что там. Наверное, на видеокарте слишком много пыли, и новая игра перегрела ее. Но сил садиться на корточки и возиться со всем этим не было. Я продолжил сидеть и бездумно смотрел на черный пыльный экран.

— Играешь? — мама радостно спросила, когда заглянула в комнату. Она даже не обратила внимание, что экран не горит. — Стало лучше?

— Да, — я развернулся к ней. Она взъерошила мне волосы и ушла на кухню. Я уже легче переносил болезнь, и определенно полз в сторону поправки. Правда, рвота и жар не оставляли меня, но они не казались такими уж сильными и не мешали жить. Я постоянно потел и трясся, но уже привык к этому.

Я слышал, как пришел отец, и мама, довольная, встретила его в коридоре. Я ждал, что он зайдет посмотреть на меня. Они же зашушукались за стеной. Я не слышал, о чем они говорят, да и не особо пытался. Я лег на диван, укрылся одеялом и ударился в мысли и мечты.

Вечер был странный: родители ходили по квартире почти бесшумно, ко мне никто не заходил, и при этом чувствовалось какое-то напряжение. Мне показалось, что они опять решили разозлиться на меня за нарочно выпитую воду. Раз мне теперь легче, то пришло время наказания. А затем пришел врач. Он провел все те же действия, что и в первый раз. От него я слышал лишь отрывистые приказы и односложные вопросы: «Открой», «Повернись», «Болит?», «Чувствуешь?» Когда обследование закончилось, он ушел с родителями на кухню. Чуть позже в моей комнате появился отец.

— Придется тебя в больницу все же положить, — сказал он сухим голосом, смотря поверх меня на спинку дивана.

— Зачем? Я ведь поправляюсь?

— Там быстрее поправишься. Чтобы без осложнений прошло. Дома дольше будет. Я вот в детстве после гриппа не долечился, так сейчас в ноги отдает. Говорят, от этого.

— Что отдает?

— Ну, суставы ломит. Все ведь в организме связано. Мы уговорили тебя еще на день оставить, завтра нужно будет кое-что сделать. А еще... — он помолчал немного и заговорил более воодушевленно: — Давай тебе телефон в больницу купим? Будешь там развлекаться с ним, читать-то тебе не очень нравится. И звонить сможешь нам и друзьям.

Я обрадовался, сразу же встал с дивана и кинулся отцу на шею. Я уже давно мечтал о телефоне, да еще теперь он был и у Лёшика. Мы могли быть почти все время на связи. Будущая покупка заняла все мои мысли, и оставшийся вечер я представлял, как неожиданно позвоню Лёшику уже со своего телефона.

* * *

На следующий день я проснулся раньше обычного. Я лежал и слушал, как собирается на работу отец. Действительно шумно. Хлопнула дверь, я услышал, как мама вернулась в комнату. Еще немного повалявшись, я встал и пошел на кухню. Я увидел, что ночью на город обрушился снег. Улица еще освещалась фонарями. Кто-то из соседей гулял с собачонкой, которая тонула в белой массе, но храбро продолжала пробираться вперед, как покоритель Северного полюса. Пара автомобилистов очищала машины. Мне подумалось, что это все очень хорошо. Было так спокойно, и в голове вертелось слово «душевно». Лягушка внутри заснула, даже не квакнула, а я съел целых две баночки йогурта. День обещал быть хорошим, особенно если отец купит телефон.

Вернувшись в комнату, я решил разобраться с компьютером: достал отвертку и начал снимать боковую крышку корпуса.

Я изо всех сил дул на видеокарту, когда ко мне зашла мама. Я замер, а она нагнулась с угрюмым лицом и потрогала мою голову.

— Иди поешь, — приказала она, когда выпрямилась.

— Хорошо. А меня уже и не тошнит. Я два йогурта утром съел! — решил я похвастаться.

Мама никак не ответила на это, только задержала на пару мгновений взгляд на мне и ушла на кухню.

На завтрак меня ждали каша и чай с бутербродом. В этот раз я все же почувствовал дурноту, но уже привычный к этому, легко перенес сокращения внутри. Мама же, пока я стоял на кухне, сменила мне постель и отправила мыться, и наказала одеться в чистое.

— Скоро придет важный гость, — сообщила она.

— Кто?

— Скоро узнаешь.

Под душем я все думал, кого мне ожидать. Когда я вернулся в комнату, то поленился собирать компьютер обратно, только оделся и лег. Через час кто-то позвонил в домофон, мама ответила и пошла открывать. Я прислушался. Послышались шаги и голоса: мамин и мужской. Мама говорила с гостем заискивающе.

— Он там, — последнее, что я услышал перед тем, как в комнату вошел... поп! Самый настоящий: в черной рясе, шапке, название которой я не знаю, с бородой, ехидным взглядом и, конечно же, с пузом. Мама встала в проходе, не смея войти в комнату и держа в руках какой-то пакет.

— Это отец Александр, — она представила попа. — Он попросит у Бога твоего излечения. Только сперва ему нужно познакомиться с тобой. Не бойся.

Священник обернулся к матери: «Вы можете идти, Валентина, пакет только оставьте на полу. Я вас позову, когда закончу». Мама послушалась. Отец Александр взял табуретку у письменного стола, подошел к дивану и сел на нее.

— Здравствуй, — он держал спину и голову прямо и только опустил глаза.

— Здравствуйте, — я потерялся и начал заикаться.

— Твои родители рассказали, что тебя охватила болезнь. Опасная болезнь.

— Я уже почти выздоровел. Сегодня утром хорошо себя чувствовал и...

— Ты крещеный? — он не дал договорить.

— Да. В детстве.

— Носишь крестик?

Я помотал головой.

— Плохо, очень плохо. Но я тебе принес, — у него в руке оказался крестик на веревочке, который он протянул мне. — Надевай.

Я послушался.

— Никогда не снимай. Ты читал Библию?

— Немного.

— Знаешь, что нужно сделать, чтобы попасть в рай?

— Не грешить?

— Это правильно, но также важно и покаяние в своих грехах. Когда Иисуса распяли, с ним рядом на крестах висели два разбойника. Один насмехался над Сыном Божьим, а второй...

— Раскаялся! — я вспомнил.

— Правильно. И оказался во Царствии Божьем первым из людей. А сейчас мы совершим таинство исповеди, — он встал, закрыл дверь и достал из пакета золотой шар с торчащими из него двумя ножками, расположенными с противоположных сторон. Отец Александр зажег спичку и поднес ее к шару. Через две секунды он задул ее и, подняв непонятный предмет за цепочку, начал трясти его, направляя в разные стороны. Комнату быстро заполнил приятный запах, который я помнил с похорон бабушки, маминой мамы.

— Сядь, — он подошел ко мне и отложил золотой предмет на мой письменный стол.

— Теперь говори.

— Что?

— Рассказывай, какие грехи совершал. Не спеши, подумай.

Я не мог не повиноваться, но и рассказывать про плохие вещи стыдился, даже боялся. Священник стоял в ожидании.

— Я матерился, — сказал я неуверенно. — Дергал одноклассниц за косички. Смотрел на голых тетенек. Списывал. Не делал домашнее задание.

Больше я ничего не мог придумать.

— Струсил! — вдруг пришло в голову. — И воду специально выпил, чтобы в школу не идти и меня не побили старшеклассники.

Для меня это было страшное признание, и я представил, что он сильно нахмурится. Я промучился еще несколько минут, вспоминая и признаваясь в своих грехах. Где-то в другом мире зазвонил домофон, но из-за того, что я сосредоточился на исповеди, звонок сразу же ускользнул из моей головы.

— Больше не помню, — я закончил.

— Склонись, — приказал он, когда я сел, и положил мне на голову какой-то платок, а затем и свою руку, и что-то прошептал нараспев.

— Повторяй за мной, — поп стал произносить фразы из молитвы. Я послушался. Он снял с меня платок, и в его руках откуда-то оказалась кисточка. Отец Александр замахал ею, разбрызгивая воду по всей комнате, но главным образом брызги попадали на меня.

— Теперь тебе надо выучить молитву, — сказал священник. — Очень важно будет прочитать ее десять раз вечером и завтра утром столько же. На причастие в храм ты не сможешь прийти. Это плохо. Но главное — это раскаяние. А теперь, — он достал чашу, которая уже стояла на табуретке, зачерпнул из нее маленькой ложкой, запихнул мне в рот какое-то тесто и дал запить из ложки. Кисло-сладкий вкус укусил за язык, во рту запершило. Поп протянул мне крест, висящий на его шее. Я догадался поцеловать.

— Ты знаешь, как правильно креститься?

Я помотал головой.

— Эти три пальца складываешь вместе, они символизируют Пресвятую Троицу. А безымянный и мизинец прижимаешь к ладони, они указывают на то, что Иисус Бог и человек. Подносишь руку сперва ко лбу, потом вниз к животу, к правому плечу и левому.

Я повторил за ним.

Он стал учить меня молитве «Отче наш». Отец Александр говорил строчку и ждал, пока я ее повторю. Скоро я уже знал весь текст с его таинственными словами.

Священник собрал свои вещи и вышел. Я слышал мамин голос в коридоре.

— Вот, как и обещали, три тысячи.

Прощания и закрытые двери. Мама вошла в комнату:

— Ну как?

Я не мог собраться с мыслями. Казалось, будто я нахожусь в каком-то трансе. Приятный запах еще не выветрился из комнаты, на языке еще оставался привкус напитка, легкая дымка застилала мир в моих глазах. Я чувствовал свою чистоту и легкость в теле. Жизнь начиналась заново.

— Что молчишь?! — мама упорно тащила меня в свой мир.

— Хорошо, мам, — я залез под одеяло.

5

В тот же день отец подарил мне телефон, точно такой же, как у него — «Нокиа» с синим корпусом и зеленым экраном. Я обрадовался и бросился ковыряться в нем, выставлять звонки, играть в игры. Лёшиного номера у меня не было, и я пошел в комнату, чтобы спросить у отца. Но они с мамой что-то делали на кухне, поэтому я просто взял отцовский телефон с полки и нашел в нем звонок. Я удивился, когда увидел, что Лёшик звонил еще несколько раз. Записав номер себе, я вернулся в свою комнату и позвонил.

— Лёшик! — теперь радостно кричал я.

— О, наконец-то! Твой батя не давал с тобой говорить.

Тут я позабыл о том, что хотел похвастаться.

— В смысле? Почему?

— Тебя не хотел расстраивать, наверное. Тут же это... — Лёшик замолчал.

— Что? — я спросил потише, чтобы родители не услышали.

— Васька же из-за болезни сперва в больницу попал. А там через два дня...

Мы оба замолчали. Что в таких случаях говорят взрослые, я не слышал. Только разве что в кино, и когда соболезнуют родным. Как они обсуждают такие вещи между друзьями? Я не знал.

— Жалко. Хороший был парень, — мне показалось, что я нашел именно те, нужные слова, но они никак не отдались во мне.

— Да, настоящий друг, — Лёшик говорил спокойным, ровным голосом. — Завтра эта, как ее... Панихида в церкви будет. Мы с Вано и родителями пойдем. Сейчас всех, кто заболел, сразу в больницу увозят. А школу закрыли на карантин. Ты сам-то как?

— Вроде хорошо. Сегодня выздоравливать начал. Но завтра с утра тоже повезут.

— Там такое дело, — Лешик почему-то зашептал. — Перед тем как совсем плохо стало, у Васьки тоже улучшение случилось. К нему Вано заходил игры взять, так они в магазин вместе ходили. А вечером Ваську уже увезли.

Я не понимал, что мне нужно почувствовать.

— А у меня исповедь была. Священник приходил. Наверно, пронесет. Я ведь молитву теперь знаю.

— Да? Расскажи.

Я с запинками проговорил ему «Отче наш».

— Надо записать, — сказал Лёшик. — Я бабушке позвоню, спрошу у нее другие молитвы, буду за тебя молиться, чтобы все хорошо было. В церковь пойду. Обещаю. Вот завтра как раз.

— Спасибо, Лёха. Ты настоящий друг. И Вано, — я запнулся, не зная, что сказать. И тут вспомнил одно из лучших мгновений за прошедшие дни. — Ты-то в «Коллофдьюти» уже играл?

Мы перешли на разговор об играх и проболтали еще полчаса, а затем попрощались, будто все было как всегда. Только в конце Лёшик добавил: «Ну, ты это, держись».

Я зашел к родителям в комнату, они позвали сесть на диван между ними, и мы вместе смотрели телевизор. Обычный вечер.

— Мам, — я посмотрел на нее. — Пап, — я начал поворачивать голову, чтобы посмотреть на отца, но меня отвлекла смешная реклама капель от насморка. — А правда, — я потянул замыкающую «а» за хвостик внизу, забывая, что хотел спросить. — А правда, что, — я подумал еще немного и наконец оторвался от рекламы и посмотрел на отца, — что Васька... — Я уже собрался закончить вопрос — горло будто слиплось и последнее слово смялось в сиплом хрипе.

Иногда мир не знает, что он хочет, просто берет и сминает все в один короткий миг. Мелет в нем движения, людей и само время друг о друга. Трет, пока все не перемелется и не станет одной бесформенной кашей.

Лица родителей зашевелились: задергались вразнобой губы, глаза, брови. Отец и мама не знали, куда себя деть, и тянули ко мне руки. Они одновременно отпрянули от меня. Я хотел прижаться к ним, заплакал на коленях у мамы, потянулся к отцу, отталкивая ее от себя. Мы застряли напротив рекламы капель для носа. Картинка в телевизоре вместе с нами судорожно замерцала в большой теплой и уютной комнате. Холодной ненавистной тесной комнате.

Родители тянутся ко мне, раздирают на части, сжимают меня в комок. Я вырываюсь, прижимаюсь к отцу, с трудом выдергиваю свою руку из его хватки, бросаюсь к маме, задыхаюсь, хочу сползти под стол, вцепляюсь в диван, боясь упасть. Родители смеются надо мной, их лица изуродованы горем. Родители радуются, суют мне кусок курицы и зажимают рот, чтобы я ее ел. Я кричу, сжимая зубы изо всех сил.

Реклама наконец-то закончилась, мы застыли на диване. Все пошло правильно. Родители плачут: мама навзрыд с причитаниями, папа молча, только ручейки из глаз скользят по его лицу. Слушаю свое дыхание, лежу головой на маминых коленях, ногами на отцовских. Мне надоедает, я аккуратно встаю, иду в свою комнату. Родители остаются неподвижно сидеть.

Иду размеренно, медленно. Прохожу на середину комнаты. Встаю напротив стола. На нем стоит икона. Сперва опираюсь руками о пол, встаю на колени. Не знаю, что делать. Просто смотрю на икону. Мне не холодно. Я не чувствую в животе жабу. Мне хорошо. Только небольшая слабость в руках. Но она не мешает мне перекреститься. Три пальца ко лбу, три пальца к животу, правое плечо, левое плечо. Вспоминаю. Отче наш... Полушепотом первые два слова. Не могу вспомнить слова дальше. Крещусь еще раз. Три пальца ко лбу, три пальца к животу, правое плечо, левое плечо. Отче наш. Молчу. Иже еси на небесех да святится имя твое. Молчу. Не могу вспомнить. Крещусь.

Три пальца ко лбу, три пальца к животу. Отче наш, иже еси. Три пальца к правому плечу. На небесех. Три пальца к левому плечу. Да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя. Молчу. Да будет воля Твоя яко на небеси и на земли. Отче наш. Три пальца ко лбу. Иже еси на небесех. Три пальца к животу. Да будет воля Твоя. Три пальца к правому плечу. Яко на небеси и на земли. К левому плечу. Молчу. Отче наш. Говорю громче. Яко на небеси и на земли. Три пальца ко лбу. Хлеб наш насущный. Три пальца к животу. Даждь нам днесь. К правому плечу. Отче наш. К левому плечу. Кланяюсь лбом до пола. Выпрямляюсь. Отче наш. К левому плечу. Яко на небеси и на земли. Ко лбу. И остави долги наша. К животу. Отче наш! Иже еси на небесех. К правому плечу. Кланяюсь до пола. Выпрямляюсь. Да будет воля твоя! Хлеб наш насущный! К левому плечу. Яко и мы оставляем. К правому плечу. И не введи нас во искушение! Бьюсь лбом о пол. ОТЧЕ НАШ. ПРАВОЕ ПЛЕЧО ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ ДАЖДЬ НАМ К ЖИВОТУ И ОСТАВИ ДОЛГИ КО ЛБУ ЯКОЖЕ И МЫ БЬЮСЬ О ПОЛ ДОЛЖНИКАМ ЦАРСТИВИЕ КО ЛБУ НА НЕБЕСЕХ БЬЮСЬ ЛБОМ ЯКО НА НЕБЕСИ К ЛЕВОМУ ВО ИСКУШЕНИЕ НО ИЗБАВИ НАС ЛБОМОТЧЕНАШИЖЕКОЛБУДАСВЯТИТСЯЛБОМОТЧЕНАШДОЛЖНИКАМНАШИМЛБОМЛБОМЛБОМ.

Мама хватает меня за плечи, стоя рядом со мной на коленях, и прижимает к себе. С моего носа к губам стекает кровь. Мама поднимает меня и ведет в кровать. Меня трясет от холода и страха. Я под одеялом. Мама садится рядом, а отец стоит и смотрит. Мама протирает мое лицо платком. Слезы бегут по щекам, разбавляют кровь. Хочу сказать им, но всхлипы мешают. Сердце стучит, стучит, стучит...

Мне надо им сказать, но слова запинаются. Мама прижимается ко мне. Я такой бедный. Мое маленькое сердце продолжает стучать громко, надрывно. Рыдаю. Жарко и тяжело дышать мне, охваченному ужасом. Мама сжимает меня, я как в тисках. Домофон звонит. Неуютно. Приходят врачи. Мне делают укол. Сердце стучит медленней. Мама уже не обнимает меня, теперь меня сжимает одеяло. Слезы уже не идут. Закрываю глаза. Я самый несчастный в мире мальчик.

6

Уставшими от слез глазами разглядываю палату. Вот уже второй день как я нахожусь здесь. Кажется, я сотню раз вспомнил все, что привело меня сюда.

Мои соседи, все взрослые, уже перестали меня успокаивать и даже не смотрят в мою сторону. Иногда я развлекаюсь игрой в телефон, но для этого приходится разворачиваться за ним к тумбочке. От этого сразу же появляется одышка, а тело неприятно трется о постельное. Мне это не нравится. Даже звонки от родителей вызывают раздражение из-за того, что нужно шевелиться. Недавно телефон вибрировал от смс. Наверное, это от Лёшика, но я решил прочесть позже.

Сквозняк пробирается под легкое одеяло и морозит меня. Приходится поджимать ноги, прижимая концы одеяла стопами. В палате, несмотря на гуляющий ветер, стоит острый, неприятный запах нестиранного белья и пота лежащих.

Только что забрали одного старичка, который попал к нам вчера. Наверное, скоро завезут еще кого-нибудь.

К нам заходит медсестра тетя Оля и направляется к окну. Оттуда она оглядывает всю палату накрашенными глазами, закусывает губу, руки держит в карманах халата. Тетя Оля молодая и красивая, мне она нравится.

— Все хорошо? Держитесь? — спрашивает медсестра.

— Держимся, — слабым, но при этом веселым голосом отвечает мужчина на

кровати рядом со мной. Тетя Оля подходит к изголовью моей кровати и гладит по голове. Мне неприятны ее прикосновения. Как будто по лбу проводят шершавой холодной тряпкой. Я подергиваю шеей, пытаясь уйти от ласк. Она сочувственно смотрит на меня.

— Ну ничего, скоро поправишься, — медсестра подбивает под меня одеяло. Я молчу. Только чувствую выступившие слезы.

Медсестра ушла, и в палате наступила тишина, и от того она наоборот наполнилась звуками, которые ранее скрывались за стуком ее шагов. Скрипят кровати, тяжело дышат соседи. От лампочек исходит ровный гул. Слышно, как в палате за стеной перетаскивают кровати.

Воздух уплотняется, становится гуще и заметнее. Я чувствую напряжение вокруг: будто стена, потолок и другая мебель собираются ожить и начать двигаться. Стало жарче, во рту пересохло. С трудом поворачиваю голову, чтобы потянуться за стаканом с водой на тумбочке. Тумбочка приняла угрожающий вид. Стоит поднести к ней руку, и она брыкнется и скинет с себя сосуд с жидкостью. Меня это пугает. Отвожу взгляд к окну. На улице уже темно.

Разворачиваю голову обратно. Откуда-то появляются тени на стене. Гуляют по ней, растут и уменьшаются. Сама стена покрыта мелкой рябью. Тени плывут по ней волнами, из стороны в сторону, превращаются в гигантские фигуры на барельефах. Фигуры плавно сменяются, переходят одна в другую, продолжая покачиваться при этом. Я вижу египтян, вырисованных на фасаде дворца. Фасад слегка темнеет, потом снова светлеет, египтяне превращаются в римлян с щитами. Те в свою очередь превращаются в плоские фигуры греческих мудрецов, а те сменяются другими людьми. Меня притягивает к ним, будто я медленно и плавно подлетаю к стене, не меняя лежачего положения. Грудь сдавливает чувство восторга. Мне очень хочется глубоко вздохнуть, но ничего не выходит, а изнутри ребер колют маленькие иголочки, меня распирает от какого-то внезапного счастья.

В стене появляются огромные двустворчатые двери. Будучи сперва того же цвета, что и стены, они неожиданно становятся разноцветными. Цвета быстро сменяют друг друга, двери пестреют и отворяются. За ними еще одни двери, которые спешат отвориться передо мной, а за ними еще одни двери, и еще. Через узкую щель я вижу посреди створок всех дверей что-то яркое и теплое. Тянется оно ко мне, а я к нему, спешим мы друг к другу навстречу, а двери раскрываются и раскрываются. Вот еще чуть-чуть, вот сейчас. Вот сейчас точно. Коридор бесконечный, такой уютный, и я, увлекаемый потоками теплого воздуха, набирая скорость, лечу по нему. Мне давно не было так хорошо, мне не было так хорошо никогда, все годы моей маленькой короткой жизни мне никак не было хорошо. А сейчас я — маленькая веселая пушинка, улыбаюсь в этих потоках, и в глазах рябит, и радостно мне, и завораживает меня все вокруг.

Что-то промелькнуло перед глазами и оставило на стене смазанные следы, и коридор весь размазался в одну сторону, как будто кто-то провел рукой по невысохшему рисунку на ИЗО. Застыла картина, и потускнел ее цвет. Стало темно, холодно стало, залихорадило меня в невыразимой тряске, как будто на поезде я еду: ходит все ходуном. Вцепляюсь в кровать руками, чтобы не сбросила меня, как неумелого наездника. Тут комната и поплыла, заволновался воздух, закачалась лампочка, загудела роем мух над головой. Пальцы сводит от напряжения, я вжимаюсь в кровать, хочу спрятаться в ней, зарыться поглубже. Крики где-то за головой останавливают мое сердце. Подумало оно немного, помешкало слегка и решило все же еще побиться. Перед глазами замельте-

шило страшное и село на нос, зажужжало, замешало дышать, слышать, чувствовать. Пытаюсь сдуть его, и звук моего выдоха присоединяется к жужжанию. Черные точки лепятся к лицу, накрывают глаза, лезут в рот, в нос, тяжело дышать мне, беззащитному, а матрац такой мягкий, добрый, принимает меня, и я прячусь в него, утопаю, и снова уютно мне. Я в руках у мамы. Поглаживает она мое лицо, говорит: «Успокойся, все хорошо», а я и так это знаю. Мама гладит мои волосы, называет зайчиком, говорит, я самый хороший мальчик на земле. Руки ее мягкие касаются моего лица, трогают его, мнут, лепят его, сжимают посередине и тянут на себя — получился нос, два больших пальца давят с двух сторон от носа чуть повыше, и их тепло дарит мне глаза. Мама говорит, что я самый красивый у нее. Вытягивает из головы моей уши, лепит в них раковинки. И самый послушный. Прорезает ногтями рот, сворачивает губы холодными, обжигающими пальцами, смотрит прожигающим взглядом, кривит свой мерзкий отвратный рот и рас

Елена Вяхякуопус

Мрак твой будет как полдень

Если когда-то у вас в доме обитали сиделки, вы знаете, что значит жить постоянно с чужим человеком. С кем-то, кто вам не друг и не родственник. Раньше я думала: как хорошо было бы иметь слуг. Сейчас я знаю, что это лишает дома, покоя и личной жизни. Мы так прожили три года. Каждую минуту рядом посторонние. Ты постоянно их видишь и слышишь. Все время вынужден разговаривать с ними. Сиделки быстро забывают, что они — на работе. Начинают чувствовать себя как дома. Мама для них — не хозяйка, а предмет ухода. Они пользуются маминой косметикой и надевают ваши тапочки. Приносят постирать из дома свое белье — «у вас машина кипятит»... Варят обеды для мужей и уносят их в кастрюльках. Иногда они уносят и пакеты с молоком, и мамины фрукты. Нет, вам не жалко, просто тяжело таскать новые каждый день.

Ночью сиделки громко храпят на весь дом и не встают, когда мама звонит в звонок. Они флиртуют с моим мужем, дают непрошеные советы, задают интимные вопросы, переключают на свои любимые каналы телевизор, таскают маму по ненужным ей магазинам и каждый месяц просят повышения зарплаты... Одна за три дня выпила весь алкоголь в доме, от мартини до мастики. Когда мы жили в Македонии, нам рекомендовали приятную на вид женщину, гречанку. Она была когда-то замужем за строителем из Ташкента и поэтому говорила по-русски. Явилась огромного роста дама, чмокнула маму в щеку накрашенными губами (я не успела помешать) и сказала, что будет петь ей русские песни. Ее свекровь всегда пела внукам эту детскую песенку. И запела голосом зычным, как пионерский горн:

Камень на камень,
Кирпич на кирпич.
Умер наш Ленин
Владимир Ильич.
Ленин, Ленин дорогой,
Ты лежишь в земле сырой,
Я, малютка, подрасту —
В твою армию пойду.

Вяхякуопус Елена Михайловна — финский нейропсихолог, руководитель и эксперт более двадцати международных проектов в области социальной интеграции и реабилитации детей и взрослых с особыми потребностями. Автор нескольких книг и реабилитационных программ, многих статей и развивающих игр. Три книги изданы на русском языке: «Зеркало», «Искры, летящие вверх» и «Как сохранить радость жизни».

Предыдущая публикация в «ДН»: «В Ташкенте шёл теплый дождь» (2015, № 6).

Помню, что мама очень развеселилась. Но я все же не взяла громкоголосую гречанку. Потому что у нее были ногти. Длинные ногти — самое негигиеничное, что есть в женщине. Отчистить их как следует невозможно. Под каждым длинным ногтем живет целый зоопарк. Как ни странно, сиделки, соцработники и медсестры часто имеют длинные ногти. Еще сиделки часто пахнут духами и дезодорантами. В квартире стоит тяжелый запах ландышей, и мы все чихаем. Бедные и простые сиделки пахнут только потом. Если выбирать между запахом пота и удушающим парфюмом, мы выбираем первое.

Некоторые сиделки приводили родственников переночевать или ложились на диван и просили маму за ними ухаживать.

А мама их всех любила. Привязывалась к ним и жалела их...

Самое тяжелое было научить сиделок обращаться к маме по имени-отчеству. Они упорно хотели называть ее бабушкой, бабулечкой и бабусенькой. «Бабушка» — это статус женщины, утратившей все остальные статусы, а потому нуждающейся только в снисхождении. Слово ласковое и пренебрежительное. Куда ни придешь, в поликнинику, в отдел соцзащиты:

— Сколько лет вашей бабусе?

Однажды к нам пришла дама-невролог, сама пенсионного возраста. Она осмотрела маму и сделала заключение:

— Ваша бабушка в хорошем состоянии.

Я сказала:

— Мама, эта бабушка говорит, у тебя все хорошо. Спасибо вам, бабуся-доктор.

Докторша была настолько потрясена, что даже не смогла ответить. Она страшно обиделась. Когда спрашиваешь у персонала:

— Почему вас старики называют по имени-отчеству, а вы их бабулечками и дедулечками?

Ответ обычно такой:

— Так я ж ласково! Им нравится! Да они и сами так себя называют!

Да, называют. А что им еще остается? Это как в местах отбывания наказаний. Заключенные представляются: я — номер такой-то.

Один мой друг в восемьдесят лет женился на даме пятидесяти с хвостиком. По большой и светлой любви, я не шучу. Он только в этом возрасте овдовел, а она его ждала много лет. Оба выглядят прекрасно. Стройные, спортивные, одеваются модно. Приходят они в театральную поликлинику на Невском, посоветоваться насчет мелких нарушений своего здоровья. Оба там состоят на учете, она художница, он драматург. Счастливые молодожены. А медсестра говорит новобрачной:

— Дедуля-то ваш, какой еще живчик! Не сказала бы, что ему столько лет! Другие до такого возраста и не доживают...

Если вам кажется, что я преувеличиваю и слово «бабушка» в отношении незнакомой дамы есть выражение нежности, попробуйте нежно назвать соцработника бабусей. Или пожилую жену вашего начальника.

По работе мне пришлось много общаться со стариками в разных странах. Финскими, русскими, сербскими, узбекскими. Если стариков расспрашивать, они с

удовольствием рассказывают о своем детстве. Многие помнят себя с трёх-пятилетнего возраста. Из этих отрывочных, но ярких и трогательных картинок можно составить книгу.

Девочка в красном платье прячется в лесу и смотрит в небо сквозь ветки сосен — там гудят самолеты, они ищут девочек в красных платьях, чтобы сбросить на них бомбы.

Мальчику отец с фронта привез десять изюминок. Они лежат в круглой коробочке из-под мыла и пахнут розами, сладкие, как конфеты, которых мальчик никогда не ел. Он берет из коробочки одну изюминку и медленно-медленно несет ко рту...

Слушаю их рассказы и каждый раз жалею, что мало расспрашивала бабушек. Почти ничего не знаю об их детстве и юности. Почему не спросила, как они добирались до Туркестана в голодные двадцатые? Бабушка со смехом рассказывала, как они выманивали сусликов из норок. Мне было жаль сусликов. И только недавно прочитала, что в те годы треть их большого села Куроедово в Оренбургской области вымерла от голода. Сусликов ели все, кто мог поймать. Почему не спросила у папы, с кем он дружил в чарджуйской школе, как играли мальчишки на берегу Аму-Дарьи, что ели, как одевались? «Кто из нас заглядывал в сердце своего отца?» — спрашивал Томас Вулф.

Счастье, что с мамой я успела наговориться в последние годы, когда мы жили вместе.

— Купи мне, доченька, эту красную шляпку. В нашем детском саду у мальчика была красная панамка, и мне очень хотелось такую же.

— Папа ушел на фронт, когда мне было три года. И не вернулся. Только одно помню о нем: мы идем с ним по улице, и он несет банку с киселем...

Добрые люди меня уговаривали сдать маму в дом престарелых. Говорили: «Надо думать и о себе, у тебя много важных дел». Я начинала думать и никак не могла придумать, что в моей жизни важнее, чем мамина жизнь. Пришел день, когда мне нужно было уехать на месяц в командировку. Мы сели за компьютер и стали рассматривать рекламные фотографии «домашнего типа» учреждений. Сладостные улыбки медсестер, руки положены сверху на плечи «бабушкам» и «дедушкам», как на домашних питомцев. Сразу ясно, кто в доме хозяин. От фотографий мне уже стало страшно. Но мы все же выбрали один очень дорогой дом. Пребывание в одноместной комнате с личной сиделкой стоит 150 тысяч рублей в месяц. Высококвалифицированный персонал и домашние условия. 5-ти разовое питание по меню a la carte. Ежедневные прогулки в сопровождении индивидуальной сиделки по двору.

И мы с мужем пошли.

Кирпичный ящик с пустым бетонным двором. Внутри чисто, чуть веет слабым запахом человеческих выделений и хлорки. Строгий охранник сказал:

— Директор скоро прибудет, ждите. А вы подвиньтесь, дайте людям сесть.

Сели на кожаный диван цвета того, чем навевало. На втором диване устроились, тесно прижавшись друг к другу, две старушки в цветастых халатах, старик в пижаме и мужчина лет сорока в капитанской фуражке. Он качал головой вперед-назад. Посередине прихожей кружила высокая тощая дама в черных дырявых колготках и восклицала:

— Дайте мне, наконец, вторую порцию!

Старики сидели молча, капитан иногда выпевал несколько слов недурным баритоном:

— Моё счастье, моё счастье... Моё, моё...

Встал, пропел:

— Домой, домой!

И направился к двери, но охранник молча взял его за рукав и посадил обратно. Старушки выглядели интеллигентно и смотрели на нас с любопытством. Я спросила:

— Как вам здесь?

Одна вздохнула:

— Как, как... Дома лучше...

Мы ждали полчаса, за это время никто из персонала не появился.

Наконец, раздалось громкое цоканье. Это прибыла директор. Элегантная дама в отлично сшитом брючном костюме из тонкой розовой шерсти и розовых лодочках на высоченных острых каблуках.

Она ласково положила руку на плечо капитану и сказала:

— Отведите же Димусю в столовую.

И повела нас по зданию. Комнаты открыты, в них только кровати, тумбочки и ковры, на стенах аляповатые картины в тяжелых золоченых рамах. В двух лежали старики. Не спали, смотрели в потолок. В самой дорогой лежал кто-то, с головой укрытый одеялом, рядом в кресле сиделка читала журнал. Все двери настежь. В одной палате голой женщине меняли памперс. Директриса громко объяснила, что вот тут Оленька, представьте, она играла на скрипке в оркестре N-ского театра, и она ходит в памперсы, так что туалет в палате не нужен.

На этой стадии осмотра я уже была готова кусаться, но муж крепко меня держал. Я спросила:

— Почему мебель везде одинаковая? Почему те, кто живут постоянно, не привозят свою?

— Еще не хватало, чтобы они клопов сюда напустили! У нас учреждение самого высокого уровня.

Муж выволок меня на улицу, и там я смогла покричать и поплакать, упершись лбом в одинокую березу на углу.

Если бы мама тогда могла говорить, я знаю, что бы она сказала. Уж лучше дома умереть без помощи, чем попасть в этот дорогой морг для живых. На склад человеческих судеб.

Как нейропсихолог я знаю, что отсутствие уважения, приятной социальной роли губительно влияет на деятельность мозга. Человек, которого все вокруг считают слабым и глупым, в самом деле становится слабым и глупым. Мы видим себя в чужих глазах, как в зеркале. Вы можете представить королеву или просто миллионершу, которую служанки называют «баба Дуся»? Хлопают по плечу? Нет? Правильно. Мы отлично разбираемся, кого можно унижать, а кого нет.

«— Добрые мальчики, скажите вашему начальнику, что с ним желает беседовать Эдуард, принц Уэльский.

Эти слова были встречены громкими криками, а один наглый подросток сказал:

— Ты, что ли, оборванец, посол его милости?»

Каждый раз, видя с каким презрением или слащавым высокомерием, с покровительственной насмешкой или полным безразличием обращаются в учреждениях со стариками, вспоминаю «Принца и нищего»... Не раз я встречала ребят в интернатах, называвших себя дураками. Так их звали другие, и они сами стали видеть себя такими. Почему нам трудно обращаться с бедными и беспомощными с уважением?

«И отдашь голодному душу свою, и душу измученную насытишь, тогда засияет во тьме свет твой, и мрак твой — как полдень», — сказал Исайя.

Отдать душу — не значит дать только денег или кусок хлеба. Добрые слова, уважительное обращение, ободрение, похвала — вот в чем нуждаются все люди.

В заключение несколько слов о том положении, в котором старики находятся сейчас.

Начиная с марта прошлого года во многих домах престарелых европейских стран ситуация была похожа на катастрофу. Например, в финском Пиексамяки из 40 сотрудников осенью были больны 24. Работать некому, приходилось нанимать людей без специального образования, другого выхода не было.

В октябре я часто гуляла в Хельсинки у моря, рядом с красивым домом престарелых, иногда разговаривала со стариками, сидящими на берегу. Они были рады любому разговору. В ноябре заболели более тридцати стариков и десять сотрудников. Не вернулись из больницы несколько человек. Несмотря на то что каждый старик живет в своей отдельной квартирке, уберечь их не смогли — людей, зависимых от повседневной чужой помощи, невозможно полностью изолировать. Когда стало известно об этом, жители города вечером пришли к дому, зажгли свечи и пели песни, а старики махали им из окон.

В интернатах и домах престарелых живут скученно. Это идеальная среда для распространения инфекций. Нигде нет такого, чтобы за каждым ухаживал только свой помощник. В большинстве интернатов одна сиделка ухаживает за десятками людей. Сотрудники добираются до работы общественным транспортом. Многие сиделки и медсестры сами относятся к группам риска по возрасту и здоровью. И при этом не везде могут получить достаточно масок и перчаток. Они болеют и увольняются. В интернатах и домах престарелых люди и так изолированы от общества, а теперь они просто закрыты внутри помещений. Кто из нас достоверно знает, как они там живут? Какую помощь они получают? Особенно неговорящие, которые не могут ничего рассказать. Сведения о заболевших часто скрываются и не сообщаются даже родственникам. Я знаю это от знакомых сотрудников многих интернатов и домов престарелых в разных странах. Об этом же пишут многие общественные организации.

Среди работников интернатов и домов престарелых есть много хороших людей, много настоящих героев, кто сейчас работает в тяжелейших условиях. Они заложники стандартов. Эти стандарты давно пора менять, а сейчас прямо-таки жизненно необходимо. Необходимо добавлять услуги на дому, повышать пособия по уходу за стариками и инвалидами, обучать сиделок, проводить проверки интернатов на безопасность, включая и безопасность во время геокатастроф (что нас еще ждет в этом мире, мы не знаем), постепенно расселять людей из интернатов в более безопасные и достойные людей дома. Необходимо больше поддерживать тех, кто заботится дома о своих близких. Не только давать им деньги, но и оплачиваемые отпуска хотя бы на пару дней в месяц, во время которых к ним домой придет бесплатная сиделка для ухода за их ближним. В конечно счете это и экономически окупится — ведь люди будут дольше жить дома. Не говоря о нравственной стороне дела. Ближние помощники выполняют тяжелейшую работу почти бесплатно, экономя для государства огромные деньги. Прекрасная и высокая доля — помочь своему ближнему в трудное для него время. Но доля тяжелая и физически и душевно. Ближний помощник — человек, годами живущий рядом с тяжело больным родственником или с инвалидом, нуждающимся в повседневном уходе, при отсутствии достаточной поддержки постепенно теряет друзей, интересы, нередко вынужден бросить работу. В последние годы врачи стали даже говорить о «синдроме ближнего помощника» — когда ухаживающий за ближним человек сам начинает болеть. У него расстраиваются нервы, он плохо спит,

бывают приступы паники, болит спина... Проблем можно избежать, если вовремя отдыхать, заниматься спортом и иметь свободное время для себя. Но без помощи со стороны государства для большинства это невозможно.

В апреле прошлого года бывший специальный докладчик ООН о правах инвалидов Каталина Деванда говорила: «Социальные учреждения, дома престарелых и психиатрические учреждения стали горячими точками пандемии, на которые приходится половина погибших в некоторых странах. Правительства всего мира должны действовать быстро, чтобы все меры были доступны и учитывали инвалидность».

Я написала этот текст и пошла на Александеринкату, улицу русского императора Александра, до сих пор уважаемого финнами. У «Стокманна» встретились две женщины, одна молодая, вторая старая, очень похожие лицами и фигурами. Старшая женщина, запыхавшись, подошла к младшей, та громко сказала ей по-фински:

— Мама, сколько тебя ждать! Опять опоздала на десять минут! Как будто это мне надо!

Мать извиняется виноватым голосом, откашливаясь:

— Я старалась, старалась... Никак не получилось успеть... не сердись...

— В другой раз не пойду с тобой! — раздраженно бросает женщина, и они заходят в магазин.

И я захожу.

В отделе обуви, на коленях перед старушкой в старомодной шубке стоит молодой мужчина. Завязывает ей ботиночки. Она стоит молча, опирается рукой о его плечо, смотрит перед собой куда-то вдаль. Сын встал, подал матери руку, и они пошли потихоньку дальше...

Людмила Синицына

Победы и поражения Генриха Фогелера

От поэтической утопии к зримому духу

Как-то в один из приездов в Москву моей немецкой подруги Иоганны мы с ней, гуляя по Арбату, увидели вывеску у входа в Пушкинский музей: «От поэтической утопии к зримому духу: Генрих Фогелер, Рудольф Штейнер и Йозеф Бойз». Могли ли мы пройти мимо!

Правда, к Штейнеру я отношусь довольно равнодушно, но в любом случае было бы любопытно узнать о нем что-то новое. О Бойзе никогда прежде не слышала. Но вот Фогелер... В первую очередь меня интересовал именно он. Еще бы — одна из ключевых фигур в искусстве Германии конца девятнадцатого и начала двадцатого столетий. Живописец и график, архитектор, дизайнер, писатель и философ. Один из духовных лидеров общины художников, обосновавшихся в деревне Ворпсведе в окрестностях Бремена. К тому же один из столпов югендстиля, а модерн мне всегда очень нравился.

Ни Иоганна, ни я не ожидали, что выставка произведет на нас столь ошеломительное впечатление. Черные доски со знаменитыми схематическими зарисовками Штейнера действительно оказались любопытными. Йозеф Бойз — последователь Фогелера, теоретик постомодернизма и основоположник «флюксуса», разновидности перформанса. Но главное — сам Генрих Фогелер! Тонкая живопись и трагическая судьба, о которой мы прежде имели самое смутное представление...

— Мы должны обязательно поехать в Ворпсведе! — объявила моя подруга категорическим тоном. Она вообще очень категорическая дама.

Я была с ней категорически согласна. Манили пейзажи с холстов Фогелера и хотелось побывать в местах, где сто лет назад художники много и вдохновенно работали, а по вечерам собирались в доме под названием Баркенхоф, в Белом зале: музицировали, танцевали, читали стихи, разыгрывали сценки, дурачились. Когда-то в молодости я мечтала о жизни в такой коммуне.

— Непременно поедем.

Синицына Людмила Алексеевна — прозаик, очеркист, фотограф. Постоянный автор «Дружбы народов». Последние публикации в «ДН»: «Привлечь к себе любовь пространства» (2017, №4); «О дивный Арзамас!» (2020, №3).

Русский солдат — это человек, который приносит продукты

Прошло некоторое время, и мы в маленьком автомобильчике моей подруги уже ехали из Берлина в Ворпсведе. Скучные перелески, долго тянувшиеся по обе стороны дороги, сменили просторные лоскутные одеяла полей, поросших нежной зеленью люцерны или ядовито-желтой сурепкой, перемежающиеся темно-коричневыми прямоугольниками распаханной земли. Затем на горизонте показались шеренги ветрогенераторов. Опоры ветряков вздымались высоко вверх как стволы бетонных секвой, вяло размахивая лопастями. Они словно выполняли однообразную утреннюю гимнастику. Мне представился Генрих Фогелер на коне с копьем наперевес, атакующий современные «ветряные мельницы».

— Он ведь тоже был из породы рыцарей Печального образа, — сказала я вслух.

— Не путай немца-идеалиста с сумасшедшим испанцем, — отозвалась Иоганна, глядя прямо перед собой.

Она давно водит машину, но и по сей день чувствует себя не очень уверенно за рулем, поэтому не любит разговаривать в дороге, чтобы не отвлекаться. Обычно мы обмениваемся короткими репликами. Ехать нам еще далеко, поэтому стоит рассказать о моей подруге.

Иоганна — незаурядная женщина. Она актриса, автор двух книг, режиссер, неплохо говорит по-русски. Ей было пять лет, когда она она впервые встретилась с русскими. Ее мать Марта Леш после войны начала фотографировать советских солдат, чтобы прокормить троих детей — маленькую Ханни и двух ее братьев... Еще в молодости, задолго до замужества, она купила фотоаппарат, который пригодился в трудное послевоенное время. Семья жила впроголодь, и солдаты из гарнизона, стоявшего в городке Штансдорф, где жила Марта с детьми, платили за фотографии продуктами. Кроме того, старались побаловать маленькую девочку. А потому русский солдат для Иоганны — это человек, который приносит продукты. И непременно что-то вкусное — колотые кусочки сахара, в редких случаях даже сгущенку, о которой можно было только мечтать, не говоря уж о консервах. Марта ухитрялась надолго растягивать одну банку с тушенкой, добавляя по ложке для вкуса в брюквенный суп.

Иоганне особенно запомнился молодой парень Михаил.

— Фамилию его я, конечно, не запомнила. Мать сфотографировала меня с ним. Он потом довольно часто заходил уже просто в гости. Наверное, соскучился по своей маме, сестрам и братьям, ему хотелось просто побыть в семье, — объясняла Иоганна, откладывая снимок маленькой девочки, сидящей на коленях у солдата.

В тот вечер мне пришла в голову мысль найти этого человека — отправить снимок на российское телевидение, чтобы его показали в передаче «Жди меня». Может, кто-нибудь узнает Михаила... Но уж слишком мало осталось зацепок: Иоганна не знала ни его фамилии, ни города, откуда он родом. Да удастся ли распознать в молодом парне старика, которому уже перевалило за девяносто?! Ответа с телевидения мы так и не получили.

Рассматривая фотографии Иоганны, снятые в детском возрасте, я задумалась: почему у нее на всю жизнь сохранился интерес к России? Из-за воспоминаний, связаных с русскими солдатами? Из-за зова крови? Как она говорила, судя по фамилии Леш, ее предки, вернее всего, выходцы из одного из ассимилированных славянских племен. Или дело в обостренном чувстве глубинной связи русской и немецкой культур, ощущать которую дано не всякому?

В школе Иоганна принялась усердно учить русский. Классе в шестом начала вести переписку с девочкой-буряткой из Улан-Удэ — наугад выбрала на карте один из самых удаленных городов в СССР. Многие мои одноклассники и я сама тоже переписывались со школьниками из Чехии, Польши, Болгарии... Правда, переписка частенько обрывалась после обмена первыми письмами. А вот Иоганна писала исправно. И девочка-бурятка сохранила ее адрес, и после перестройки ее родные приехали в гости в Штансдорф.

Но прошли трудные послевоенные времена, дети подросли, и Марта устроилась бухгалтером на киностудию «Дефа».

— Она знала много языков: венгерский, французский, — вспоминает Иоганна, — была очень аккуратным работником, первой освоила счетную машинку, которую поставили в бухгалтерии. Она выдавала гонорар актерам. И когда на студию должна была явиться очередная знаменитость — Жерар Филипп, Ив Монтан или Симона Синьоре, — брала меня с собой.

Неудивительно, что четырнадцатилетняя Ханни возмечтала стать актрисой.

— Многие хорошо помнили фрау Леш. За что-то ее очень ценили, — слегка удивлялась Иоганна.

Отношение коллег к матери было для нее неожиданным. Мы не всегда способны справедливо оценить родителей... Но как бы то ни было, место работы Марты предопределило судьбу Ханни.

Мне довелось несколько раз увидеть выступление Иоганны в Потсдаме на сцене очень модного и очень популярного в восьмидесятые годы политического кабаре. В небольших скетчах участники кабаре высмеивали благоглупости чиновников, ограниченность полицейских, бюрократизм системы. Слишком смелые ее выступления вызывали нарекания властей. Сценки, в которых была занята Иоганна, всегда отличались яркостью исполнения. Иоганну в лицо знала каждая собака не только в Потсдаме, случалось, ее узнавали и в других городах.

Помню, как Иоганна изображала предприимчивую торговку на рынке. Показывая на ящик, где в каждом небольшом отсеке лежали какие-то товары на продажу, она перечислив, что предлагается вниманию покупателей, сдергивала салфетку с еще одного отсека и говорила с важностью: «А это мой дьюти-фри!»

Мы познакомились в доме общих друзей, когда Иоганна приехала в Советский Союз. И наша дружба длится уже почти пятьдесят лет. Ее манера высказываться — безапелляционно и категорично — порой рождала меж нами... не скажу, споры, скорее недоразумения. Она считала, что надо всегда говорить правду в глаза, ничего не скрывая. Мою уклончивость в некоторых ситуациях, нежелание обидеть человека, — она считала притворством и обманом. Но за столько лет дружбы мы притерлись друг к другу и довольно быстро улаживаем разногласия.

Время от времени мы отправлялись в поездки по местам, которые были ей интересны. Так мы побывали в Одессе, в музее Паустовского. После того, как Марлен Дитрих в своем переливающемся платье, роняя жемчужины, встала на сцене перед нашим писателем на колени, он стал пользоваться особой популярностью у немцев. Добрались мы и до дома-музея Чехова в Ялте. Интерес Иоганны можно понять — Чехов самый популярный русский драматург на Западе, ну и кроме того, Иоганна как раз в те годы играла сразу две роли в «Дяде Ване» — няни и матери. Мы исполнили ее давнюю мечту — съездили не только на Байкал, но и добрались до Улан-Удэ. Она даже пережила семибалльный шторм на Белом море, когда отправилась со мной на литфестиваль «Петроглиф»...

А она не раз возила меня по заповедным уголкам Германии.

Отшельники из Ворпсведе

Тем временем мы приближались к Ворпсведе.

— Здесь очень застенчивая природа, — говорит Иоганна, глядя на скромные ряды берез вдоль дороги.

Этот вид так напоминал одну из картин, что у меня вырвалось:

— Точно как у Фогелера!

Иоганна поняла меня буквально и не удержалась от критического замечания:

— Березы так долго не растут. Эти высадили позже.

— Но до чего же пейзаж похож.

— Теперь здесь модное туристическое место. Стараются.

Во времена Фогелера от деревни до Бремена добирались на лошадях, иной раз и пешком. «Черные зыбкие болота, — так описывал эти места Рильке, — кишащие скользкими тварями и гниющим плодородием. Теперь они достаточно плотно заселены; наиболее стойкие из первых колонистов разбогатели на торговле торфом; позднейшие поселенцы живут в труде и бедности... хвойные леса, маленькие заводы, где обжигали кирпич; дальше простирались пустоши, напоминавшие морщинистые руки...»

Сейчас на всех аккуратно вымощенных улочках с подстриженными кустами вместо осевших домиков с соломенными крышами — двухэтажные гостинички или галереи с выставленными в витринах картинами, керамикой, поделками. А если где и сохранились соломенные крыши, то исключительно для привлечения туристов, для экзотики.

Повсюду весело таращатся с клумб анютины глазки. Ирисы, разинув пасть, вываливают розовые языки, словно после долгой пробежки. Вдоль ухоженных улочек тянутся олеандры с лаковыми граммофончиками свежераспустившихся цветов. Среди глянцевых листьев рододендронов торчат лохматые разноцветные букетики. Все цветет и пахнет. Сразу видно, что городок давно живет за счет туристов. Правда, до начала сезона было еще далеко, большая часть кафе стояла закрытой. На летних верандах застыли большие полотняные зонты, в сложенном виде похожие на францисканских монахов, опоясанных грубой веревкой.

Этой деревушке повезло случайно. Фриц Макензен, молодой бременский художник, сын булочника из нижнесаксонского местечка Грене под Гандесхаймом, задумал сколотить коммуну художников по образцу барбизонцев и объехал окрестности Бремена в поисках места, где можно было бы поселиться с несколькими друзьями. С одной стороны, они решили создать творческий союз, а с другой — жить вместе дешевле, чем поодиночке. А они были бедны и только пробивали путь к успеху. Вскоре удается найти подходящее место. Соученица Макензена по Дюссельдорфской академии художеств пригласила его в гости в деревню, где жил ее отец. Ворпсведе с первого взгляда очаровал художника и его друзей. Как писал Рильке: «перед молодыми людьми, пришедшими искать себя, возникли бесчисленные загадки этой земли. Березы, шалаши на болоте, степные просторы, человеческие существа, вечера, дни, ни один из которых не похож на другой, в которых нет ни одного часа, который спутаешь с другим. И они стали любить эти загадки».

За небольшие деньги они сняли помещения в большом крестьянском доме вдовы Беренс. Здесь было достаточно комнат для жилья и для устройства чего-то вроде студии. Впрочем, студия была им особенно ни к чему — они собирались главным образом работать под открытым небом.

Чертовы болота — местность, в которой расположен Ворпсведе, — ничуть не напоминает живописный юг Франции или Италии. Красоты севера Германии своеобразны — скромные пейзажи с чахлыми деревцами на торфяных болотах,

приземистые дома, крытые потемневшей от времени соломой или мхом. Жизнь простых людей, которые добывали торф и сплавляли его по каналам на лодках, была трудна и давала мало сюжетов для живописи. Однако молодые художники искали и открывали красоту там, где ее прежде не замечали.

Довольно скоро отшельники из Ворпсведе — Фриц Макензен, Ганс ам Энде, Фриц Овербек, Отто Модерзон, Паула Беккер, Мари Бок, скульптор Клара Вестхофф — добились успеха. Их первая групповая выставка состоялась в Бременской художественной галерее, а затем они пробились в Мюнхен, который в те годы, в конце девятнадцатого века, был наравне с Парижем мировой живописной столицей. В 1895 году картины двух ворпсведских коммунаров — Макензена и Модерзона — получили награды на выставке в Стеклянном дворце в Мюнхене. Полотна ворпсведцев привлекали тогдашних зрителей свежестью и непосредственностью, публика воспринимала их как протест против тирании академического искусства, как возвращение к природе, к простой жизни.

Немало значило, наверное, что живописцам из Ворпсведе не пришлось пробивать броню недоверия и непонимания. Это успели сделать их предшественники. Лед недоверия, нежелания принимать новое был уже сломан. К тому же, югендстиль не столь эпатажен, как картины экспрессионистов, постимпрессионистов или фовистов. Он более гармоничен, сдержан, уютен. Картины ворпсведцев можно было смело вешать в гостиной, не пугая гостей.

После успеха на выставке, группа становится заметным явлением в культурной жизни Германии. О них пишут, их творчество обсуждают, с ними стремятся познакомиться поближе. К ним едут знаменитости того времени. Ворпсведе становится модным местом.

И все же, мало кто сегодня помнит имена членов этой группы, столь знаменитой в свое время, что Рильке написал о ней целую книгу, которая так и называлась «Ворпсведе». Влияние этих художников на развитие даже немецкой живописи в целом было очень небольшим. Известность за пределами Германии получил только Генрих Фогелер.

Прелестный баловень судьбы

Отец Генриха торговал скобяными изделиями. Не могу судить, насколько его интересовало искусство, однако намерению сына стать художником он не препятствовал. Родители разрешили Генриху поступить в Дюссельдорфскую академию художеств и, вероятно, не только поощряли, но и финансировали его поездки в Голландию, Бельгию, Италию, где он обошел практически все музеи и замки с коллекциями живописи.

После завершения обучения, он почти сразу стал модным и востребованным, его работы пользовались спросом, он начал неплохо зарабатывать. Будущее казалось безоблачным. Отчего же его взгляд на фотографии того времени не просто серьезен, а почти трагичен? Словно Генрих каким-то непостижимым образом предугадывает свой горький конец...

Мог ли он не посетить Ворпсведе? А побывав там, мог ли он не полюбить навсегда эти места, которые полностью изменил и его жизнь? Рильке писал: «Генрих Фогелер обрел в Ворпсведе почву для своей действительности. Его искусство — прежде всего восторженное, блаженное предсказание этой действительности, и все сказки из его толстого старого альбома начинаются словами: “Однажды будет...”. Рисунки и гравюры, вполголоса и шепотом, возвещают грядущее. И позднее, в картинах, благодарная зрелость празднует свершения своей жизни. Вот истинное содержание его искусства».

Ворпсведские старожилы полюбили молодого идеалиста. За восторженность и любовь к старинным преданиям и романтическим героям. Паула Беккер писала в дневнике 1897 года: «Малыш Фогелер — прелестный баловень судьбы и мой любимец. В качестве примера для подражания он избрал старонемецких мастеров. Он очень требователен, бесконечно требователен к форме. Мне нравится наблюдать, как этот паренек облекает свои юношеские фантазии и грезы в строго выверенную форму». Забавно, что Фогелер был старше Паулы на четыре года.

Генрих поселился в Ворпсведе. Переезд сюда стал событием, определившим его дальнейший жизненный путь на многие годы. Старшие товарищи помогли ему овладеть основами натурной живописи. Фриц Макензен был основным его наставником. «Макензен организовал для меня обучение живописи. По утрам я сидел с ним в немного заросшем фруктовом саду матушки Шрёдер перед светловолосой Мартой и писал ее профиль. Я учился у мастера строгому трезвому наблюдению натуры, мягкому растворению контура и поверхности посредством игры красок», — вспоминал позже Фогелер.

Светловолосая Марта — это Марта Шрёдер, задумчивая, тихая девушка с густыми золотистыми волосами, дочь учителя, ставшая музой молодого Фогелера. «Девочке с болот» на тот момент всего четырнадцать лет. Генрих готов ждать совершеннолетия, чтобы предложить руку и сердце, которое она, в согласии с драматическими канонами, впоследствии разобьет.

Тем временем умер отец Фогелера, оставив художнику небольшое наследство, которого хватило на приобретение скромного дома с землей на окраине Ворпсведе. Генрих начинает перестраивать новое владение по своим эскизам и превращает его в небольшой особняк Баркенхоф в стиле модерн. На его работах — а он часто рисовал свой дом — мы видим стоящее на возвышении белое здание, романтическую усадьбу с замысловато изогнутым фронтоном в окружении густой зелени. Дом мечты. Вся обстановка в нем была изготовлена по эскизам хозяина.

Название особняку придумал молодой, но уже известный поэт Райнер Мария Рильке, с которым Фогелер познакомился и подружился во Флоренции. Рильке приехал в Ворпсведе, чтобы обсудить с Генрихом иллюстрации к книге своих стихов, попал под обаяние самого места и его обитателей и сделался частым гостем художнической общины. Так некогда Теофиль Готье был очарован Барбизоном и стал певцом барбизонцев, а Джон Рёскин воспел прерафаэлитов. И все же более всего Рильке влечет в Чёртовы болота общение с другом, о котором он пишет: «Попробуйте представить себе вместо монашеской общины одного человека, нашего современника, который, подчиняясь велению своей натуры, как подчиняются орденскому уставу, воздвиг, огородил, осуществил свой собственный мир, и вы тогда лучше распознаете суть Генриха Фогелера и происхождение его искусства».

Осуществить свой собственный мир... Этой невысказанной вслух цели была подчинена любая деятельность Фогелера. Всю жизнь он стремился материализовать свои грезы. Есть некий парадокс в том, что в это идеалистическое, чтоб не сказать иллюзорное, стремление он вносил подлинно немецкие основательность и практичность, чтоб не сказать материализм.

Задумав создать дом своей мечты, он одновременно возделывал и сад при доме, отдавая ему немало свободного времени. Уход за деревьями для него не менее важен, чем работа над картинами. Не зря Рильке сказал: «С этим садом, с ненасытными запросами этих деревьев, чьи ветви переплетаются, выросло искусство Генриха Фогелера».

Садовник символических садов

Сад издавна служил символом райской обители — его слабым отражением, напоминанием о безмятежном пребывании человека в счастливейшем слиянии с природой. Для Фогелера работа в саду — восстановление идеала.

Мы с Иоганной гуляли по саду при особняке Баркенхоф, который явно требовал большего ухода, чем могли сейчас уделить его служители. Он выглядел неряшливым и заброшенным.

— Начало цивилизации — не огород, а сад, — изрекла моя подруга. — Овощи нужны нам для выживания. Сад необходим нашей душе.

Это ее кредо. Иоганна — ярая фанатка садоводства, не жалеющая времени и сил на уход за своим небольшим садом. Перед нашим отъездом в Ворпсведе она, вооружившись огромными садовыми ножницами, начала подравнивать куст, растущий напротив «чеховской беседки», сколоченной из белых березовых стволов.

— Что ты его мучаешь? — замечаю я. — Он сам знает, как надо расти, оставь его в покое.

— Не надо дурничать! — отвечает Иоганна на своем слегка неправильном русском, с удовлетворением оглядывая результат. — Все должно быть порядочно!

Вечером она открывает настольную книгу — воспоминания известного немецкого садовода Карла Фёрстера, — и показывает иллюстрации того, как нужно обрабатывать кусты. В детстве отец Карла выделил каждому из трех сыновей отдельную полоску земли. У каждого имелся и свой сарайчик, где они складывали инструменты. Каждый выращивал то, что хотелось. Один сажал то, что нравилось по запаху. Он стал философом. Второй экспериментировал с водой, проводил свою систему полива. Он стал кораблестроителем. Третий — Карл — стал ведущим в Европе садоводом. Иоганна перенимала садовое искусство у человека, который в свое время учился у Карла Фёрстера, чем она чрезвычайно гордится.

Благодаря увлечению Иоганны, мне ближе и понятнее фогелеровская страсть. Есть тип людей, для которых сад — жизненная потребность.

Точно так же, как возделывал он сад, приводя в соответствие с мечтой, Генрих Фогелер воспитывал будущую жену, «девушку с болот», выращивая из нее идеальную возлюбленную и музу. То время, что они должны были ждать до ее совершеннолетия, не прошло впустую. Генрих «побуждал Марту развиваться», она начала изучать французский и итальянский, слушала музыку, освоила ткацкое ремесло, которое в будущем ей очень даже пригодилось.

А он ее рисовал. Марта, постоянная героиня его полотен и графических листов, представала на них то томной девой, то босоногой пастушкой, то русалкой, то принцессой, поджидающей на поляне прекрасного рыцаря. Фоном для всех этих сказочных видений служили изысканные стилизованные пейзажи. Так он заранее готовился к тому, чтобы, как он позднее признавался, «превратить жизнь своей жены в произведение искусства».

Весной 1901 года в Баркенхофе сыграли одну за другой три свадьбы: Фогелера и красавицы Марты Шрёдер, Рильке и ученицы Родена Клары Вестхоф, Отто Модерзона и Паулы Беккер, замечательной женщины и замечательной художницы, для рассказа о которой здесь, к сожалению, нет места.

Когда они поженились, и Генрих ввел молодую жену в только что достроенный Баркенхоф, семейная жизнь выглядела идиллической. Сохранилась фотография, где Фогелер в шлеме и с мечом в руке, облаченный в кольчугу, стоит на одном колене перед своей Прекрасной дамой — юной Мартой в «средневековом» платье, сшитом по его эскизу. Она вновь и вновь появляется на его картинах, словно видение из райского сада, «из чьих мерцающих глубин, проглядывает изумленное девичье лицо, — пишет

Рильке. — Может быть, самое незабвенное в картине — то, как дева Мелюзина переплетается с этими дебрями бесчисленных вещей, так что даже не скажешь, где она; и не робкие ли глаза самого леса, и любопытные, и встревоженные, открываются перед незнакомцем...»

Я спрашиваю Иоганну:

— Тебе не кажется странным, что Рильке еще тогда сравнил Марту с Мелюзиной?

В самом деле, трудно понять, почему у него возник этот образ — встреченная в лесу прекрасная дева, которая приносит мужу счастье, успех, а затем обращается в дракона или змею и исчезает. Конечно, змеей Марту не назовешь, однако драматический конец их брака с Генрихом отдаленно напоминает бегство змеехвостой нимфы. Однако в то время, когда Рильке писал приведенные выше строки, до разрыва было очень и очень далеко.

— Думаешь, он предчувствовал уход Марты?

— Может быть, — пожимает плечами Иоганна.

Она не любит домыслы. Ей подавай факты, доказательства.

Марта принесла мужу счастье и успех. Она изменила Генриха. Рильке пишет в своем дневнике: «До этого он рисовал все какие-то буйные, диковинные вещи. Пиры, кутежи до рассвета и кентавров, выпрыгивающих из нарождающегося дня, чтобы похитить спящих крепким хмельным сном дев. Она разом сделала его простым. Показала ему землю, на которой он начал мечтательно восславлять ее. Таким образом, их сродство выросло из его становления. Марта была перед ним. Деревенский ребенок, девушка с болот, из-за переживаний полная нежности, очень одинокая и страдающая от отчужденности». Она словно заставила его очнуться и пристально взглянуть на то, что его окружало.

Катастрофа

Они прожили двенадцать лет в браке, как в райском саду. Так, по крайней мере, казалось Генриху. Но как известно, в раю неизбежно появляется искуситель... Так оно случилось и в Баркенхофе. Лицо молодого юриста по имени Людвиг Боймер украшали шрамы — следы поединков на рапирах, которые полагалось вести студентам. Людвиг ушел из университета из-за того, что отказался от очередной дуэли. И стал изгоем. В Ворпсведе он надеялся залечить раны. Людвиг нервен, психически неуравновешен. Марта сочувствовала бедняге. И он все больше и больше привязывался к ней. Сначала жаждал эмоциональной поддержки, участия, а потом начал требовать физической близости.

В один из вечеров Марта сообщила Фогелеру, что юноша в тяжелом психическом состоянии и может не дожить до утра. Говоря проще, Боймер шантажировал чужую жену, угрожая, что пойдет по классическим стопам юного Вертера, если она не снизойдет, так сказать, к его мольбам!

Ситуация разрешилась неожиданным образом. Фогелер описывает этот трагический вечер в сборнике статей и мемуарных очерков, опубликованном под названием «Становление». Дистанцируясь от событий той ночи, он называет себя Иоганнесом и занимает позицию постороннего свидетеля. Русского перевода книги пока нет (если не считать тех страниц, что были написаны в Казахстане и изданы краеведом Юрием Поповым) — я привожу эпизод из «Становления» в переложении Иоганны.

«Иоганнес застал жену в доме, когда она сидела на кровати... Он подошел к ней. Она повернула голову, Иоганнес увидел совершенно незнакомое ему лицо.

— Людвиг не переживет этой ночи. Он на краю гибели.

Между ними разверзлась пропасть.

Иоганнес сказал: "Иди к нему, ты должна помочь".

Эти слова пали, как камни из старой стены.

Она повернулась и ушла. Хлопнула дверь, а затем и калитка.

Этой ночью Иоганнес потерял свою жену...»

Он перенес перину в комнату, где спали дочери, и остался с ними. В эти дни Фогелер сблизился с девочками как никогда: много читал вслух, играл, занимался, чтобы их не ранило исчезновение матери.

Мы с Иоганной долго обсуждали этот эпизод. Моя подруга уверена, что Марта устала от того возвышенного идеала, который навязал ей муж. Может быть, молодой женщине хотелось как-то встряхнуть его, вернуть на землю, вызвать чувство ревности, заставить его проявить какие-то бурные чувства — более сильные и непосредственные, которые исходили от молодого Людвига. Возможно, она стояла на перепутье и ждала, что Генрих схватит ее за руку, встряхнет, закричит. Но стилистика отношений, установившаяся в среде художников, диктовала доверие, понимание. Как выразился на сей счет Рильке: «Вся любви премудрость — давать друг другу волю». Фогелер принял эту премудрость безо всяких оговорок. Он был слишком серьезен и искренен, чтобы давать себе послабления, и слишком деликатен, чтобы диктовать волю жене.

Позже Марта упрекала мужа:

— Если б ты любил меня, ты бы застрелил Людвига. Ты прививал мне аскетизм, и я вела себя, как монахиня.

Фогелер завершает рассказ печальным комментарием:

«Горькое признание. Любовь их умерла. На ее месте могла вырасти только дружба».

Но дружба не принесла ему утешения. Он был максималистом. Об этом замечательно сказала Грета Ионкис: «Фогелер, и в самом деле, был человеком не от мира сего, хотя бы потому, что в век разнузданного индивидуализма, торжества "эго" он посвятил свою жизнь служению общественному делу, миру в старорусском понимании этого слова (на языке крестьянина "мир" — это сельская община). Он принес себя в жертву на алтарь своей новой веры.

Марте же этот мир казался искусственным. Она тяготилась навязанным ей образом жизни и обликом (Фогелер моделировал даже ее одежду, она должна была всегда и во всем являть воплощение его Идеала). Схожая драма разыгралась в то же время в семье Александра Блока. Конфликт между мечтой и действительностью, как видите, имел место не только в искусстве, но и в личной жизни. И Блок, и Фогелер пытались "творить" свою жизнь по законам эстетики, что привело в конце концов к драме в их личной жизни».

Распалась семья, опустел дом, с которым он связывал столько надежд, Генрих пережил длительную депрессию, но не отчаялся. Несколько лет спустя дом вновь наполнили звонкие голоса. Фогелер открыл в Баркенхофе детский дом для детей, родители которых подверглись политическим репрессиям.

А Марта оказалась женщиной приземленной, деятельной и практичной. Она смогла — конечно, с помощью великодушного Фогелера — выстроить собственный дом, на окраине Ворпсведе, где поселилась с дочерьми и организовала мастерскую: местные девушки, устроившись за станками, ткали по ее рисункам и образцам. Дом сохранился по сей день. Сейчас там музей.

Новый мир из осколков старого

Не знаю, верно ли предположение, что югендстиль потерял для Генриха свое очарование из-за разрыва с Мартой. Хотелось бы сказать, что с уходом музы из изысканно изогнутых линий фогелеровской графики ушла душа. Но это лишь мои домыслы... Независимо от личной драмы Фогелера, югендстиль выдыхался. стремительно терял свои позиции, выходил из моды. И даже Рильке, который высоко ценил талант друга, при виде очередной обложки для стихов вдруг осознал, насколько неуместно выглядят изящные завитки и растительные узоры.

— Он так прямо и сказал Генриху: «Это устарело». Представляешь, как горько было человеку искусства слышать такой отзыв, — говорит Иоганна и иронически замечает: — Правда, собственный поэтический язык Рильке не стал менять. В сущности, сам он остался поэтом в стиле ар-деко.

Я встаю на защиту Рильке:

— В поэзии это не так заметно, как в живописи...

— Неважно, — машет рукой Иоганна. — Зато Фогелер сумел измениться. У него был настоящий немецкий характер: хотя и романтик, но сильный человек. Он не цеплялся за старое.

Я с ней согласна. Конечно, Фогелер и сам чувствовал, что будуарная графика модерна не соответствует духу времени, ощущению надвигающейся грозы. Он стремится идти в ногу с современностью и подобно многим художникам начала века обращается к кубизму, новому направлению в живописи. Увлечение кубизмом неожиданно обрело символический смысл, который он вряд ли вкладывал в свои полотна того времени. Конечно, кубизм был всего лишь модным течением, однако сам принцип изображения реальности как конструкции, слепленной из остроугольных осколков, — это идеальная иллюстрация к кризису, который Фогелер переживал в те годы. С началом двадцатого века его жизнь становится чередой потерь. Весь его мир разбился вдребезги. Все, о чем он мечтал и что любил, разлетелось на обломки. И он с методическим упорством собирал из черепков новый мир.

Грета Ионкис очень выразительно описывает новую манеру письма Генриха Фогелера. В ту пору, то есть в двадцатые годы, он «разрабатывает новую манеру письма, она характерна не только для фресок, но и для его графики, живописи, плакатов. Он называет этот вид творчества *Komplexbild*. Не найдя подходящего русского термина, попробую объяснить, что это такое. Поверхность картины рассекается на ассиметричные сегменты самой разной величины и конфигурации, как в старых витражах. Каждый сегмент — фрагмент целого и в то же время — самостоятельная картина, но они все связаны сюжетно, главный мотив повторяется. В некоторых сегментах предстают укрупненные детали сюжета другой части. Некоторые сегменты-ячейки передают различные состояния одного и того же предмета. Соседство этих напряженных барельефов создает иллюзию движения, но не плавного, а как бы неровного, толчками. Единство целого создают и световые потоки, которые, исходя чаще из центра или сверху, пронизывают всю картину, связывая фрагменты. Объединяя в одной композиции разновременные и разнопространственные мотивы, Фогелер превращает свои картины в своего рода идеограммы. В технике *Komplexbild* Фогелера есть нечто общее с монтажом Эйзенштейна».

Переход от модерна к экспрессионизму и кубизму не был всего лишь сменой художественного направления. Фогелер по-новому определил свою жизненную миссию. Томную романтику модерна сменила революционная романтика строительства нового мира и нового человека. Фогелер активно включился в революционные события

ноября 1918 года, участвовал в выборах бременского Совета рабочих и солдатских депутатов и сам был в него избран. В Доме профсоюзов он выступил с большим политическим докладом «Экспрессионизм любви — путь к миру». Речь шла не о новом художественном стиле, а об общественных отношениях: «Война — чудовищный грех, кровавая вина всех нас. Искупить ее можно лишь посредством социализма». Война для него — Божье наказание и одновременно колыбель «нового человека».

О войне он знал не понаслышке. В 1914 году сразу же после объявления военных действий он, пылкий патриот, записался добровольцем в армию. «Может быть, последние остатки романтики или жажда смерти погнали меня, сорокадвухлетнего, добровольцем на фронт, но там я увидел жизнь такой, какова она есть, — вспоминал Фогелер впоследствии. — Очень вскоре я осознал, что речь идет вовсе не о народной войне, а о бойне, выгодной исключительно безнравственному классу эксплуататоров». И все же он протестует против Брест-Литовского мира и высмеивает его заключение в ернической сказке «Добрый Господь».

— Представляешь, не побоялся, — комментирует Иоганна. — А ведь по законам военного времени его вполне могли расстрелять, посадить. Но Фогелер слишком известная фигура. На его защиту встают самые известные люди. Кайзер смягчает наказание: унтер-офицера Фогелера выгоняют из армии и помещают на три месяца в психиатрическую лечебницу. На обследование. А затем отправляют в Баркенхоф под домашний арест...

Здесь его не ждала особая радость. Они с Мартой продолжали жить в одном доме, два чужих друг другу человека. Не было и дружеской поддержки. Коммуна ворпсведских художников давно распалась. Первым из «Объединения художников Ворпсведе» вышел Модерзон, объявив, что даже формальная принадлежность к этой организации сковывает его личность и мешает свободному творческому развитию. Его друзья Овербек и Фогелер ушли вместе с ним. Татьяна Гнедовская, автор исследования «Колония художников в Ворпсведе», описывает, как это происходило:

«Поводом для решительного разрыва отношений между прежними товарищами послужил скандал, вызванный тем, что Модерзон "осмелился" писать свою жену Паулу обнаженной в близлежащем лесу. Узнав об этом, Макензен и Ханс ам Энде выступили от лица оскорбленной общественности. За провинившееся семейство горячо вступился Генрих Фогелер. Ханс ам Энде, который, будучи офицером запаса, руководствовался воинскими представлениями о чести, поспешил отправить Фогелеру вызов на дуэль. (Биографы не без ехидства отмечают, что перед этим "офицер от живописи" привел в порядок и тщательно отгладил форму, на всякий случай всегда хранившуюся у него в шкафу.) К счастью, трагедией это глупое происшествие не закончилось, но дружеские связи были оборваны навсегда».

Прошло почти два десятилетия прежде, чем Фогелеру удалось вновь создать коммуну. В 1919 году он основал Рабочее товарищество Баркенхоф, просуществовавшее, правда, недолго — около четырех лет. В своей коммуне, как считает Грета Ионкинс, он видел пример ненасильственного переворота в общественных отношениях, способ мирного перехода от капитализма к социализму. Он был противником насилия и в этом разошелся с коммунистами.

В Коммунистическую партию Германии он вступил в 1925 году. А за два года до этого стал членом Общества друзей новой России и совершил свою первую поездку в Советский Союз. Приехал не как турист — в течение года руководил отделом искусств в Коммунистическом университете национальных меньшинств Запада, учебном заведении Коминтерна.

Он чувствовал здесь себя как дома, поскольку задолго до того, как побывал в России, заразился любовью к ней от старшего друга — Рильке, который был убежден,

что открыл в России настоящую Родину. А ему эту любовь, в свою очередь, привила его подруга из Петербурга, загадочная, неповторимая Лу Саломе — единственная дочь генерала Густава фон Саломе и его жены Луизы. О ней написано много, и желающие найдут в интернете массу сведений об этой красивой, яркой, неординарной женщине. Фридрих Ницше тщетно надеялся вызвать в ней ответные чувства. Сестра философа пребывала до конца своих дней в уверенности, что именно Лу Саломе повинна в его болезни. Эта удивительная женщина смогла покорить и сердце Фрейда, стать на склоне его лет соратницей. Но в Россию из всех своих многочисленных поклонников Лу привезла только Райнера Марию Рильке. Она показала поэту не только заповедные места России — Волгу, леса, поля, но и познакомила со многими значимыми в культуре людьми. «Россия... мне открыла ни с чем не сравнимый мир, мир неслыханных измерений, — объяснял свое чувство Рильке почти через двадцать лет после поездки. — Россия стала, в известном смысле, основой моего жизненного восприятия и опыта...»

Но теперь, после революции, Россия стала для Фогелера не просто заповедной землей, а местом, где осуществляется его мечта, идеал справедливого общества. В СССР он бывал не раз и оставался надолго — он хотел видеть своими глазами, как идет преображение нового человека. В тот период он много путешествует: Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Карелия, Каспий... И много работает. Картины, книжное оформление, графические зарисовки — художественная летопись его знакомства со страной, которой он восхищается и которую идеализирует. А кроме того рисует агитационные плакаты, оформляет спектакли первого в мире революционного театра, занимается монументальной живописью, создает панно для здания МОПРа... Всего перечислять не стану — перечень вышел бы слишком длинным.

В заметке «К вопросу о коммунизме» он писал: «Результат моей одногодичной работы в России — понимание того, что перед коммунизмом встает задача — спасение культурных сокровищ человечества... Перед художником, создателем тех или иных ценностей, открывается новое поле деятельности. Сотрудничая с рабочим, он может конструировать жизнь коллектива, конструировать формы, предназначенные активным силам трудящихся. Вслед за расслабленно-кокетливым, элитарным бытием искусства возникает искусство народа, монументально-конструктивное, твердая база всеохватывающей человеческой культуры.

Нет ничего более естественного, чем гибель искусства в капиталистическом обществе. Ничто так не преисполняет надеждой, как необычайная потребность в искусстве, пробужденная в народе коммунизмом».

Атмосфера в Германии меж тем становится все более тяжелой и душной. «Гаснет свет разума, становится темно», — описывал обстановку тех лет Клаус Манн. Национал-социалисты во главе с Гитлером неуклонно двигались к власти.

— Фогелер был смелым человеком, — комментирует Иоганна. — Ему уже приходилось жить на нелегальном положении, когда начались репрессии тех, кто участвовал в ноябрьской революции. После разгона Бременского Совета его снова берут под стражу, а усадьбой Бакенхоф полиция следила постоянно до самого отъезда Фогелера из Германии. Но это его не останавливало. Конечно, он не мог сотрудничать с нацистами, как бывший его друг и соратник Фриц Макензен. Тот при Гитлере был назначен директором высшей художественной школы в Бремена. А потом и вовсе получил высшую награду в области искусства и науки — медаль Гёте. Идеалист Фогелер был не способен на предательство своих идеалов. Но он мог бы тихо отсидеться у себя в Ворпсведе. Не высовывать нос. Но он смело выступил против фашистов. Гитлер — не кайзер, который в общем-то мягко обошелся с дерзким художником. При фюрере того сразу бы отправили в концлагерь. У Фогелера был только один выход — эмигрировать в СССР!

В Москве он поселился в Кремле. В наши дни эта фраза звучит странновато, но в тридцать первом году она никого бы не удивила. В Кремле тогда жили многие советские руководители, в том числе и ректор Коммунистического университета национальных меньшинств Востока, польский коммунист Юлиан Мархлевский, отец Софьи, второй жены Генриха Фогелера. Молодая семья живет вместе с родителями, но вскоре перебирается в знаменитый Дом на набережной.

Художник совмещает творчество с антифашистской деятельностью. Издает с писателем Иоганнесом Бехером книгу «Третий рейх» с карикатурами на нацистов, становится художественным руководителем выставки «Мировой фашизм и солидарность рабочего класса» и делает еще много чего в этом роде. С первых дней Великой Отечественной он служит в отделе пропаганды Главного политуправления Красной Армии, рисует плакаты и антифашистские листовки для фронта, работает на интернациональном радио. Уверена, будь он помоложе, ушел бы на фронт. Но в 41-м году ему исполнилось семьдесят лет. У него оставалось еще немало сил, которые он полностью отдавал борьбе с врагом. Нацисты были для него врагами не только СССР, но и Германии.

Как могло случиться, что его вместе с поволжскими немцами выслали в Казахстан? Менее всего в Фогелере можно было заподозрить тайного агента нацистов, сомнительную личность, скрытого врага... Теперь уже невозможно узнать правду. Было ли тому виной бюрократическое равнодушие составителей списков подлежащих депортации немцев? Происки тайного недруга, завистника? Или сознательное вредительство тайного фашистского пособника?

Какова бы ни была причина, в середине сентября 1941 года Генрих Фогелер оказался на нарах в товарном вагоне эшелона, увозившего его из Москвы в неизвестность.

Депортация

«Каждый стук железнодорожного колеса повторял слова: “Дезертир, ты покинул антифашистский фронт”. А я хочу бороться. Чем я это заслужил? — пишет Фогелер в Москву. (Письма адресованы теще — Брониславе Мархлевской, а также Брагинскому, в академию Фрунзе, где они вместе работали). — Характеристика положения такова: меня эвакуировали из Москвы, отлучили от практической работы по борьбе с фашизмом, которой я занимался...»

Мы в небольшом доме Иоганны в Штансдорфе. Моя подруга следит за хождением Фогелера по мукам после депортации по его автобиографии. Она листает страницу за страницей и переводит мне те места, которые кажутся ей наиболее значимыми. Ниже я привожу отрывки из книги «Становление» в ее переводе, который порой переходит в пересказ прочитанного.

«Караганда, 3 окт. 1941 года, — записал в дневнике Фогелер. — Сначала по железной дороге, потом на повозке, которую тянут волы, добираемся до деревни Корнеевка».

Если бы он оказался в одном из столичных среднеазиатских городов — Душанбе, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, — все сложилось бы иначе. Но та группа, к которой был приписан Фогелер, получила «распределение» в глухой казахстанский поселок.

С первого и до последнего письма Фогелер просит, чтобы ему дали возможность вернуться и продолжить борьбу. В колхозе от него мало пользы, — вот что его удручает. В семьдесят лет заниматься сельским трудом он не в состоянии, сил на это не хватает. До его талантов в Корнеевке никому нет дела... «Моя жизнь без цели, без активности,

теряет всякий смысл. Это дело чести — быть на фронте борьбы до конца дней моей жизни».

Еще более ухудшает душевное состояние Фогелера то, что у него нет ни гроша. «С октября 1941 года я полностью без средств к существованию. Взятые с собой деньги закончились... Я попал в тяжелейшую ситуацию из-за того, что мне не переслали на новый адрес академическую пенсию. Вопрос с переводом неизвестно почему затянулся...»

Сначала депортированные — такие же, как и он, — еще что-то обменивали на хлеб и картошку, «иногда это была последняя рубашка, а потом уже ничего не осталось. Колхоз перестал выдавать продукты по государственным расценкам. Цены сразу подскочили». Депортированные вынуждены покупать еду по спекулятивным ценам у колхозников, которые «не стеснялись вытягивать эти деньги. Цены стали расти. Пуд пшеницы у спекулянтов стоил 120 рублей», картошка тоже оставалась недоступной, покупка дров превращалась в проблему.

Смерть начала забирать самых старых и слабых. Хоронили не в гробах — трупы заворачивали в ткань и в таком виде укладывали в яму, «а если и ставили сверху деревянный крест, то очень маленький из соображений экономии. Хоронили, как правило, в одном месте».

В такой же яме, какую описывает Фогелер, похоронят и его самого.

С наивным недоумением он восклицает: «Как допустили подобное обращение с немцами из Москвы, которые все были антифашистами?! У многих женщин, сосланных в Корнеевку, мужья и сыновья ушли на фронт. Некоторые из них — из поволжских немцев — даже не знали немецкого языка. Эвакуированных — голодных и раздетых привлекают к сельхозработам, а колхозники в это время почему-то сидят по домам... У меня ощущение, что я здесь единственный коммунист».

Многие депортированные, чтобы выжить, стали подряжаться на строительство плотины. Фогелер присоединился к ним: те, кто здесь работали, «получали обед и иногда по двести граммов хлеба. Однажды дали даже восемьсот граммов... Земляные работы по устройству плотины, на которые я записался, чтобы получить паек или деньги, отняли последние силы и последнее здоровье. Эти работы шли в ледяной воде и при ледяном ветре... Обувь промокла и раскисла, но денег на починку не было. И я постоянно ходил с мокрыми ногами... Попытка сделать плотину, чтобы задержать воду, была плохо продумана и плохо организована, — ничего толком не удалось сделать», — подводит он итог.

Но на жизни колхозников это не отражалось. «Они постоянно устраивали праздники — отмечали старые и новые — пили спирт и устраивали дикие танцы. Особенно женщины отличались страстью к таким диким танцам — аккомпанировали себе на мандолине и балалайке. Только в начале апреля, когда должны были начаться сельхозработы, от правления поступил запрет на продажу спирта».

В доме у человека, к которому подселили Фогелера, уже жила женщина с детьми. У грудничка резались зубы, отчего он постоянно заходился в плаче. К тому же каждый вечер в комнату «набивается еще с десяток женщин. Они сидят за столом до поздней ночи, пьют самогон и, перебивая друг друга, громко говорят, говорят, говорят», не давая измученному старику даже на минуту отключиться, погрузиться в неглубокий сон, чтобы отдохнуть от боли и холода.

«О чем они могут столько говорить? — недоумевает Фогелер. — Казалось бы, за один вечер можно обсудить все, а они собираются каждый день и говорят без умолку ночи напролет...»

На человека, привыкшего к порядку и организованности, эти еженощные посиделки производили впечатление сумасшедшего дома. Лежа на жестких досках, он

пытался не слышать какофонии женских голосов. Он плохо говорил по-русски. И не понимал, что происходит. Вряд ли он мог понять, что многие женщины — из числа раскулаченных крестьян. Их привычный быт тоже был нарушен. Они оторваны от родных мест, не знают, как приспособиться к новому укладу. Они остались без мужей, без братьев, без поддержки. Что ждет впереди — никто не знает. Им невыносимо оставаться в одиночестве. За общим столом в окружении других женщин, которые находятся в таком же положении, легче переносить неизвестность и страх.

Фогелер спит без матраса, без одеяла. К счастью, «доски, на которых я спал, не могли забрать, потому что их выделил сельсовет, и мне не надо за них платить...»

Его мучает простата. Несколько раз за ночь Фогелер испытывает мучительные позывы выйти. Уборной, даже грубо сколоченной, во дворе нет. «Надо загораживать дом от ветров, почему они этого не могут?» — недоумевает он. Но для «местных», которые оказались в этих местах не по своей воле, все здесь так же чуждо, как и ему.

Ледяной холод охватывает Фогелера сразу, как только он переступает порог. В ясные ночи с чистого неба сияют колючие звезды, но чаще всего зимой завывают ветры, буран несет бритвенные лезвия снежинок, которые впиваются в тело. Старику с трудом удается выдавить несколько раскаленных тяжелых, как ртуть, капель, что не приносит ни малейшего облегчения. Он возвращается в тесное, душное помещение, чтобы вскоре снова, как в кошмарном сне, ощутить потребность выйти. И снова обжигающий ветер вцепляется режущими когтями снежинок в лицо, руки, тело...

У него была единственная теплая вещь, которую он взял с собой, — вязаный жилет. Женщина, что жила вместе с Фогелером в комнате, постирала жилет с золой, и он превратился в липкий комок шерсти.

Стоит лечь, начинают одолевать вши, от которых нет возможности избавиться. Баню топят очень редко: «В маленькой парной наступал краткий миг облегчения, но после этого надо выходить в ледяной предбанник, надевать на себя полную вшей одежду. Я болен, я очень болен... Единственное, о чем я мечтал, — лечь в горячую ванну... Мою болезнь в Москве легко было бы устранить... В Корнеевке только примитивная аптека, медицинским обслуживанием занимается молодая студентка, но у нее нет лекарства, чтобы облегчить мое состояние. Здесь я остаюсь в безнадежном положении. И здесь я погибну... Я мерзну, мерзну, мерзну...»

А для него самое прискорбное в Корнеевке то, что нет ни бумаги, ни карандашей. «Читать нечего, кроме газеты “Правда”, которую прислала Броня Мархлевская. И это уже событие».

Благодаря хлопотам близких и друзей, в январе все-таки приходит разрешение перебраться в Караганду. Там он смог бы найти применение своим талантам. Но как ехать?! Зима, степь, бураны, а теплой одежды нет. Поездка за столько верст в лютый холод — верная смерть.

А в Корнеевке «приходилось снова и снова обещать хозяину, что я заплачу долг за питание. Хозяин относился враждебно, я был человек, которого он должен бесплатно кормить. И он все время поднимал вопрос о деньгах. Я потерял веру, что этот вопрос с пенсией когда-нибудь положительно решится. А он видел во мне обманщика... Я оказался в положении нищего, просил взаймы у других эвакуированных».

Гордость его уязвлена. Он еще может столько сделать! Почему его лишают этой возможности? Почему он вынужден просить милостыню?

«15—16 апреля я оставался совсем без еды... Хозяин дома — я ему задолжал более пятисот рублей за проживание, — отказывался давать еду. Сейчас пошел просить у эвакуированных. В одном домике женщина поделилась своей скудной едой — супом.

А потом я поел в другой семье кашу и чай. Мало что могло быть вкуснее, но у них самих нет ничего».

«Советовался с одним стариком, который мне предложил пойти к руководству МТС, чтобы сделать для них плакат или стенгазету и получить право есть в столовой для трактористов. Но руководитель МТС не принял мой эскиз. Потребовал сделать новый... Язва желудка не давала мне ходить. Я попросил в амбулатории ихтиоловой мази. Потом пошел к колхозному начальнику — новому председателю, прежде он был бригадиром, с которым я работал на плотине. Он хотя бы выслушал меня. Я пытался объяснить, что получилось с пенсией, но от слабости упал. Как бездомный пес — это так унизительно».

— Это очень унизительно для всякого немца. А для такого, как Фогелер, тем более, — комментирует Иоганна. — Во время перестройки восточные немцы — доверчивые и неопытные, точно такие же, как и многие русские, — попадали в ловушки всякого рода пирамид. Я не вкладывала деньги ни в одну из них. Но как раз начала строительство дома. Фирма, с которой я подписала договор, взяла деньги вперед. Стройка оборвалась, когда дом еще не был закончен. Фирма разорилась. Или владельцы сделали вид, что разорилась...

— А ты не могла подать на них в суд?

— Могла. Надо было очень много платить адвокату. А что взамен? Ничего! Если фирма разорилась — она не может отдать деньги или заплатить неустойку. И все! Я осталась без денег и с недостроенным домом. Пришлось занять денег, чтобы закончить дом. И я должна была продать часть своего большого участка, чтобы вернуть долги. И когда я получила деньги, то первым делом вернула долг. Мне еще очень много надо было сделать для дома. Но долг главнее! Ты не представляешь, как мучительно жить, имея долг! Я очень понимаю Фогелера. Это как зубная боль. Даже хуже.

— Но до чего же были безжалостны те, у кого он жил... — невольно восклицаю я.

— Это война, — возражает Иоганна. — Трудное время. Я помню, как у нас в Штансдорфе после войны появились беженцы, судетские немцы. Их выгнали из Чехословакии. Они потеряли все. Они тоже были немцами. Как мы. Но никому не хотелось брать в семью чужих людей. И ни у кого не было ничего лишнего, чтобы им отдать...

— Помнишь няню моей дочери, Анну? — спросила я Иоганну.

— Это пожилая женщина из поволжских немцев? Помню. У нее был немецкий язык восемнадцатого века. Больше половины нельзя было понять. А как она говорила на русском?

— Акцент оставался. Но не очень заметный. Она была совсем маленькой, когда ее началась война. Отца и старших братьев забрали на трудовой фронт. А ее мать — Лизбет — с детьми отправили в уральскую деревню, где им отвели угол в избе какой-то женщины. Лизбет должна была работать на ферме с утра до вечера. И могла приносить детям в кармане фуфайки только размокший жмых, корм для коров. Больше ей нечего было дать им. А хозяйка даже картофелиной ни разу не поделилась. Летом детишки ловили в лужах головастиков и ели. Когда няня рассказывала о том времени, у нее на глазах появлялись слезы.

— Для тех, кто жил в Корнеевке, Фогелер не был известным художником. Это был грязный, оборванный старик. Он говорил на плохом русском. И он был НЕМЕЦ! — говорит Иоганна и перелистывает следующую страницу «Становления».

«18 мая получил в сберкассе из Москвы тысячу рублей. Наконец я могу отдать долги, чтобы меня стали уважать. Здесь еще холодные пронзительные ветра... Последние

дни мая я был очень болен и слаб из-за голода. Хожу как привидение. Двадцати шагов не могу сделать самостоятельно... Сумею ли в моем возрасте снова прийти в себя?»

Но чувство удовлетворения, что он оплатил все долги, внушает надежду. Его отвозят в районную больницу, которая находилась в километрах двадцати от Корнеевки. Есть чистое белье, есть кому присмотреть. И каждый день еда.

Но Фогелер слишком ослабел. Выходить его врачам не удалось. 14 июня 1942 года он умер в районной больнице.

Божьи жернова мелют медленно

Мы с Иоганной говорим о том, что в борьбе идеалиста с реальностью всегда побеждает реальность. По крайней мере, так кажется на первый взгляд. Или так бывает чаще всего...

Фогелер ошибся — мирный переход от капитализма к социализму оказался невозможен. Более того, человеческие глупость, алчность, эгоизм, властолюбие разрушили государство, бывшее первой в истории успешной попыткой построить справедливое общество. Оно было далеко от совершенства и порой во многом нарушало принципы, лежавшие в его основе. Но главное — сами принципы были благородными, основанными на альтруизме, а не эгоизме. Медленно, крохотными шажками оно двигалось в направлении идеала. Однако капитализм и принявшая его форму реальность победили. Фогелер умер, не узнав, что новый прекрасный мир, в строительство которого он включился со всей присущей ему энергией и страстью, рухнул недостроенным. Царство всеобщего эгоизма расползлось по всей земле как страшная социальная пандемия. Художник-идеалист потерпел последнее и окончательное поражение.

Окончательное ли? Как говорили в старину, Божьи жернова мелют медленно... Победа Генриха Фогелера ждет своего часа.

— Это только так... Мечты, — пожимает плечами Иоганна.

Евгений Абдуллаев

«Приют пиров, ничем невозмутимых...»

О новых поэтических сериях и сборниках 2020 года

Совершенно неожиданный всплеск поэтического книгоиздания.

Казалось бы, карантин, книжные обезлюдели, типографии работают с перебоями, продажи упали. Катит по улицам черная телега. Оффлайновая поэтическая активность упала до нуля — ни презентаций, ни литературных сходок.

При этом — одна за другой появляются новые поэтические серии, не отстают и прежние.

Парадоксом это кажется только на первый взгляд. Поэтическое книгоиздание уже давно почти не связано с получением прибыли, книготорговой сетью и состоянием книжного рынка. Это такое маленькое княжество, вроде Лихтенштейна, которое существует по своим собственным законам. И в ситуации, аналогичной прошлогодней (а это черное кино еще продолжается), это даже оказывается плюсом. Кому почти нечего было терять — те и не потеряли. И даже наоборот.

Поэтому немного отступлю от формата ежегодных «дружбинских» обзоров. Этот будет больше не о книгах, а о поэтических книжных сериях: и старых, и — особенно — новых.

Разговор, естественно, получится более спутанным и пестрым. Чтобы не превращать его окончательно в литературную кадриль с мельканием авторов-названий-издательств, упоминать и цитировать буду не всё. Могут возникнуть какие-то разночтения и по количеству изданных в той или иной серии книг. Ориентировался, в основном, по сайтам, а они не у всех издателей есть, и не всеми, увы, исправно обновляются.

Так что возможны небольшие погрешности. Но общую картину, надеюсь, воссоздать получилось.

«Воймега» и новая серия «Пироскаф»

Начнем с известных поэтических издательств и серий.

В «Воймеге» вышло восемь книг — в том числе Алексея Алёхина[1], Владимира Козлова, Артёма Морса, Наты Сучковой... Плюс шесть книг новой «молодежной» серии «Пироскаф», о которой будет сказано чуть дальше.

«Воймега», возникшая в 2004 году, как своего рода издательский проект поэтического объединения «Алконостъ» (и постепенно его рамки переросшая), продолжает установку на постакмеистическую линию. На «золотую середину» между традиционной силлаботоникой и поставангардными экспериментами.

[1] На нее уже откликнулся рецензией в «Дружбе народов» (2020, № 12).

Из «Страны» Наты Сучковой — одного из постоянных «воймеговских» авторов:

В инстаграме Пушкина — зимняя дорога,
Маша-недотрога, синие глаза.
Лайкает Жуковский, пара-тройка ботов,
Бенкендорф не лайкает Пушкина, нельзя.

В инстаграме Пушкина дворики одесские,
дюжина шампанского, устрицы во льду,
пистолет на бархате, папильотки женские,
валенки извозчиков — обнови, найду.

Дальше — лет за сто листай — автор нас не радует:
мутное и зябкое, строки от руки,
воробьи и ангелы, облака и радуги
и вопрос от Дельвига: «Пушкин, где стихи?»

Интересно устроена книга Владимира Козлова с длинным названием «Красивый добрый страшный лживый смелый человек-невидимка». Медитативные верлибры помещены параллельно с графическими символами. Смайлик означает «героя», человечек с поднятой рукой — «другого», и так далее. Идет, например, стихотворение:

Они собирались вокруг созревающего кофейника
числом от трёх до семи,
уединившись на краткое и, как правило, позднее время,
и этот вкус,
соединяющий горечь и сладость,
владел их сознаньем — так сладко
было отринуть всю тяжесть нажитых связей,
оставить их за дверью кухни,
как горько
вдруг становилось при взгляде наружу:
на долю, заботы, семью, увлеченья —
всё жалкое такое, бедное, напряжённое и скупое —
так мало воздуха, но они
всё же украли себе немного...

— а сбоку значки: человечек с поднятой рукой («остатки старого мира»), стрелки вверх-вниз («горечь и сладость»), снежинка («глаза, светящиеся в темноте»)... Я не любитель подобных графических кунштюков — обычно их требует несколько ущербная, несамодостаточная поэзия; стихи же Козлова вполне самодостаточны. Но — в качестве разового эксперимента, почему бы нет.

Иркутский поэт Артём Морс — чей неожиданный псевдоним означает и ягодный напиток, и (по-латински) смерть. Семь лет назад в «Воймеге» выходил его сборник, тогда, насколько помню, меня не заинтересовавший. Нынешний, «Что музыка» — это уже немного другой Морс, более зрелый, более стилистически раскрепощенный, более метафизичный.

взрослое животное входит в холодную воду
фыркает и плывёт
жизнь его похожа на непогоду
и одновременно на самолёт
вот он летит/плывёт и плывёт/летит
ветер его обнимает дождь его холодит
господи что происходит и почему всё так
господь не отвечает абонент потерял контакт
хочешь не хочешь приходится выбираться
из обстоятельств/времени/леса/тьмы
взрослое животное с животной грацией
выходит мокрое из воды

Морс мыслит стихами, а не просто *выражает* стихами мысли. Он может посмотреть на человека и сказать: «А разве человек не часть природы?/ Разве в нём нет воды,/ земли, ветра и огня?» Услышать музыку — и: «что музыка когда её в слова/ оденешь точно куклу/ пластмасса да и только/ потому/ ни слова больше/ слушай тишину». Будет обидно, если сборник останется неуслышанным.

В новой серии «Пироскаф» вышли шесть книг участников поэтических семинаров Союза писателей Москвы — Максима Бессонова, Данилы Ноздрякова, Бориса Пейгина, Карена Тараяна, Евгении Ульянкиной и Всеволода Федотова[1].

Каждая из книг серии открывается эпиграфом из «Пироскафа» Боратынского: «С бурной стихией в томительном споре...» Спора со стихиями и «бури и натиска» в сборниках не заметно: позиция авторов — скорее созерцающая, чем противостоящая. Впрочем, сам акт поэзии, само поэтическое высказывание — уже противостояние: немоте, болтовне, сумеречной современности, всесмывающему времени...

Из книги Всеволода Федотова «Сейчас самое время»:

и всё
нет тебе никакой бесконечности

только жена
соседка
не дай бог дети
пьянство средней громкости
песня из девяностых
ясный мой свет
и темнота

Какого-то общего стилистического вектора, как показывает серия, у современной молодой поэзии нет. Здесь и силлаботоника (Бессонов, Пейгин, Тараян), и верлибр (Федотов, Ноздряков), и гетероморфный стих (Ульянкина)... Молодая поэзия пронзительно разнообразна. Каковой, в общем, и была всегда.

«ОГИ-Поэзия», «Современная русская поэзия» и «Поэтическая библиотека»

Возобновило издание современной поэзии издательство «ОГИ».

Вышли «Солнечное утро» и «Малые формы» Тимура Кибирова, «Последний конвой» Алексея Цветкова, «Избранное, составленное поэтами» Олега Юрьева.

В отличие от некоммерческой «Воймеги», которая может позволить себе печатать и поэтов не слишком известных, «ОГИ» делает ставку на тех, чьи имена более-менее на слуху. Стилистический регистр в целом тот же — разве что чуть шире.

Из «Солнечного утра» Тимура Кибирова — что называется, в развитие пушкинской темы:

Батюшки светы и матушки тьмы!
Пьет Вальсингам за здоровье Чумы!
Я же ладошкой прикрою бокал,
Чтобы он не наливал.

Хватит с меня упоений уже
И нисхождений с ума —
Десять запретов и девять блаженств,
Батюшки светы и тьма.

[1] На сборники уже успел откликнуться обстоятельной статьей Сергей Баталов («Вопросы литературы», 2020, № 6).

Так я стою, как дурак, и пою
Бездны на самом краю.
Батюшки светы и матушки тьмы
Слушают песню мою.

В декабре была представлена новая поэтическая серия «ОГИ-поэзия».

Пока вышло пять сборников: Дмитрия Веденяпина, Юлия Гуголева, Всеволода Емелина, Анатолия Наймана, Данилы Файзова. Каждый снабжен стандартной аннотацией: «В новую книгу известного современного поэта...» Только у Наймана «известного» отсутствует. То ли сам Анатолий Генрихович воспротивился, то ли просто выпало. Впрочем, Найман («Выход») и стоит — со своей стилистической ажурностью — в серии несколько особняком.

Есть обряд погружения в сны —
пар над прорубью, одурь кофейни.
Есть бубнящих слепцов светизны
колыбельный припев пробужденья.
Так и так не тебе выбирать:
в суть видений, любовен ли, злобен
ход их, вникнуть рассудка не трать —
голос пенья тем паче бессловен.

В остальных же сборниках больше уклон на социальность и злободневность. Больше всего, разумеется, у Емелина («Фейк ньюз»), менее — у Веденяпина («Что Париж — бери выше»). Есть и про коронавирус. Но цитировать почему-то не тянет.

Лучше приведу из книги Данила Файзова «Именно то стихотворение, которое мне сегодня необходимо». Не могу сказать, что я нашел в ней «именно то стихотворение...». Но общая интонация — легкая, ветреная, солнечная — действует терапевтически.

дом в котором распахнуты окна
вылетает бумажка из рук
сохнет наволочка кони сохнут
белизна и свобода вокруг

оттого что кончается лето
так бумажке летится легко
дверь открыта и это поэтому
почему не сказать языком

О «Волынщике над Арлингтоном» Юлия Гуголева хорошо бы поговорить отдельно — если получится. Впрочем, то же можно отнести к каждой если не второй, то уж точно четвертой книге этого обзора. Дело за малым — временем и тишиной.

Закругляя разговор о «старых» поэтических сериях условной «золотой середины», упомяну еще две: «Современную русскую поэзию» издательства «Русский Гулливер» и «Поэтическую библиотеку» «Времени».

В «Современной русской поэзии» вышло восемь сборников — в широком диапазоне от прозрачно-классичного Юрия Казарина («Каменские элегии») до — затрудняюсь подобрать подходящий эпитет — Фаины Гримберг («Неаполитанский танец, или Хроника матери и еще стихи»).

Из «Ловцов жемчуга» рыбинского поэта Максима Калинина.

Восемь слов
Иисусовой молитвы
На шесть
Ударов сердца.
И так,
Пока не остановится счётчик.

Позапрошлая книга Калинина состояла из сонетов — «Сонеты о русских святых» (2016), эта — вся — из коротких верлибров. Интересный путь: от жесткой формы — к свободной и минималистичной. Каков будет следующий шаг?

В «Поэтической библиотеке» «Времени» в прошлом году вышло десять сборников. Как, увы, обычно в этой серии — всё вперемешку: и классики, и не-классики, и вообще такое, что объяснить иными соображениями, кроме коммерческих, трудно. Впечатление несколько скрашивает маленький сборник Александра Кушнера «Осенний театр».

У меня под рукой становились стихами
И вино, и вода, и гора с облаками,
Подражавшими в плотности этой горе,
И Афины с забытыми ими богами,
И запущенный клён в петербургском дворе.

У меня под рукой тишина оживала,
Как волшебная флейта, — ни много ни мало!
У меня под рукой серебрилась сирень,
И привычная комната приобретала
Блеск дворцовый, особенно в солнечный день.

Всякий раз поражаешься умению Кушнера затертые, казалось бы, образы, расхожий «общекультурный» словарь — заставить звучать по-новому...

Теперь о более новых поэтических издательствах и сериях.

«Пальмира-поэзия», «На Кавказе» и другие

Новую серию — «Пальмира-поэзия» — начала в прошлом году питерская «Пальмира». Вышли шесть сборников, в том числе «Обновление устройства» Андрея Василевского, «Автобиография в произвольной форме» Владимира Губайловского и «Вы находитесь здесь» Александра Переверзина.

Стихи Переверзина до предела наполнены пространством — обжитым пространством небольших городов, рек, лесов. И все с именами — безымянных у него нет. Вазуза, Зубцов, Вологда, Рязань, Шатура, Солигалич, Мга... И люди все — обязательно с именами, и даже животные.

Дед всегда говорил маме:
не называй их нашими именами.
Как, — придёт время, — ты Кать и Алёш
пустишь под нож?

Какая Варька, какой Борька?
Называй Рябина, называй Зорька,
да хоть Ласточка, хоть Лебеда.
Но нашими — никогда.

Поэтому до четвёртого класса
я дружил с Кувшинкой, любил Водокраса,
носил в стойло Эльфу сахар и мел,
а с людьми дружить не хотел.

Тяга к именам у Переверзина не случайна. Танатологичность — родовая черта современной лирики — выражена у Переверзина предельно остро: само название

сборника «Вы находитесь здесь» — фраза с кладбищенского стенда в одном из стихотворений. А имена — то, что сохраняет, оберегает их носителя, противится смерти и распаду.

Завтра верные выйдут слова из руин или зимних берлог,
из нутра, из дупла и глухого угла —
и глагол, и союз, и предлог.

Выйдут валом из берегов, из себя — будто дети в сквер,
без прикрас, лишних глаз или фраз,
полагаясь на музыку сфер.

Это уже из «Сказуемого несовершенного вида» Галины Климовой, вышедшего в другой новой поэтической серии, «На Кавказе» — ставропольского издательства «Ставролит». В ней, кроме Климовой, изданы сборники Андрея Грицмана и двух ставропольских поэтов — Станислава Ливинского и Эгвины Фет.

«Последних полевых букетов шапки» Эгвины Фет — поток сбивчивой речи, интересной, хотя и несколько однообразной по своему печально-аутичному настрою. Запомнился цикл «Животное явление» с его неожиданно блеснувшей обэриутской искрой.

лось представил, окунь — это,
что на ниточке дрожит.
лев представил, заяц — это,
лист осиновый дрожит.
подчинив существованье,
лес разлёгся поперёк,
как в стекле у речки дальней
отразился василёк.
...
били бубны, кошки пели,
осень плавала в метро,
из вагона вышли ели,
с ними агния барто...

Много — что-то порядка шестидесяти наименований — издал за прошлый год «Стеклограф» (основан в 2017 году). Откуда берут столько поэтов (и зачем)? Добрые люди сидят в «Стеклографе». Три книги всё же назову.

Вера Зубарева, «Об ангелах и людях. Трактаты и поэмы». Редкий жанр поэтического трактата — попытка синтеза философской и религиозной лирики с научной прозой. «Трактат об ангелах», «Трактат об обезьяне» и «Трактат об Исходе»; несколько отстраненный, объективирующий язык, со скрытой иронией. В предисловии сказано, что это написано как бы «от лица сознания современного человека»; в послесловии Ирины Роднянской — жестче: «вердикт современному сознанию». Приводить какой-то отрывок из трактатов бессмысленно (вырванный из интеллектуально-эпического целого, мгновенно гаснет); процитирую из другой поэмы, «Реквием по снегу».

...И снится будущее. И все идут
С закрытыми глазами, и море в блёстках,
И плавно вздымается его батут
Под ангелами парусников и детьми в матросках.
И ты летишь, и весь мир — вода,
И ничто не шелохнётся над сияющей гладью,
И горны ангелов отлиты изо льда,
И музыка сфер неподвластна восприятию,
И матери в белом... А потом, а потом
В казарме вселенной трубят подъём.

Николай Васильев, «Нефть звенит ключами». Густо насыщенная словами поэзия — слова на словах, слова об слова, с несколько нарочитой бестолковостью. Там, где словесная масса не так густа, а степень безумия — выше и естественнее, встречается и интересное: кружащее, заговаривающее.

я думал, это тонкий лёд, а это лётный снег,
и потому что есть земля, он там упал, где нет,
и потому что нет земли, он там упал, где я,
на чёрном тает рукаве, земля ему, земля

был слишком тонок этот лёд и потому он снег,
он то, что нет, на то, что есть, прощупывал, как свет,
и падал всюду, словно был на небесах один
огромный звон от тех глубин, где почву находил

Евгений Коновалов, «Голос ко времени». Ярославский поэт и критик — как критик поэзии известен, возможно, даже больше (премия журнала «Арион»). Основные темы — природа и культура, и история как то, что возникает между ними. Мне ближе тема природы, в которой Коновалов наследует Заболоцкому. «Из любви, льда и нефти/ сотканная река». Или: «Тени облаков идут по стеблям/ запинаясь о стога».

Августовский снег над иван-чаем.
Сплав купания и бронзового смеха.
На помосте из песка скучает
стрекоза в хитиновых доспехах.

Точное, графичное письмо: видишь эту стрекозу — тени — реку...

Бурной жизнью живет и издательство «СТиХИ» (создано в 2015 году). Сайта у них нет, а обо всех новоизданных книгах сообщается, по мере, так сказать, поступления, только на их страничке в ФБ. Так что отследить, что и сколько издали за год, сложно. Серия «Срез»... Новая серия «Основа»... Новая серия «The Single» (издано вообще какое-то неимоверное количество). Конкурсы... Еще и кубки вручают.

Начинало издательство довольно интересно. Сейчас, погнавшись за количеством, похоже, снизило планку. И сразу повеяло «печками-лавочками».

Как говорила Ахматова, «поэту вредно много печататься». А поэтическим сериям, добавлю, — много печатать. Десять-двенадцать книг в год — иначе неминуемо возникает девальвация; количество обесценивает качество.

«Новая поэзия», «Текст + голос автора», «InВерсия» и другие

Теперь из условного поля «традиционной» поэзии перейдем к книжным сериям не менее условного поля поэзии «авангардной». Условность оговариваю неслучайно: авангард за столетие сам стал традицией, да и граница между двумя этими полями изрядно размыта.

Вначале — о сериях «старых».

В «Новой поэзии» издательства «Новое литературное обозрение» вышло восемь книг — в том числе «Книга обстоятельств» Олега Юрьева, «Утро в стране интровертов» Сергея Тимофеева и «Обратные композиции» Андрея Таврова.

Тавров идет от Мандельштама — идет открыто, подчеркнуто, почти декларативно.

мне холки холм горючий не поднять
мне бабочку с земной груди не сдвинуть
подкову за зернистые края
из выпуклой земли пустой рукой не вынуть

бей сокол мой вразлёт косноязычный круг
его скорлуп что сдвинуты ослепнув
и вынуты из непосильных рук
клубясь сиренью и уздой окрепнув

Тавров, похоже, претендует быть «нашедшим подкову» (ставлю гиперссылку на известное стихотворение Мандельштама) — и на эту претензию у него есть основания. По плотности метафор, по их парадоксальности, по тому гулу и звону, который издают стихи — Тавров не знает себе равных. Особенно когда не пытается в них философствовать («В именах причина вещей», говорит Лао-цзы,/ а Платон говорит об идеях./ Но нет вечных имён...» и т.д.), а просто пишет, поет, мыслит.

Идем дальше.

Несколько снизила темп серия «Воздух» одноименного журнала. В 2020-м вышли всего три книги: Тани Скарынкиной, Максима Горюнова и Олега Шатыбелко. (В 2000-е издавали не меньше десяти книг в год). Захлопнулась, не успев разогреться, и другая «воздушная» серия, начатая в 2010-е «Дальним ветром» (современная зарубежная поэзия в переводах). Похоже, только одна книга (Максима Дрёмова) вышла и в серии «Поколение», печатающей молодую «воздуховскую» поросль[1].

Правда, в другой серии, курируемой редактором «Воздуха» Кузьминым, — «Poetry without borders» — урожай побогаче: пять сборников. Четыре — русских поэтов (Владимира Аристова, Янины Вишневской, Александра Белякова, Андрея Гришаева) и одна — француженки Анны Марии Альбиак.

Так что в сумме получается всё неплохо.

Еще одна новая поэтическая серия — питерского Арт-центра «Борей», «Текст + голос автора» (к электронным книгам прилагается запись читающего ее поэта). Шесть книг, в том числе «Трава для солнечных зайцев» Дмитрия Григорьева, «Человеческое кино» Ларисы Йоонас и «Синодик» Сергея Круглова.

У Сергея Круглова — яркий поэтический монтаж разных языковых пластов, фрагментов и осколков разных культур, соединенный общей — главной для поэта — христианской темой. Из цикла «Адвент»:

Снова срок,
И три клоуна выйдут в путь за звездою:
Оно, Они, и третьего
Не помню как имя, — прошли
Победным
Подземным маршем.
И дождь, дождь
Поливал той зимой, и новогодний
кораблик
Несло в водосток канализации.

Был серенький день,
И Мати рече:
— Чадо, что сотвори нама тако?
— Се, отец твой и аз боляща
Искахома Тебе.

И Ты, уходя под землю,
Плакал, пел, говорил что-то
Убедительное, на языке детства.

[1] Формально к журналу, правда, серия не относится, а значится как совместный проект издательства «Арго-Риск» и премии «Различие» (до 2015 года — премии «Дебют»).

Идем дальше.

Новую поэтическую серию начало екатеринбургско-московское издательство «Кабинетный учёный». «Серия InВерсия — это книги давно любимых составителями авторов и поэтов», сообщается на сайте издательства.

Любят давно составители отчасти самих себя (Юлия Подлубнова — она же и составитель, она же — и изданный в первых рядах автор))), но, конечно, не только. За год вышли сборники еще семи авторов. По стилистике «InВерсия» — двойник поэтической серии журнала «Воздух» (почти все авторы публиковались в «Воздухе»); правда, дизайн поинтереснее.

Из «Девочкадевочкадевочкадевочка» Юлии Подлубновой:

Узнаю городские какбудтости:
за каждым домом
каждый дом,
человек спрятан внутри человека.
нет никого, кто бы сказал: «ЛЮБЛЮ».

Человек есть сознание
плюс неврастения.

Лифт ползёт по горлу небоскрёба.
КТО ПРИЛЕПИЛ НА СТЕНУ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ?
Капели лампочек — весна.

Фрагментарное письмо, словно случайно слепленные друг с другом строчки. Не стихи, растущие из сора, а скорее «сор», сознательно выращиваемый из стихов. И, возможно, этот «сор» — тоже стихи. Какие? Разные. Порой — удачные: «Даже память/ похожа на воздух/ выстриженный вертолётами». Заметно увлечение игрой словами. «Черепно-лицевая площадь». «Телефонно-сосудистая система». «Гневский проспект». «Норковая шутка». Но как раз эти шарады и наименее интересны.

У Александра Маниченко («Ну или вот о нежности») — чистый лирический голос, которого автор словно стесняется, заглушая разными оговорками, литературными реминисценциями, графическими изысками. В целом выходит не о любви, не о нежности, а... да, «ну или вот о нежности». Такие вот «ну или вот стихи». Изредка лирика все же прорывается:

приходит что приходит и молчит
заплакать хочет но в глаза не смотрит
разденься будет легче ночь почти
и начинает плакать

подходит начинает говорить
ещё подходит тут же замолкает
целует
начинает раздеваться

пойдём закурим выкурим другую
чего пришёл
а чё ты тут один
...
приходит что стеклянными глазами
звенит во рту встаёт в дверном проёме
и ничего другого не пускает

Это из цикла «Приходит что» — который лучше читать целиком.

Новая поэтическая серия стала издаваться русско-украинским журналом «Парадигма». Нечто очень похожее по стилю на «Poetry without borders», да и авторы почти те же — но уже в украинском варианте, с украинскими поэтами в переводах и оригиналах. Что, учитывая состояние российско-украинских отношений последних лет, дело важное. К тому же в ней вышли книги двух незаурядных поэтов — Геннадия Каневского и Еганы Джаббаровой.

Из «Не пытайтесь покинуть» Каневского:

изошед от ложа, плакал на заднем дворе,
что средь тонцего сна
бедная жизнь, запонка в серебре,
в сор была сметена.

поднимался, летел над сушей и над водой,
вёл себя, как полный дебил,
был младенцем, агнцем или звездой,
ветром был.

отыскали мы запонку, да уже
поздно, нет никого,
лишь чуть слышен танец феи драже,
да уж нет и его.

отнесём её туда, где хранят для нас
до последних лет
все непарные запонки, невсходившие семена,
непогасший свет.

Шесть лет назад, откликаясь на «Подземный флот» Каневского («Дружба народов», 2015, № 3), я посетовал на его стилистическую пестроту. Нынешняя книга получилась цельной — читается как единое высказывание. Слегка печальное, мудрое, светлое.

И в завершение — о нескольких «внесерийных» книгах.

Вне серий

В питерской «Алетейе» вышло «Мёртвое море» Ефима Бершина. «...Книга “Мёртвое море” вышла в мертвое время. Или полумертвое», — с горечью пишет автор.

Беспокойное небо. Живу, как на дне.
Тучи свесились конской гривою.
Каждый день просыпаюсь в другой стране,
будто каждый день эмигрирую.

Я смотрю в окно. Полустанков нет.
Только воет пёс у сарая.
Тот же самый двор, тот же самый снег,
а страна-то совсем другая.

Отхлебну воды, отвернусь на миг,
нарисую на стенах метки,
чтоб назавтра понять: от себя самих
мы теперь на каком километре.

Песенная, идущая от классиков авторской песни, линия — только не от Галича (как, например, у Емелина или — временами — у Гуголева), а скорее от Высоцкого.

В Воронеже вышла книга Сергея Рыбкина «Вдали от людей» («Издательский дом ВГУ»). Рыбкин — поэт «воронежской школы» — хотя как школу себя эти поэты не декларировали, да сегодня это и не нужно. Я имею в виду Василия Нацентова, Сергея Рыбкина и Амана Рахметова (жил несколько лет в Воронеже — сейчас в Чимкенте). Все — ровесники, двадцати-с-чем-то-летние. Все трое идут от классической просодии в сторону ее усложнения, более тонкой игры образов, более тонкой лирики.

В стихах Рыбкина этот лирический нерв, похоже, наиболее обострен.

А пока слепота, веки светятся так
как по осени листья
в чёрном небе блестят капли пота —
кристальная соль
и уже ничего удивительного в этих мыслях,
и не хочешь на боль, но закончишь на боль

повстречать мерзлоту и разжиться
на спичечный залп
словно больше огня не найти и не нужно как будто
так идёшь по асфальту в холодных и крупных слезах
к одинокому доброму вечному грунту

только здесь говорить и молчать на речные бока
когда поезд идёт через лес — небо морщится, мнётся
словно всё в этом мире — железо, что рвёт облака
и никак в синеву не пробьётся

Интересный дебютный сборник «Нерасторопный праздник» Ростислава Ярцева вышел в издательстве «ЛитГОСТ». Тяготеющие к минимализму, хорошо проветренные и наполненные «дышащими» паузами стихи.

облако близкое низкое вязкое
я им почти что брезгую
резкую
перемену ветра ли
ждать или с титрами
проливными
сидеть у окна
дотемна

Очень удачен цикл (поэма?) «Рафинад» — о бабушке, работавшей на кондитерской фабрике. Цитировать бессмысленно — в цитатах исчезает дыхание; опять же — нужно читать целиком.

Новгород — Григорий Князев, «Седьмая тетрадь» (СПб.: «Сборка»). Немного неровный, как мне кажется, поэт — очевидные удачи соседствуют с общими местами, хрестоматийными образами. Но искренность — почти детская — поэтической интонации подкупает.

На настенных часах замирает секундная стрелка,
Бьётся сердце твоё — бьётся сердце моё — бьётся сердце твоё.
На холодной постели остыла забытая грелка,
И горячее стынет на тумбочке нашей питьё.

Намело, и бело, и дорога едва различима.
Вот огонь разыгрался — и бесится в жаркой печи,
А в морозное небо — клубы розоватого дыма,
И не выпросить света у жёлтой оплывшей свечи.

Стоило бы еще упомянуть и хотя бы кратко разобрать «Город неба» Кати Капович («Эксмо»), «Агынстр» Светы Литвак («Вест-Консалтинг»), «И краткое» Татьяны Миловой («T8 Rurgram»), «Старый мир. Починка жизни» Марии Степановой («Новое издательство») — но, к сожалению, этих книг у меня не оказалось... Да и невозможно — и не нужно — пытаться затолкать все в один обзор.

Итак, подведем черту.

Нельзя сказать, что год обошелся совсем без издательских потерь. Похоже, взял вынужденный тайм-аут нью-йоркский «Айлурос». Да и в целом сложностей у издателей хватало. К тому же основная часть серий, насколько можно судить, задумывалась-готовилась в «до-ковидном» 2019-м. Посмотрим, что будет в этом году — сколько новых серий окажется жизнеспособными.

В «дружбинском» подведении итогов года я как-то печально написал: «Пир кончился. А чума осталась». Было, в общем, от чего. И все же в отношении серьезного поэтического книгоиздания — столько лет сидевшего почти на голодном пайке, — этого сказать нельзя. На нашей улице, как ни странно, пиры не угасают. Да. Почти как у классика: «...Улица вся наша/ Безмолвное убежище от смерти,/ Приют пиров, ничем невозмутимых...»

Александр Чанцев

Манифестация сложности

Интересных нон-фикшн книг в последнее время выходит, к счастью, много. В этой подборке — три из опубликованных под конец 2020 года. Объединяет их если не актуальность тем — ее все же каждый понимает по-своему, то глубина исследования, фундированность оригинальных мнений и авторское неравнодушие.

Музаритмический сундук

Роман НАСОНОВ. Музыка: диалог с Богом: От архаики до электроники. — М.: Никея, 2020. 424 стр.

Роман Насонов — музыковед, доцент Московской консерватории, автор различных курсов и передач о классической музыке и научный редактор и переводчик действительно выдающейся книги о Бахе «Музыка в Небесном Граде: Портрет Иоганна Себастьяна Баха» (русский перевод — 2019 год) — пишет свою историю музыки. «Высокое музыкальное искусство понимается мной как необходимое человечеству средство богообщения, как один из величайших духовных даров, которыми мы обладаем». То есть это, конечно, не история духовной музыки (а было бы, кстати, очень интересно и востребовано за неимением подобных изданий в последнее время!), но музыки, обращенной к Богу, ищущей, утверждающей и манифестирующей высшее.

Отметив, что историй музыки сейчас столь много, что они, к счастью, начали фрагментироваться по более локальным темам (от истории новой классики[1] до истории определенных лейблов[2] и даже инструментов отдельно взятых стран[3]), можно признать — пусть будет еще больше[4]. Ведь музыка прошлых эпох стала сложна для восприятия по прошествии лет, нынешняя — новая классика, свободная импровизация, электронная музыка — изначально создается сложной. А каждый подход дефолтно субъективен.

Субъективен, конечно, он и у Романа Насонова. Взять хотя бы рассматриваемых русских композиторов — Римский-Корсаков и Шостакович. Формально — оба совсем,

[1] От «Дальше — шум» А.Росса до книг — бесед с новыми композиторами Д.Бавильского и А.Мунипова.

[2] «Выбирая другую дорогу. История лейбла 4AD». — М.: Астона, 2020.

[3] «Электрогитара в СССР: Полная иллюстрированная энциклопедия» Я.Соколова и В.Селиванова (2019).

[4] Похожая отчасти по структуре на рассматриваемую книга — «Эпоха распада. Грандиозная история музыки XX века» А.Рондарёва (2020) рассматривает XX век, но в том же спектре, от классики до электроники.

декларируемо, не были верующими людьми. Они выражали душу народа, трагические перипетии времени? Выражали. Но чем хуже Чайковского или Губайдулиной и (композитора эстонского, но и жесткой привязки к рассматриваемым странам у автора нет) Пярта? Или на Западе в прошлом веке величайшими (и самыми религиозными по глубинной своей сути) объявляются Мессиан, Циммерман, Штокхаузен и — тут понятно, религиозное содержание и личное обращение в православие — «Иисус Христос — суперзвезда» Эндрю Ллойда Уэббера и Тавенер. Но все же, почему Мессиан, а не Шёнберг? Почему Циммерман, а не Хиндемит? Почему, скажем, не Кейдж — если Мессиан заигрывал с идеей некоей общей религии (очень в духе New Age и прочей эклектики), то Кейдж хотя бы обращался к более серьезному основанию в виде восточных практик и дзэна.

Тут, кстати, вопрос уже серьезнее к автору — да и очень ко многим, пишущим о мировой музыке, сводя ее к Западу: «Вне западной цивилизации такой музыки (как диалога с Богом. — *А.Ч.*) никогда бы не возникло. Существование вполне самостоятельного искусства в масштабах истории явление скорее аномальное. Пение и игра на инструментах часто выполняют медицинскую функцию, служат механизмом психосоматической регуляции, помогают людям действовать слаженно (маршируя в военном строю, танцуя или трудясь), обеспечивают релаксацию (перед сном, во время застолья или шопинга), подают сигналы (от набата и фанфар до телевизионных заставок), участвуют в создании привлекательного образа торговой фирмы или товара». Позвольте! А вся музыкальная культура Востока да и Юга тут полностью игнорируется? Индийские раги, которые использовались не только для медитации, но и управления, упорядочивания вселенной тогда, когда на Западе никто еще в принципе не задумывался о сочинении внятно оформленной музыки? Китайская музыка, имевшая не только ритуальные, но и космологические задачи? Музыка была частью подавляющего большинства культов, от Тибета до Амазонки, как раз тем медиумом, что выводила человека на контакт с миром загробного и сакрального. И, если уж на то пошло, то и в не очень симпатичной автору современной рок-музыке — да и в тех же рассматриваемых рок-операх — если вычесть африканский элемент, отвечавший за создание блюза, музыки африканских рабов, стоявшего у истоков всей современной рок- и поп-музыки, остаток может и не порадовать...

Тут единственный ответ — потому что автору не только нужнее для его нынешнего разговора, но и просто ближе, любимее именно эти композиторы. И это, на самом деле, все оправдывает. Спорить — бесполезно, да и не нужно, а вот читать о тех, кого он любит, знает досконально, опишет всю их жизнь и все сюжеты, темы и пейзажи их сочинений — гораздо интереснее.

Говоря о действительно любимых, Насонов буквально визуализирует музыку (помните, как в начальных классах учительница выбивала из бедных детей, что им слышится в музыке? Так вот тут так же — только на очень другом уровне): «В этом — настоящая трагедия жертвенности: человек жертвует собой в мире, где ничто не вечно. Но и это еще не самое страшное в Траурном марше. В заключение Бетховен музыкально изображает, как люди уходят с похорон — слышно даже, как они раскланиваются друг с другом. А затем в последний раз возвращается основная тема, но возвращается в крайне неестественном виде — разбитая на ритмически искаженные и прерываемые паузами фрагменты. Как тело героя разлагается, так распадается и мелодия. В этот раз музыка дает нам физически ощутить ничто...»

Даже на страницах книги дает, если не включить. А можно и включить — в конце даны списки основных сочинений, рекомендованных к прослушиванию. Тут можно бы тоже фыркнуть — у Шостаковича следует прослушать «все симфонии», ну надо же, как неожиданно и даже внезапно. Но подобные списки замечательны всегда. Они не только «сдают с поличным» опять же (ценные) пристрастия автора, но и в разделах «Готическая полифония» и «Музыка ренессанса» могут вполне быть подспорьем (но почему из барочной музыки только Монтеверди и Ланди? Молчим, молчим...).

Уже, видимо, понятно, что книга, скромно выступающая в жанре ознакомительного пособия, рассказывающего путеводителя, претендует на гораздо большее, чем научпоп в стиле «Расскажу за 5 минут, что слушать у Моцарта» (пусть и для христианского издательства). Поэтому стоит, возможно, закончить с некоторыми вопросами к ней самой.

Так, за счет некоторых довольно очевидных мест вроде того, как следует слушать музыку («начните с элементарных наблюдений: подумайте, какие мысли, чувства и ассоциации музыка вызывает, обратите внимание на те элементы, которые запоминаются прежде всего, попытайтесь структурировать прослушанное. Вычлените разделы музыкальной формы»), можно было бы сократить объем. И — дать место для других если не композиторов, то хотя бы течений, хоть бы того же прошлого века (не говорить о Шнитке, но разбирать «Юнону и Авось» выглядит слишком, скажем так, концептуальным ходом)[1].

Вызывают определенные возражения и широта тех мазков, которыми Насонов рисует свои общие соображения о рассматриваемых периодах. «В результате отказ от постановки вопросов и становится русским ответом на европейский XIX век» — но разве именно позапрошлый век, от всей его великой литературы, идейных метаний до рядовых народовольцев, не был временем самых мучительных вопросов, закончившимся одним большим назревшим ответом в виде революции? А вот, скажем, «мы видим, что Монтеверди отнюдь не проповедует нигилизм в своем творчестве, но нигилистическое представление берет из него свое начало» — даже если уж совсем крайне обобщать, то винить именно оперы Монтеверди в упадке традиционных христианских ценностей, росте индивидуалистического мышления и пришествии века кровавых революций и Наполеона кажется уж слишком отдаленным...

Между тем, «Музыка...» — такая же совершенно замечательная книга, как и ее оформление. Интересная верстка, действительно твердая обложка и — оформление лазоревым цветом, со всеми его сакральными ассоциациями и коннотациями.

Яркие факты здесь танцуют под музыку не менее интересных теоретических осмыслений. Как, например, соотносятся двудольный и трехдольный метры? «В первом случае мы имеем дело с аналогом ритмов человеческого тела (дыхание, биение сердца, шаги при ходьбе). Во втором мы словно преодолеваем эту нашу телесную ограниченность, выходим за пределы естественного». Или корректное обобщение довольно запутанных — даже для эклектики — даже для эклектики из религиозных элементов европейского ареала — взглядов Вагнера[2]: «По сути же Вагнера не удовлетворяла ни одна из существующих форм религии, включая “историческое христианство”, которое воспринималось им как часть враждебной человеку действительности. Тем не менее представление о мире как о юдоли страданий, мучительное переживание страданий, предчувствие радикального преображения в будущем — что это, если не религиозность?»

Этому религиозному поиску находится неожиданная рифма среди рассматриваемых здесь композиторов. Джон Тавенер, будучи православным, обращался, как тот же Мессиан, ко многому и разному — и речь не только о музыкальных традициях древности, но и духовных основаниях за ними: к суфиям, византийской традиции, английской хоровой полифонии XVI века. «Сложная траектория духовного

---

[1] Автор, впрочем, утешает и успокаивает тех, «кому будет не хватать подробного рассказа о таких значительных фигурах музыкальной истории, как, например, Гендель и Гайдн, Мусоргский и Рахманинов, Верди и Малер, Стравинский и Бриттен. Книга еще только вышла в свет, а в голову уже приходят мысли о новом, расширенном издании, которое можно подготовить, если обнаружится большой читательский интерес и спрос». *Нестеренко М.* «Дискурс зла в творчестве Шостаковича глубок, масштабен и здорово проработан». Интервью с Романом Насоновым // Горький. 2020. 10 ноября (https://gorky.media/context/diskurs-zla-v-tvorchestve-shostakovicha-glubok-masshtaben-i-zdorovo-prorabotan/).

[2] У уже упоминавшегося Алекса Росса в 2020 как раз вышла — еще не переведена на русский — книга «Вагнеризм».

пути... В конце концов музыка Тавенера приводит нас к тишине, где умолкает, чтобы открыть возможность общения с Богом через молитву». Возможно, и внутреннюю, бессловесную молитву исихазма. Но нет в этом отнюдь ретроградства и закрытости, ибо «декларированное от чистого сердца движение назад, к утраченной традиции, все равно оборачивается прогрессом, обновлением музыкального языка и поиском новых путей высказывания, которые были закрыты для европейского искусства ранее. Такой подход можно обозначить как музыкальный традиционализм, искусство, устремленное в глубокое прошлое, — но прошлое это, безусловно, утопическое. Итогом творческих исканий Тавенера становится не продолжение традиций религиозного искусства от той самой исторической точки, в которой — в некие далекие времена — была допущена роковая "ошибка", а новая сакральность, которую на свой страх и риск конструирует композитор, декларируя преданность христианскому искусству».

Ошибка — во всяком случае, более трагическая — совершена была, думается, все же в новое, даже новейшее время. Но вот именно это описание духовных поисков Тавенера в самой последней главе книги является гораздо более внятным камертоном для общего ее замысла, чем пространные и очевидные рассуждения про музыку как путь обращения к Богу (сомнительно, работало ли это даже в XIX веке) из предисловия и последующих глав.

«Великий энтузиаст-изобретатель, Кирхер даже придумал специальное устройство, представлявшее собой нечто вроде библиотечного каталога, — чтобы каждый в мире иезуит мог возить с собой такой ящик, составлять из карточек музыкальные произведения с соответствующими аффектами неотразимой силой музыки привлекать на сторону католической веры хоть японцев, хоть сирийцев, хоть коренных жителей Южной Америки. Устройство называлось Arca musarithmica, то есть "музаритмический сундук"». Таким сундуком — со старыми любимыми пластинками и рассказами о них извлекающего их хозяина — и является книга.

Зыбкость ужаса

Прощай, COVID?/ Под редакцией К.Гаазе, В.Данилова, И.Дуденковой, Д.Кралечкина, П.Сафронова. — М.:Издательство института Гайдара, 2020. 432 стр.

Не знаю (да и никто почти не знает), был ли создан повлекший за собой нынешнюю пандемию коронавирус искусственно, но если нет, его следовало бы выдумать — как богатейший предмет для научного анализа. Новые явления и понятия, связанные с вирусом риски, реакция на него, описывающая новые явления лексика, возможные последствия, анализ по Марксу и кому только не — список тем для докладов столь же неполный, как и, на сегодняшний день, количество мутаций коронавируса.

Создатели книги — Московский философский кружок — извещают, что так вдохновились идеей этой виртуальной конференции / так спешили, что от идеи книги до ее чернового варианта прошел абсолютно рекордный срок в полтора месяца. Коллеги из журнала «Логос» и Издательства Института Гайдара всячески помогали. Да, их можно понять — не только разобраться, но и высказаться по поводу новенькой пандемии мечтал, кажется, всякий.

Кстати, сообщают издатели, не столь уж и новой в масштабах человечества — даже если брать контакт с ними философов: «Эпименид, по рассказам Диогена, спас Афины от мора. Марк Аврелий в разгар Антониновой чумы написал "К самому себе" — возможно, главное произведение поздней Стои. <...> Кант спасся как минимум от трех эпидемий гриппа, практикуя безбрачие и жесткий карантин. Гегель умер от холеры. Кьеркегор — от туберкулеза, возможно, обострившегося на фоне эпидемии гриппа. Макс Вебер — возможно, от свирепствовавшей тогда испанки».

Нынешние философы вовсе не бездействовали и до этого сборника — Жижек написал колонок на целую книгу, Агамбен по поводу COVID-19 тоже цитируется постоянно.

Главное в «Прощай, COVID?», как нетрудно догадаться, это, конечно, не прогнозы — кто их может сделать, если ситуация меняется каждый день, — а констатация, даже попытка констатации того немного, что зафиксировать можно. Языка и отношения, понятий и явлений. Их же набралось уже изрядно — и за счет них, а не только животрепещущей для всех темы, этот философский сборник, написанный зачастую со всеми прелестями зубодробительного научного языка, читается увлекательно, как бодрый детектив.

Взять аналитику тех же новейших понятий. Например, важными векторами в пандемические времена становятся ожидания некоторых гипотетических положительных перемен («...мы и в пандемии ищем шанс на преобразование: прочистим воздух и мозги, порадуемся вернувшимся дельфинам и оленям, прочитаем не читанное, напишем не написанное...») или констатация того, что сам вирус не стоит рассматривать в простых бинарных схемах, все сложнее («как элемент опыта вирус едва ли описывается двузначной метафизикой существует / не существует, объективное / субъективное и скорее обладает континуумом степеней или модусов существования»). Здесь видится не только некоторый оптимистический взгляд на пандемию, но и манифестация ее сложности, несводимости к чему-либо одному, однозначному.

Взять хотя бы необходимость соблюдать самоизоляцию, носить маски (что, увы, вызывает подчас такой яростный протест у наших и не только наших граждан) — это тот случай, когда человек одномоментно решает судьбу не только свою (заразиться), но и неизвестного количества других (заразит, поспособствует распространению заразы): «Вирус не избавил людей от этики, а сделал обыденное бытие сверхэтичным, а это бремя новой ответственности тяжело выдержать. Проблема в том, что оно не имеет установленной формы, меняясь в зависимости от знания, которое общество на данный момент имеет о своем контрагенте». Сухая, выверенная и научно обоснованная констатация неопределенности нашего бытия и является тем плюсом, что можно вынести из книги во времена совершенно нежданных и непонятных перемен. Или, как удачно сформулировал Глеб Кузнецов в своей статье, «зыбкости ужаса»: «Ключевой лозунг момента: “Но это не точно”. Открыв всего несколько ссылок подряд в любом СМИ периода пандемии, мы можем увидеть радикально противоположные точки зрения <...>. Перманентная неопределенность привела к расколу на “верующих” и “скептиков”. При этом ни те, ни другие не могут сформировать четкую аргументацию на основе строгих научных данных, которые на поверку оказываются не такими уж строгими, и поэтому сторонники того или иного подхода в повседневной жизни руководствуются не научным подходом, а, скорее, неким подобием религиозного верования».

Это совершенно точно и для наших времен вакцинации (до нее в книге еще хронологически не дошло), когда обычный человек оказывается предоставлен самому себе в очень важном вопросе. Нужно ли вакцинироваться ему, какой именно вакциной, проверяться ли на пресловутые антитела, когда это лучше сделать? А его пожилым родителям — нужно? Почему с экрана власти всемерно призывают вакцинировать(ся) прежде всего престарелых, но гарант всего в нашей стране говорит при этом, что из-за своего 60(+)-летнего возраста он, послушный врачам, вакцинироваться не стал?

«Верующие» и «неверующие» представлены и в этом сборнике — составители справедливо предоставили кафедру для выступления всему спектру мнений. И, нужно заметить, получилось очень и очень разнообразное и интересное полотно, настоящий пэчворк взглядов. Представлен не весь спектр, но очень разные мысли. Социолог Борис Кагарлицкий с критическим почти манифестом и культуролог Оксана Мороз с докладом «Некрополитика коронавируса в онлайн-репрезентациях: о работе смерти и (немного) памяти» (если вы не знали, как завещать свои блоги и прочее цифровое

наследство, тут проинструктируют, линки дадут), Поль-Антуан Микель и Пьер Монтебелло с жесткой критикой французских и вообще западных ответов на пандемические вызовы и философ из Свято-Филаретовского православно-христианского института Виктория Файбышенко (ее доклад, использующий новейший философский аппарат и крайне выдержанные, я бы даже сказал, терпимые, смиренные выводы, выделю особо — хотя бы как образец корректнейшей научной дискуссии). А в статье Вячеслава Данилова анализируется даже такой, казалось бы, «локальный кейс» как способы репрезентации-нарратизации врачей из «красной зоны» — как именно они эмоционально оформляют свои впечатления.

Различные тексты получают рифмы, их авторы заочно спорят — дискуссия «атеистов» и «верующих», то есть ковид-диссидентов и их противников, невольно возникает даже в рамках этой книги. Впрочем, не только по вопросам самого вируса, но и по многим сопутствующим. Екатерина Шульман и Наталья Беспалова утверждают, что «бюджетные учреждения — (оказались. — *А.Ч.*) едва ли не главным платежеспособным и стабильным работодателем». Глеб Кузнецов же в своей весьма алармистской статье «Реституция власти: пандемия, экспертократия и новая политическая реальность» пишет, наоборот, что в результате кризиса как раз бюджетники попали под цунами сокращений. Шульман и Беспалова констатируют, что «ни у одного национального государства не хватило бы ресурсов, чтобы насильственно, с применением госаппарата, армии и полиции, ввести те карантинные меры, которые были имплементированы в целом ряде стран с разным политическим устройством, этническим составом, уровнем развития экономики и инфраструктуры», то есть многие государства просто не справились, показали свою нежизнеспособность. Но до этого в книге уже высказывалось удивление, что в наш век, когда, казалось бы, национальные государства «вымываются» из числа активных геополитических акторов и их место на международной арене занимают всесильные ТНК, наднациональные объединения вроде ЕС и иные новые игроки, как раз государства внезапно показали свою силу — закрыли границы, предприятия, прервали производственные цепочки... Отечественные авторы положительно оценивают меры европейских правительств по противостоянию вирусу, сами французы — камня на камне от них не оставляют.

Не менее занятно наблюдать и то, на чем авторы из разных частей книги и из разных мировоззренческих областей вдруг заочно соглашаются друг с другом. Такой фигурой преткновения оказывается вдруг — Ленин! Радикально критикующие все принятые меры и имеющийся порядок спикеры несколько раз цитируют его (Кагарлицкий же обращается к более симпатичной, но тоже довольно маргинальной для данного дискурса фигуре — Грамши).

Выслушать экспертные мнения, прочесть аналитику «за» и «против» даже одних явлений — очень интересно, и вообще ста мнениям цвести. Единственное, что вызывает некоторое неприятие, так это проповеди все тех же ковид-диссидентов, для которых ковид не страшнее гриппа (хотя опять же в нескольких случаях в книге приводится статистика смертности: обычно ниже 1% для гриппа и до 1—3% для коронавируса, что, принимая во внимания его вирулентность и скорость распространения, дает в мировом масштабе цифры, сопоставимые с настоящей войной), от лихорадки и туберкулеза умирают больше, «шизофрения мер», ведут в цифровой ГУЛАГ и т.д. и т.п., кто этого не слышал сто раз. Тем более посылы сторонников этой теории никакой критики не выдерживают даже в пределах книги: для одного виноваты богатые, из-за своих контактов принесшие в город вирус, другой отмечает, что контактов как раз больше у простых работников, кто-то винит производителей ИВЛ, кто-то — американского аналитика, имеющего свой бизнес по онлайн-обучению... Прочитав несколько статей подобно настроенных авторов, я понял, что в них так неприятно, неприемлемо. Даже не людоедские посылы (подсчитывать на калькуляторе количество смертей), а — интонация. Крайне самоуверенная, агрессивная — прошу простить за совершенно неакадемический язык — и даже кликушеская: все врут, вы ничего не знаете, это заговор, сейчас я

насильно, как Вию, подниму вам веки, и вы прозреете! А рассуждения вроде: «Хочется спросить: нуждается ли в защите смерть? Если нет, то оказывается ли она предметом контроля» (Петр Фаворов) — безусловно, стилистически красивы, но так ли морально уместны?

Но здесь я могу возразить сам себе, используя справедливые констатации из книги: «нельзя сказать, что эти рассуждения не верны <...>, важно то, что интерпретативная рамка оказалась заранее пригодной для ассимиляции катастрофы (Александр Писарев), а «занимать “свою” позицию оказалось важнее не просто “истины” (с ней давно все ясно), но и “самой жизни”. Люди готовы рисковать ею, подвергать ее неоправданной опасности, лишь бы настоять на “своей” позиции, на своем конатусе» (Михаил Маяцкий).

Но и все ли ясно, можно в очередной раз ответить возражением на возражение, с самой истиной? Скорее, как в «Секретных материалах», чей сценарий сейчас напоминает происходящее в мире, «истина где-то там». Подобные книги могут хотя бы немного приблизить нас к ней.

Каменность камня

Михаил ЯМПОЛЬСКИЙ. Ловушка для льва: Модернистская форма как способ мышления без понятий и «больших идей». — СПб.: Сеанс, 2020. 560 стр.

Новая книга действительно блистательного теоретика культуры, киноведа и филолога Михаила Ямпольского только с виду посвящена старому и вроде бы известному явлению — модернизму. На самом деле, это совершенно новое, не сказать инновационное исследование, почти манифест.

Форма «Ловушки для льва» заставляет вспомнить «Машины зашумевшего времени: как советский монтаж стал методом неофициальной культуры» во многом соратника Ямпольского по публикациям в «Новом литературном обозрении» и различным конференциям Ильи Кукулина — большой массив культуры процеживается на предмет определенного приема/метода. Конечно, ради идеи, не просто фиксации-констатации ради же.

Исследователь исходит из глобального посыла, что в модерное время большие смыслы — те, что пишутся, писались с большой буквы: Бог, Родина — оказались девальвированы. «Такие понятия, как “прогресс”, “равенство”, “права человека”, “достоинство”, “благополучие” и проч., стали ощущаться как совершенно бессодержательные. К концу века Ницше[1] обрушивает свой “молот” на всю систему религиозных и моральных ценностей». Само слово, образ — тоже. «Даже самые поверхностные наблюдатели отмечают тот неоспоримый факт, что в политической сфере слов*а* значат очень мало и все реже связаны со старомодным понятием правды. То же самое можно сказать и об изображениях, где бесконечное компьютерное манипулирование разрушает ценность видимого. Фотография в значительной степени утратила связь как с искусством, так и с документом». Да, мы, увы, знаем, что все новости публикуются утром, днем опровергаются, вечером, если не подтверждаются, то оказываются вбросом или прощупом общественного мнения, выучили и выражение «биг фейк».

[1] Несколько неожиданным образом Ницше становится одним из важных камертонов Ямпольского: «Иными словами, форма постоянно динамизирует процесс выражения, который никогда не смыкается без остатка с концептуальностью. Я уже приводил высказывание Ницше: “На неточности зрения покоится искусство”. Именно форма манифестирует эту неточность. Форма — движение вокруг слов и понятий, которые никогда не завершают этого движения. Кроме того, это способ создания интенсивности, напряжения вокруг сжатой и деформированной понятийности».

На смену большим понятиям пришли, внедрились в прошлом веке идеологии. Что из этого получилось, напоминать не нужно.

Все предельно мрачно? Ямпольский находит небольшой свет в конце туннеля, узкий — даже в хронологическом смысле — просвет. Когда высокий модернизм (и некоторые не прямо примыкающие к нему художники и эпохи) предлагали, разрабатывали некую альтернативу. Ту самую модернистскую форму на основе монтажа, которая не занимается, как идеологии, ни реставрацией великого прошлого, ни созданием образа светлого будущего. Она вообще против порочной линейности. Она — именно что альтернатива. Как, знаете, в 90-е у нас была существующая для всех музыка, пусть и протестный рок, но была, появлялась «альтернатива» — то же, но иное, честнее, нащупывающее новые музыкальные пути, да и в протесте своем, отнюдь не монетизируемом, идущее до самого конца.

Так, кажется, и здесь. «Форма предполагает иной тип генезиса. Прежде всего она исключает наличие предсуществующего смысла. Смысл генерируется самой формой, и ее создатель никогда не может с уверенностью сказать, каков он, что именно он производит. Обсуждая генезис смысла в монтажной форме у Эйзенштейна, я говорю об эмерджентности смысла, не вытекающего из каких-либо уходящих в прошлое предпосылок. Это положение необходимо иметь в виду, когда возникает вопрос о самом статусе формы. Что это — единичная конфигурация элементов или некий формальный тип (например, “барочная” или “кубистская” форма), воспроизводимый в различных вариантах формальной матрицы смыслов? Именно в форме, на мой взгляд, различие между общим и единичным утрачивает смысл, что, конечно, создает дополнительные трудности для анализа этого феномена».

«Для анализа этого феномена» Ямпольский привлекает целый массив интердисциплинарных свидетельств. Художественные и нет тексты, живопись, кинематограф, скульптура. Более того, «в книге я обращаюсь, — подчеркивает он, — к трудам многих антропологов — от Дюркгейма, Мосса до Альфреда Гелла и пытаюсь показать, что именно антропология иногда больше, чем искусствознание или филология, отрывала интеллектуальные возможности для художников».

И нужно, конечно, отдельно снять шляпу перед той интеллектуальной, исторической и т.п. глубиной, на которую копает Ямпольский. Буквально случайная страница — «Кассирер предпринял попытку выйти за рамки когеневского панлогизма и ориентации на математику. Он расширил систему Когена, сохраняя верность ему в принципах и основаниях. В когеневской системе и отчасти в гегелевской феноменологии с ее очевидным панлогизмом Кассирер видел излишнюю униформизацию мира, его подчинение исключительно логическому понятию». Много ли даже научных дискуссий сейчас ведется на столь высоком уровне, с привлечением такого спектра теорий и имен не самого первого ряда?

Можно было бы в порядке того же последокладного обсуждения предложить использовать и музыкальный материал — ведь едва ли не витальнее и, кстати, оперативнее других видов искусства именно музыка в эпоху модерна сражалась с обветшавшими эстетическими формами, искала новые, уходила даже в области полной свободы от какого-либо диктата (и примеры тут могут быть гораздо более разнообразными, чем светомузыка Скрябина, атональная музыка Шёнберга, тишина Кейджа).

Но совершенно богатый материал попутных знаний и фактов читатель получит по ходу чтения и без музыки. Какова идеальная форма воды? На чем сосредоточился в своей диссертации Музиль? Почему в своем «Потёмкине» Эйзенштейн находил пошлость НЭПа? Как Бугаев-младший апеллировал к арийскому символизму математических теорий Бугаева-старшего? И почему, наконец, Малларме мечтал издавать журнал мод, а Ван Гог хотел попасть в магазин японских сувениров?

Но от интеллектуальных богатств наши глаза разбежались, пора переходить к самой книге. Которая, если говорить в пределе, — веер возможностей, одна большая эмерджентность, список свидетельств о других путях развития искусства,

недетерминированных, свободных. И, что еще важнее в данном случае для читателя, оставшихся в той или иной степени маргинальными, обочинными — да и просто малоизвестными. Вот, например, Валери в своем тексте «Всеобщее определение искусства» постулирует схожие со взглядами Шкловского в том, что касается теории остранения последнего, взгляды, отличающиеся при этом большей радикальностью: «Зрение, о котором говорит Валери, — совсем не то, о котором писал Шкловский. Это зрение, в котором исчезает предмет или, вернее, его видимость. Оно противоположно "полезному зрению", которое способно пробудить понятие. Речь тут идет о схватывании системы цветовых отношений, совершенно автономной от предмета, мотива, как говорят искусствоведы. Это видение нечувствительно к облику отдельных предметов, но только оно может позволить нам пережить истинную материальность медиума или каменность камня».

И таких находок в книге действительно очень много. Например, для того же Музиля форма оказывается «не застывшей конфигурацией, но подвижным отношением элементов и целого. Рациональная точность формы всегда подрывается тут иррациональностью чувства, аффекта». Философ, коллекционер и теоретик искусства Конрад Фидлер (1841—1895) мыслил еще дальше и радикальнее — и свои утверждения постулировал сильно раньше, когда это отнюдь не могло быть общим местом и протест еще не стал в чем-то модным и системообразующим элементом культуры: «Реалист думает, что копирует реальность, в действительности он копирует только чужие, заимствованные им перцептивные формы». Более того, констатирует Ямпольский, «Фидлер пишет о глубоком заблуждении тех, кто берется судить о сходстве копии и оригинала. Оригинала попросту не существует. Не существует и никакой независимой от восприятия реальности как таковой». Такой буддийский, чтобы не сказать панковский подход, согласитесь, совсем не был общим местом в XIX веке. Все эти — гораздо более многочисленные в книге, чем их позволяет упомянуть объем короткой рецензии, — примеры, надо заметить, конечно, маргинальны по отношению к «столбовой» культуре, но и не полностью на отшибе, образуют, если не магистральное, конечно, даже не монолитное, но, если приглядеться, как делает это автор, внятное течение. Так, Уинд в одном из своих эссе «...пишет о Гёте как о человеке, превращающем весь мир в символы и картинки, позволяющие лишить вещи всякой субстанциональности и таким образом избежать травматического контакта с реальностью. Вспомним о более раннем упреке Уинда Кассиреру, что тот находит в логике зону безопасности, отделяющую его от реальности. Понятийность вообще отделяет мир от человека. Ницше будет говорить о многоступенчатом процессе символизации и метафоризацаии, создающем между человеком и реальностью непроницаемую вуаль иллюзии». Не союзники, но сомысленники, сонамеренники, таким образом, имеются.

Очевидно уже, что поместить эти очень разные, свободные, альтернативные феномены в прокрустово ложе даже самой гибкой и яркой и столь же свободной, как ее элементы, эстетической теории сложно. Ямпольский это вполне признает в конце книги: «Модернистская форма, о которой речь шла в этой книге, систематически сопротивляется ее однозначному определению. Она плохо укладывается в классическое понимание гилеморфизма, восходящее к Аристотелю, который понимал мир в категориях пластической материи, подвергающейся оформлению и стабилизации». Но именно эта — альтернативная, почти либертинская — система тем и хороша, что может вполне обойтись без строгого научного сведения всех элементов к одному исключительно выводу. Ведь, как сказано в другом ее месте, «мифологической дезинтеграции всегда отвечает ритуальная интеграция, которая, впрочем, никогда полностью не увенчивается успехом. Элементы реверберируют, перекликаются друг с другом. Но этот процесс ведет лишь к большему погружению в ловушку для мысли». Нужно ли еще раз говорить, что как ловушка и источник мысли книга Михаила Ямпольского просто прекрасна?

Валерия Пустовая

Внятный, как мануал

Алексей ПОЛЯРИНОВ. Центр тяжести: Роман. — М.: Эксмо, 2018;
Алексей ПОЛЯРИНОВ. Риф: Роман. — М.: Эксмо : Inspiria, 2020.

На обе художественные книги Алексея Поляринова уже по нескольку десятков отзывов от читателей Лайвлиба, но особенно точной мне показалась война комментариев, развязавшаяся однажды в Фейсбуке под постом критика и эксперта в области фантастической литературы Василия Владимирского[1]. Он написал о новом романе «Риф», что тот у Поляринова «сильнее» раннего романа «Центр тяжести». Но кое-что, сказал, вызвало его недоверие как читателя: есть, мол, в «Рифе», романе о сектах, «демонизация сектантов», а значит, есть и «немножко фантастики».

И вот заклубились две полемики. О том, какой роман лучше, — суть спора доходчивей всего выразил писатель Дмитрий Захаров: «”Центр” более живой, но “Риф” гораздо более профессионально сделан». И о том, есть ли следы фантастики в «Рифе»: Владимирский признался, что просто «иронизировал», но критик Галина Юзефович подхватила шутку и погрозила в таком случае выдвинуть роман на премию в области фантастики.

И эти полемики точно отражают два противоречия художественного мира Поляринова. Первое: между усердно прокачиваемым мастерством — и даровой интуицией. Второе: между волей к исследованию реальности — и талантом убедительно завираться.

Ничего обидного: вот и Бунин, говорят, учил, что писателю «надо уметь привирать»[2].

Интересно, что противоречия два, а вопрос один. Важнейший творческий, и ответ на него лаборатория Поляринова вырабатывает у нас на глазах. Что первично, что во главе: рациональное овладение темой и инструментами — или искра, озарение? Распоряжается ли автор своим талантом — или следует ему?

Легко отмахнуться: мол, важно и то, и другое, но в том и дело, что всё сразу — не получается. В новом романе «Риф» Поляринов ощутимо делает выбор. А его публичные высказывания позволяют думать, что выбор этот не только личный: он выбирает в каком-то смысле за российскую литературу, от лица ее нового поколения и направления.

---

[1] Пост Василия Владимирского от 1.11.2020 // https://www.facebook.com/vvladimirsky/posts/10214117166523453

[2] *Александр Бахрах*. Бунин в халате. По памяти, по записям. — Нью-Йорк: Товарищество Зарубежных Писателей, 1979 // https://vtoraya-literatura.com/pdf/bakhrakh_bunin_v_khalate_1979__ocr.pdf

«Вот это тоже наша проблема. Мы все время ждем от всех opus magnum. Средних книг нам не надо! Сразу дайте мне “Войну и мир”!» — горячится Поляринов, столкнувшись с прохладным отношением слушательницы к убежденно рекомендуемой им документальной книге о Беслане. И добавляет, уточняя свою мысль: «Мне кажется, что таких книг, как “Форпост” Ольги Алленовой, должно быть десять-двадцать, в норме, чтобы было из чего выбирать. Мы получили одну деталь паззла. Таких деталей должно быть больше»[1].

И еще прозрачней: «...где у американцев по десять романов на каждую тему, у нас есть одна Ольга Алленова. <...> Может, это когда-то изменится — я достаточно оптимистично настроен насчет межпоколенческого разлома, я рассчитываю на людей, выросших без идеологии, мы в кармашек прям попали»[2].

«Риф» Алексея Поляринова — ни много ни мало попытка перевернуть до сих пор незыблемую у нас иерархию, которая наделяет писательское слово самоценностью и освобождает литературу от практических задач, задач жизни. Литература в русской традиции не только ничего не должна — но еще и сама всех обязывает, подтягивая реальность к тексту, заражая — завораживая — жизнь вымышленными сущностями, которые управляют нами эффективнее иных рептилоидов.

Да кто в это сегодня поверит, спросите? Отвечу словами из нового романа Поляринова: «Они делают это бессознательно. Устоявшийся ритуал настолько силен, что даже те, кто считает его глупым суеверием, подсознательно все равно стараются его соблюдать».

«Риф» Поляринова и есть — вызов российским ритуалам литературы.

Неожиданно масштабная сверхзадача для романа, который Галина Юзефович называет «по-хорошему комфортным»[3], а я бы назвала «действительно полезным».

И там, где она видит «единорога»: «Композиционно продуманный, многослойный и при этом увлекательный роман для современной русской литературы — практически единорог», — я вижу кентавра. Роман, где литературе, которой лишь бы приврать да наворожить, приделали холодную голову.

Роман с человеческим лицом, «Риф» в самом деле возвращает читателя в зону комфорта. Не нужно читать роман, чтобы узнать: он поднимает вопросы о сектантском сознании, отношениях матерей и дочерей и последствиях забвения, — это все как один скажут вам и рецензенты, и автор. Но стоит прочитать роман, чтобы убедиться: на каждый вопрос он дает ясный и практичный ответ, — и почувствовать от этого гарантированное удовлетворение.

Роман отвечает однозначно — так что можно подвести итог одним словом. Что делать, если вы столкнулись с сектой? Бежать. Как матери и дочери понять друг друга? Разговаривать. Какие последствия забвения для личности и общества? Саморазрушение.

И такая это редкая забота о читателе, что даже писательница Евгения Некрасова, которая сама-то в прозе не подстилает соломки, реагирует эмоционально, попросту. «Это чуть ли не один из первых текстов, где нет ни огурца с водкой, ни нытья, а есть абсолютно осознанное рассуждение, например, о том, как человек бесконечно волнуется о своем сыне. <...> Я вообще впервые в жизни прочла о том, как человек работает над собой и в какой-то момент перестает постоянно быть в тревоге»[4], — выделяет она в более раннем «Центре тяжести» то, что в «Рифе» станет принципом.

---

[1] Преодоление защитной реакции: Евгения Некрасова и Алексей Поляринов о том, как писать о современности. Часть 1. / «Прочтение» от 9.04.2020 // https://prochtenie.org/texts/30162

[2] Преодоление защитной реакции: Евгения Некрасова и Алексей Поляринов о том, как писать о современности. Часть 2. / «Прочтение» от 10.04.2020 // https://prochtenie.org/texts/30163

[3] *Галина Юзефович*. «Риф» Алексея Поляринова — роман, в котором переплетаются три линии: о северном городе, секте и исследователе Микронезии / Meduza от 26.09.2020 // https://meduza.io/feature/2020/09/26/rif-alekseya-polyarinova-roman-v-kotorom-perepletayutsya-tri-linii-o-severnom-gorode-sekte-i-issledovatele-mikronezii

[4] Преодоление защитной реакции... Часть 2.

Терапевтический заряд романа сказывается прежде всего в его нацеленности на результат. Позволив главному злодею ускользнуть в лазейку полуоткрытого финала, Поляринов аккуратно закрывает истории тех, за кого мы болеем. Рассерженная студентка, растерянная режиссерка, раздавленная прошлым учительница — каждая из жертв харизматичного лидера пройдет путь к себе, включающий круг отрицания и торга, нырок в бессознательное и терапию как таковую.

В критике сетуют, что характеры стерты: «три его героини — это расщепление одного и того же персонажа», — пишет, к примеру, Арсений Гаврицков[1]. Да потому что различия между героинями — не личностные, а практические. Они демонстрируют три типа контакта с сектой, три рабочие дистанции: пришла сама, когда отчаялась; втянулась, не заметив вербовки под личиной сотрудничества; влипла, решив побороть.

Роман действительно полезный — демонстрационный. Внятный, как мануал, но куда увлекательней брошюры. Он моделирует путь в секту — настолько четко, поэтапно, что получается роман-прививка, который хочется рекомендовать всем читателям, начиная с подросткового возраста. Особенно интересно проходить путь героинь в обратную сторону, выискивая момент, когда невинная увлеченность (студентка), невинная доверчивость (учительница) или невинная самонадеянность (режиссерка) стали прикрытием для сектантской преданности.

Именно сматывая клубок, можно заметить немало тонких деталей и по ним выйти вовсе не к пасти Минотавра, как ожидаешь, а к вот такой, вполне рядовой мелочи: «Как и всех местных, Киру раздражало, что приезжие не отличают тайгу от лесотундры; она хотела было поправить Титова, но промолчала». С одного такого «но» может начаться путь в секту или история токсичных отношений — однако роман отступает от этой догадки, как от опасной крайности.

И тут тоже — залог читательского комфорта. Роман избегает того, что сделало бы художественное исследование сект двойственным и рисковым: не разбирается с алгоритмами личного выбора. Однажды автор как будто бы «заставил» одну из героинь «всерьез задуматься не только о том, кем на самом деле был» злодей Гарин, «но и — кем были люди, которые его окружали». Заставил задуматься — но предпочел не усложнять. Как проницательно заметил писатель Сергей Кузнецов — в комментарии к упоминавшемуся посту Владимирского: «Обсуждаемый тезис — “жертвой секты может стать любой” — это просто форма запрета на victim blaming». И на движении романа вглубь стоит ограничитель вроде девиза «Не навреди!».

Хотя мне-то кажется, что не повредило бы подумать о том, почему робкая студентка боится сказать «нет» обаятельному профессору Гарину, волокущему ее, против планов, на невыносимый концерт перкуссионистов, — однако довольно грубо пресекает попытки опального, неряшливого от тревоги студента указывать ей, с кем общаться: «Что ж, спасибо большое, Адам. Позволь дать тебе встречный совет. Одно слово: душ».

Героинь хочется поймать на противоречиях, вранье себе, компромиссах с внутренним чутьем — но роман не поддерживает такое расследование. Загадка, которую он загадывает, — Гарин, харизматичный лидер, и роман движется к разоблачению, как детектив, в котором рядовые слабости обывателей ни в какое сравнение не идут с гением злодейства.

И вот сюрприз: даже если взять то, как «устроен» образ ускользающего от возмездия Гарина, в романе торжествует наиболее комфортная — рациональная точка зрения. Которая предполагает, будто всё на свете можно объяснить, и очень просто. «Мне тебя даже немного жаль», — реплика эта, брошенная Гарину рассерженной

---

[1] *Арсений Гаврицков.* Холодный как «Риф»: каким получился новый роман Алексея Поляринова / «Горький» от 7.10.2020 // https://gorky.media/reviews/holodnyj-kak-rif-kakim-poluchilsya-novyj-roman-alekseya-polyarinova/

героиней, и банальна, и ритуальна: зло лишается магической силы, стоит найти в нем человеческую логику. Создав убедительный образ всевластного Гарина, роман разоблачает его как человека, решающего свои психологические проблемы за счет других. Гарин тоже жертва — травмы, утраты, ошибки, и отличается от своих последователей только тем, что сам никогда не встанет на правильный путь терапии.

Завершим этот парад удобств указанием на склонность романа к прямому проговариванию целебных формул. «...Перестать винить себя за то, что с тобой сделали другие люди. За то, что сделал Гарин»; «страдания — это не то, чем следует гордиться, и что в позиции "никто и никогда не сможет понять, что я пережил/а" нет ничего возвышенного и благородного <...> ты просто учишься жить дальше — с вечной поправкой на новый опыт»; «она понимала его злость, и все же была уверена: чтобы перевернуть страницу, ее сначала нужно прочитать»; «эта работа отнимала слишком много внутренних ресурсов, и совсем ничего не давала взамен».

Это слово, поставленное на службу человеку. Разворот романа, который заменяет задачи автора — задачами читателя. Ему, читателю, нужен этот действительно полезный роман — и поэтому не важно, что было нужно от романа автору.

И вот я принимаю этот роман-пилюлю — пока не дочитываю до лекарственного состава. В послесловии Поляринов раскрывает трюк, который я сопоставила бы по масштабу с похищением озера в его романе «Центр тяжести».

Поляринов действительно полезный писатель, потому что открыт: подробно анализирует развитие романа от замысла к зданию. Когда я узнаю, что роман о сектах вырос из семейной травмы — а точнее, одной семейной сценки, на эту травму намекающей: «Я с детства замечал, как моя мать и тетя тяжело уживаются в одном помещении с их матерью, моей бабушкой», — я чувствую трепет перед неисповедимостью путей вдохновения. Поляринов окончательно вербует меня, уточняя, что, «несмотря на то, что источником вдохновения для этой книги послужил реальный случай и мои настоящие, живые и любимые родственники, я хотел бы отдельно подчеркнуть, что все герои, ситуации в романе — чистый вымысел». И ниже: «Никакого города Сулима в Мурманской области нет, я его выдумал, собрал из двух городов — Новочеркасска и Ковдора. <...> Точно так же дела обстоят с Миссурийским университетом, он — плод моей фантазии и не имеет почти ничего общего с реально существующим MU; почти все улицы и достопримечательности, — за исключением шести колонн и истории со сгоревшей библиотекой, — я выдумал».

В этот момент я не думаю ни о месседже, ни о поколении, ни о современности. Я сама вдруг юна — и передо мной не Поляринов, а критик Ирина Бенционовна Роднянская, тогда глава отдела критики «Нового мира», и мы говорим о моей дебютной статье, где я нападаю на Романа Сенчина, а она защищает и спрашивает, читала ли я «Умирание искусства» Владимира Вейдле, и говорит, ну как без этого можно понять Сенчина. И я читаю Вейдле, а Сенчина все равно до поры не понимаю, потому что есть писатели, до которых надо дожить, — зато надолго запоминаю поразившую меня интерпретацию другого автора.

Вейдле пишет о Жюле Верне — том самом, кто сначала осел в библиотеке подросткового чтения, а теперь изгоняем и оттуда как писатель устаревший, тяжеловесный, застящий дорогу к читателю тем самым современности и литературному прогрессу, пророком которых когда-то был[1].

«Чистый вымысел еще не искусство, но вечно детское именно в нем и в нем же вечно необходимое искусству. Его стихия, его искони неизменное существо, быть может, никогда не проявлялось с такой обезоруживающей очевидностью, как в памятных многим из нас плоских и чарующих вымыслах Жюля Верна. Книги его —

[1] *Владимир Вейдле*. Умирание искусства. Размышления о судьбе литературного и художественного творчества. — СПб.: Аксиома, 1996.

вне литературы и неподвластны законам мастерства. Если отвлечься от небольшого числа постоянно повторяющихся ребяческих приемов, ничего в этих книгах не найти, кроме совершенно свободного излучения фантазии. Вымыслу дана воля; он беспрепятственно рисует свой узор. <...> Книги его не искусство, но они и не подделывают искусства. Щедрость выдумки, свежесть воображения, чистота линии, по которой с ребяческой неудержимостью оно устремляется вперед, — волшебство их только в этом. Волшебство это обращается к детям и дает пищу самой насущной их потребности, но никакая литература не обойдется без него, и его-то как раз слишком мало и становится в литературе современной, такой отяжелевшей, несвободной, обремененной всяческой достоверностью и дословностью».

И ниже: «Приключение возможно лишь в тех же условиях, в каких возможен вымысел, т. е. лишь там, где есть непредвиденность, выбор и свобода. <...> Если оно и вызвано какой-то необходимостью, то, по крайней мере, при возникновении своем оно должно казаться нечаянным и свободным».

«Центр тяжести» излучал волшебство — несмотря на заботливое проговаривание границ отцовской опеки или недопустимости victim blaming'а женщины, пережившей сексуальное насилие, несмотря на ехидные политические проекции в ближайшее будущее, инвективу в адрес русских заборов и инкрустирование кристаллами Сваровски воображаемой Русской стены. Невзирая на потерянный на скаку фантазии ключик от тайны Третьего озера и перебор с количеством повествователей. «То есть желание рассказывать истории было всегда. И оно, собственно, мной и движет. Я люблю рассказывать истории, поэтому и стал писателем», — признается Поляринов[1], и я верю ему, когда он, к примеру, публикует в Фейсбуке разгульную, с рачлененкой и рыбной ловлей голыми руками рецензию на фильм из новогоднего проката, так что иные френды смущены — и тем, что такое показывают, и тем, что интеллектуал и лидер поколенческих мнений Поляринов такое смотрит, — и автор поста вынужден писать апдейт: «некоторые приняли пост за чистую монету, поэтому оговорюсь: друзья, это шутка, я все придумал. Мне было скучно, я увидел афишу "Серебряных коньков" и начал фантазировать — а дальше все как в тумане»[2].

Верю, верю Поляринову, пока он в тумане. В угаре, дыму и пепле возгоревшейся из нечаянной искры истории. Но только не в «Рифе», который даже Арсений Гаврицков, назвавший роман «величественным», в итоге обозвал «кристаллическим».

Поляринов словно сам себя украл в романе, как Третье озеро. Хотя местами автора по-прежнему заносит — чего стоят северные мифы и страшилки, где борются дочери солнца и луны, а у мальчика отрастают чудовищные рога, сразившие насмерть его родителей, — он старательно вписывает протуберанцы в круг.

Многослойность романа оказывается камуфляжем: это ж надо суметь — подделать фантазию под журналистское расследование. Ни язык, ни логика «Рифа» не занимаются «излучением фантазии». И это вызывало бы во мне азартное восхищение, как удавшаяся литературная афера, если бы оставалось игрой. Но в том и дело, что автор не водит за нос — а прокладывает стези. Пролиновывает роман с нажимом.

Вернемся к триаде заявленных вопросов романа, чтобы посмотреть, как из него вымываются «непредвиденность, выбор и свобода».

Гаврицкого покорила «сцена бессознательного трипа» героини «в самом конце романа, ее пребывание в лимбе между сном и явью. Это максимально нетипичный, чарующе странный Поляринов <...>. От замысла до исполнения эта часть романа — одно громкое восторженное "вау"». Надо сказать, что трипов в конце романа два, и

---

[1] Рассказывать истории и шпионить за окружающими: молодые писатели о себе и творчестве / «Прочтение» от 28.02.2020 // https://prochtenie.org/texts/30105

[2] Пост Алексея Поляринова от 26.12.2020 // https://www.facebook.com/alexey.polyarinov/posts/2378392915637649

почему критик говорит «вау» только одному из них, рецензия умалчивает. Да и это «вау» вырывается, на мой взгляд, только потому, что сцены погружения в бессознательное двух женщин, порабощенных сектантским гипнозом Гарина, очень уж контрастируют с рациональным, взвешенным, доказательным ходом романа-расследования. Если хочется усмотреть в «Рифе» фантастику, то она здесь, в этой возможности переместиться из враждебной реальности секты внутрь, в глубину личности, где из подручных ассоциаций и воспоминаний героини лепят убежище своему сознанию.

Получается как будто пластично и зримо — пока не разглядишь под ярким коллажем педагогический картон. Поляринов не играет — он работает, стрелочками указывая на схеме путь к выходу. Видения одной героини прошиты боем барабанов, второй не дает выбраться из провала «призрак матери, сотканный из осиных ульев». Поляринова не беспокоит, что «сотканный из ульев» — абракадабра для воображения. Он как раз образы не ткет — подтыкает ими терапевтическую логику. Поэтому ему кажется вполне достаточным приемом — проиллюстрировать корчи бессознательного героинь рефренным «бум-бум-бум-бум», в знак барабанного вторжения Гарина, и сорок пять раз повторенным через запятую «и снова», изображающим попытки героини выкарабкаться из провала. Каждая из героинь добирается до точки слома: чтобы освободиться от гипноза, одной нужно вломить «по плечу» — странно, что не промеж глаз, было бы выразительнее, — призраку Гарина, другой — обнять призрак мамы. Вернуть агрессию обидчику и поставить на место враждебного внутреннего родителя. Так я и думаю, а может, не случайно «гаринцы» при перестановке букв дают опорное в современной психологии слово «границы»?..

Кстати, о психологии. В романе все-таки есть «чарующе странные» сцены, однако они стоят в стороне от его программной логики. Вот девушка из северного города ловит себя на том, как легко ей было бы сейчас столкнуть заезжего ученого в карьер, хотя она им увлечена и все больше доверяет его точке зрения на местную жизнь и историю. Вот отцу звонят из полиции насчет непутевого сына — и он зло радуется, потому что устал и хочет, чтобы на сына нашлась хоть какая-то управа, и не сразу понимает, что зовут на опознание. Вот разгневанная дочь стихает и мямлит что-то матери, уверенно продолжающей ручную стирку в холодной реке, а вот она же в другой раз находит способ дойти и уткнуться в мать, раз уж мать не идет к ней. Вот притча о подклеенной надувной селедке, ставшая семейной дразнилкой. Вот просто прогулка — опасная прогулка с крокодилом, героиня и Гарин идут в идиллическом сельском пейзаже, и он открывает главную тайну своего прошлого, давшую заглавие роману, и по ходу рассказа героине, да и нам, начинает казаться, что страшное воспоминание оживает и повторяется прямо тут, среди бела дня, при немых отмороженных свидетелях, в дачной России.

Подобные сцены, конечно, вписаны в триаду вопросов романа, но чаруют тем, что не содержат ответа. Ускользают, как Гарин, от претензий читателя знать, что тут «на самом деле», кто виноват и что делать. Их не сделаешь окончательно полезными — всегда останется лазейка для непонимания. И печали, которая наводит мостик к бессознательному прямее слов.

Напротив, там, где прочерчены линии смыслового нажима, роман мало убедителен. Программа расходится с образом. «Ее жизненная философия напоминала причудливую смесь махрового социализма и ветхозаветной жестокости <...>. Если бы мать была пророком, думала Таня, у нее была бы только одна заповедь: “не забывайте страдать”». А между тем мать выглядит хоть и не сентиментальной, но вполне адекватной: смеется шуткам дочери, беспокоится о ней при встрече в холодной реке и явно задета, хоть и не рассержена, тем фактом, что дочь скрыла от нее перемену профессии. Тот же зазор — между образом Ильи, молодого человека Тани, и его трактовкой в романе как всего лишь «полюбленного тела», самоуверенного и грубого

молодца, с которым у сложной и нервной Тани, конечно, не складывается. А ведь он ни разу не отказал ей в помощи, от ликвидации последствий затопления до атаки на секту. Ну а выставление его как «тела» неприятно и нелестно для Тани рифмуется с ее собственным преображением в «тело» без души, под гипнозом Гарина: получается, она относилась к Илье не более уважительно, чем манипулятор к жертве.

Но писк схематизации в романе — это, конечно, «роман скрепляет сложная система внутренних рифм-метафор», которую особо отмечает Галина Юзефович, потому что не заметить это нельзя. В романе дважды, и в репликах разных персонажей, встречается слово «фиксация», что придает тексту вид не очень ловкого перевода. Ну так у Поляринова текст романа диагностирует «фиксацию» на оленях и ящерицах. Есть разница между символом и плоским знаком на палочке. Первый собирает роман, выстраивая его вокруг себя, а вторым роман декорируют, как зубочистками с оливкой. Первый порождает движение и углубление смысла, второй бесконечно намекает на то, что так и не выскажет. Наконец, первый появляется раз и навсегда, а вторым приходится лупить читателя по голове, чтобы не упустил из вида, не предал, в понятиях романа, забвению. И все равно не откладывается. Ну как можно всерьез воспринимать образ ящериц (крокодилов, тритонов), спрятанных в ледяной реке, если к нему неизбежно сводится любая программная ситуация в романе, так что за образом закрепляется однозначная трактовка: «вмерзшие пресмыкающиеся и земноводные» равно «забвение», «заморозка чувств». Надо ли объяснять, что однозначность исключает выход на уровень символа? И как можно не заколдобиться на дороге прошлого, где опять, как в песне, проскакал олень — с роковыми, конечно, последствиями для семьи тогда еще подростка Гарина. Ведь даже у случайной знакомой героини-студентки велосипед похож «на худого, облезлого олененка». Олени в легенде, олени на кладбище, олени в реке, оленьи рога в костре, оленьи рога в притче шамана. И конечно, когда две сестры сами над собой совершают маленький обряд инициации, они оставляют на теле знаковые татуировки — ящерицу и оленя. И да, это великолепно толстый намек на то, что их прошлое связано с северным городом, у которого на гербе олени и тритоны. Только, на мой взгляд, всё это не «сложная система рифм-метафор», а дорожная разметка в одну краску.

В послесловии Поляринов открыто благодарит всех, кто помог роману состояться, в том числе за правки, «каждая из которых была полезна и помогла улучшить рукопись». В романе многое можно еще улучшать. Есть повисающие линии (скажем, сочетание образов антрополога Титова и антрополога Гарина, которых нельзя с уверенностью ни развести, ни слить в одного героя), повисающие эпизоды (например, рассказ о ките, которого не слышали сородичи), повисающие детали (иные свойства героев будто приторочены, например, особенная чувствительность студентки к запахам или особенно «ужасная» память режиссерки на имена — такое впечатление, что автор считает акцент на странностях ингредиентом так называемого «живого» героя, хотя живым делает героя внутреннее душевное движение, а не довески к образу), торчащие, как изнаночные нитки, стилистические ходы (чего стоит красивость в описании затопления: «ботинки, тапочки и туфли как лодки и гондолы скользили по зеркальной поверхности воды», — и это в романе, который предпочитает стирать стиль до неотличимости от репортерского отчета, например: «Но до сих пор Ли даже не подозревала, что война между культами и противостоящими им фондами ведется не только в плоскости психотерапии или грубой силы, но и в плоскости бюрократии»). Неплохо было бы автору впредь избегать мусорного употребления слова «целый»: «целый ритуал», «целая куча концовок», «целая коммуна», «целая серия заметок», «целая куча сопутствующих вопросов», — а также выражения «своя отдельная достопримечательность». Утомляет, как мелькучие ящерицы и олени, рябь рефрена «post hoc ergo propter hoc», который автор куда только ни притулил многозначительно, и повторяющееся сравнение живых людей с готовыми культурными образами: Стивен

Фрай, Эдварт Нортон, Снежная Королева, — потому что это тоже работа на уровне эмблемы, а не метафоры (однажды, впрочем, метафорическое сравнение удалось — сходство юриста Гарина с мелким, обреченным диктатором получило развитие, проросло в текст).

Интересно, что главные мотивы романа «Риф» перекочевали из более раннего «Центра тяжести»: там уже были и люди с «мощнейшей внутренней гравитацией», и образ жертвы культа (правда, единственной — последовательницы арт-активистки, с «забитым затравленным взглядом и этим болезненным желанием прибиться к тому, кто сильнее»), и опора на образы современного искусства, пересоздающего реальность (а потому и манящего, как инструмент обновления, и опасного, как сектантский гипноз), и тема переписанного прошлого (арт-активистка забивает старые татуировки, будто хочет «переиграть всё», «перезагрузить кожу»), и воровство истории (пропавшее Третье озеро в «Центре тяжести» перекликается с пропавшими из архива страницами в «Рифе»: в обоих случаях Поляринов играет в ряды чисел с пропавшими звеньями), и, конечно, страдающие олени («застывшая, как олень в свете фар» — о жертве насилия).

Эти переклички, а также открытое обсуждение сокровенной лаборатории романа, в рамках которого Поляринов признается, что учел недостатки романа прошлого: «Это в некотором роде попытка работы над ошибками, допущенными в “Центре тяжести”. Там многое было сделано очень толсто, и я о многом жалею»[1], — уточняют его позицию как писателя многообещающего, трудолюбивого, целеустремленного, со своим миром ценностей и особенностями письма. Эстетическая противоположность двух художественных книг Поляринова в таком случае — эксперимент, броски в крайность, когда сначала делаешь, как умеешь, а потом делаешь не так, как в прошлый раз, чтобы суметь лучше. У меня впечатление, что этот автор только ищет себя, начиная с языка и заканчивая сюжетом, который наиболее полно и многозначно воплотил бы магистральные мотивы его художественного мира.

Тень приключенческого Верна, мне кажется, пока самый точный проводник по этому миру. По-хорошему подростковому: доброжелательному, увлеченному, справедливому, одной ногой в детской сказке, другой — в беспечном сне.

А «Риф» рекомендую. Он и правда полезный, нужный, доходчивый, читательски ориентированный.

Литература же для меня за рамками необходимости. И главное приключение писателя Поляринова, полагаю, еще впереди.

[1] Алексей Поляринов: «Любой писатель сегодня должен быть антропологом». Интервью Елене Васильевой / «Прочтение» от 30.09.2020 // https://prochtenie.org/texts/30334

Ольга Балла

Фильмы для внутреннего зрения

Шамшад АБДУЛЛАЕВ. Другой юг. — М.: Носорог, 2020. — 240 с.

Теперь, когда прозаические тексты Шамшада Абдуллаева, жителя Ферганы и изысканнейшего русского писателя, создателя ферганской поэтической школы, написанные почти за четыре десятилетия — с середины восьмидесятых, собраны наконец под одной обложкой, мы получаем замечательную возможность всмотреться в их особенности и вдуматься в их устройство.

Первое, что бросается в глаза: он очень мало менялся. Разве что — его проза загустевала, уплотнялась, уточнялась, усложнялась и утверждалась в своих характеристиках, нащупанных автором с самого начала.

О «кинематографичности» текстообразующего взгляда Абдуллаева писали настолько неоднократно (хочется сказать даже, настойчиво[1]), что это определение грозит уже обернуться общим местом, тем самым утрачивая точность, — то есть, провоцирует искать пониманий абдуллаевских текстов на других путях. Хотя да, понятно, что у кинематографа Абдуллаев многому учился[2] — и научился с высокой степенью точности: самому способу выстраивания взгляда, распределения его, переключения его скоростей, чередованию крупных, средних и общих планов. Среди всех внутренних чувств человека (параллелей, проекций чувств внешних) тексты его адресованы в первую очередь внутреннему зрению; каждый — подробный сценарий для персонального читательского внутреннего фильма, последовательность указаний, как следует двигаться воображаемой камере. Буквально пошаговую инструкцию для нее.

В создание каждого такого фильма отчасти вовлекаются и другие чувства; причем в выборе их Абдуллаев довольно нетривиален, — и тут уже мы получаем некоторые основания к тому, чтобы — осторожно, не навязывая автору характеристик мыслителя и теоретика — заговорить о его антропологии, предложив ей название «латентной»:

---

[1] Беря наугад: Александр Чанцев пишет, что «...(стихо)проза Абдуллаева весьма кинематографична» (http://www.litkarta.ru/dossier/chantsev-alexandr-liturgiya-sonnyh-trav/dossier_1631/); Дмитрий Бавильский уподобляет абдуллаевский «особый вариант модернизма» «артхаусному фильму со сложным монтажом» (http://www.litkarta.ru/dossier/ni-da-ni-net/dossier_1631/); Арен Ванян говорит, что предметы своего внимания Абдуллаев рассматривает «сквозь объектив кинокамеры» (https://gorky.media/reviews/ostatsya-vsego-lish-zritelem-rasskazy-shamshada-abdullaeva). А Галина Заломкина вообще посвятила целое исследование (http://www.litkarta.ru/dossier/kinematograph-kak-sposob/dossier_1631/) «Кинематографу как способу смотреть / видеть в текстах Шамшада Абдуллаева».

[2] В том числе на собственной практике: работал в сценарной мастерской киностудии «Узбекфильм», возглавлял киноклуб в Фергане (http://www.litkarta.ru/world/uzbekistan/persons/abdullaev-sh/)

о лежащем в основании его текстов представлении о том, как устроен если и не человек в целом, то, по крайней мере, его восприятие. Устроено оно, в понимании автора, иерархично: в нем есть чувства ведущие (собственно, одно) — и вторичные, вспомогательные, работающие на объемность картинки, но и те не равноправны.

Первыми среди этих вторичных чувств, упоминаемыми чаще прочих, оказываются — удивительно ли для южного человека? — чувство тепла-холода и близко родственное ему, часто с ним совпадающее чувство воздуха, его движения и плотности. Это последнее у Абдуллаева стоило бы выделить в особый модус восприятия, по крайней мере — счесть его разновидностью осязания, упоминающаяся гораздо чаще иных его разновидностей; а главным органом осязания у него оказываются не пальцы, а кожа в целом: поэтому становится возможным говорить, например, об «обжигающей колкой пыли». За ними в иерархии чувств следует слух: «ноготь царапнул дверное полотно: тцинь», «гортанные голоса гибких женщин»... — но и звуки, кажется, хоть отчасти перетягивают на себя «зрительные» характеристики, требуют зрительности — и получают ее: «...длинные звуки, повторяющие стук смолистого сердца внутри огромного камня в мшистых сосках». Еще реже включается обоняние, в котором, впрочем, при внимательном рассмотрении тоже обнаруживается нечто зрительное — как будто для убедительности, для полноты каждому из чувств в понимании Абдуллаева необходимы хоть какие-то элементы визуальности: «В спальне кружил ватный, кислый дух...» Но зрение доминирует здесь безусловно. Впору говорить, пожалуй, даже о диктатуре зрения (хотя это жесткое, требовательное слово, казалось бы, совсем не органично для автора, не склонного ни к какой требовательности и чуждого любой категоричности; но тем не менее).

Следы русской литературной традиции, не говоря уже о намеренных отсылках к ней, здесь как будто незаметны (впрочем, единомышленники и единочувственники его, в русской традиции работающие, как раз обнаруживаются: внимательные читатели называют среди них, в частности, таких до едва-сопоставимости разных авторов, как Аркадий Драгомощенко, Владимир Казаков, Иван Жданов, Александр Скидан, Андрей Левкин, Станислав Львовский, Светлана Богданова, Юлия Кокошко... — родственников Абдуллаева по «медленному письму»[1], оно же — письмо «ассоциативное» или «интенсивное»). Как было сказано на страницах одного электронного издания безымянным автором, «будучи узбеком, Абдуллаев пишет исключительно на русском языке, который используется им (и другими авторами “ферганской школы”) как язык межкультурного взаимодействия, позволяющий на нейтральной почве развернуть диалог восточного менталитета и западной просодии, противопоставить среднеазиатское и американско-европейское начала, минуя русскую поэтическую (равно как культурную и мыслительную) традицию»[2]. То есть, русский язык Абдуллаев использует, по идее, не как средство связи с соответствующей традицией (или совокупностью таковых), но — как раз напротив — в качестве инструмента, позволяющего достичь универсальности. Вывести, значит, узбекскую, ферганскую жизнь, которая, казалось бы, одна только тут и выговаривается, за пределы самой себя, лишить ее той самодостаточности, в которую она на этих страницах погружена как будто целиком. (Второе орудие для вывода этой жизни за ее пределы, тесно и парадоксально взаимодействующее с первым, — западноевропейская оптика: аннотация к книге с полным на то основанием обещает читателю «нелинейные повествовательные техники европейского модернизма», «прустианскую верность логике воспоминания», «беккетовскую отчужденность» и кинематографичность французского “нового романа”»).

---

[1] Плодотворный концепт Александра Уланова, предложенный им для понимания работы некоторых авторов — среди них и Шамшада Абдуллаева — еще в 1998 году («Знамя», № 8, 1998. = https://znamlit.ru/publication.php?id=553). Об этом же — в его статье «Личная буква “У” в слове “вечер”» (НГ—Ex Libris. — 19.07.2001. = http://www.litkarta.ru/dossier/ulanov-ob-intensivnoi-proze/dossier_1631/)

[2] https://litvek.com/avtor/7157

Да, но каков инструмент!

Его и инструментом-то назвать язык не поворачивается. Скорее, *о*рган, чувствилище. Самолично выращенное — и питающееся от глубоких русских, славянских, архаичных корней. Не всякий (ох, далеко не всякий!) русский так пишет, говорит и чувствует собственную речь, как этот ферганский житель. (Не требуется ли для такого острого чувства взгляд именно извне, предполагающий не захваченность русской речью, а, наоборот, дистанцию между собой и ею, которая обеспечивает свободу в обращении с ней? — вполне возможно.)

Тут и прихотливо-изысканная лексика вроде «затравевшие», «безокие», и старое, позапрошлого века «безуханный», и нежно-архаичное «подле» вместо «около»... Казалось бы, таким штилем куда органичнее изъясняться русскому почвеннику. Но нет. Абдуллаев действительно универсалист — притом глубоко укорененный, да еще в почве, весьма удаленной от нашей и совсем иначе устроенной. — «нейтральной» ее назвать никак нельзя: это именно характерно-узбекская почва, внимательно освоенная русскоязычным сознанием (справедливости ради стоит сказать, что узбекские вкрапления в его текстах встречаются, — не как экзотизмы, но как органичная часть воссоздаваемой здесь жизни). И пуще того: в его устах такая речь не выглядит чужеродной.

Еще любопытнее, что два названных инструмента — русский язык и европейско-американские техники постановки взгляда — у Абдуллаева именно взаимодействуют, но не конфликтуют. Его построенная на, казалось бы, максимально разнородных основаниях проза цельна.

Укорененность же в его случае важна не менее универсальности. Ферганскую жизнь, самую ее ткань и вещество он описывает так подробно, будто она для него экзотична или как будто она уже (давно) утрачена, и он ее, драгоценную в свой утраченности, с усилием припоминает, восстанавливает. Эта жизнь для него — не инструмент, она — материал, притом совершенно необходимый: только на нем и может быть автором прочувствована жизнь как таковая.

Дело даже не в том, что свою местность он прочитывает в больших мировых контекстах, которые держит в поле зрения постоянно, — хотя да, он это делает, иные ландшафты все время просвечивают сквозь ферганские окраины, присутствуют как комментарий к ним, как дополнительное их измерение: «В рыхлой пыли, у промоины, валялась сморщенная резиновая перчатка, какая-то нездешняя, чужая, перепутавшая местность, — ей бы лучше лежать в болотистой равнине, продуваемой ветром, где-нибудь в Йоркшире...» — и тут включается во всех чувственных подробностях, стремительно разрастается, и населяется обитателями, и заполняется их действиями — воображаемая (и тем сильнее волнующая) йоркширская реальность: «...она лежала бы в топком перегное, скрытая, пришибленная жадным запахом трясины и ярко-серебристым дождем, что хлещет повсюду, куда ни глянь, разрывает слизистый воздух, не ослабевая, пока трое мускулистых стариков в плоских кепках и светловолосый юноша с косичкой и маленькой серьгой в ухе — этакий хиппи-поденщик — суетятся подле зубчатой изгороди, ведущей к ферме, отчаянно толкают испуганных овец. загоняют их в стойло, как бы ослепнув от множества глазастых пузырьков, заполнивших пространство...»

Фильм в фильме — выросший из единственной детали.

Дело же, скорее, в том, что именно Фергана, тщательно прожитая, пропитанная подтекстами, оказывается для него наиболее полным воплощением жизни. И да, в этом смысле она совершенно самодостаточна. Она бы и без инокультурных комментариев обошлась.

«Весь набор человеческой истории уже здесь, в этом маленьком городе».

У себя в Фергане — откуда он, гражданин, казалось бы, мира по типу образованности, по характеру и количеству символических систем, которыми владеет, не намерен переезжать в более «центральные» области мира, — Абдуллаев осуществляет

другие возможности именно русской словесности, наращивает ее традиции, разрабатывает ее не слишком востребованные ресурсы.

Он культивирует самоценное письмо, расположенное совершенно по ту сторону сюжетности, идейности, психологизма (впрочем, тут с оговорками: он очень внимателен, как мы уже заметили, к устройству восприятия), историзма, социальности и тому подобных, прилежно отрабатываемых мейнстримом задач. (Если еще точнее — сюжеты у него есть, но организованные крайне нетипично; в его случае стоило бы говорить о множественных микросюжетах, каждый из которых вмещается в одно предложение, и все вместе они, образуя нечеткое, но несомненное единство, укладываются автором в большую, нежестко их объемлющую форму составленного из этих предложений рассказа.) Если что ему и важно, то — сама фактура реальности, взятая с ее внешней (воспринимаемой) и внутренней (воспринимающей) сторон одновременно. Он расширяет возможности слова за счет приемов, заимствованных у невербальных искусств, и, выученик кинематографа, создает чистую словесную ткань — впитывающую множество подробностей реальности, очень чуткую к ним, к малейшим их оттенкам. Он занимается волокнами этой ткани.

Далее, интересен тип наблюдателя, держащего ту невидимую миру камеру, которой снимаются все эти внутренние фильмы (точнее было бы, впрочем, назвать этого оператора созерцателем: взгляд его сочетает в себе пристальность с отстраненностью — пожалуй, с преобладанием этой последней), его позиция. Точка, из которой он смотрит на происходящее, расположена где-то около того таинственного места, откуда начинаются все движения вообще — и где внешнее-воспринимаемое и внутреннее-воспринимающее еще не разделимы. Место это, понятно, не физическое — метафизическое; метафизика как будто не занимает Абдуллаева, мыслящего-чувствующего с предельной (предметной) конкретностью, но она, подобно латентной, как мы уже сказали, его антропологии, лежит в основе всего, что здесь делается и говорится, — и тем действеннее оказывается.

«Что же остается: следить, как вязко шевелится уходящий день, помешанный тоже на светящемся однообразии, но если отказаться от желаний, то какой новый экстаз, новую полноту, сказал он, принесет только что родившаяся пустота?»

Вот, кстати, очень интересны отношения Абдуллаева с движением. Время у него медленно так, что почти стоит (вспомним кстати «медленное письмо», к которому отнес его тексты и сам «медленнопишущий» Александр Уланов) — если говорить о большом, хоть сколько-нибудь историческом времени. «Медленность» его, однако, никоим образом не означает статики: оно переполнено микродвижениями. Они могут быть даже стремительными — и при этом не нарушают общей малоподвижности, не задают направления целому, — они самоценны.

«Ее галоши были вдавлены в песочную осыпь. Потом через всю площадь промчался автомобиль и метнулся в проулок, притиснутый к боковой стороне магазина. Завеса обжигающей колкой пыли, колыхаясь, вздымалась и оседала параллельно движению машины. Внезапно Кимсан широко зевнул, и ему почудилось, что зевота на секунду вытеснила, устранила его из этой округи».

Тот же Уланов как-то назвал прозу Абдуллаева «вглядывающейся в необязательные события»[1]. Но дело, кажется, в том, что — судя по пристальности этого взгляда — у него вообще нет ничего необязательного. Весома каждая деталь, даже если она сиюминутна и вот-вот исчезнет. Эта «периферия», которую в связи с Абдуллаевым тоже не устают вспоминать, насыщена всеми энергиями центра, обременена всей его весомостью. Незначительного и пустого здесь нет вообще. И если вернуться к мысли о его латентной метафизике, то это, пожалуй, одно из ее важнейших положений.

---

[1] *Александр Уланов*. Личная буква «У» в слове «вечер»: Проза, которая вглядывается в необязательные события // НГ—Ex Libris. — 19.07.2001. = http://www.litkarta.ru/dossier/ulanov-ob-intensivnoi-proze/dossier_1631/

Борис Минаев

Как-то иначе

Я помню, как в 90-е годы и в начале 2000-х совершенно по-новому зазвучали тексты русских классиков со сцены, в особенности Островского и даже Чехова с его «Вишнёвым садом»: все эти векселя, проценты, закладные, акции, все эти товарно-денежные отношения, которые лет 60—70 звучали со сцен академических и народных театров как белый шум, вдруг стали узнаваться, как бы выпирать из привычного текста, режиссеры начали делать на них ощутимые акценты, *сила денег*, которая раньше лишь декларировалась, вновь сделалась важной проблемой для зрителя.

И абсолютно не важно, сколько было денег у самого этого зрителя — он все равно начал как-то сильно об этом задумываться.

С Достоевским вроде бы все иначе — он для нашего театрального зрителя вот уже как 150 лет «про другое». Не про материальное, а про возвышенное.

Впрочем, тут надо оговориться — «сценическим» и театральным Достоевский стал очень нескоро и очень не сразу. Сначала эти огромные тексты, видимо, казались просто неподъемными. Потом — в раннем уже СССР — Достоевский оказался неугоден власти.

Но потом все изменилось. Начиная с «Идиота» (на сцене — БДТ, Г.Товстоногов, И.Смоктуновский; и в кино — «Мосфильм», И.Пырьев, Ю.Яковлев), покатился какой-то девятый вал, цунами прочтений и трактовок, который не останавливается до сих пор — уже больше шестидесяти лет.

Я помню, как ломился народ на трехчастную (три спектакля в один день! — утро, день, вечер) версию «Бесов» Льва Додина, я помню, как нечем было дышать от спертости (не физической) воздуха в постановке великого Анджея Вайды на сцене «Современника» (те же «Бесы»), помню «Брата Алёшу» Эфроса и «Карамазовых» в Маяковке времен Арцыбашева, я смотрел «Идиота» в версии Сергея Женовача (тоже три спектакля, три вечера подряд) на Малой Бронной в 90-е годы с женой и «Преступление и наказание» в театре Моссовета совсем недавно, вместе с сыном. Я помню телеведущего Александра Гордона в театре И. Райхельгауза «Школа современной пьесы» — в качестве исполнителя главной роли, боже, какой прекрасный, какой замечательный был Ставрогин. Помню «К.И. из “Преступления”» в ТЮЗе. Ну, и это, конечно, я еще не все перечислил.

Все это вместе, в общем и целом, — какая-то серьезная часть моей души, моей эпохи, и, конечно, когда я услышал, что «Золотую маску» выиграл Константин Богомолов с «Преступлением и наказанием» (питерский театр «Приют комедианта») — захотелось понять, чем сегодняшний Достоевский, ковидного 2020 года, отличается от тех, предыдущих.

Выводы, которые я сделал из этого сравнения, может быть, и преждевременные, но (для меня) интересные.

Достоевский прежних эпох — окружен всегда флером «запредельной», крайней духовной ситуации, невероятным нервическим напряжением, романтикой «ненормальности», горячечного бреда, потока ассоциативной, философской речи, из

которого прет и мысль, и психический диагноз, густого букета философии, исповеди, греха, стыда, — ну, в общем, «русская душа» во всем своем великолепии, ее, так сказать, большая «загадка». Это все общая база, грунтовка холста, необходимый компонент, из которого потом можно лепить и то, и это.

Так вот, у Богомолова ничего этого нет. Нет загадки, нет нервического бреда, нет эстетики ненормальности и прорыва в «иное».

Все, что говорят люди на сцене, — абсолютно четко аргументировано, очень логично, вполне понятно, довольно рационально и оттого ужасающе, невыносимо тяжело.

...Раньше тяжело не было. Могло быть страшно, красиво, драматично, напряженно, интересно, опять красиво. Вечные вопросы Достоевского вдохновляли, волновали, воодушевляли. Его книги, исполненные режиссерами и актерами на сцене, «заставляли задуматься» — но не только: еще и эмоционально приподняться над насущной реальностью. Это был какой-то учебник вечных вопросов, мучительных дилемм, учебник богатой душевной жизни.

Душевной жизни, которой ты всегда, говоря по совести, немножко завидовал. В твоей собственной жизни о таком богатстве переживаний и страстей можно было даже не мечтать. Ну, а когда? Утром же на работу.

У Богомолова в его «Преступлении» это все куда-то исчезает, уходит в песок.

То, что выплескивается из героев «Преступления», то, что составляет здесь их «внутренний мир», — это совсем не романтическая, совсем не «бредовая», совсем не «запредельная», а именно что тяжелая, некрасивая и, главное, скучная реальность.

Реальность абсолютно понятная, нисколько не загадочная и не волнующая, а даже напротив. Прибивающая к земле, чем-то даже убивающая твой мозг.

Как это сделано? Ну, есть средства, прямо скажем, парадоксальные. И грубые. Режиссер легко играет физическими данными, возрастом, обликом персонажей, сбивая тебя с толку, насильно меняя твой замыленный взгляд. Дуня, сестра Родиона Романовича, как и положено, девушка молодая и красивая, например (актриса Мария Зимина). А вот господин Лужин, за которого она по нужде выходит замуж, это, как сказали бы раньше, «лилипут» (актер Алексей Ингелевич). Нравственные недостатки персонажа подчеркнуты таким жирным штрихом, что зритель поневоле впадает в ступор.

Лужин у Достоевского — человек мелкий, но у Богомолова он просто молчит, ничего не говорит, у него нет роли, он лишь уводит Дуню со сцены за руку (а вместо свадебных венцов — милицейские фуражки), чтобы очертить в воздухе спектакля какой-то риторический вопрос. Мы мелки, да, мы, обычные люди, но*как* мелки? Если мы ясно осознаем свои границы, — может быть, в этом и есть наше величие? По крайней мере, мне в этом первом «ударе под дых» почудилось некое сопротивление режиссера, его явный спор с великим автором, он явно защищает от него, автора, вот всю эту скучную и некрасивую реальность. Всех этих мещан и обычных, «мелких» людей.

Другой «удар под дых» — возраст и облик Сони Мармеладовой. Соня — молодая девушка в романе, а на сцене — уже сильно пожившая женщина, с резкими морщинами и следами былой красоты (актриса Марина Игнатова). Ну да, Соня «стала старухой», пойдя на панель, душевно постарела, «почти умерла», но вряд ли только в этом дело. У Достоевского Соня Мармеладова — загадочный, мистический, почти религиозный образ, то есть героиня, совершающая подвиг, недаром дамы в петербургских домах запрещали своим взрослым дочерям читать эту «безнравственную книгу», когда роман только вышел из типографии и стал сенсацией. Так вот, Богомолов возвращает (опять же насильно возвращает, об колено ломая всю традицию нашего восприятия) этот взгляд «нормального», заурядного человека XIX века — нет, проституция это совсем не красиво, не романтично, не интересно, это прежде всего жалко и мерзко, это тяжело и безысходно, нечем тут восхищаться и не перед чем вставать на колени.

Сам Мармеладов с его исповедью в начале спектакля — опять-таки заурядный молодой человек (актер Илья Дель), а вовсе не спившаяся развалина, не старик.

Именно молодой, пышущий здоровьем, в хорошем костюме и начищенных ботинках. Не актер Евгений Лебедев из советского сериала, не этот гениальный старик с дрожащими губами, пьяный, страшный, опустившийся, страдающий. Опять слом шаблона. Опять все не так.

Это, возможно, одна из главных загадок спектакля: а почему все-таки мама Раскольникова по возрасту очевидно младше его сестры Дуни, почему старший Мармеладов — совсем юнец, и что вообще все это значит? Может, в этом маленьком театре просто нет других актеров? Не знаю, я в театре «Приют комедианта» не был. (Как, мне кажется, не были на спектакле и многие члены жюри «Золотой маски». Ведь в 2020 году показы шли он-лайн. И хотя зрители в телетрансляции — устроенной, кстати, совершенно бесплатно на платформе Окко — в зале есть, но их немного, все они в масках.)

...Так вот, я думаю, что даже у этого, не самого важного, парадокса Богомолова — Мармеладов почти мальчишка, почти студент — нет случайных объяснений. А есть объяснение вполне содержательное: режиссер опять спорит с автором. Для Достоевского казалось вполне естественным оправдывать Мармеладова его нищетой, до которой чиновника довели «гайдаровские реформы» той эпохи (реформы ведь отнюдь не ограничивались освобождением крестьян). Для Богомолова таких мотивов уже не существует. Для него Мармеладов — обычный мерзавец, который пропивает и свою, и чужие жизни. Отвратительное «дно» русского характера, которому нет оправданий. Просто человек. Просто алкоголик. Просто ничтожество.

Из трагической романтики Достоевского, повторюсь, лепится унылая, безрадостная, заурядная и некрасивая жизнь.

Я не знаю, правильно ли это. Но я с интересом слежу за тем, что произойдет дальше.

Пожалуй, очень цельным и самым как ни странно органичным человеком в спектакле представлен Свидригайлов. Законченный педофил и растлитель, при этом четко знающий про себя правду, глядящий на себя в зеркало безо всяких иллюзий, четко понимающий свои границы, пределы, пороки, свое темное дно, — он у Богомолова представлен как наиболее привлекательный, можно сказать, самый нравственный тип человека — то есть человека без иллюзий, без планов улучшить и переустроить свою жизнь. Вот это для режиссера то что надо. Иллюзии вредны. Идеалы до добра не доводят. Актер Валерий Дегтярь играет этого персонажа прекрасно: замедленная, невнятная, как бы ощупывающая слова речь исподволь передает ощущение полной ясности, последней ясности ума.

Самый же интересный персонаж в спектакле Богомолова — это Порфирий Петрович (актер Александр Новиков). Вот с ним как раз вроде бы обошлись по-божески — он не мальчишка и не глубокий старик, и не человек с особенностями развития. Нет, нормальный такой Порфирий Петрович — и возраст подходит, и внешность тоже.

Тут другая история — облаченный в форму сегодняшнего российского следователя, тутошний Порфирий Петрович незаметно как-то крадет у персонажа его главный стержень, главную краску. Ведь в романе Порфирий — это воплощение нравственной нормы, опирающейся на веру в Бога, совестливый, интеллигентный, при этом законопослушный «обычный человек». Да, чиновник, но честный чиновник, средоточие традиционных ценностей, настоящая русская душа, при этом пытливый, умный, чуткий, внимательный и т.д.

В спектакле у Богомолова Порфирий Петрович в своей роскошной форме следственного комитета РФ — вроде бы ничем поначалу не отличается от классического. (Причем ни в одной постановке, даже в кулиджановском советском сериале 1969 года я не помню такого количества оригинального текста, который Порфирий тут произносит.)

Но удивительная вещь — путем каких-то трудноуловимых купюр, режиссерских приемов, замечательной актерской природы — тот, прежний Порфирий Петрович

куда-то исчезает. И появляется «следак». Он, конечно, и у Достоевского следак, представитель могучего государства — умный, хитрый, профессиональный.

Но здесь, у Богомолова, пожалуй, от прежнего Порфирия вообще ничего не остается. Наиболее ярко это проявляется в тех диалогах, где «следак» выражает подозреваемому свой пиетет, почтение, некое даже восхищение его умом и талантом. Если в том, так сказать, «историческом» характере — это была некая игра, привычная для Достоевского экзальтация, то здесь, в спектакле, — это просто живая бытовая черта. Технология следователя. Он совершенно холодно, безжалостно дожимает Раскольникова. Он заставляет его признать вину. Он загоняет его в угол и окружает цепью ловушек и капканов. И в этом ритуальном и лицемерном «почтении к интеллигенции» вдруг проступает вся бездна этого русского типа, типа жандарма, «силовика». У Достоевского все как-то иначе.

И очень похоже — и на «следственные действия» в отношении советских диссидентов, и на то, как ведут современные следователи допросы и разговоры в нынешних кабинетах, где «разрабатывают» сегодняшних вольнодумцев и революционеров. Психологически — этот Порфирий Петрович совсем-совсем годится для работы в нынешних «органах». У него все для этого есть.

И вот тут мы должны, конечно, на минуточку вспомнить, что Достоевский — он не только великий русский писатель с мировым признанием.

В свое время этот автор имел очень определенную политическую репутацию. И не только потому, что был «почвенником» или «охранителем». Нет, он просто яростно ненавидел тогдашних «протестующих», обличал революционную молодежь, противников режима, ниспровергателей строя. Делал это довольно ярко и выпукло и в «Бесах», и в «Преступлении». Доказывая, что революционная идея и политический «протест» — обязательно ведут к уголовке.

Если грубо пытаться провести параллель, — сегодня бы он, скорее всего, стоял на позициях Захара Прилепина или Александра Проханова. Хотя, наверно, такие параллели не очень работают. Слишком многое за эти 150 лет изменилось.

И, кстати, в ранние советские годы Достоевского в школе не проходили, в театрах не ставили, в кино не снимали. Те властители очень хорошо помнили идейную подоплеку романов Достоевского, его личное отношение к атеизму, социализму, к идее революции.

В более позднее советское время он, во-первых, перешел в разряд «русских классиков», боровшихся с проклятым царским режимом (недаром ведь и сам сидел при царе), а во-вторых, помогал тогдашней интеллигенции каверзным образом разоблачать позднесоветский уже режим — то есть искать «корни большевизма». И успешно их выкорчевывать. За словом «бесы» нам отчетливо виделись Ленин, Троцкий, Сталин. Может быть, даже Берия и Ежов.

И вот прошло время. Снова повернулось колесо истории.

И снова встает вопрос — а с кем вы, мастера культуры? С революционерами или следователями? С протестной молодежью или охранителями? Встает с той же прямотой и обыденностью, что и в ту эпоху, когда роман писался. Комом встает в горле.

Для спектакля Богомолова (как мне кажется) верный ответ — ни с кем.

Очень отчетливая, громогласная, я бы сказал, режиссерская декларация. Взгляд со стороны. Холодный. Отстраненный.

Одинаково режиссеру противны и Родион Романович (ну понятно, протест ведет к уголовке, здесь режиссер единственный раз, возможно, целиком совпадает с автором). И Порфирий Петрович с его лицемерным почтением к «интеллигентам» и железной следовательской хваткой.

И вот самое время подумать о том, как же в спектакле показан сам Раскольников.

Сам Родион Романович.

Интеллигент-революционер-сверхчеловек и прочее. Есть традиция в восприятии и этого образа, конечно.

Советскому зрителю некуда было деваться от актера Георгия Тараторкина в фантастически талантливом сериале Льва Кулиджанова. Красавец огромного роста. Невероятно физически привлекательный молодой человек. Страдающий, нервный, проваливающийся в дебри своей «болезни» ума. В темные закоулки сознания.

В буквальном смысле слова раздраженный нравственно, поглощенный бездной «гнилой современности».

Сегодня я думаю, что Лев Кулиджанов метил своим сериалом именно в советских диссидентов. Их тогда подспудно имел в виду. И относился к ним, кстати, примерно так, как сам Порфирий Петрович: ах, какие умницы, какие красавцы, какие талантливые ребята. Ну зачем же они так, ну почему же...

По сравнению с этим «золотым стандартом» образа — в спектакле Богомолова образ Раскольникова (актер Дмитрий Лысенков), нет, не то чтобы стерт. Не то чтобы лишен значительности. Не то чтобы он был плоский и неинтересный.

Нет, интересный, нет, значительный. Но интересен и значителен он — не «идеями», не «умом», а своей личной, глубокой, затаенной и искренней обидой на этот мир. Выражением скривившегося от обиды лица. Он, может быть, и добрый (дал же денег на похороны Мармеладова) — но... уязвленный. Очень некрасивый. Намеренно некрасивый. С некрасивой оттопыренной нижней губой, мутнеющими в разговоре глазами, с серым обликом волчонка.

Не то чтобы страшный... но неприятный.

Сильный человек, да. И ему сочувствуешь. Всем этим его безумствам и падениям. Но... очень тяжело на него смотреть.

В нем неуловимо узнаешь того затертого жизнью, совсем заурядного молодого человека, который и сам мог бы быть следователем (если б иначе все сложилось) или работать в КГБ, и который вдруг действительно стал властелином мира, но не потому, что совершил там что-то чудовищное, а просто однажды понял, как просто и как безжалостно устроен этот наш мир.

...Надо сказать, что в романе нет сцены убийства, даже намека на него, нет ни старухи процентщицы, ни ее соседки Лизаветы, нет само*го* события преступления. Они подразумеваются, но не показаны.

Поскольку давно все известно, удивлять и поражать тут зрителя нечем. Здесь же, в этом же городе, не так далеко от театра «Приют комедианта» профессор-историк расчленил девушку и бросил в реку, наверное, тоже чтобы что-то себе доказать, и, может быть, он даже приходил сюда, покупал билет и садился в кресло, чтобы посмотреть какой-то другой спектакль по роману Достоевского. И, общем-то, вовсе не интересно даже обсуждать, почему он это сделал.

...Это стало давно и всем понятно: уж очень плоская, тяжелая и некрасивая вокруг жизнь, не у всех получается с ней ужиться. Смириться. Ведь ничего красивого и романтичного в Достоевском уже нет.

Нечего из него вычитывать.

Нечему удивляться. Разве что тому, что все эти герои по-прежнему рядом с нами. Они очень близко. И это так странно... В сущности, сам Фёдор Михайлович, мне кажется, верил, что все будет как-то иначе.

Что не может не быть как-то иначе.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал **«Дружба народов»**
можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.
Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**
Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**
Электронную версию **«ДН»** можно купить на **http://дружбанародов.com**
Бумажные номера журнала продаются в московских магазинах:
«Фаланстер» (Малый Гнездниковский пер., 12/27)
«Бункер» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)
и в интернет-магазине **Лабиринт.ру**
в любом городе страны.

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА
Корректура: Елена ЛАПШИНА
Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»

Цена свободная

Индекс 70250

4/2021

Читайте:

Андрей Волос.
«Мешалда: книга семейных рецептов»

«— В эскимосском языке девяносто девять слов для обозначения снега, — сказал папа, энергично жуя. — Знаешь почему?
— Нужно им, наверное. Они же в снегу живут.
— Вот именно. А у таджиков для обозначения очереди — ни одного. Знаешь почему?
— Ну и почему? — спросил я.
— Потому что очередь для таджиков — это совсем не как снег для эскимосов. Очередь — это последнее, о чем они думают. Потому и слова нет.
— Ага.
— У них и понятия такого никогда не было, — сказал папа. — Чай пить — это они понимают. А в очереди стоять — ни в коем разе.
— В Курган-Тюбе когда бабаи за мануфактурой стояли, они друг друга вот так обхватывали, — сказала мама. Она вытерла пальцы салфеткой, а потом сделала что-то вроде намека на гребок брассом. — Как теперь летку-енку танцуют. Схватятся — и стоят. Чтобы лишний не пролез.
— Уже не танцуют, — сказал папа.
— Не цепляйся, — сказала мама. — Раньше танцевали. Помнишь, когда мы в Ригу ездили. Только ее и слышно было.
— Ну, в ту-то пору самый разгар. Летка-енка ведь эстонская.
— Вообще-то финская, а не эстонская, — возразила мама. — И танцующие руки кладут на плечи переднего. А бабаи за бока держались.
— Вот я же и говорю, — сказал папа. — Нет у них понятия очереди...»

ISSN 0012-6756

Дружба народов • 2021 • №3 • 1—272